



НЕВА

11
2017

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Стихи • 3

Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ

Нецелованные. Роман • 7

Александр ГАБРИЭЛЬ

Стихи • 107

Вячеслав РЫБАКОВ

Последний из. Рассказ • 111

ПУБЛИЦИСТИКА

Сергей ИЛЬЧЕНКО

Штурм Зимнего как зеркало советского кино • 126

Михаил КУРАЕВ

Битва за историю • 137

Карен СТЕПАНЯН

Фрагменты из дневника (2017) • 158

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Столетие Русской революции. **Десять оттенков красного.** Участники: Лев Аннинский, Владимир Елистратов, Вера Зубарева, Борис Колоницкий, Елена Крюкова, Михаил Кураев, Роман Сенчин, Евгений Степанов, Константин Фрумкин, Игорь Яковенко. *Материалы Круглого стола подготовили А. Мелихов и Н. Гранцева* • 164

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Юлия ЩЕРБИНИНА

Нагрнувший и грядущий (*Эволюция хамства*) • 186

Владислав БАЧИНИН

Экзистенциальная контрверза Гольбейна—
Достоевского (*Размышления о картине
«Мертвый Христос»*) • 200

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Эпоха и образы. *Вера Харченко.* О документах ок-
тября—ноября 1917-го, и не только о них. **Искусство
чтения.** *Вячеслав Влащенко.* Загадки и тайны в ху-
дожественном мире Достоевского (Трагическая
судьба Мармеладовых). **Книжный остров.** Пу-
бликация *Елены Зиновьевой* • 217

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (*зам. главного редактора*). **Игорь Сухих** (*шеф-ре-
дактор гуманитарных проектов*). **Ольга Малышкина** (*шеф-редактор мо-
лодежных проектов*). **Елена Зиновьева** (*редактор-библиограф*). **Наталья
Ламонт** (*редактор-координатор*).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Компьютерный набор **Л. Жуковой**
Верстка **Д. Зенченко**

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

РЕВОЛЮЦИЯ

Тише рыбьего дыханья,
Легче трепета ресниц —
Скорой смерти ожиданье
Сходит с блоковских страниц...
А вокруг всё лица, лица
С волосами до земли,
Журавлиные синицы
И синичьи журавли
На золотом крыльце сидели
(Здесь зачеркнуто)... Гляди
На бушлаты и шинели!
Хлеба дайте! Проходи!
Робы, блузы, платья, спины,
Маски, кепки, колпаки,
Свечи, фонари, лучины,
Проститутки, кабаки...
Кто поет, кто матерится —
Власть издохла! Вот те на!
Тут — шампанское искрится,
Там — штыки и стремяна...
Карнавал! Гуляй, людишки!
День последний! Судный день!
Ничего теперь не слишком!
Никому сейчас не лень!
Отойти! Остановиться!
Руки разбросать! Не тронь!
Вера — счастье несчастливцев —
Всех в огонь!

ВСЕВОЛОЖСК

В Петербурге весна! А за городом синяя вьюга
Вдоль железной дороги припудрила мусор и хлам.
Словно в море киты, электрички находят друг друга,
Чтобы вновь разойтись по своим неотложным делам.

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в Караганде. Окончил Киевский политехнический, Норильский индустриальный, а также Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в Заполярье и Казахстане. Автор пятнадцати поэтических книг. Член СП. Живет в г. Всеволожске (Ленинградская область).

Дремлет мой городок, чуть примяв снеговую перину,
Памятуя о том, что цыган уже шубу продал.
За окошком коты разорались и выгнули спины...
Сон куда-то ушел, да и снег моросить перестал.

Предвкушаю балет на поставленной летней резине...
По прогнозам — не день, а жестящика месяц грядет.
Телевизор пугает дырой в продуктовой корзине.
В Петербурге весна! А у нас — снег, апрель, гололед.

Вот такие дела... Хоть хихикай, хоть плачься в жилетку
(Видно, все же старею — разнылся, как ветер в трубе).
Значит, время пришло позабавиться русской рулеткой —
Прогреваю мотор. Выезжаю навстречу судьбе...

РЕЧКА

Осязаемо, грубо, зримо,
Разбивая в щепу стволы,
Мимо скал, поселений мимо,
Завязав ручейки в узлы,
Раня пальцы о край небосвода
(Зачерпни — обожжешь лицо!),
Сквозь закаты и сквозь восходы,
Сквозь сознание — в конце концов! —
Как с мальчишкой, со мной играя
(Вся полет — боль ее легка!),
Ускользает, смеясь, босая —
Неслучившаяся строка...

* * *

Художник поставит мольберт,
И краски разложит, и кисти,
А я — двадцать пять сигарет
И с ветки сорвавшийся листик.

Мы будем сидеть vis-à-vis,
Пока не опустится темень,
И ради надмирной любви
Пространство раздвинем и время.

Мы станем глядеть в никуда
И думать о чем-то неважном —
Сквозь нас проплывут господа
В пролетках и экипажах,

Улыбки сиятельных дам,
Смешки, шепотки одобренья...
Последним проедет жандарм,
Обдав нас потоком презренья.

А ночью в дрянном кабаке,
Где слухи роятся, как мухи,
Он — в красках, я — в рваной строке,
Хлебнем модернистской сивухи,

Забудем, что есть тормоза,
Сдавая на зрелось экзамен,
И многое сможем сказать
Незрячими злыми глазами.

И к нам из забытых времен,
Из морока рвани и пьяни
Подсядут: художник Вийон
И первый поэт Модильяни.

* * *

Словцо новомодное — «жесть» —
Бесславно ржавеет на крыше.
Деревья стоят неглиже
(Кто хочет, пусть лучше напишет)...

Ноябрь на исходе, а тут —
Ни льдинки тебе, ни снежинки,
Но верят, надеются, ждут
Мои меховые ботинки...

Погодка — на вес мышьяка
(Хоть пой лебединую песню).
Приятно глядеть свысока,
Но снизу — куда интересней...

Строка — превосходная цепь!
(И сыщется вряд ли другая.)
Укушенных музой цеце
На премии не выдвигают!

* * *

Ноябрь совсем одекабрел —
В Неву вморозил сухогрузы.
Сменив колготки на рейтузы,
По набережным бродят музы
С щеками белыми, как мел.

Дрожат бетонные быки,
С мостов роня хлопья снега.
Поземка в поисках ночлега
Берет преграды без разбега
И обживает чердаки.

И некого задеть плечом,
И провода звенят на Невском.
А вдалеке за перелеском
Морозец — с шелканьем и треском! —
Звезду целует горячо.

Визжит сквозняк, прижатый дверью, —
Бомжей выводят из метро —
На лицах тает серебро,
Добро рифмуется с зеро...
И крикнуть хочется: «Не верю!»

Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ

НЕЦЕЛОВАННЫЕ

Роман

Все имена и события вымышлены, совпадения с реальностью прошу считать случайностью.

О, Русская земля! Ты уже за холмом.

Слово о полку Игореве

1

Эта история могла случиться только в России — в стране невиданных глобальных экспериментов. В поисках идеальной для себя модели наша страна многое перепробовала на собственной шкуре. Из века в век юродивый русский народ то и дело заражался различными социально-экономическими, политическими и нравственными болезнями, доходил в горячке до последних столпов, чтобы сколь надо отвалиться в беспамятстве, выработать иммунитет и стать площадкой для очередного эксперимента.

Мы тысячу лет накапливали подопытность. В начале прошлого столетия даже превзошли самих себя, дерзнули послать самого Бога к черту, проскочив в октябре 1917-го на красный. В итоге на десятки лет стали сиротами при живом Отце. Мазохистские пытки, учиненные Россией над собой в двадцатом веке и должны стать контрольными, ужасали ее врагов, и никто не решался сунуться в государство, которое эпохами искало и не находило себя. Лишь германский волк посмел лязгнуть зубами в русской берлоге и был задран.

Спешу с книгой. Хочется первым вбросить в мир сагу о козырных вальтах, ведь совсем скоро об этой истории заговорят на всех площадях — сложно скрыть эксперимент, участниками которого стали десять тысяч человек. Информация вот-вот начнет просачиваться, если уже не начала. Парящие в небе грифы совершенной секретности скоро попадут (если уже не попали) в прицел охотников до сенсаций и будут

Алексей Васильевич Леснянский родился в 1982 году в с. Белый Яр Красноярского края. Окончил Хакасский институт бизнеса. Публиковался в московских издательствах «Дрофа» и «Север», толстых литературных журналах «Урал», «Сибирские огни», «Абакан литературный», «Менестрель», сетевых изданиях «Молоко», «Территория выбора», «Великороссь» и газетах Хакасии. Лауреат Независимой литературной премии «Дебют» за повесть «Отара уходит на ветер» (2013). Лауреат Международной литературной премии им. И. Ф. Анненского за роман «Гамлеты в портянках» (2014). Лауреат премии толстого литературного журнала «Урал» в номинации «Проза» за повесть «Отара уходит на ветер» (2014). Лауреат премии толстого литературного журнала «Сибирские огни» в номинации «Проза» за роман «Дежурные по стране» (2015). Лауреат премии партии «Справедливая Россия» в номинации «Молодая проза России» (2015). Живет в г. Абакане.

сняты из двустолок. Грубо сняты, а не хотелось бы. Дело в том, что легенда не просто героическая, а наив. В ней так много донкихотства, чуждого нашему веку-промокашке, что порой я не знал, как реагировать на дневниковые записи, случайно попавшие мне в руки.

К тридцати годам я стал закоренелым циником и не был готов к бисеру, который стали метать передо мной персонажи саги с первых страниц дневника. И первым долгом я, конечно, начал глумиться над святынями, слишком уж много в них было наива и стерильности. Но в какой-то момент я затих и обернулся. На хвосте сидела моя юность. Она стремительно приближалась. Я дал деру.

— Алеша! — кричит юность. — Постой!

— Сама ты, — отвечаю, — Алеша! Назад дуй! Увидишь мелкого на горшке — это и есть искомое!

— А помнишь, Лешка, как ты мир хотел спасти? — продолжает кричать и преследование.

— Че — в натуре? — ерничаю. — Высший класс!

— Одиннадцатый «В»! — не теряется.

— Отвянь! — бросаю через плечо. — Я свою вселенку основал! Обставил ее с комфортом: подконтрольное правительство, продажные суды, большинство в Думе! Даже оппозицию для форса имею!

— Куришь, Алексей? — спрашивает.

— Не ниже «Парламента»! — хвастаю.

— Ниче так устроился! — хвалит. — Да ведь только догоню теперь!

— Зубы выстегну! — угрожаю.

— Тебе ж вставлять!

— Так и так в армейке вставлять! — отмахиваюсь.

— Неужто ничего святого в тебе не осталось? — интересуется.

— Только ты, — отвечаю. — И та в прошлом!

— Без меня книгу не потянешь! — вонзает юность крюк в мои кишки. — Там о таких, как я!

Останавливаюсь, разворачиваюсь, иду шантажистке навстречу.

— Дура ты, — говорю. — В хохму роман обращаю, на одном стиле выеду — не впервой! А ну как молодежь прочтет необработанный дневник и начнет жить по писанному в нашем далеко не травоядном мире. Смерти ребят хочешь?

— Так уж прям и смерти.

— А че, это жизнь, по-твоему?! — вскипаю.

— Твои условия? — поддается юность.

— Оставь мне сарказм, детка.

— Юмор — вот все, на что ты можешь рассчитывать. Юмор с вкраплениями сатиры. Гомеопатическими.

— Ну ты и... Ладно, по рукам!

2

Толчком к событиям, о которых пойдет речь в книге, послужил ледоход в начале 90-х, когда нерушимый, по словам гимна, СССР пошел-таки трещинами. Шматы и ошметки советской империи, сшибаясь и крошась, поплыли по течению Леты.

На огромной льдине по имени Россия воцарилось лихо. Настала година сверхзвукового обогащения, набата шахтерских касок, мужественных отморозков, ушных магов, тарзаньей культуры, мозговых утечек, слабых силовиков, аляпистых

пиджаков, наркобаронов, некрокрестьян, понтов, понятий, кастетов, сектантов, стрелок и другой всячины.

Усиливались сепаратистские настроения в национальных республиках. Заплатки на карте России возмнили себя самодостаточными княжествами и, подобно гоголевскому Хоме Бруту, стремились очертить себя мелкими и выйти из состава федерации. Увидев это, на заходе солнца заоблизывались и уже мысленно разрезали и солили русский каравай, который был столь огромен, что запивать бы его пришлось океаном не меньше Атлантического.

Не все стали спокойно смотреть, как страна падает в пропасть. В недрах общества рождалось стихийное сопротивление. Среди Мининых и Пожарских 90-х можно было встретить политиков, чиновников, военных, священников, ученых, врачей, техников, бухгалтеров, преподавателей, пожарных, маркшейдеров — словом, кого угодно. В стане сопротивленцев засветились даже воры в законе, один из которых на августовской сходке 1992 года заявил, что — да, он вор и, безусловно, намерен красть и дальше, но для этого надо, чтобы было «что» и «у кого» красть. Спич законника, поговаривают, произвел впечатление, и расчувствовавшаяся братва даже согласилась обнищать на консолидированный бюджет нескольких европейских государств ради повышения уровня жизни россиян.

К несчастью, сопротивление не было единым. Все по-разному видели прошлое, настоящее и будущее страны. В такой ситуации сплотить здоровые силы мог разве что общий и зримый неприятель в виде каких-нибудь поляков в Москве или японцев на Курилах. Однако внешние враги не шли на открытое противостояние. Они вели тайную подрывную работу. В этом им помогали тысячи и тысячи россиян, из которых одни действовали по прямой указке из-за рубежа, другие (этих было в сотни раз больше) — вольной волею. В общем, силам сопротивления можно было только посочувствовать. Страшно сказать, но в сложившихся условиях многие патриоты стали мечтать о том, чтобы государство рухнуло в одночасье, так как, по их мнению, это послужило бы сигналом к немедленной консолидации общества и выступлению единым фронтом. Однако мгновенного апокалипсиса не случилось. Россия разлагалась медленно. Вещества, близкие к наркотическим, в нее вводили постепенно: от очередной реформы наступала эйфория, ее сменяла ломка, далее — привыкание и новая доза реформ.

В мае 1995 года силам сопротивления наконец удалось договориться о встрече в одной из заброшенных весей Центрального Черноземья. Делегаты, съехавшиеся в деревню из разных уголков страны, заняли избы и условились не разъезжаться, пока не будет выработан совместный программный документ. Публика подобралась разношерстная по социальному положению и взглядам. Поначалу предполагалось определить судьбу России в ДК. Однако деревенский клуб не смог вместить всех делегатов. Пришлось перенести дебаты на большую поляну в березовой роще. Вече на лоне природы действовало целую неделю, но результата не выдало. Среднерусские пейзажи только расхолодили съезд. Разомлевшие от майского солнца участники не заседали, а возлегали на поляне. Настроение было совсем нерабочее.

И все бы ничего, если бы рядом с деревней не текла речушка Синявка. Пока одни занимались представлением проектов по спасению государства, другие разведали, как в водоеме насчет пескаря, щуки и других малоценных пород. Выяснилось, что речка в этом плане порядочная, и ловца человек стал постепенно вытеснять рыбак.

Делегаты один за другим начали перемещаться на берег. Акции идеологов стали падать. Усиливалось влияние людей, знавших толк в снастях, наживке, подкормке и клевых местах. Фамилии этих рыболовов-спецов, к сожалению, не со-

хранились. Имена же они, думается, носили простые апостольские, как то Андрей, Петр или опять же Иоанн.

Правды ради надо сказать, что рыбалка затянула далеко не всех. Некоторые делегаты не поддались наркоманской страсти. Целую неделю пытались они образумить остальных, но разве ж это возможно?! Короче, потерпев фиаско, женщины (а речь, конечно, о них) уехали и, вероятно, прихватили с собой шум и гам, так как после их отъезда воцарилась такая тишина, наступило такое согласие, какие бывают только в парламенте без оппозиции или в парламенте с оппозицией, уехавшем на рыбалку. Дело, ради которого делегаты собрались в деревне, быстро пошло на лад. Все указывало на то, что мужики вскоре выработают совместный программный документ. Нет сомнений, так бы и произошло, если бы не случился невиданный клев. Казалось, в речке кончилась привычная пища хордовых, и они в полном составе перешли на провизию извне. Рыбацкое счастье улыбнулось мужикам. Естественно, в таких обстоятельствах принятие программного документа было бы смерти подобно — разъезжаться никому не хотелось. Делать нечего — завязались сторожкие разговоры о том, что Россия — страна большая, многонациональная, многоконфессиональная, противоречивая, экономически и социально непропорциональная и с кондачка вопросы по ней не решаются. Почувяв настроение делегатов, ЦИК собрал совещание у семидесятой рогатулины, обнулil все соглашения и продлил работу съезда аж до желтого листа.

Пошли звонки женам и подругам, что мы, ваши кормильцы и кандидаты в кормильцы, в ближайшее время вернуться никак не можем, так как пробил час испытаний. Далее шло про долг, честь и гражданскую позицию. Как и следовало ожидать, в большинстве случаев на женских концах провода в патриотизм не верили. И мужским концам то и дело приходилось клясться детьми, мамой, Богом в верности избраннице, дышать в трубки, произносить скороговорки про шоссеиную Сашу и речного Грека, вспоминать дни рождения тещ и проделывать другие унижительные для спасителя Отчизны процедуры.

Половина делегатов не прошла учиненные женщинами испытания и была отозвана с передовой. Эта половина могла бы запросто стать доброй, если бы не находчивость некоторых мужиков. Провалив телефонные переговоры, они через день-другой перезванивали дамам, устраивали в их ушах улы и как ни в чем не бывало принимались нанашивать туда мед. Пчелы из решительных сразу гнали медовуху. Это был верный ход. Дамы хмелели от комплиментов и нежных слов, и рыбаки выуживали из памяти все новых и новых представителей флоры и фауны и короновали их уменьшительно-ласкательными суффиксами. Самым ходовым ласковым словом была, конечно, рыба, которую покрывали золотом, хвалили за бархатистость чешуи, обещали поселить в теплых морях, превозносили за икру и — как ни больно было — сокращали до позорных размеров. И льды таяли, и бастионы выбрасывали белые флаги.

А дальше стали твориться интересные вещи. Делегаты стали обживать в деревне, вращать в нее. Подладили покосившиеся избы и надворные постройки. Скинулись и завели коров, лошадей, овец, свиней, кур, гусей, цесарок. Посадили картошку, морковку, лук, репу, капусту, свеклу, сельдерей и укроп. Разношерстный коллектив быстро спланивался через труд. Не хватало разве что крови, которая, как известно, тоже неплохо связывает. Бог милостив — пролилась и она у одного из бывших. Рухнул с крыши, которую починял, и испустил дух второй секретарь Суздальского горкома партии. Хоронили его всем однополюм миром, как комдива. Недоставало разве лишь слез. Выручило небо, снабдив глаза дивизии скупой мужской мокротой грибного дождя.

Прошло полтора месяца... Сопротивленцы продолжали жить своей жизнью, оказываясь не по дням, а по часам. Завелись штатные кашевары и кошевые. Рыбный и аграрный промысел дополнился охотничьим. Ватага насквозь провоняла рыбой, костром, махрой и потом. Мужики и не заметили, как через износившуюся одежду и отросшие бороды сравнялись по возрасту и статусу. Выделение пошло по морально-деловым: кому стали прибавлять отчество, у кого — отняли. Однако в целом народ подобрался дельный, поэтому, к примеру, среди Владимиров и Дмитриев не было замечено ни одного Володи и Димы, не говоря уже о Вовках и Димасах. Долго не мог устаканиться только один из Сергеев. Натюра была незаурядная, а потому то подымалась в табеле о рангах до отца Сергия, то кубарем скатывалась вниз до Серого. Если читателю интересно, то кончил наш герой Серегой.

Для многих делегатов артельный период стал лучшим временем в жизни. Говорили мужики мало, зато на сто рядов обо всем перемолчали. К августу то один, то другой еще не монах, но уже и не мирянин стал покидать деревню со словами: «Как решите, так и будет. Все приму. Найти меня можно там-то». Так с каждым днем партизан становилось все меньше, и к середине октября расклад по ним установился такой: 748 бородачей — в уме, 22 — на остатке.

Этот остаток и взял на себя ответственность за принятие решений. 10 ноября 1995 года в просторной избе собрался последний совет. Дабы отрезать себе путь к отступлению (а именно не соблазниться на секача, который сутки назад забрел в соседний лес), решили обратиться к опыту папских праймериз в Ватикане и ввели запрет на выход из дома, пока не взвоется над ним дым от «голландки» — свидетельство сделанного выбора. Двух товарищей оставили за народ, который должен был заколотить снаружи все окна и двери и следить с улицы за сигнальной трубой. Как известно, ноябри в России по температуре похожи на декабри, как кролики на зайцев. Возникла опасность печного фальстарта и скорых, необдуманных решений.

В качестве заградотрядов, должных пресечь отход мерзляков к топке, использовали ватники, тулупы, фуфайки и валенки. Что касается пропитания, то ввели строгий пост, который мог стать как великим, так и малым — по обстоятельствам. Из послаблений — добро на исходящие; в полу была вырублена дырка под сортир, если вдруг во время прений кто-то начнет исходить на гумус или захочет наложить на решение большинства свое вето.

Аты-баты, шли дебаты. Вставали со скамей и держали речь разные по цвету и уходу боярские бороды и монгольские мочалки. Каких только «АиФов» из прошлого и настоящего не приводили они в пользу своего мнения! Какими только цитатами не сыпали, карами не пугали, пророчествами не гвоздили! Каких только мертвецов не выволакивали из гробов, богов не призывали в свидетели, параллелей и перпендикуляров не проводили! Тщетно. К согласию прийти не могли. Стали тогда ждать голода и жажды.

И как заурчало и пересохло у всех порядком (а случилось это на пятый день затворничества), поднялась одна спутанная седая борода и молвила: «Мужики, надо сдать Россию!» Страшные эти слова отнюдь не стали громом среди ясного неба. Не потянули они даже на обух по голове. Наоборот — все как будто ждали чего-то подобного. И даже примерно такое уже где-то слышали. И как будто не от предателя и дурака, а от великого патриота и прозорливца. Налицо был эффект дежавю. Чем-то до боли родным и теплым напахнуло от прозвучавшего предложения. Возможно, коровьим навозом, который удобрение суть. Или нет — сучьим пометом в смысле щенячьего барахтанья и писка. В общем, только на первый взгляд венком терновым, а присмотришься — кустом той же марки и поющими в нем.

Забасили, затенорили, забаритонили. Среди возникшего гудежа, в котором долго нельзя было что-либо разобрать, выделялось одно слово — правда, недоделанное. Не слово, короче, а баклуша его. То ли Филиппа какого поминали, то ли филина, то ли зоофила. Мелькала в гуле и Отечественная война. Может, великая. Может, простая. Может, ванильная какая — с ходу и не разберешь, у нас всяких войн навалом. Носились в воздухе и бородинские Наполеоны. Не иначе — хлеба с тортами, все ж таки пять дён на одном патриотизме.

Ладно — харэ интриговать. Включаю быструю перемотку вперед, пусть пожужжит книголента, наделают резких движений наши делегаты. В общем, речь шла об Отечественной войне 1812 года, совете в деревне Фили, на котором Кутузов приказал оставить Москву, чтобы сохранить армию и спасти страну.

Вишь, че творят, читатель? Че орут, слышишь? Сразу говорю: я не при делах, хроникер я. Сливают государство, стервецы. «Сдать Россию, как Москву в двенадцатом! — кричат. — Пусть до ручки народ дойдет — быстрее опамятуется!.. Давать разлагаться и самим разлагать!.. Даешь дно!.. Горький!.. Горько!..» И вся эта сучья свадьба с гиперссылками на циклопий источник (это они так Кутузова, совсем страх потеряли).

Кстати, читатель, ты, случаем, не был на этом совете? Предложенный сценарий ведь экранизирован был: кто в режиссеры подался, кто главную роль сыграл, кто — третьего плана...

А дальше затопили наши делегаты печку и бережно, как свертки с младенцами, внесли в горницу запотевшие бутылки с самогоном. Разлили горячее по чаркам, дюбнули, закусили. Пошел пир горой. И в разгаре гулянки встань один бородач, погладь клиновидную бороду и скажи:

— Товарищи мои, запасной вариант нужен на тот случай, если не сможем найти опору в великом падении, как славные предки наши... Давайте вот что... Давайте новейших людей создадим. Чтоб были они не красные и не белые, а цвета индиго, допустим. Выкуем богатырей без страха и упрека где-нибудь на отшибе, чтоб не коснулась их мразь нынешней десятилетки. Да хоть бы и в тайге. Заложим город за тысячи верст от цивилизации, заселим его малышней мужского пола, взрастим пацанов по всем правилам и засеем ими Расею с запада на восток. Дело хлопотное, рискованное, затяжное. Да и ума не приложу, кого готовить надо: воинов ли, управленцев, инженеров ли. Ситуация меняется — по обстоятельствам, значит. Полагаю, за деньгами дело не станет. В нашей артели много непростых ребят. Имеют доступ к золоту партии, кое-кто может и статью в бюджете на каждый год пробить — обмозговать надо. А что — тихонько подберем учителей по военному делу, науке и искусству, чтоб всему обучили мальчиков, и понеслась...

3

...На границе Республики Хакасия и Кемеровской области, в дебрях непролазной тайги, под видом строительства поселка для рабочих алмазного рудника, был раскорчеван участок в пятьдесят тысяч гектаров. Читатель, если ты слышал о знаменитой староверке-отшельнице Агафье Лыковой, так вот ее заимка — это проходной двор, центральный офис «Газпрома» по сравнению с Тмутараканью, о которой пойдет речь в книге. Коли брать по прямой — тыща верст до ближайшего жилья будет. Это для Карлсонов и вертолетчиков. Для остальных расстояние меряется уже не верстами, а годами.

Караваны стальных стрекоз потянулись в тайгу, неся во чревах инструменты, стройматериалы, мастеровых. Засновали архитекторы с кипами чертежей. Завизжали пилы, застучали топоры, и пошел расти кедр не по вертикали, а по горизонтали. На лесе не экономили. Сберегали на железе. Без единого гвоздя, по старинным рецептам деревянного зодчества, возводились в сибирской глуши мало- и многоэтажные, экологически чистые, пожароопасные терема, ФАПы, школы и прочие инфраструктурные объекты. Строились и сдавались проверяющим под роспись — где под гжель, где под хохлому, где под дымку. В заботе о спартанском облике будущих поселенцев меблировали здания простыми изделиями из дерева. Насчет обивки не утруждались. Не заморачивались и по поводу полировки, оставив это прикосновениям воспитанников. Из списка необходимостей вычеркнули даже матрасы и подушки. Предполагалось, что во время походов таежный мох и лапник с успехом познакомят курсантов с постельными принадлежностями.

В плане электрического освещения, подобно пращурам, решили положиться на солнце: выкатилось — просыпайся, закатилось — ложись на боковую или используй солнечные батареи, для монтажа и установки которых были выписаны крупные специалисты. Рядом с древнерусскими коттеджами рылись колодцы-журавли, кои подстраховывали современные скважины с насосами.

По всем правилам военного искусства строились и полигоны для подготовки бойцов «Омеги» — на тот случай, если после сдачи диплома выпускникам таежного университета придется столкнуться с феодальной раздробленностью или — того хуже — оккупацией страны. Дебелые самолеты «русланы», подобно бабам, рожали над полигонами вооружение, технику, горючее, боеприпасы, медикаменты, оборудование и обмундирование, обеспечивая формировавшийся в тайге контингент на полтора десятилетия вперед.

Забегая вперед, скажем, что пройдет время — и запольхают в глухомани недетские зарницы с суровыми десятилетними полковниками во главе бригад, которые будут сажать на «губу» солдат-сверстников за то, что вместо разведанных они вытряхнули из пленного противника информацию о залежах брусники. Или, допустим, за то, что флаг не реял над взятой высотой, а воздушным змеем парил в поднебесье.

Поля в стиле «милитари» сменялись сельхозугодьями. По задумке продуктами питания город должен был обеспечивать себя сам. Воздушным транспортом доставили в тайгу сельхозтехнику, домашний скот, птицу, неприхотливые и морозостойкие семена овощей и злаков. С фруктами, на получение которых уходят годы и годы, курсантов решили не знакомить, справедливо рассудив, что и о картошке до Петра знать не знали — и ничего: трескали репу с кашей и авитаминозом не страдали. Ответственность за снабжение ягодой и дичью возложили на тайгу.

Отдельного слова заслуживает библиотека. Возведенное под нее здание было таким исполинским, что если бы мы повесили внутри Кремлевские куранты или Биг Бен, то они выглядели бы настенными часами в избе-читальне. Какие-нибудь великаны — забреди они в библиотеку — могли бы, не стесняя других посетителей, разложить доску в центре зала и зарубиться в шахматы, используя натуральных коней и слонов. При этом ни одна, с позволения сказать, фигурка не почувствовала бы во время партии ни малейшего дискомфорта, так как имела бы возможность не то что стоять — пастись в клетке часа три-четыре в ожидании хода. Уличные хоккейные коробки — разместить мы их в здании — смотрелись бы детскими настольными играми в ангаре для «боингов». В походе от первого стеллажа к последнему можно было разносить новую обувь или досчитать до цифры, после которой школьник прощается с математикой и знакомится с алгеброй. Двести стре-

мянок закупили для доставания книг с высоты ласточкиного полета перед дождем. Десять пожарных машин отрядили для колокольных высей.

А каких только трудов не навезли в библиотеку! По сравнению с этим храмом знания знаменитое книгохранилище конгресса США казалось деревенской часо-венкой. Древность и редкость доставленных в тайгу экземпляров приводили в трепет. Достаточно сказать, что поздняя копия скрижалей завета была признана малоценной и даже не удостоилась места на полке. Ну как поздняя? Внука Моисеева работа. Глиняные таблички шумеров безо всяких объяснений отправились на гончарный круг, чтобы стать прикроватными горшками для нужд мальцов. С формулировкой «На доработку!» вернули в музей подлинники «Правды Ярославичей» и «Великой хартии вольностей». «Билль о правах» 1791 года дополнили отметкой «см» и употребили на самолетики. Что там — ранний пушкинский черновик, инкрустированный авторскими рисунками и составивший любовный треугольник с глазами самого старика Державина, отправили в топку только потому, что «мы можем себе это позволить».

Параллельно со стройкой таежного города велась совсекретная работа по отбору бесхозных мальчиков 1990 года рождения. Их поставщиками стали переполненные детдома. Отделением будущего цвета нации от пустоцвета занимались бывшие и действующие сотрудники спецслужб. В задачу одних входил поиск здоровых мальчиков, другие под видом янки или макаронников их усыновляли, третьи доставляли мелюзгу на пересыльный пункт, четвертые переправляли ее в тайгу.

Медкарты и родословные кандидатов в карапузовую гвардию изучались под микроскопом. Большое внимание уделялось матерям младенцев. Больные, пьянчужки и наркоманки выбраковывались. Гэбистов интересовали только здоровые жертвы первой любви из числа школьных и вузовских отличниц. Изучались тщательно и отцы. Из допустимых для них недостатков — только половая распушенность и курение не взятяг для поддержания мужского авторитета.

Шерстили и бабушек с дедами. Помимо физического и нравственного здоровья, от них требовались долголетие, преданность универсальным идеалам человеческого общежития, активное участие в советском строительстве и легкий налет юморного кухонного диссидентства.

Пра- и прапра- повезло меньше. Все они, включая женщин, должны были не умереть, а погибнуть. Но и в гибели никакого люфта. Сгорел, утонул, разбился, канул в драке по пьянке или глупости — забудь о карьере для правнука. От пращуров требовалась только геройская смерть: лучше — на поле брани, за убеждения или при спасении людей; хуже — при защите чести, которая делилась на собственную (гордыня, выбраковка) и чужую (самопожертвование, правнук в деле).

Целый год шел отбор профессорско-преподавательских кадров и обслуживающего персонала для таежного града. В поисках самородков от науки, культуры и искусства спецслужбы перетрясли и просеяли всю страну. До испытаний допускались исключительно бессемейные мужчины и вдовцы, не связанные никакими обязательствами и с головой погруженные в профессию. Из боязни огласки об эксперименте им рассказывали лишь в общих чертах. Подробности — только после тщательной проверки и подготовки, которые можно смело сравнить с предполетными за бордюры Солнечной системы. Желающих навсегда порвать с настоящим и послужить высокому делу нашлось немало — поклон покосившимся гражданским институтам. В общем, было из кого выбирать. Удивительно, но многие мужчины, не сумевшие приспособиться к новым российским реалиям, тем не менее оказались вполне профпригодны для предстоящей Сибириады. Важно также отметить, что

проникли в отбор и популярные в новой стране либеральные веяния — на борт принимались не только Гагарины, но и Титовы.

В итоге кадрам, набранным в таежный город, могли позавидовать лучшие гражданские и военные вузы мира. Приведем читателю лишь один диалог, состоявшийся во время работы приемной комиссии.

— Аркадий Степанович, вы успешно прошли испытания, но, к нашему немалому сожалению, мы можем предложить вам только вакансию дворника. Вы согласны мести пыль на улицах?

— Элементарные частицы... Не пыль — элементарные частицы! Откуда такое неуважение к малым сим? Из газово-пылевой среды, да будет вам известно, образовалась наша планетная система.

— Подумайте. Вы же доктор наук. Прекрасный ученый. Светило.

— Увольте! — бросил Аркадий Степанович.

— Простите?..

— Нанимайте, говорю, а от ваших похвал — увольте!

— Но вы даже не сможете влиять на учебный процесс в соответствии с вашей квалификацией. Максимум — бросите пару фраз проходящим мимо школярам, одна из которых будет приветствием.

— Обойдемся без церемоний! — отмахнулся Аркадий Степанович. — Поднятая ладонь — и к делу!

— И все же ваши шансы быть услышанным и понятым практически равны нулю.

— Вы недооцениваете уличные университеты, игнорируете дворовое образование, молодой человек, — улыбнулся Аркадий Степанович. — Да будет вам известно, что ум и сердце поколения, его менталитет, если хотите, во многом закладывается во дворах. Вспомните себя. Нырните в детство и задержите дыхание. Помните свой первый лабораторный опыт? Как лили свинец — а? Как потом влетело за то, что в качестве рудоносных недр был использован аккумулятор соседа? Как кипящий плюмбум прожег вам куртку?.. А помните Найду, которую вы подкармливали всем околотком? Помните, как она ждала и встречала вас? Как вы с друзьями научили ее служить и пророчили в цирковые артисты?.. Потом Найду еще сбила машина.

— Жучку...

— А помните, как вы носили по ней траур? — не унимался экзальтированный доктор. — Как положено — в черной футболке. И это в тридцатиградусную-то жару. Вы заплакали целое море. Вы были безутешны в своем горе и похоронили Жучку под сенью раскудрявого клена с воинскими почестями. Девочки даже сплели венки из одуванчиков. А мальчики смастерили деревянный крест, гвоздем выцарапали на нем месяцы жизни несчастной сучки и пальнули из игрушечных ружей. Что там — вы, лично вы добыли граненый стакан, черный хлеб, водку, соорудили из них мемориальную композицию и водрузили ее на могильный холм по русскому обычаю. А потом были поминки — тризна с печеньем и газировкой...

— Ну-ну, не увлекайтесь, — перебил гэбист.

— А-а, задело, да?! — безжалостно выпалил доктор. — А что вы помните из сидения на уроках? Стояние на Угре, к примеру, помните? Вы тогда в морской бой с соседом зарубились. Наверняка. Вас волновал трехпалубный крейсер, а не окончание трехвекового ига. Вы подумали: «Эка невидаль, стояние на Угре, скука смертная. Стоят, мнутса чего-то». Это ж как талантливо надо было стоять и мяться, чтоб стать вдруг свободными! Нет, вы только попробуйте! Попробуйте!

— Мне встать и помяться? — спросил гэбист.

— Слишком поздно, дорогой вы мой, слишком поздно, — вздохнул Аркадий Степанович. — Вас уже не спасти. А этих детей еще можно. Я привлеку в союзники

Жучек, лапту, хоккей, снеговиков, и мы еще посмотрим, кому будут благоволить недоросли.

— Хорошо... Больше не стану вас мучить. Вот договор на пятнадцать лет. — Работодатель протянул бумагу. — Ознакомьтесь с условиями.

— Это лишнее, все равно надуете, — подмигнул доктор и одним росчерком подмахнул документ. — Ну-с, Рубикон форсирован, а за это не грех и хряпнуть. — Новоиспеченный дворник достал из внутреннего кармана пиджака фляжку с коньяком, приложился к ней и спросил: «Так как, говорите, в тайге насчет Юрьева дня или хоть отпуска?»

— Ответ очевиден.

— Связь с родственниками на время эксперимента, смекаю, тоже не предусмотрена.

— Все верно... Стационарными и переносными радиостанциями мы город, условно, обеспечим, но, сами понимаете, на сестру в Ельце — ведь там, кажется, она у вас живет — вы по ним выйти не сможете.

— И «черный тюльпан», надо полагать, не прилетит за мной, коль сложу я в Сибири свою буйну головушку, — задумчиво, нараспев произнес Аркадий Степанович.

— Не спешите записываться в Ермаки. Подумайте лучше, какие заманчивые перспективы открываются перед вами. Если эксперимент пройдет успешно, ваше имя впишут в учебник по новейшей истории Отечества.

— И светит мне наивысшая степень признания — ненависть школьников. Им ведь придется учить мою биографию, так ведь? — углубил мысль собеседника Аркадий Степанович, глотнул из фляжки и не без мазохизма продолжил: — А скучать мне в учебнике не дадут, это уж как пить дать. Уже вижу, как Петров подрисовал мне усы и совещается с Сидоровым насчет дальнейшего усовершенствования портрета. Петров настаивает на рогах, Сидоров за кольцо в носу. А потом художника вызывают к доске, он мямлит, и Марья Ванна срывается: «Петров, неужели так трудно запомнить годы жизни Бурмистрова?! Это же так просто! Тысяча девятьсот пятьдесят девятый тире две тысячи... две тысячи... Аркадий Степанович Бурмистров не умер, Петров! Такие люди не умирают! В сердцах благодарных потомков они живут вечно!» Спасибо Марье Ванне за ее прелестную забывчивость, а то бы я сейчас стал самым несчастным человеком на земле, начал бы обратный отсчет... А еще предвижу, как именем Аркадия Бурмистрова назовут... нет, нет, не улицу, не площадь и не звезду! Это банально и отдает нафталином. Именем Бурмистрова назовут новый сорт огурцов. Да, да! Морозостойких и неприхотливых! Это за безупречную пятнадцатилетнюю службу в суровой Сибири, если вы не поняли. Мной будут закусывать, меня будут заготавливать впрок, рассол после меня будет возрождать к жизни, — не это ли бессмертие?..

— Восхищаюсь вашим ироничным отношением к себе, — улыбнувшись уголком рта, сказал офицер, — ну да вернемся к делу... Вам может показаться, что мы бросаем участников эксперимента на произвол судьбы. Это не совсем так. Мы намерены продолжительное время поддерживать город с воздуха. Вертолеты будут часто прилетать к вам и сбрасывать грузы, но...

— Но что?

— Но они не будут у вас приземляться.

— Никогда?

— Никогда.

— Даже если пилоты заметят пожар?

— Где?

— Что значит где? Вы смеетесь?

— Ничуть, — ответил офицер. — Где конкретно? В городе? На борту?

- Да вы сам дьявол, — отшатнувшись, произнес доктор, горло его перемело песком. — Ладно, и там, и там. Господи, что я несу. Конечно, и там, и там. Ну?
- Как бы вам помягче сказать, Аркадий Степанович.
- Понятно. Можете не продолжать... Скажите только, как вы после этого будете жить, офицер?
- С вами, доктор. Я подал рапорт о переводе в таежный город. Он подписан. Еще вопросы?
- Никаких.
- Вас разве не интересует гонорар?
- Обижаете.
- И все же знайте, что на каждого жителя города будет заведена круглая сумма. Ей будут распоряжаться лучшие финансисты страны. Через пятнадцать лет вы ни в чем не будете нуждаться...

4

Стояла четвертая зима нулевых годов... Десять четырнадцатилетних были подняты по тревоге спустя час после отбоя. Деревянные кровати без матрасов и подушек мгновенно опустели. Без зевков и потягиваний мальчики стали одеваться. Вковывались быстро. Жизнь в тайге без выходных и каникул, насыщенная учением, трудом и лишениями, до срока сделала их мужчинами. С младенчества у них все было по-взрослому: вместо машинок — машины, вместо пестиков — пистолеты, вместо плюшевых мишек — окрестные шатуны.

Сколько курсанты себя помнили, их программировали на осуществление миссии, примеров которой еще не знала история. Если бы мы спросили ребят о том, что их волнует больше всего на свете, то они бы ничего нам не ответили. Но точно подумали бы о России. Странно, заметит читатель, что подумали бы, а вслух — ни слова. Почему так?

Ну, во-первых, в тайге было просто не принято произносить имя родной страны всуе, как это сейчас делают на Большой земле все, кому не лень. Еще в раннем детстве лесные мальчики с подачи наставников твердо уяснили, что от частого употребления любая святыня замусоливается и утрачивает значимость. Во-вторых (и это самое главное), Россия была для наших юных героев первой любовью — той самой девочкой с первой парты, о чувствах к которой мальчики, как правило, стесняются рассказывать окружающим. До поры до времени стесняются. Очень скоро автор разговорит пацанов на сокровенную для них тему, потому что с молчунами ему будет сложно выполнить поставленную в книге художественную задачу. Вернее, ребята сами разговоятся, так как специально введены в роман в переходном возрасте, в котором, как известно, достаточно искры — и возгорится пламя в виде мучительных или радостных бесед о любви еще не с мамой, но уже с друзьями...

...Десять охотников ушли в ночь. Им поставили задачу добыть дичь для одной из столовых. Дни на это не выделялись. Светлое время суток предназначалось для занятий. Мальчики считали это нормальным, поэтому никто из них не жаловался. Они были уверены, что по-другому нельзя. При этом от них отнюдь не скрывали, что на Большой земле все иначе, что там действуют целые институты по защите прав ребенка и на уроках учитель даже не смеет поднять голос на ученика, не говоря уже о том, чтобы выпороть его или отправить ночью в тайгу за пропитанием.

Подростки, вооруженные автоматами и снайперскими винтовками с ночными прицелами, двигались след в след. Все они были превосходными лыжниками. Об-

ладали недюжинной силой и выносливостью: если кто и вываливал язык на плечо до пересечения линии горизонта, то совсем не от усталости — дразнил бегущего сзади. Скорости тоже развивали приличные: машина бы, конечно, мальчиков обогнала, но при этом шофер непременно включил бы поворотник — из уважения. А уж как ребята стреляли! Худший из них попадал белке минимум в белок глаза. Автор сказал бы — в молоко, если бы после выстрела на мишени можно было разглядеть хоть какую-то конкретику. Однако при вытекании ока никогда не получится глазуньи, всегда — омлет. Мальчики и не подозревали, что по ним, биатлонистам милостью Божьей, уже плачут зимние Олимпиады 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 годов.

К слову, на уроках ребятам рассказывали про Белые игры, пользующиеся большой популярностью на Большой земле. Курсанты с интересом внимали наставникам и диву давались, как такое может быть:

Что на огневых рубежах того же биатлона мишени стоят на месте, а не петляют, как зайцы, не окружают, как волки, не несутся на тебя, как медведи.

Что лыжню пробивают не сами стрелки, а обслуживающий персонал.

Что есть на свете трассы, на которых можно в любой момент перейти с классики на коньковый ход и при этом не застрять между деревьями.

Что десять километров — это уже сама дистанция, а не разминка перед ней.

Что биатлонисты никогда не тащат на спине грузы и не волокут за собой сани с поклажей или хоть колеса от КамАЗов (так называемых раненых).

Что спортсмен, вышедший на официальный старт не в облегающем костюме, а в валенках и полушубке, станет посмешищем.

Что биатлонисты запросто могут себе позволить промазать на огневом рубеже, и за это на них наложат только минутный штраф, а не десятисантиметровый шов от встречи с мишенью.

Что крики людей в лесу — это далеко не всегда облава на зверя.

Что биатлонную славу норвежца Уле Эйнара Бьерндалена, пусть хоть трижды потомка непобедимых викингов, ни один российский спортсмен до сих пор не понизил до славки.

Колонна двигалась молча. Ребята были одеты в белые полушубки, того же цвета ватники, ушанки и унты. Во лбах мальчиков горели шахтерские фонарики. Световые пятнышки, подобно бурундукам, носились друг за другом по сугробам, запрыгивали на кедры и спины впередиидущих, щекотали звезды.

Первым, утапывая снег, шел Толя Ракитянский — серьезный шатен с естественно-научным складом ума, имевший на все собственное мнение и высказывавший его с достоинством, но без превосходства. Бесстрашный — он никогда специально не искушал судьбу, не выискивал адреналина где ни попадя. Отвагой отличался, если так можно сказать, не военной, а гражданской. Словом, он был не из тех, кто со штыком-молодцом добровольно прет на пулю-дуру или вызывается соединить перебитый телефонный провод в собственной челюсти под огнем неприятеля. Он был из тех, кто всходит на эшафот за свои убеждения: от семнадцати до тридцати пяти лет — за политические, от тридцати пяти до глубокой старости — за научные. Изредка Толя поднимал руку, останавливался и прислушивался. Звенья змейки замирали одновременно с ним, не наползая друг на друга.

Для мальчиков тайга не была темным лесом. Они исходили сибирские джунгли вдоль и поперек и умели охотиться как в богатых угодьях, так и там, где с трофеями негусто. Чтобы добраться до участка, выделенного их улице на зиму 2004-го, курсантам предстояло провести в пути около двух часов. Без единого выстрела. Без проверки силков и капканов. Не укради!

У ребят даже не возникало желания присвоить чужое. До определенных границ вокруг них были не охотничьи угодья, а таежный зоопарк, сибирское сафари — смотри, но не трогай. Законы, по которым они жили, были ремиксом библейских заповедей (платиновую «десятку» сократили и подкорректировали в соответствии с возрастом и положением ребят). К примеру, за ненужностью была вычеркнута заповедь «Не прелюбодействуй». Она и без того соблюдалась по определению, так как город населяли исключительно представители мужского пола, среди которых большинство знало о существовании девочек и женщин только из книг и сбрасываемой с вертолетов прессы. Упразднили для бывших детдомовцев и «почтение к отцу и матери», заменив его уважением к старшим. Вакансию Бога из первой заповеди и вовсе оставили открытой, так как город населяли дети разных национальностей; определиться с верой ребятам предстояло позже на курсе «Религии и секты планеты».

В центре колонны шел друг Толи Ракитянского — рыжий и конопатый Илья Буриков. От быстрого движения, помноженного на простуду, в носу его хлюпало совсем по-весеннему. Сопли он, однако, не распускал. Когда накапливалась критическая масса, Илья зажимал пальцем одну ноздрю, после чего нагнетал давление в другой и выстреливал из нее на снег — да так, что непременно образовывалась проталина. Мальчик был идеалистом. На его лице то и дело появлялась отрешенная улыбка, которой он обрамлял собственные мечты. К примеру, когда Илья узнал, что на Большой земле люди при всей своей многочисленности и скученности нередко страдают от одиночества, то решил изобрести нательный датчик, который бы вспыхивал, когда о человеке кто-нибудь скажет или подумает. Не было еще ни прибора, ни даже соображений, как его сделать, а Илья уже думал о модификациях датчика. К примеру, на земле было много известных людей, о которых вспоминают постоянно. Мальчик решил, что приборы на их телах должны менять цвет от кипенно-белого до иссиня-черного — в зависимости от того, лихом их поминают или добром.

Замыкал колонну зеленоглазый брюнет Сережа Огрызкин. Весельчак, остряк и шалун, он имел во всех углах постоянную прописку. Его колени знали вкус гороха лучше языка. Сережина спина была вдоль и поперек исполосована розгами. Экзекуции мальчик переносил терпеливо, как ямщицкая лошадь: мол, секут да секут, дело привычное. Из презрения к боли он устраивал «в своем клетчатом тылу» целые турниры по «крестикам-ноликам», чем вызывал восхищение у сверстников и наставников. И как лошадь после понукания кнутом бежит быстрее, так и Сережа после порки шалил изощреннее, острил заковыристее, смеялся звонче, но не из духа сопротивления, а так — от радости бытия. Сейчас мальчик обдумывал план побега на Большую землю. Сбежать он хотел не от плохой жизни — Сережа любил учителей и товарищей, и они платили ему тем же и даже переплачивали. Причина крылась в другом: не далее как позавчера сорванец вдруг решил, что он уже все знает и умеет и ему срочно надо в Россию, как обоим его прадедам-подросткам в свое время просто необходимо было на фронт.

Четырнадцатилетние охотники вошли в закрепленный за ними квадрат. После их выхода из дома температура понизилась с тридцати пяти до сорока двух градусов, но взмокшим на марше ребятам казалось, что на улице, наоборот, потеплело. Распахни они полушубки, как русскую душу, и на свободу вырвались бы клубы пара, как после съема крышки с кипящего чайника. Жаль, что рассказать о таком уникальном природном явлении, как запотевание тайги, не представляется возможным, но охотники и не думали раскрываться: простуда по глупости или беспечности приравнивалась к членовредительству. Как типичные кипящие чайники, мальчики давали выход пару исключительно через нос. Даже рты не участвовали в газообра-

зовании, так как дыхалки у всех были тренированные и раньше пятнадцатикилометровой отметки не сбивались.

— Рассчитайся! — скомандовал через плечо Ракитянский и открыл счет: — Первый!

— Второй!.. Третий!.. Четвертый!.. Пятый!.. Шестой!.. Седьмой!.. Восьмой!.. Девятый!.. — поочередно откликались звенья, как пушки на поле брани — с дымом из ртов-жерл.

— Где десятый?! — осведомился Ракитянский, а про себя подумал: «Начинается».

В колонне между тем заулыбались, предвкушая веселье.

— Осло! — выдержав паузу, обозначился Огрызкин.

— Чего?

— Тебе на «О»!

— Ну что ты за человек, Огрызкин? — попенял Ракитянский. — Разве нельзя нормально ответить?

— А это нормально, по-твоему, что я разучиваю Пензенскую область? — перевел Огрызкин разговор в нужное ему русло.

— Ну при чем тут Пензенская область?

— При том!.. Берциев из Дагестана — разучивает Дагестан! Железняк с Питера — зубрит его! Я с Алтая, семь лет его постигал, а меня на Пензу! Уж две недели как! Спрашивается, за что?!

— Как пить дать — за дисциплину! — подмигнув шедшему сзади мальчику, бросил Ракитянский. — Видать, не достоин ты малой Родины!

— Допустим! Но почему от этого должны страдать пензяки? — возмутился Огрызкин. — Пускай Алтай и страдает! Он хотя бы привык!

— Так-то тебя там и в глаза не видели! — прыснул кто-то в середине колонны.

— Уже и не узрят! — обиженно ответил Огрызкин. — Разучивал-разучивал, ночи не спал, в деревнях уже мужиков по отчеству знал — и на тебе, переставили!.. И с чего вдруг Пенза? Ладно бы ссылка была! Но по истории же ничего не ссылка! Химки без бинокля видать! С биноклем — часы подводи по Кремлевским курантам! Правее, что ль, заслать не могли?! Уже за Урал лень перевалить!

— Не правее — восточнее, Серьга! — поправил Берциев.

— Тишина на охоте! — призвал к порядку Ракитянский. — Развели балаган!

— Блажу, но хоть тайгу не заражаю! — выдал Огрызкин.

Колонна наострила пунцовые уши, почуяв бомбу не ниже кассетной. Уловил подвох и Ракитянский, бывший старшим группы. Он помнил своего друга с тех незапамятных, по его мнению, времен, когда они оба еще не умели завязывать шнуры, и этот факт их ничуть не смущал.

«По-хорошему надо бы промолчать, — подумал Ракитянский, — ну да бог с ним — пусть посмешит ребят, спать двое суток не придется. Завтра — занятия с семи до десяти, потом — стрельбы ночные».

— Я грю — ору, но хоть тайгу не заражаю, — вяло напомнил о себе Огрызкин уже безо всякой надежды, что старшой зацепится и даст покуражиться.

— Помолчал бы, болтун! — ответил Ракитянский, но в голосе его явно читалось: «Мели уж, Емеля».

— Белочки на Бурикова жалуются! — заявил ободренный Огрызкин. — Грят, сморкается направо и налево, хворь по всей тайге разносит! Эпидемия, грят, на носу!.. На буриковском!

Железняк, шедший перед Буриковым, резко развернулся. Сноп света от шахтерского фонарика ослепил Илью. Он растерялся и не успел избавиться от свисавших из ноздрей и взявшихся шугой параллельных прямых.

— Вещдоки налицо! — констатировал Железняк.

- На лице! — поправил Огрызкин.
- Что предлагаешь? — спросил Железняк.
- А глотает пусть! — ответил лесной санитар. — Есть даже такой закон, чтобы соп-ли глотать!
- А если скует в сосульки? — справился кто-то из мальчиков.
- Тогда — соси, а не сбивай, как с крыши! — деловито распорядился Огрызкин. — Зелень надо при себе оставлять, а то инфекция по всей тайге расползется! Добром прошу, Буря, — законопать ноздри и дыши ртом! А лучше мягким местом! Ты ж уме-ешь через него выдыхать, когда гороха объешься! Значит, где-то должна быть и оп-ция вдоха! Поищи, брат! Поковыряйся, где следует, — не ставь под удар таежную экосистему! Течь в носу — это серьезно! Это вам не то!
- Что не то-то? — прыснул Железняк.
- Не то нетто, не то брутто! — мгновенно срифмовал плут.
- Колонна, схватившись за животы, повалилась в снег. Казалось, тайгу заполни-ли тройки с бубенцами — искрист, звонок и рассыпчат был мальчишеский смех, ни один голос еще не тронула ломка.
- Не помрешь ты своей смертью, Огрызкин!.. Пензу приплел!.. Бурикову нос утер!.. Не то нетто! Ай да Огрызкин!.. — несло из смятых сугробов.
- Огрызкин же с каждой секундой мрачнел...
- Ржете, ржа, — сурово сказал он, когда товарищи отсмеялись. — А там, за леса-ми, люди еле концы с концами сводят. Мрут, как мухи, от коррупции и рака! Сводки забыли?! Я напомню! Первого сентября — захват детей в бесланской школе! А, Бер-циев?! Где ты был, когда наших с тобой детей убивали?
- На учениях, — угрюмо ответил Аслан. — Танки, сам же помнишь, водили.
- Танки он водил, — хмыкнул Огрызкин. — Тебе только велосипед водить на ко-ленях у инструктора. Пасынок гор!
- Глаза Берциева окрасились в мак. Ноздри заработали, как меха в кузне. Он и сам не понял, как оказался напротив обидчика и двумя пальцами взял его за то место, где через год должен был проклюнуться кадык.
- Не могу я уже тут! — прохрипел горшок с ухватом. — В РФ нам надо, ребята! Там жизнь!
- А ну разошлись, — приказал Ракитянский. — В РФ он собрался. Так там тебя и ждут. С карцера не вылазишь. Зад со спиной не заживают, а в РФ намылился. Че молчишь, что сотовые на Большой земле хотел посмотреть? Ну, которые ты в жур-нале видел. Давай же — признайся отряду. А я тебе говорю — та же рация, только шипения нет. Сбросят и нам с вертушек для ознакомления.
- Думаешь, сбросят? — против воли вырвалось у Огрызкина.
- Не сомневайся, — улыбнулся Ракитянский, — отстать не дадут.
- Я не только из-за сотовых в РФ-то, — заоправдывался попавшийся на крючок пройдоха. — Мож, только тридцать процентов, что из-за них.
- Полста один, — пригвоздил Ракитянский. — Контрольный пакет, Сережа. За-будь о побеге. Тебе четырнадцать. Будто не знаешь, что для Большой земли ты еще ребенок. Не дадут тебе там развернуться. У тебя там детство сейчас идет. Это когда за тебя вроде живут. А ты не живешь, ты так — числишься. Тебе ничего не доверяют, оберегают от всего. Ты как комнатное растение, у которого две задачи: радовать глаз и ходить в горшок, а не мимо. Короче, тебя там всерьез не воспримут.
- Еще как воспримут, — не согласился Огрызкин. — Не возрастом, так умом не по годам возьму. Наставники говорили, что по меркам материка мы все — вундеркинды.
- Это ты-то вундеркинд? — улыбнулся Ракитянский.
- Это я-то... Не по нашим критериям, конечно. По материковым.

— Нашел чем гордиться, — произнес Ракитянский. — Лучше быть последним в нашей глуши, чем первым в их цивилизации. Сам же видел, какая там школьная программа. Макака — и та освоит, ни разу на второй год не останется. Даже из-за поведения не останется — читал же, как ведут себя тамошние школяры. На их фоне наша обезьянка пай-девочкой покажется. Но самое страшное, что в ее аттестате даже пятерки будут. И не только по физкультуре с изо. Это и так понятно. С ее-то физической подготовкой. С культом-то импрессионизма в живописи. — Ракитянский вздохнул. — Эх, то ли жалеют учеников, то ли гробят — отсюда не разберешь.

— Убедил! — сказал Огрызкин. — Убедил, что с моей подготовкой я там не пропаду. Вот только доберусь до России — и сразу в аспирантуру... В две!

— А че не в четыре? — произнес Ракитянский и лег на другой галс: — Ладно, с другой стороны зайдем. Вот ты, Серега, самый хитрый из нас. Самый, можно сказать, прожженный. Но помнишь же, что тебе сказал наш психолог? Что ты — само простодушие для Большой земли. Что бесхитростнее тебя никого на материке и не сыщешь. Это здесь ты король лукавцев, всех вокруг пальца обведешь, а там ты — дитя неразумное, пропадешь зазря, — произнес Ракитянский и обратился ко всем: — Братья, про простодушие ко всем относится! Слышали же, как наставники все время говорят, что мы чисто дети малые! Вроде без укоризны говорят, а в глазах — то ли тоска, то ли жалость! Это плохой знак! Если мы дети, значит, мы не взрослые! А если мы не взрослые, значит, еще не доросли до Большой земли! Простодушие отодвигает нас от встречи с Россией!

— Я вот не согласен, что мы простодушные, — подключился Буриков.

— Не согласен он, — встрял Огрызкин. — На конечности свои лучше глянь. Унты где?

— Как?! — всплеснув руками, воскликнул Буриков и бросил взгляд на ноги. — На месте вроде.

— То-то же, — ощерился прохвост. — Простодушный и есть. Ты че ж сам не чуешь, что у тебя ходули в тепле? Нет, нельзя тебе в Россию — не то что мне... Кстати, может, в РФ все не так уж плохо, — а, ребят? Мож, специально на страну наговаривают, чтоб подольше нас тут держать. Ну, типа, в России все очень серьезно, и вы, ну то есть мы, еще не готовы для большого дела.

— Ты думаешь, врут нам про Большую землю наставники и пресса? — вмешался Железняк. — Ну, про Беслан, про взрывы домов в Волгодонске, про нищету, про все.

— Я не сказал, что врут, — произнес Огрызкин. — Но наверняка факты нам подадут уже в переработанном виде. Плохое специально преувеличивают, чтобы мы готовились к самому страшному, хорошее преуменьшают, чтоб не расслаблялись мы. Видели же, что в газетах и журналах, которые нам с воздуха сбрасывают, нет фото людей. Это, думаю, потому, что по лицам можно многое понять. Так вот кто после этого даст гарантию, что рука редактора еще и по текстам не прошла? Зуб даю — плохое точно преувеличивают. Ну, как в сказках. Вот наверняка у Змей Горыныча одна голова, если он не урод с Кунсткамеры. Но ему еще две привинтили, чтоб ты, так сказать, проникся. То же самое с Бесланом. Наверняка бандиты захватили десантный полк, а не школу. Не верю я, что школу-то. Особенно — горцы. Они ищут равного, сильнее себя даже. Вспомните Лермонтова, «дикие» дивизии. Но нам всё специально преувеличили, усложнили как бы задачу, которую надо было бы решать, если б мы там были.

— Почему ее усложнили за счет мужчин моего народа? — с болью произнес Берциев.

— Потому что ты сын Кавказа, — серьезно ответил Огрызкин. — Ты это пятно (пусть и придуманное, понарошечное) вынесешь, а я — нет. Хоть и алтайский сибиряк, а не вынесу. Я с ума сойду, Аслан, и всех вас перестреляю. И всех детей перестре-

ляю, и женщин, и стариков, чтоб не жили на такой земле... Там же не горцы, Аслан, были, если с детьми правда. Там отродье. Если с детьми правда, то нелюдей — я просто уверен — кое-как и наскребли-то для одного раза. Весь Кавказ с лупой облазали, в каждое ущелье заглянули. И не хватило, Аслан! Недостача все равно! Добывали наемниками отовсюду.

— Лучше б нас захватили, — буркнул Берциев.

— Это еще бы кто кого, — произнес Ракитянский и прервал привал: — Строиться! Огрызкин — первый! Я — замыкающий!.

Мороз лютовал... То тут, то там одиночными и очередями стреляли кедры, словно за ними держали оборону партизаны. На многих деревьях, мимо которых проходили ребята, имелись вмятины от ударов колотом (что-то вроде деревянного молотка-киянки с баскетбольный рост, с помощью которого сбиваются с макушек созревшие шишки). Технология добычи такая: ручка втыкается в землю, и три человека принимаются бить по кедру. Один из мужиков стоит спиной к стволу и направляет колот, двое других с оттяжкой молотят по дереву, словно забивая гвоздь, шляпа которого размером с ковбойскую. Дубасят по кедру непрерывно, чтобы он завибрировал и сбросил орех. Наверх при этом никто не смотрит: можно получить по лбу. Все только слушают. Сорвавшиеся с макушки шишки заявят о себе свистом. Развяжешь рот, не успеешь укрыться под набалдашником колота — набьешь себе то, за чем пожаловал, соберешь урожай еще и с головы. Таежники знают истинную цену ореха. Он баснословно дорог даже от производителя. Походи-ка по горам с тяжеленным молотком. Полазай-ка в «когтях» электрика на макушки кедров за не дошедшей до кондиции шишкой. Покрути-ка утыканный гвоздями барабан-еж, отделяя зерна от чешуи. Попросеивай-ка через сито орешки, избавляя их от шелухи. Поотвеивай-ка их, посуши-ка, попрячься-ка со своим промышленным, по мнению инспекторов, объемом в полтора-два мешка «чистого» на выездах из тайги — узнаешь тогда, че почем.

Наши четырнадцатилетние герои познали адов труд по сбору ореха в десять лет. Поначалу они не могли сбить и трех шишек с кедра. Все больше им приходилось лазить на макушки деревьев и сшибать урожай длинными палками-удочками. Производительность труда была невысокой, как и сами ребята. Несмотря на серьезную, до насупленных бровей Вия физподготовку (да простит мне читатель это пышное восточное сравнение), дело не ладилось. Но осенью 2004-го, буквально за несколько месяцев до описываемых в книге событий, неожиданно наступил прорыв. Имя ему — акселерация. Мальчики вдруг вытянулись, раздались в плечах, и колот, бывший для них как бы трехмерной прописной «Т», словно усох до строчной буквы.

Ребята расслабились при входе в свой промысловый квадрат. Тому, что территория принадлежала мальчикам с Зимнего конца города, не было никаких свидетельств в виде флажков, зарубок или щитов с надписями. Люди и так знали рубежи своих участков. Что касается животных, то границы для них обозначались по звериному — жидкими и твердыми отправлениями. Во время пребывания в тайге высохшие, припорошенные и разложившиеся метки непрестанно подновлялись, как подкрашиваются выцветшие и облупившиеся заборы. Это было верхом непрофессионализма, так как людская вонь, как известно, отпугивает дичь. Прекрасно знали об этом и мальчики, но тем не менее уже второй год продолжали упорно проверять мочекаловую гипотезу Ленки Свиблова с Летнего конца города. Малец предположил, что зверье должно со временем привыкнуть и привыкнуть к квинт-эссенции человеческого естества (пряма так и выразился, злодей), а там, мол, не только с добычей проблем не будет — недалеко и до приручения отдельных видов.

Дерзкая эта мысль подкупила всех своей простотой, и весь мальчишеский мир принялся создавать эффект присутствия людей где только можно.

Пока гипотеза о приручении видов проверялась, таежному городу ничего другого не оставалось, как, помимо домашнего, держать дикий скот. Условно держать, конечно. Никаких загонов, стаек, ферм не было — фауна бродила на воле. И все же было во всем этом много от первобытного животноводства. Зверей не только убивали. Их и подкармливали. И даже не подкармливали — кормили на убой. Причем на убой больше в переносном, чем в прямом смысле. Шведские столы буквально ломались от сена, овса, отрубей и отходов. Несмотря на это, одомашнивание почти не продвигалось: волки не превращались в собак, рыси не трансформировались в кошек, зайцы не эволюционировали в кроликов. Атомарные успехи зимних и весенних подкормочных кампаний перечеркивались летом и осенью, когда пищи для хищников и травоядных в тайге имелось вдосталь. Невдомек было курсантам, что должны были пройти не годы, а тысячелетия, чтобы волк лег возле дома двуногого существа и отпел лесную глушь в своем сердце.

Мальчишеские неудачи только радовали наставников. Тут была суровая метода. Ребят учили безответной любви. Не жди взаимности ни от зверей, ни от людей, терпеливо делай свое дело изо дня в день, из года в год — вот доблесть, достойная древних. И строились для голодающих птиц социальные кафешки под открытым небом, где кедровые становились официантами и получали на кормушки-подносы чаевые в виде помета соек и фазанов. И возводились для недоедающих жвачных крытые столовки, в которых подавались разнотравные сухпайки, посыпанные серо-белыми лизунцовыми комками. И закатывались в зимние берлоги бочонки с щедрыми пчелиными взятками, чтобы у таежных хозяев, взявших на лапу после пробуждения, не случилось весеннего обострения.

У мальчиков все шло гладко. Скоро они должны были разбрестись по участку, как грибники, и начать проверку силков, ловушек и капканов с мертвыми и живыми зверьками, укутанными в несбыточные грезы женщин северных широт. В ребятах пробудился охотничий азарт. Сердцебиения участились. Дыхания сперлись. В глотках пересохло. Мальчики заоблизывались, и их губы стали трескаться и крошечить, как лед под ливонскими рыцарями в сорок втором тыща двести.

Азарт приглушил инстинкт самосохранения. Если нижние ярусы тайги ребята еще хоть как-то контролировали, то верхние стали игнорировать. Это была роскошь, позволительная степнякам, имеющим дело только с первым этажом природы. Степнякам — да, но никак не таежникам. Кто не знал — сибирские леса подметают небо. Кто забыл — вечнозеленые макушки венчают не игрушечные, а настоящие звезды.

Две грациозных рыси — ушные кисточки которых, казалось, были просто созданы для того, чтобы перед эфиром ласкать лики телеведущих, — передвигались по ветвяным мостам густой тайги. Размеры кошек поражали. Львы? Холодно. Тигры? Теплее. Барсы? Горячо. Природа удостоила рысью чету высокой чести — первой водрузить флаг на вершине эволюции своего вида.

Хищники создали пару на время гона и охотились вместе уже около недели. Самка была знакома с человеком — точнее, с его прямоходящим летним вариантом, малопривлекательным для нападения сверху. А вот зимняя версия людей в плане охоты устраивала кошку вполне. Ее любовника тоже. Спины идущих лыжников так аппетитно сгибались, представляли собой такие хорошие площадки для приземления, что просто нельзя было не прельститься. Вдобавок к этому спортивная горбатость визуально уменьшала мальчиков, что немаловажно для хищников средних размеров. В общем, дичь приняла решение десантироваться на потерявших

бдительность охотников. Рыси обогнали мальчишеский отряд, выбрали место для нападения и стали ждать приближения ребят. Самка гримасничала. Ее бойфренд пришпоривал себя куцым хвостом...

«Воздух!» — распорол безмолвие крик арьергардного Ракитянского.

С неба падали логотипы сибирского филиала фирмы «Пума». Не прошло и двух секунд после синхронного прыжка рысей, как два мальчика стали проседать, словно мартовский снег, складываться сверху вниз, подобно взорванным башням-близнецам в Нью-Йорке. Два клубка с рычанием и визгом закатались по снегу. Первый удар хищников приняли на себя травоядные: кролики на головах и овцы на туловищах. Шкуры мертвых спасали шкуры живых.

Нельзя сказать, что два мальчика, которые подверглись нападению, отличались бесстрашием. Храбреца ведь только тогда можно назвать храбрецом, когда в его окружении есть антиподы. Однако трусов среди ребят не водилось. Градус отваги был у всех высокий и примерно одинаковый: у кого плюс тридцать два по шкале мужества, у кого — плюс тридцать четыре. Короче, жара да жара. Между тем для адекватных, быстрых и решительных действий в минуты смертельной опасности все-таки необходимо испытывать боязнь (не путать с ужасом), чтобы в кровь выбросился адреналин. Этого требует инстинкт самосохранения, которым мальчишки обделены не были. Они чувствовали, если так можно сказать, линиялый страх. Их состояние было сродни волнению студента перед сессией: убить не убьют, но могут отчислить.

Это автор еще и к тому, что в пылу сражения в ход пошли стальные шпиргалки. Они были во многом похожи на обычные. Ничего лишнего. Отточенная, помещающаяся в кулак суть. Возможность вытащить из унтов ножи-бабочки и раскрыть их крылья представилась Диме Агафонову и Юре Свинцову довольно скоро. Им требовалось всего-ничего — выжить в первую минуту. И мороз предоставил мальчикам такую возможность. Именно он заставил ребят поднять воротники полушубков еще при выходе из дома. Броня, прикрывавшая шею, не позволила рысям мгновенно добраться до сонных артерий. Такой расклад обескуражил и обозлил кошек. Привыкшие быстро решать исход битвы, они потеряли контроль над собой и стали рвать и метать не там, где следовало. Их пасти постепенно забивались шерстью и работали уже не так проворно, как им бы хотелось.

Пролилась первая кровь. Поляна окрасилась в цвета польского флага, Гражданской нашей войны. Мальчики ничуть не уступали кошкам в дикости. Они рыхлили бока рысей ножами, не подозревая, что в соцсетях, должных появиться в обозримом будущем, за такое отношение к барсам и Барсикам будут предавать анафеме и распинать на виртуальных стенах вниз головой. Охотники дырявили кошек, как воздушные шары после праздника, чтобы из них вышли все — девятью два — восемнадцать их жизней. Рыси не оставались в долгу и расковыривали тела мальчиков лапами-капарульками. Это были достойные соперники. Колотые и резаные раны росли с обеих сторон, но таежные ратоборцы не ослабевали. Их битва отдавала компьютерной игрой «Mortal Combat»: вроде видно, как у соперников укорачиваются жизненные линии внизу монитора, но это никак не отражается на мощи ударов; тот, кому следующая вертушка грозит нокаутом, бьет так же сильно, как и его соперник с девяностопятипроцентным запасом энергии. Жизни, как и полагается серьезным лотам, продавались по баснословной цене.

С первых секунд боя сражавшиеся попали в прицел автоматов и винтовок. Щелчки затворов. Пальцы на курках. Задержка дыхания.

— Не стрелять! — крик Ракитянского.

Это был не то чтобы неверный приказ в данных обстоятельствах — недокрученный, скажем. Толина ошибка уходила корнями в его боевую подготовку. Она

была слишком хорошей. Мальчик так часто слышал стрельбу на полигонах, что привык к ней и переносил свою привычку на окружающую среду. Действительно, по слипшимся клубкам бойцов палить было нельзя — высока вероятность попадания в человека. Однако есть же еще и воздух. Звуки выстрелов обратили бы рысей в бегство. Но мальчики не умели бить в «молоко». Когда Ракитянский запретил им открывать огонь, ребята замерли и стали напоминать столбы ЛЭП: при отсутствии движения — высокое напряжение в соединявших их взглядах-проводах. Долго так продолжаться не могло. Мальчикам требовалась разрядка.

— Буриков! — выкрик Ракитянского.

— Я!

— Оружие наземь! Пошел!

— Есть!

— Огрызкин!

— Ослик! — брякнул Сережа, верный себе в любых обстоятельствах.

— Убью!

— Иа!

— Пшел!

— Есть!

Катавшиеся по земле комки из мяса и тряпок впитали в себя дополнительных бойцов. Не прошло и пяти секунд, как клубки развязались — отскочили рыси. Это было роковой ошибкой кошачьей четы. Как к ленинскому Мавзолею, потянулись к рысям автоматные очереди. Паломничество пуль не давало кошкам упасть. Плотный огневой хадж со всех сторон заставлял их извиваться и корчиться. С полминуты они казались живее всех живых...

Хлопьями повалил снег. Охотники сгрудились вокруг раненого Агафонова. У него был вспорот живот. Кишки сосисочно-сардельковой лентой вывалились наружу.

— Дима! — стоя на коленях, тряс Ракитянский впавшего в забытие товарища. — Агафонов!

Залепанный кровью мальчик открыл глаза.

— Зябну... Пить, — пролепетал он.

— Полушубок! Воду! — повернувшись, отдал команды Ракитянский стоявшим рядом товарищам и снова к раненому: — Димка! Не отключайся! Говори со мной!

— Живо-о-от, — простонал Агафонов. — Горит там... Потушите, братцы. Снегом хоть.

— Буриков, промедол! — бросил через плечо Ракитянский. — Две ампулы! Быстро!

— Я вколю, — сказал Берциев и стал рыться в вещмешке. — Буриков это — отошел.

— Как отошел? — опешил Ракитянский. — Ведь вот же живым видел.

— Да не в том смысле, — успокоил Берциев. — Глаз просто пошел искать.

— Чего?

— Глаз, говорю, ищет, — повторил Берциев.

— Какой еще глаз?!

— Свой, какой.

— Да ты в своем уме?! — вскричал Ракитянский. — Какой, к черту, глаз?!

— Да правый вроде, — пожав плечами, буднично ответил Берциев, как будто потерянный глаз — это что-то вроде посеянных ключей.

Ракитянский хуком справа расположил Берциева по горизонтали.

— За что, кэп? — приложив снег к рассеченной губе, спросил Аслан. — Думаешь, я ему не говорил, что глаз он не найдет, бесполезно это. Ладно бы выпал — вытек же. Одно слово — лужица. А теперь уж наверняка льдом взялась, мороз-то вон какой, —

взялся размышлять Берциев. — Или помочь ему поискать? — встрепенулся он. — Так ты скажи, че сразу драться-то?

— Встать! — бросил Ракитянский и на всю тайгу — Рассчитайсь! Всех касается! Одноглазые, лежащие включительно!

Ракитянский знал, что Агафонову крышка. Знали это и другие мальчики, и сам Агафонов. После того как раненому вкололи обезболивающее и ему стало легче, с ребятами стали твориться странные вещи. Они профессионально замедлили время, чтобы как можно дольше побыть с товарищем при жизни, как можно лучше запомнить его. Секунды были превращены не в тысячелетия — в эпохи. А у некоторых — в целые эры. Никакого чуда. С детства мальчиков учили, что при желании каждый может проводить операции по ускорению или замедлению времени. Науку о часах постигали с азов: хочешь убыстрить бег стрелок — не смотри на них, найди себе интересное занятие; желаешь обратного — не своди глаз с ходиков, выбери себе работу не по душе — желательно однообразную. Постепенно программа по управлению временем усложнялась, и к четырнадцати годам курсанты уже довольно хорошо умели водить time-машину.

Читатель, наверное, сейчас содрогнется, но чтобы как можно дольше побыть с товарищем при жизни, как можно лучше запечатлеть его в памяти — Агафонову целенаправленно стали желать скорейшей смерти. И не как человеку, которого любишь, на страдания которого невозможно смотреть. Для замедления времени любовь не годилась совсем — с ней и оглянуться не успеешь, как надо будет закрывать другу глаза.

Требовалось чувство прямо противоположное — ненависть. И курсанты не дрогнули, вспыхнули ей один за другим. Они собрали в кучу немудреные грехи Агафонова и раздули эти угольки в пионерские костры. Потом приписали ему и чужие. В итоге как бы получилось так, что пусть и не он двинул немецко-фашистские полчища на Советы, но мог бы вполне. Не он прибивал Христа к кресту, но был бы не прочь поучаствовать в распятии. Не он являлся инициатором ледникового периода, но заготовил бы мамонтов впрок, представься ему такая возможность.

В общем, Диме желали смерти как предателю и подонку. Наследники так не ждут кончины богатого родственника, мать так не жаждет того света для человека, который надругался над ее дочерью, как желали смерти раненому. Сдохни, тварь, — как бы просили мальчишки. И тварь, соответственно, все жила и жила. Чего курсанты и добивались.

— Толь, не увижу Россию-то, — обратился Агафонов к склонившемуся над ним Ракитянскому.

— Ты и так в ней, — ответил Ракитянский где-то через век.

— Настоящую бы, — попросил раненый, выждав примерно тысячу лет.

— На картинках же видел, — эры через полторы произнес Ракитянский.

— Так то — на картинках, — выпалил Агафонов почти сразу, лет через сорок, и припух мезозоя на два. — Толя, почему я?

— Согнулся больше других, — протомил Ракитянский товарища не больше века, правда, каменного.

— Глупо все, — молвил Агафонов всего спустя зиму, только ядерную.

Глаза Ракитянского увлажнились. Увидев это, время сорвалось с цепи и больше не лечило.

— У тебя глаза затопило, — сказал раненый. — Снежинки же тают?

— Они, — твердо ответил Ракитянский, чтобы Агафонов не сомневался, что он жил и умрет среди настоящих, не знающих слабости мужчин. — Не глаза у меня сейчас — угли. Топят снег на раз. Ты же видишь их цвет.

— Ага, красные, а зрачок черный, — теперь вполне успокоился раненый. — А мне поделом, Толя. Я спину врагу показал.

— Ты просто сильно согнулся, когда шел! Они ж сверху напали!

— Я показал спину, — отрезал Агафонов.

Раненый собрал последние силы для контрольного спича.

— Братья, ну не все же доходят до Берлина! — пережив судорогу, прокричал он не словно, а натурально оправдываясь. — Ну не всем же везет! Ну кто-то ж и под Брянском должен кануть! И если б в наступлении — при отходе! Под проклятия женщин и детей! И не от пули — от солнечного удара! Пилотки ж не досталось!.. Все — кончаюсь, братцы! Без меня теперь! Сами!

Агафонов дернулся, улыбнулся и вытянулся...

— Шапки долой! — бросил Огрызкин.

Не прошло и минуты, как начались огневые проводы товарища в последний путь, расстрел несправедливого неба. Звезды падали, слетали с него, как с погон провинившихся офицеров. Досталось и земле. Окурки пуль — стреляные гильзы — сотнями тушились в ее белоснежной ночнушке, как в пепельнице. На кончиках дул распускались оранжевые цветы. Пальба продолжалась до тех пор, пока автоматные магазины не опустели, как их советские тезки. Ребята задыхались от задавленных рыданий. Агафонов стал двести восемьдесят шестым мальчиком, оплатившим собой проживание товарищей в одном из самых красивых и суровых мест планеты. Впереди еще было много других авансов, плат, переплат...

— Не раскисать, — сказал Ракитянский, когда стрельба стихла. — Железняк, Берциев, Холодцов, Кувардин, готовьте носилки! Пройдемся с Димкой в последний раз! Огрызкин, распрями брата, пока не заоченел! Никаких сгибов чтоб — похороны впереди! Чтоб был прямой, как подлежащее, а то оба сказуемым станете! Димка не первый и не последний — во всех концах города потери были. Привыкнуть бы надо, да не получается... А помните, как он мед раздобыл, когда нас еды лишили?! Красть нельзя — в тайгу сбежал, несмотря на запрет. У леса украл, светлая душа. У пчел, чтоб нас подкормить. Да и сам напоролся от пуза! Ушел Димка, а прикатился Колобок. Глаз не видать — заплыли. «От жира, — говорит, — вспухли», — и улыбается. А жир капает, капает, течет по щекам. Как добрался — не знаю. Не видел же. Впотьмах средь бела дня возвращался. — Голос Ракитянского сорвался. — Любил потому что нас, жалел!.. Че с глазом-то, Ильюха?

— А нет его, да и Бог с ним, правый же, — сняв бинт с впадины, ответил Буриков так, словно правый глаз — это что-то вроде аппендикса, который вырезают, и ничего. — Флибустьером теперь буду, как в книжках. А Диму не забудем. Попрошу, чтоб его Орловщину мне отдали. В нагрузку...

5

Прошло три года...

Жизнь на Большой земле перестала быть дерганой. Ее нельзя было назвать ни хорошей, ни плохой, а так — подготовительной то ли к хорошему, то ли к плохому. Люди и государство (да простят мне читатели это разделение) уже могли тратить, но делали это по мелочам, больше же откладывали на что-то серьезное — то ли на осуществление заветных желаний, то ли на решение грандиозных проблем. Ни в одной сфере не виделось особого прогресса, но и регресса, надо отдать должное нулевым, тоже не наблюдалось. Все как будто накапливались в материальном и духовном плане, а для чего — никто не знал.

В стране завелись деньги. Еще не прямо, но — слава богу — уже хотя бы косвенно об этом можно было судить по выросшим в разы взяткам и откатам — тоже ведь показатель, а не тоже мне, как может подуматься сперва. Россия смахивала на барыню, которая питалась нефтегазовыми плюшками, жирнела, становилась все более неповоротливой и убаюкивала себя тем, что в тяжелые времена организм будет питаться целлюлитными отложениями. Движение свелось почти на ноль.

Что касается таежного града, то он был переведен на самообеспечение в конце 2006 года. Заморозка финансирования, после которой полностью прекратились воздушные поставки грузов с Большой земли, несказанно обрадовала лесных жителей — особенно юных. И дело было не только в гордости, что, мол, мы теперь сами с усами.

Главная причина крылась в том, что надежные, как слепоглухонемота, пилоты наряду с гумпомощью перестали сбрасывать на город самые настоящие бумажные деньги, которыми в тайге откровенно брезговали. Такое отношение к родному рублю (валюту не скидывали) объяснялось просто. В лесной республике денежные купюры использовались не для операций по купле-продаже, а в качестве туалетной бумаги. Ежемесячно на город сваливалось целое состояние. Кабы такая наличность пару раз осталась на Большой земле и поступила в обращение — произошла бы девальвация.

Многолетние финансовые бомбежки достигли цели. Если у кого-то из курсантов и была генетическая предрасположенность к взяточничеству, заложенная в русском коде с незапамятных времен, то уже к середине таежного курса от нее не осталось и хромосомы на хромосоме. Деньги у юношей стали стойко ассоциироваться с экскрементами. При этом иностранная валюта презиралась больше отечественной, так как не годилась даже на туалетную бумагу (ну, раз не сбрасывают, значит, не годится — такой парни сделали вывод).

Эх, поглазеть бы на человека, который попытался бы в будущем купить лесных выпускников. Их, пропустивших через зад миллиарды. Их, истративших на гигиену вроде бы только тела (а на поверку и души) такие капиталы, что увидь эти цифры дядя Скрудж, крикнул бы сразу.

Жесткость купюр, мягко говоря, не добавляла им популярности. Они ведь напоминали отнюдь не лопухи, пользоваться которыми (как и обычной бумагой) строго запрещалось. Банкноты, выпущенные на спецстанках, зачищали зады, как наждачка. Так курсантов учили еще и финансовой экономии на предстоящей им государственной службе — лишний раз ведь не проведешь между ляжек рубанком, себе дороже. В общем, десять лет к ряду проходы горели крапивным жаром вне зависимости от показателей в учебе и поведении. Поносы становились карой небесной, запоры — благословением господним.

Отлучение от материковой титьки пошло таежному граду только на пользу. По правде сказать, сосок давно надо было намазать горчицей, так как таежная сечь уже с года эдак 1998-го вполне могла сама себя прокормить. Нет, безусловно, случались времена, когда юным колонистам приходилось терпеть большую нужду. Но в этом, извините, они были виноваты сами. Видите ли, им до последнего не хотелось использовать для выхода из полной задницы те самые пресловутые дотации, о которых автор подробно поведал читателю в предыдущих абзацах. Ну да жизнь — штука жестокая. Научила она курсантов, что с большой нуждой шутики плохи: хочешь оправиться — используй все подручные средства.

И все было бы в городе просто замечательно, если бы не корреспонденция из России. Начиная с 2005 года и вплоть до закрытия воздушного пути вертолеты из месяца в месяц сбрасывали на головы лесных жителей газеты и журналы, из которых становилось ясно, что криз миновал, страна вышла из комы и сменила постель-

ный режим на авторитарный в либерально-демократическую крапинку. Казалось бы, таежные поселенцы должны были радоваться если уж не новому государственно-политическому строю, то, по крайней мере, переводу России из реанимации в общую палату. Однако обнадеживающие сводки с материка вызывали не эйфорию, а тревогу, которая со временем переросла в противостояние между колонистами.

Камнем преткновения послужил вопрос о дальнейшем пути развития города. Там и сям стали раздаваться голоса, что угроза завоевания и распада России миновала, следовательно, необходимо покончить с военщиной и сделать ставку на подготовку юношей прежде всего по гражданским специальностям. Курс на реформы не встретил поддержки большинства наставников и курсантов. Многочисленным тем, которых называют «ястребами», раз за разом удавалось затыкать клювы малочисленным тем, коих именуют «голубями». Многогочие в конфронтации поставило пришедшее на имя мэра в октябре 2006-го официальное письмо из Кремля, который был, конечно, осведомлен о существовании лесной республики.

В тексте говорилось, что Россия вступила в новый исторический период, в котором возрастает потребность в высококвалифицированных рабочих, крестьянах, менеджерах, инженерах, ученых, программистах, строителях, врачах, педагогах, журналистах, экономистах (?), юристах (?), в связи с чем лесному городу настоятельно рекомендуется переориентироваться на подготовку кадров по гражданским специальностям. А что до армии и ВПК, то, мол, не волнуйтесь — их переформатированием мы, материковые, уже активно занимаемся.

В конце письма стояли подпись и печать человека, рекомендации которого на Большой земле уже несколько лет приравнивались к приказам. Но откуда лесному мэру было знать, что приказам-то. Он ведь вышел не из верноподданнических нулевых, а из самостийных 90-х, в которых вертикаль власти валялась пьяной по горизонтали и политического веса не имела. В общем, градоначальник по старой памяти рассудил, что мало ли что они там, наверху, решили, а нам, таежникам, следует продолжать жить своим умом и резких движений не делать, тем более что кардинальные преобразования неминуемо приведут к дестабилизации ситуации в городе.

И мэр принял соломоново решение. Он не стал убирать из программы военные дисциплины и даже не сократил часы на их изучение. Градоначальник просто добавил время на занятия по «мирным» предметам (это было сделано за счет увеличения и без того длинного учебного дня до полуночи).

— Сон для слабаков, не кисейных барышень готовим, — мысленно успокаивал себя градоначальник, когда урезал шестичасовую, надо полагать, летаргию до ньютоновских четырех часов. — Скажите спасибо, что я не поклонник Томаса Джефферсона. Тот, говорят, спал не более двух часов в сутки, и ничего... Итак, теперь подъем в 05:00. С шести утра и до полуночи — непрерывная учеба или работа, после чего час на подготовку к завтрашнему дню и отбой. Личное время после 20:00, соответственно, отменяется. Ничего личного — учебно-производственная необходимость. Отдых — смена деятельности. Завтрак, обед, ужин — на ходу, как в развитых странах.

И все же на один кардинальный шаг мэр пошел, чтобы хотя бы формально выполнить спущенные сверху рекомендации. Утро (с 06:00 до 09:00), когда курсанты еще наполовину спят, и вечер (с 18:00 до 00:00), когда они уже порядком устают, были отданы на откуп военным преподавателям. Гражданским же педагогам выделили отрезок с 09:00 до 18:00 — лучшее время для подачи и восприятия информации. Естественно, «ястребы» сразу заявили о явной дискриминации. И им было плевать, что в новом расписании на милитаризацию города отведено ровно столько же времени, сколько и на демилитаризацию — девять часов в сутки. По тайге прокатились митинги и манифестации.

— Измена! — кричали «ястребы». — В Кремле — предатели! Сдали страну, теперь и нас хотят!

— Если б измена, нас бы уже разбомбили с воздуха! — отвечали им «голуби». — В Кремле — патриоты! Отстояли страну, надо слушать их!

— Один черт — ситуация нестабильная, все может в момент измениться! — не сдавались «ястребы». — Продолжаем точить мечи!

— Все будет нормально, паникеры! — успокаивали товарищей «голуби». — Даешь перековку мечей на орала!

Страсти бушевали две недели, но до драки дело не дошло, так как город населяли умные и интеллигентные люди, которые прекрасно понимали, к чему может привести революция на затерянном во времени и пространстве космическом корабле. Баталии на улицах и площадях перекинулись в учебные классы и аудитории. Развернулась нешуточная борьба за умы и сердца юношей. Преподаватели удесятирили энергию на занятиях. И тут часто доходило до смешного. Какой-нибудь ученый-астроном, будучи ярым «ястребом» по убеждениям, так вдохновенно рассказывал о Млечном Пути, что даже до беспамятства влюбленные в ратное дело курсанты начинали мечтать совсем не о тех звездах, что прикручивают к погонам и вешают на грудь.

Не будет преувеличением сказать, что город переживал необычайный взлет военной, научной, культурной, общественно-политической и религиозно-философской мысли. Самолетные нагрузки по учебным дисциплинам, светившие выходом в небо, сменились ракетными перегрузками, за которыми темнел уже космос. Разговоры на бытовые и личные темы, процент которых в тайге и так всегда был низким (в переводе на выборы в Госдуму непроходным), окончательно и бесповоротно сошли на нет. Речи о глобальном и высоком целиком и полностью вытеснили внесистемный оппозиционный треп навроде «как бы пожрать, соснуть, погулять».

Юноши рвались в бой. Они горели, и местами так даже опасно: не как олимпийский огонь, Жанна д'Арк или Джордано Бруно — как бараки с пионерами, Хиросима и Нагасаки. Что удивительно — десять тысяч (без многого, потери) семнадцатилетних максималистов, загруженных учебой и работой от восхода до заката, как-то даже умудрялись возводить БАМы и Беломорканалы. По ночам, а когда еще? И пусть строительство сих замков велось исключительно во сне, пусть они разрушались с пробуждением, пусть от мальчишеских проектов содрогалась любящая точность в расчетах архитектура, зато каждую следующую ночь на руинах вновь появлялись рабочие с кирпичами из воздуха, готовые начать все с фундамента.

После перезагрузки в образовательном процессе юноши увидели, что главным делом жизни может быть не только война. Они с дымком, как пиво, открывали для себя мир — гуманитарный, естественно-научный и просто. Ну, не то чтобы прямо впервые, а по-новому, что ли. Откуда ни возьмись явились физики и лирики. Какие-то пииты рифмовали родину со смородиной. Какие-то художники срисовывали воду с картин Айвазовского, а химики смешивали одни вещества с другими, чтобы получить трети.

Мушкетерский дух проснулся в юношестве. Короче, дрались. Дуэли на кулаках, ножах, нунчаках, пистолетах, автоматах, гранатометах, гаубицах, БТРах и других вооружениях и техниках стали обычным делом. И если б из-за женщин! Нет, все из-за какой-нибудь ерунды типа балканского вопроса. Сербы были бы удивлены, узнав, что где-то в русской глубинке Ваня Махотин вызвал и застрелил Алешу Куралева за один лишь намек на то, что в 1999-м Слободан дал слабину. Один принял смерть, другой получил год таежной тюрьмы за Милошевича — как мило. Честь была в чести. Дуэли, как и в девятнадцатом веке, официально запрещались, но негласно одобрялись.

Вот такие они были, наши сиротки. Средний воспитанник дремучего леса представлял собой гремучую смесь из французского философа-вольтерьянца со всей его просвещенностью и свободомыслием и греческого воина-спартанца, долг которого был неразрывно связан с дисциплиной, слепым подчинением приказу и подавлением творческого начала. Воистину — метисы духа. По-детски наивные, по-библейски мудрые, по-нижнетагильски суровые — это были настоящие рыцари печальных и других образов и подобий. В тайге взращивали сверхлюдей, которые в перспективе за срыв какой-нибудь посевной будут готовы пустить себе пулю в лоб и проследовать в ад за суицид.

В городе действовало множество тайных обществ самого разного толка. Собирались молодые люди в основном после отбоя. Казалось бы, некоторым объединениям (например, «Клубу почитателей Уильяма Шекспира») совсем необязательно было скрываться от таежной полиции. Однако курсанты прятались, и еще как. О причинах ухода в литературные катакомбы расскажем чуть позже, пока же заметим только, что запрещенная поэзия действовала на ее поклонников, как мат на ребенка: запоминалась сразу и навсегда. И впрямь, не пропагандируй, а поставь Шекспира вне закона, и через год последний сапожник станет крыть подмастерьев цитатами из его трагедий.

Были, если так можно сказать, и классические тайные общества, недовольные не то чтобы там мэром, городским устройством или местной конституцией (все это имелось), а так — несовершенством вселенной. Недовольство выражалось не в подготовке переворота, а в дерзновенных мечтах, осуществить которые подпольщики намеревались после окончания лесного курса.

Только лишь спасение России наглецов не устраивало. Они жаждали осчастливить весь мир, но сначала, конечно, третий. Тщательно изучались языки, обычаи, традиции, история, религиозные верования и социально-экономическое положение африканских и азиатских стран. В городе то и дело можно было встретить закручинившегося юношу, рвавшего себе сердце из-за того, что ему никак не дается ни северный, ни восточный, ни хоть южный (и кто решил, что он проще?) выговор языка урду. «У меня акцент, у меня акцент», — горевал курсант приблизительно так же, как попавшийся на коррупции федеральный чиновник (в смысле не посадят, конечно, но приятного все же мало). Что касается языков международных и метивших в таковые, тот тут и говорить не о чем. Ими, конечно, к семнадцати годам курсанты овладели в совершенстве, и никто из них этим не кичился, не мечтал заполучить в будущем тепленькое место переводчика, дипломата или консультанта в корпорации. Языки изучали не карьеры ради, как это нередко делалось в России, а коммуникаций для, как это было принято в Европе.

За инъязыми не забывался и русский. Несколько лет в тайге говорили даже не на правильном, а на модельном (90—60—90) языке, который накладывает массу ограничений на его носителя. Когда же спохватились (слава богу, быстро), что красота — сила далеко не глянцева, а страшная, — ввели факультативы по мату, жаргону, канцелярщине и другим речевым уродствам.

Это все прекрасно, заметят читатели, но уж какая страница проносится перед нашими глазами со скоростью, за которую тормозят и выписывают штрафы (смею надеяться, что так), а мы до сих пор не имеем подробного городского плана. Мол, в начале книги он нарисован лишь в общих чертах, да и то такими мазками, которые сойдут разве что для анализа на флору. Даже не знаю, что на это ответить. Можно, конечно, сказать правду. Ну, что забыл там, увлекся и т. д.

Но это не мой вариант. Мой вариант — найти себе оправдание. Притом такое, чтобы устраивало и читателя, и меня. И я таки нашел. Но далеко не сразу. На

поиски реальной отмазки ушло целое 13 августа, а это — на секундочку — день рождения моего друга Саньки Зуденко. Пацану тридцатка стукнула, а я не только не пришел к нему — даже позвонить не соизволил. Санька, впрочем, не обиделся, так как я его сто раз от смерти спасал. Правда, только в мечтах. Но он мне сам как-то сказал, что сто раз в мечтах приравнивается к одному разу в реале. И не поспоришь ведь. Санька же эмчээсник, шарит в спасении поболее моего. Он настоящий профессионал своего дела, ни грамма в нем от любителя, и это, если честно, напрягает. Однажды я даже не выдержал, когда он кого-то в очередной раз спас. Прорвало меня, короче, как трубу с нечистотами.

— Гребаный ты герой! — говорю. — Ты ж людей спасаешь, как смеситель меняешь, как плитку кладешь, как овощами на базаре торгуешь! Ты ж как сыщики Скотланд-Ярда! Они профи, и ты профи, но книга Конан Дойла, если что — о любителе Холмсе! А знаешь, почему? Потому что Холмс не превращал расследование убийств в работу. Вся эта возня с собакой Баскервилей — это ж просто хобби, чтоб ты знал. Просто увлечение! Ну, как литра для меня. Вот скажи, ты хоть раз слышал, чтоб я отрекомендовался писателем? Никогда! Я кто угодно, но не литератор! Если люди, не дай бог, узнают, что сочинительство — главное дело моей жизни, что я могу сутками пыхтеть над предложением, вытачивать его, как деталь, что от абзаца до абзаца не минута, а неделя непрерывной работы, то все — мне конец. Я автоматически становлюсь не любителем, а профессионалом. Это два полюса, понимаешь? Если ты любитель, то твоей творческой удачей все восхитятся. А коли профи ты, то на фанфары можешь не рассчитывать, потому что удача твоя — это нечто само собой разумеющееся, работа твоя, как говорится. В случае неудачи то же самое. Любителя слегка пожурят, профессионала разнесут в пух и прах. Поэтому все должны думать, что я не пишу, а пописываю, что кропание романов — это типа похода в тренажерный зал после трудового дня. Ну, для поддержания формы, только не физической, а интеллектуальной. А ты у меня что творишь?! Нормальные люди по утрам шлепают в офисы, а ты — спасать людей! Ты ж подвиг в профессию превратил! В обыденность! В рутину! Ты обесценил героизм — так и знай! Ты же даже погибнуть за людей не способен, потому что настоящий спец, всегда найдешь, как ребенка из огня вытащить и самому не сгореть!

Помню, Санька на это ничего не ответил. Улыбнулся только. Иной раз думаю, как один и тот же человек может жульничать в карты, не отдавать долги годами, доводить жену до белого каления и в то же время без раздумий бросаться в пекло, когда малыш говорит ему: «Дядя, в доме еще Ниф-Ниф». Морской, надо полагать, боровак, если пожар не в частном секторе, конечно.

Ну да отвлекся я. Вернемся к отмазке. Думал я, короче, думал и придумал, что братья за детальное описание населенного пункта можно только тогда, когда он уже намолен, как храм. А для этого, как минимум, нужно, чтобы названия улиц, площадей, парков, скверов, учреждений и чего там еще были десятки тысяч раз произнесены на радостях и в горе, как молитвы перед иконами. Вот тогда город — город, а не один смех и много построек. За двенадцать лет таежные жители выполнили необходимое условие, а потому — к делу.

6

Итак, как солнечные лучи, тянулись из городского центра к окраинам бесчисленные улицы, окрещенные в честь героев, городов, памятных дат, научных, культурных и небесных светил, ягод, злаков, овощей и фруктов. Помимо привычных

названий, можно здесь было встретить и курсанта с тупика имени предателя Иуды Искариота, и перекресток, на котором встречались боярыня и Павлик Морозовы.

— Откуда ты? — к примеру, спрашивал один мальчик другого.

— Улица Проигранной Русско-Японской Войны, — бесстрастно отвечал тот, как и полагается человеку, который, как учили, принимает историю такой, как есть.

— А дом?

— Шестнадцать пишем, «Варяг» на ум пошел.

На Лобной площади в центре города располагалось здание таежной администрации в пять этажей. Автор не силен в архитектуре, но давайте оно будет в стиле рококо — пусть хоть что-то звучит кокетливо и игриво в пику трудной и опасной жизни в тайге. Рядом с Серым домом соседствовала библиотека, которую мы уже описали ранее. Напомним только, что этой громадиной можно было накрыть здание администрации, как мальчишка накрывает ладонью зазевавшегося в траве кузнечика.

На Лобной же площади стоял и стадион-амфитеатр, на котором проводились спортивные соревнования и гладиаторские бои на деревянном оружии. Он имел форму лежащего на земле кокоса со срезанным верхом, вмещал три тысячи зрителей и звался Колизеем. Именно здесь дурные и избыточные силы, а потом и первые поклевки силы мужской переплавлялись в пот и кровь. От рева трибун во время крупных состязаний в стволах окрестных кедров стыл сок, а медведи — эти, казалось бы, полновластные хозяева тайги — начинали ощущать себя нашкодившими британскими монархами на ковре у разъяренного парламента. По волнам, запускаемым на трибунах после финалов, словно струги, плыли победители турниров, юридически утопая в объятиях болельщиков.

Имена героев-атлетов золотыми буквами вписывались в историю молодой таежной республики. Нет-нет да и вспомнят в каком-нибудь тереме-коттедже, к примеру, о спринтере Диме Дранишникове и почетном четвертом месте (вывихнувший ногу юноша продолжил бег на руках и, судя по всему, не сильно-то припозднился на финише). Или о левше Иване Басаргине, который однажды взмахнул направо — улица Пушкина, налево — переулок Менделеева (к слову, оглоблю местного Муромца покрыли олифой и поместили в музей боевой славы).

А футбольный нападающий Бубнов по кличке Пушка! Как всякое уважающее себя арторудие, он не носился по полю почем зря, а дождался, когда его обслуга заработает штрафной. «Заряжай!» — командовал Пушка, и один из его товарищей устанавливал мяч. «Наводи!» — приказывал Пушка, и к нему подбегал кто-нибудь из футболистов, чтобы шепнуть, куда бить. «Командуй!» — окликал Пушка капитана и, услышав «Огонь!», без разбега бил по мячу. Откатившись немного, как и полагается арторудию после выстрела, Бубнов наблюдал за полетом ядра. Выставленная голкипером стенка закрывала паховые области, глаза и слушала трибуны. И горе тому пролету, который слышал: «Носилки!» В этом случае исход был один: прошитый снарядам футболист вылетал из стенки и на пару недель становился тяжелоатлетом, толкавшим слонов, коней и ладей в больничной палате. После столкновения с препятствием траектория полета мяча отнюдь не менялась, и наступало последнее в матче, а то и голкиперской карьере испытание для вратаря. Распластавшись в кошачьем прыжке, он стабильно ломал руку о ядро, которое пусть и на первой автомобильной скорости, но влетало-таки в сетку и секунды две трепыхалось в ней, как пескарь в неводе.

Тут же, в центре города, стояло здание госпиталя. Два его отделения — хирургическое и травматологическое — всегда были переполнены, потому что мальчишки всегда мальчишки. Их детство и юность немислимы без синяков, ссадин, переломов и ран. По числу шрамов таежные курсанты в разы превосходили своих

ровесников на Большой земле. В первые годы учителя и воспитатели просто физически не успевали уследить за расплзавшимися, как мураши, малышами, да особо и не стремились это делать — мужчины есть мужчины. Нехватка рук у взрослых быстро привела к нехватке рук или их частей у некоторых детей (слава богу, хоть не ног или обоих глаз). Однако калекам не давали почувствовать свою ущербность. Их не только не освобождали от каких бы то ни было занятий, а назначали командирами. Карьерный рост начинался с простого ритуала — замены солдатского атрибута на офицерский. Автомата, из которого мальчик уже не мог точно стрелять, на пистолет. В тайге не здоровые заботились об увечном, а наоборот. Железное правило гласило: не уберег себя — сбереги хотя бы других. В этом видели гуманность мужчины без женщин.

За госпиталем высились стены местной Бастилии — десятиметровый частокол с заостренными на конце бревнами, чтобы беглецы (если таковые, конечно, появятся), как кукушки, оставляли наверху свои яйца воронам, сорокам, ястребам и другим птицам.

Режим в остроге был жестокий и полосатый, как уссурийский тигр. Сидели заключенные в одиночных камерах. Общались преимущественно с видными государственными, общественными и религиозными деятелями всех времен и народов. Этот факт не вызывал опасений у надзирателей, так как они имели дело не с обычными, наломавшими дров людьми, а с железными дровосеками, психика которых была устойчивей мостовых быков. С теми, кто в качестве дуэльного оружия выбирал танк. С теми, кто с целью помощи раненому зайчонку оставлял боевые позиции, обрекая товарищей на условную смерть. С теми, кто ради встречи с Россией решался на такой побег с погоней, по сравнению с которым шоушенковский казался игрой в казаки-разбойники. С теми, кто шел в отказ, когда ставилась задача поднять Германию из руин после окончания Второй мировой, и плевать, что не на деле, а всего лишь на словах в реферате. Какие воры, убийцы, мошенники?! В таежном остроге сидела голубая разбойничья кровь, белобандитская кость, которую воспевали в местных былинах у походных костров.

Четыре высших школы находились в разных концах города. Сверху они напоминали буквы «Н». Стоит ли говорить о программах, по которым занимались ребята, если девятиклассника секли не за то, что не знал нищестанства, а за то, что знать его не желал. Нередко во время таких порок обливалось кровью не только тело курсанта, но и сердце преподавателя.

— Сынок, отступись, — говорил учитель. — Мы должны знать зло в харю, чтобы успешно противостоять ему.

— Секите, секите — Нище же хуже, — отвечал курсант. — Теперь имею к нему еще и личную неприязнь.

— Надеюсь, она меньше идейной? — спрашивал педагог.

— Не мерил!

— И все-таки возьми рулетку, сынок.

— Меньше, да живучей!

— Ловко... Но в данных обстоятельствах это скорее идет в кредит, чем в дебет. Сутки карцера!

— И все-таки она вертится!

— Да что вы говорите, — качал головой опричник и, добавив еще двое суток за пафос, отмечал про себя, что из парня, пожалуй, выйдет толк.

Уроки-лекции по многим предметам были шедеврами ораторского искусства. Нередко занятия проводились на свежем воздухе, как в Элладе, и начинались, допустим, в восемь часов утра, а заканчивались в районе десятого — но уже киломе-

тра к северо-западу или, там, юго-востоку от школы. По возможности записи велись прямо на ходу в так называемых бортжурналах, под которые подкладывались доски. За врачебные почерки (не путать с ошибками) курсантов не гоняли — клавиатуры на компьютерах-тренажерах, которыми оснастили школы, выравнивали любые каракули. Откровенно отстающих по предметам не было — лишь на прогулках, когда, к примеру, несколько огольцов раззявят рот на белку или, там, малину, а потом догоняют товарищей не по геометрии, а по лесу. Даже от занудной физики (личное) как будто не несло, а веяло. Фрукт, упавший на плешь Ньютону и приведший к открытию земного притяжения, в устах одного из преподавателей-славянофилов был не просто яблоком, а чудо-антоновкой. А правило буравчика рассказывалось не на словах, а показывалось на деле при помощи бура, сверлившего ледяной панцирь озера.

А как курсанты читали! Это были натуральные библиозапои. К 2007 году литалкашей развелось так много, что это перешло всякие границы, и зависимым начали приводить в пример читающих исключительно по праздникам (к несчастью для администрации, бесчисленным в России) и семнадцать литературных трезвенников, которые ставили в один ряд Устинцеву и Толстого — пусть и только на полке.

Книги превратились в семиколенный бич города, но случилось это далеко не сразу. Сначала чтение от сих до сих и пересказ близко к тексту являлись едва ли не самым суровым наказанием. И это не удивительно. При первой пробе спиртного, как мы помним, возникает закономерное отторжение. Но постепенно мальчики, что называется, пристрастились. На первых порах они тупо бухали (от немецкого слова «Buch», книга). Затем у них появились и особые предпочтения. Одни подсади на художественную литературу, другие — на научно-популярную, третьи — на техническую и т. д., как на Большой земле подсаживаются на различные виды спиртного.

Чтобы любимые напитки не приедались, курсанты то и дело смешивали их. Получаемые в результате коктейли дарили массу ярких впечатлений. Но так бывало не всегда. В погоне за эстетическим наслаждением доходило, извините, и до рвоты, когда, положим, курсант с естественно-научным складом ума не соблюдает пропорции и к четверти Эйнштейна подольет три четверти Хемингуэя.

Что касается похмелья, то нормы не знали, поэтому болели страшно. То переберут со Спенсером, то, как вино пятисотлетней выдержки со вчерашним пивком, смешают Сервантеса с Донсковой, то нахлебаются сивухи под названием «Майн кампф».

И все бы ничего, если бы курсанты как начали, так и продолжали читать в кругу товарищей и специально отведенных для этого местах, как то библиотека или классы. Ни черта! Довольно быстро тысячи таежных воспитанников познакомились с самой последней стадией литературного пьянства — когда не ищешь компанию, а бухаешь сам на сам при любом удобном и неудобном случае. Читателей-одиночек можно было застать на улицах, крышах, деревьях, в туалетах — короче, в самых разных местах.

Это переполнило чашу терпения администрации, и она ввела запрет на чтение в неурочные часы. Книги прекратили давать на руки. По-тюремному короткие свидания с ними стали проходить под присмотром старших товарищей. Чтобы чего худого не вышло, об уединении с какой-нибудь (с огнем играю) Мариной Цветаевой не могло быть ни прямой, ни даже косвенной речи.

Полусухой закон вынудил библиофилов уйти в подполье. Их начали преследовать — если не как первых христиан, то как распоследних стилиг точно. Гонения только усилили интерес к литературе и спровоцировали не виданное по масштабам воровство книг. Их тащили из библиотеки и классов целыми коробками, но не картонными, что являлось бы преступлением, а черепными — прочитанное запомина-

лось наизусть. Работали курсанты поодиночке или бригадами — в зависимости от объема текста. Далее выученное печатными буквами переносилось на бумагу и скрытно распространялось среди товарищей...

7

Однако наш знакомый Огрызкин угодил в карцер отнюдь не за томик Диккенса или статью Сахарова. Читал он по таежным меркам мало. О чем тут говорить, если парень даже не мог отличить раннего Мопассана от позднего.

Юноша умудрился пострадать за девушку. В тех условиях, в которых жил Огрызкин, это было так же странно, как если бы здравомыслящий россиянин предпочел новое отечественное авто подержанной иномарке. Курсанты никогда не видели представителей прекрасного пола ни в жизни, ни на фото, ни на картинах, нигде.

Еще до заброски мальчиков в сибирские дебри целая армия цензоров потрудились над тем, чтобы женский род не попался на глаза мужскому до закрытия лесного университета — ничто не должно было возбуждать умы и сердца насельников тайги, кроме великих целей и идей. И если литература после прохода через фильтр не понесла серьезных потерь, так как вполне могла обойтись без иллюстраций (закрасили даже Бабу Ягу), то живопись, фотография, скульптура, киноискусство после гендерных зачисток оказались в положении разбитых под Сталинградом немцев — да, здорово потрепанных, но, надо сказать, все еще сильных, все еще способных разогнуть любую железную дугу, кроме разве что Курской. В общем, пусть читатели судят сами, насколько цензоры обескровили, допустим, фильм «Любовь и голуби», если от него остался лишь сценарий, по которому — ну так, между прочим — курсанты поставили блистательный спектакль, собиравший аншлаги на протяжении двух лет.

Кое-где женщин все же оставили. Скажем, вообще не пострадала музыка. Как справедливо заметил один из экспертов, это ведь только дамы любят ушами, на кавалеров же сия особенность совсем не распространяется, а посему Мадонна на аудионосителе так же безопасна, как секс с презервативом. Не тронули, к примеру, и работы художников-авангардистов, в которых, по мнению специалистов, даже изображение самой Мэрилин Монро едва ли могло нести хоть какую-то угрозу.

Словом, таежным Маугли оставалось только догадываться, как выглядят женщины. В книгах мужчины кружились вокруг этих непонятных созданий, как планеты вокруг Солнца. Что бы ни случилось, великое или низкое, надо было по неписаному французскому закону «Cherchez la femme» тотчас подавать платяное существо в розыск вне зависимости от того, пропало оно или нет.

Курсанты отмечали про себя, что мужчины из романов боготворили любимых женщин ровно так, как в таежном городе — Родину. Эта параллель казалась лесным братьям такой же естественной, как шоферу — двойная сплошная. Описанные в книгах сложные взаимоотношения полов многому научили курсантов. Они начали понимать, что любовь часто бывает невзаимной, что Россия, как и любая другая женщина, вполне способна принять, отвергнуть, предать, вознести и растоптать своих ухажеров. Что ее нужно добиваться, не обещая, а насыпая золотые горы, но и это не гарантирует стопроцентного результата. Добившись расположения Отчизны, нужно быть готовым к тому, что она в любой момент может как послать тебя ко всем чертям (традиционная эмиграция на запад), так и оставить подле себя в качестве друга, которого будет призывать в лихую годину, чтобы потом опять отфутболить. Так же стали ребята понимать, что Россия, как и всякая женщина, зача-

стю живет не умом — эмоциями, а иначе как объяснить ее постоянные, из века в век, замужества на харизматичных плохих парнях (этих она трепещет) или слабосильных, умных мужчинках (этих жалеет), которые втаптывают ее в грязь и ни в грош не ставят. И это нормально. И это все надо принять, как на грудь в праздник. Ну да мы отвлеклись...

...Стоял июль. Огрызкин отбывал наказание сразу за родным, примыкавшим к тайге огородом. Летний карцер, в который посадили нарушителя, находился на два с половиной метра ниже уровня леса и представлял собой забетонированную прямоугольную яму размером с теннисный стол. Вместо потолка над головой у Огрызкина была чугунная решетка. Через нее охламон вся тайги беседовал с росшими рядом исполинскими кедрами. Огрызкин находился среди своих — макушки деревьев были усыпаны шишками, как лбы заядлых хулиганов и драчунов.

— Еще бы до передач дозрели, и вообще цены бы вам не было, — говорил кедром сиделец. — Добрый нынче орех.

В первый же день Огрызкин отказался от приема пищи в знак протеста, так как никакой вины за собой не чувствовал. Уговаривать его никто не стал. Более того — парню едва не накинули еще трое суток к семи заявленным с формулировкой «За членовредительство».

— Как же это? — запротестовал арестант, так как запахло пропуском полуфинала по американскому футболу между «Гулливерами» с Осеннего конца и «Конкистадорами» с Зимнего. — Добровольный, осознанный голод не имеет ничего общего с членовредительством. Напротив, способствует выведению шлаков из организма, духовному просветлению, а если вспомнить о Большой земле — то и восстановлению социальной справедливости: росту зарплат и пособий. Да что мы — сам Христос удалился в пустыню и сорок дней постился. Причем капитально, а не «мясное нельзя, гречку можно», как нынче. «Не хлебом единым» — это ж все оттуда, из Сахары пошло.

В этом месте брови лесной охраны поползли вверх, и Огрызкин, догадавшись, что сморозил географическую глупость, поспешил реабилитироваться:

— Кстати, а почему бы и не из Сахары? Насколько я помню, точное место Иисуса искуса в Евангелии не указано. Думаю, Христос будет совсем не против, если мы Его в Сахару поместим. Не корысти же ради, озеленения пустыни для. Паломничество ведь начнется, а современному пилигриму сады подавай, гостиницы минимум с погонами старлея. Несколько лет — и Сахара превратится в эдем. Пляжи уже, кстати, есть. Солнца тоже хоть отбавляй — дело за малым, значит. Согласен, всю пустыню облагородить не сможем. Да и не надо! Часть площадей предлагаю оставить под огненную геенну — ну, для сатанистов. Пустыня — это ведь едва ли не единственное место, где их главком материализовался. Будет сатанистам ад на земле, как заказывали — с ожогами первой степени, сушняком и скрежетом песка на зубах. Потянутся в пустыню как миленькие. С большой деньгой. Среди безбожников ведь немало зажиточных тузов, как известно.

А бедуинов сделаем гидами, пусть проводят экскурсии. Вот вам, пожалуйста, место, где Спаситель, будучи верным Сыном своего Отца и противником дешевых метаморфоз, наотрез отказался превращать камни в хлебы. А теперь пройдемте к скале, с которой дьявол безуспешно подначивал Христа сигануть вниз. Это для христиан. Для сатанистов другой текст состряпаем. Вот вам, пожалуйста, место, где черные, как гудрон, силы не побоялись подступить к Иисусу из Назарета и хоть и продули сражение, но не проиграли войну. А сейчас милости просим к скале, где сонм ангелов, приставленный к Спасителю в качестве парашютов, остался без работы.

Как раскрутимся, поставим фабрики по производству сувениров. Ну как сувениров — тары под них. Песок продавать будем. Это же тот самый песок, который запорошил глаза, забил легкие, испортил маникюр, испачкал воротничок лукавому. Или песок, который осыпался с бархана в двухстах пятидесяти семи метрах от места контрольного искушения Христа. Так со временем вывезем и распределим Сахару по всему миру.

Нет, нет — волонтеров к благоустройству пустыни привлекать не будем, у них других дел по горло, голодных африканских детей никто не отменял! — гневно, на одном дыхании выпалил узник, как будто кто-то действительно заикнулся о наборе добровольцев и сытости негрятят. — Инфраструктуру, инвестиции повесим на бизнес, барышами от туризма его прельстим. Пусть порадеет на религиозной ниве.

В перспективе жду конкурента в лице Синайской пустыни, не без этого. Спасибо Моисею — удружил. Это ж надо — сорок лет евреев по пескам таскал. Против наших сорока дней-то. О, я уже знаю, чем возьмут клиента семиты. «Это мы придумали „все включено“ на заре человечества», — заявят они и сунут паломникам Библию, где черным по белому про манну и рябчиков от Создателя. Дальше — хуже. Воспарят над Синаем вертушки и распылят над головами халяву, реконструируя события до нашей эры.

Вольная трактовка Библии подействовала на слушателей, как щекотка. Распавшегося богохульника хотели, но не могли заткнуть, так как он перебирал ребра, как гармонист клавиши. Не применив ни одного борцовского приема, Огрызкин повалил тюремщиков у себя над головой, скрючил их и заставил кататься по земле со сложенными на животе руками.

— С... ты сын, — кое-как совладав с собой, сказал один из обессилевших от смеха надзирателей.

— Ага, месячным мамка бросила, — подтвердил Огрызкин.

В общем, срок парню оставили прежним: семь суток и без еды, раз уж он так настаивал на очищении физического и эфирного тела.

— Воду хоть носите, — попросил узник.

— Циклон принесет.

— Какой циклон — ведро стоит!

— Это поправимо, — ответили арестанту и забрали у него нужник — единственное, что было в карцере из обстановки.

Посмеявшись над собственной шуткой, Петросяны ушли — охрана возле огородных карцеров, запиравшихся на амбарные замки, не выставлялась. Без публики Огрызкин снова стал серьезнейшим человеком, как всякий выдающийся клоун. Еще в раннем детстве в балаганном паяце угадывался будущий королевский шут. Шли гды, способности Огрызкина развивались и совершенствовались, и теперь все признаки указывали на то, что через пару-тройку лет развлекательный юморист в нем уступит место хлесткому сатирику, как мальчишка освобождает место для старика в общественном транспорте.

На третий день ареста, часов в пять вечера, поднялся холодный ветер и пригнал дождь с градом. Укрыться Огрызкину было негде. Решетчатый потолок над его головой мог, как сито, задержать только крупные предметы, но не воду, не ледышки сливового калибра. Пока небо пристреливалось первыми градинами, Огрызкин пытался увертываться и даже нашел в этом развлечение. Жаловаться на реакцию не приходилось — поклон восточным единоборствам, которыми с детства занимались курсанты. Но и сто сильнейших самураев — пыль перед тщедушным пулеметчиком. Когда тучи пристрелялись (а это случилось довольно скоро) и обрушились на землю водно-ледовый шквал, Огрызкин сел в угол, подогнул колени к подбо-

родку и обхватил голову руками. Чего греха таить — для сибиряка-таежника это была далеко не геройская поза, ни черта не Болконский под ядрами.

— Да он же испугался и распустил нюни, — сразу сказали бы те, кто с одним лишь мороженым наперевес хаживал на медведей, львов, тигров и других хищников, кои на пару с травоядными в избытке водятся, например, в районе Большой Грузинской, 1 в Москве или Тимирязева, 71/1 в Новосибирске.

В отличие от жителей Большой земли, таежные курсанты как-то опасались ходить на того же медведя без той же рогатины, словом, были, как говорится, сами хороши в плане храбрости, поэтому и Огрызкина не стали бы с ходу обвинять в слабости. Они спустились бы в карцер для оценки обстановки, и уже через минуту у них бы не осталось никаких сомнений в том, что в холоде и мокроте парень ведет борьбу за живучесть, что, сжавшись в комок, он пытается максимально уменьшить теплоотдачу организма и снизить вероятность попадания ледяной картечи по голове. Это же было ясно как день.

Положение арестанта усложнялось с каждой минутой. Если бы карцер не вырыли у подножия горы, если бы прямо к решетке над ямой не вели сверху три тропинки, которые во время проливных дождей превращались в ручьи, то ситуация не была бы столь катастрофичной. Но тайга, как и история, не знает сослагательных наклонений. Вода в яму набиралась быстро. Через полчаса ливень усилился настолько, что стало трудно дышать. Огрызкин никогда не стоял под Ниагарским водопадом, но решил, что в будущем экскурсию на него, если придется путешествовать, он, по всей видимости, пропустит, сославшись на то, что однажды он — спасибо — его уже видел и впечатления еще не стерлись из его памяти настолько, чтобы нуждаться в освежении. Посидев пять минут на кислородном голоде, парень убрал ладони с лысого (а-ля summer) черепа и выстроил из них крышу для носа. Легкие тотчас почувствовали облегчение, но закружилась голова — давайте по причине резкого притока воздуха, а не потому, что градины дорвались-таки до ума палаты и на радостях пробили ее в нескольких местах.

Прошел час, и наш герой отметил, что перестал быть сухопутной крысой. Явился миру даже не матрос крейсера. Берите ниже — матрос-подводник. И все же от того, что заполнялся не карцер, а отсек субмарины, Огрызкину было не легче. Но на помощь он, конечно, звать не стал. Еще чего. Чай, не Всемирный потоп.

Парень решил спастись самостоятельно. Первым долгом он откачал из карцера столько воды, сколько мог. А именно припал к подножному озеру губами, как корова, и за один присест выдул аж пять литров (кто скажет, что в данных обстоятельствах всего пять, пусть попробует выпить залпом хотя бы три — в любых обстоятельствах).

Нет, это все понятно, что со стороны действия Огрызкина выглядели неадекватно. Но только не для тех, кто прошел суровую жизненную школу и знал, что в борьбе за жизнь мелочей не бывает и нужно пытаться сделать бревно даже из соломинки для утопающего. Да, часть выпитой парнем жидкости потом вернулась на исходную, но ведь только часть и лишь через час. В общем, выигрыш в объеме и по времени пусть и мизерный, но все-таки был. С градинами было проще, чем с водой. Огрызкин стал набирать их в руки и выбрасывать наружу через решетку наверху. Земля вокруг карцера обкладывалась льдом, как шампанское.

Сколько бушевала стихия — один Бог знает. Но только когда упали последние капли, Огрызкин стоял в воде по бороду. Это если бы ему скомандовали «вольно». А кабы гаркнули кремлевское «Смирно!», подразумевающее не только вытягивание тела, но и взлет подбородка ввысь, — так и вовсе по горло.

— Карцер наполовину пуст, — подытожила оптимистичная амфибия и отметила это дело пингвиньим нырком вглубь.

К своему новому положению Огрызкин отнесся спокойно. Паникеры в тайге не водились. Им был не климат. В критических ситуациях серьезных курсантов никогда не покидало присутствие духа, а веселых, к каковым относился Огрызкин, — чувство юмора.

«Благо ливень закончился, а то бы завтра над водой остались только мои ноздри; они бы торчали из решетки, как розеточное гнездо, и кто-нибудь обязательно сунул в них пальцы, чтобы проверить, шарахну я или нет», — подумал Ихтиандр и бухнулся на водный матрас с намерением соснуть.

Однако сон не шел. Нет, Огрызкин вовсе не боялся захлебнуться. Парень мог спать в любом месте и положении. Однажды в дозоре наш герой прикорнул на дереве, но надо отдать ему должное — бдительность во сне не потерял. При первом подозрительном звуке он уже был на земле и само внимание.

— Че прыгнул? — тихо спустившись к Огрызкину, шепотом спросил тогда напарник.

— Да так — ерунда, — был ответ.

— Как же ерунда — я хруст слышал.

— Померещилось тебе.

— А с рукой че?

— Ниче.

— Как ниче?.. Кость вон торчит.

— А-а, это-то, — посмотрев на руку, как на досадного комара, сказал Огрызкин. — Это просто кость вылезла.

— Как это просто вылезла?

— Как из норки, наверно, — предположил Огрызкин и, подмигнув, закончил: — При разделке.

— Какая норка?! Какая разделка?! — прошипел напарник. — Ты уснул в дозоре и упал!

— Недоказуемо.

— Скажи еще, что неудачно прыгнул.

— Именно.

— Эх, Огрызкин, Огрызкин... Что говорить-то будем?

— Правду, брат, — сказал пройдоха. — Ты ж не видел, как я уснул, — верно? И я не видел, как я уснул. Если б я видел, как я уснул, то я бы сказал, что я уснул. Но я не видел. Значит, я что?

— Неудачно прыгнул, сломал руку.

— И остался в строю, — многозначительно добавил Огрызкин и скомандовал: — По местам!

— Сережа, тебе ж в госпиталь надо...

— Не спорь, курсант, — отрезала хитромудрая бестия, сварганившая героизм из залета. — Ты бы на моем месте поступил так же.

Словом, Огрызкин мог спать где угодно. Но сейчас он ворочался на водной глади с боку на бок и никак не мог отключиться. Виной тому были тревожные мысли, которые лезли ему в голову. При этом ни одна из них не касалась причины, по которой он загремел в карцер. Огрызкин совершил шалость, которая больше взбудоражила всех остальных, чем его самого. Уже на исходе первого дня в яме наш творческий парубок и думать забыл о дивчине, которую слепил из глины и выставил на всеобщее обозрение с табличкой «Афродита». О том, как выглядел скульптурный шедевр, достойный рук постинсультного Микеланджело, расскажем чуть позже. Пока же вернемся к треволнениям, которые не давали Огрызкину уснуть.

Во-первых, он боялся, что может неосознанно позвать на помощь во сне, так как был большой охотник до болтовни с Оле Лукойе. Парень знал, что за ним тайно следят и только и ждут, когда он подаст сигнал SOS, чтобы потом сказать: «Пако-стить-то ты горазд, а как отвечать — так спасите, помогите». Во-вторых, его беспокоили огороды и посеы. Огрызкин не сомневался, что град побил все овощи и злаки, а значит, сделал вывод арестант, городу до следующей осени придется сидеть на одном мясе. Клянусь, он так и подумал — на одном мясе.

Но все эти мысли о возможном проколе во сне и погубленном урожае были ничто по сравнению с беспокойными думами о Большой земле. Огрызкин переживал за курсантов. Он любил своих названных братьев и готов был при надобности сложить за них голову, но про себя называл товарищей идиотами, так как многие из них не умели обманывать, хитрить, изворачиваться, крутиться, прогибаться, лавировать. По мнению же Огрызкина, обладание низковатыми и подловатыми навыками являлось едва ли не главным условием для безболезненного и успешного вживания в Россию на микро- и макроуровне.

«Люди-то на Большой земле всякие, — размышлял Огрызкин, — и чтобы чувствовать, когда тебе, например, кто-нибудь из них врет, необходимо самому научиться лгать. Не по-крупному, конечно, — во спасение достаточно. Надо обязательно привить душе чуток мерзости, чтобы выработать иммунитет и на белковом уровне распознавать и уничтожать неправду как в себе, так и в других. Ребята же не только не привиты в этом плане, но еще и влюблены в народ по уши. Слепо влюблены, хоть и прекрасно знают, что не перевелась еще разная сволочь на русской земле и надо быть осторожным. Обдурить парней, а то и привлечь на черную сторону — плевое дело. Ведь чисто блаженные же. Дурачки. Провалят явку. К бабке не ходи — провалят. И трех лет не протянут, как Христос в народе. И это еще полбеды, если посмеются над ними — как бы травить не начали!

Бурикову, дурачку этому — ну точно кранты. Говоришь ему — не к святым, Ильюха, придем, ты ж читал про них, ты ж слышал! А он знай себе улыбается. Я сам, говорит, не ангел, помнишь, как заболел четыре года назад, когда нас на заготовку дров бросили. Только подлец, говорит, может загрипповать, когда аврал и каждый человек на счету. И это, закипаю, все, чертов ты демон?! Нет, не все, это только из последнего, отвечает. Ну, мол, грехов-то еще с горой, намекает, — дай только вспомнить, Огрызкин. Маме обузой стал, помогаю ему. Зачат во грехе, продолжаю углубляться в его прошлое. Не родился за восемнадцать лет до 1941 года, ору! Девочкой! Потому что мужицкого мяса и без того хватало, а вот выносить-бинтовать его некому было — все бабы в полях да у станков!»

Между тем вода, на поверхности которой валялся парень, была далеко не парное молоко. И это еще толерантно выражаясь. Чтобы читатель составил примерное впечатление о температуре H₂O, скажу лишь, что даже при всем желании нельзя было нанести удар по мужскому достоинству Огрызкина ногой или, там, сковородкой — только насмешливым или сочувственным словом.

В отличие от своей ноготковой батарейки, обжатой муравьиной кладкой, парень долгое время не чувствовал холода. Оно и понятно. Во время осадков его согревало непрерывное выкидывание градин. Наклонов и бросков было так много, что спустя пару часов после начала водной эпопеи Огрызкин натопился, как банька, о чем красноречиво свидетельствовали клубы пара, повалившие из его рта на выдохах.

Когда небо выключило брендспойты, градобол перестал двигаться и, как следствие, начал постепенно замерзать. Горячие мысли о Большой земле какое-то вре-

мя, конечно, поддерживали тепло в его организме, но это не могло продолжаться вечно. Нельзя забывать, что Россия все же холодная страна. Она способна остудить жар даже самого пламенного сердца. Зато в ней уж точно не скиснешь, как молоко. Холодильник — он и есть холодильник. Кстати, кто хочет сохраниться совсем уж надолго — перелазь из молочного отдела в мясной отсек. В морозилку с именем Сибирь. При жизни в ней человек точно не пропадет, а повезет — так и по смерти. Ермака того же взять. Впечатала его Сибирь в лед Иртыша — и фамилии не спросила. Или Ленин опять же. Всего пару лет прожил он недалеко от того места, где пишется эта книга, однако до того отморозился, что до сих пор не пропах. Не верите — сходите в мавзолей или на ближайшую площадь. И никакой тут лирики. Галимая физика.

Впереди была ночь. В такой воде ее не пережил бы ни человек, ни даже Ихтиандр, в которого, как мы помним, обратился Огрызкин. Ночь в такой воде мог вынести разве что бог греческого происхождения. И не какой-нибудь там гламурный Аполлон, а только первый после Зевса — повелитель морей Посейдон.

Штормы и цунами обрушились на карцер. Огрызкин заворочал руками и ногами, как трезубцами, и тем согрелся. По всему его должно было хватить надолго. Все ж таки не златоглавое мачо отбывало наказание в карцере — сибирский мужичок сидел в каземате. И как тут не вспомнить боевой путь Огрызкина. Тайга знавала времена, когда ему с товарищами приходилось окапываться зимой без огня (извините, ребята, светомаскировка) или летом на скале (простите, хлопцы, стратегическая высота). В общем, сомневаться в телесно-духовной силе Огрызкина не приходилось.

А ведь парень мог пойти легким путем. Однажды в библиотеке он случайно наткнулся на старинный манускрипт по магии, который помнил царя Гороха маленьким наследным княжичем династии бобовых, а атлантов — народом, добывавшим огонь с небес (речь о самых обычных молниях, подожженных деревьях и быстроногих оленях, сыновьях леопардов, опережавших дожди). За несколько месяцев Огрызкин овладел древнейшими, допроститутскими практиками, применив которые можно было не то что согреть студеную воду — вообще выпарить ее, как цыпленка из яйца. Но наш герой поклялся себе никогда не использовать волшебство, как достойный обладатель черного пояса по карате дает зарок никогда не применять силу, чтобы часом кого не зашибить. Изучив картинки в книге (язык расшифровке не поддался), Огрызкин понял, что является неандертальцем, случайно оказавшимся перед раскрытым ядерным чемоданчиком.

«Нажать на кнопку ума, конечно, хватит, манипуляция вроде нехитрая, но каковы будут последствия?» — задался вопросом парень и, не найдя вразумительного ответа, тихонько разорвал манускрипт на мелкие кусочки. После этого высыпал обрывки магических знаний в горшок с геранью и в течение нескольких недель заботливо их поливал, терпеливо снося шпильки мужчин-библиотекарей (в Челябинск бы этих альфа-самцов с их трудовой книжкой).

Ночь прошла в борьбе. Огрызкин исплавал карцер, как гуппи — аквариум, избивал воду, как Ксеркс — Гелеспонт. Но вот чего уж никак нельзя было ожидать от человека, попавшего в столь несовместимые с жизнью условия, так это того, что он позволит себе спать. Однако Огрызкин позволял. И не раз. И даже с храпом, который в данном конкретном случае был, кажется, посильнее самой ядовитой насмешки над испытаниями. Запасов тепла, накопленных движением, Огрызкину вполне хватало на двадцатиминутки забытья.

8

В три часа ночи Огрызкин услышал топот над головой. Он быстро умылся, хотя в его ситуации это было явно лишним. От Посейдона и след простыл. Вместо сурового эллинского бога на поверхности воды объявилась легкомысленная водомерка. Она без видимых усилий заскользила по водной глади брюшком кверху, пуская изо рта фонтанчики.

— Серега, — голос Ракитянского сверху. — Как ты, брат?

— Перевоспитываюсь, — запустив фонтанчик, ответствовала водомерка.

— А мы с Буриковым еле удрали, чтоб тебя проведать. Ты ж знаешь, Влади-мирыч словно и не спит совсем. Еле дождались, когда задремлет... Вода-то, наверно, лед.

— Не, не айс, — булькнула водомерка.

— И че тебя все время хулиганить тянет?

— Ну, такая, полагаю, натура.

— Дикая у тебя природа, значит, — пристыдил Ракитянский.

— Человека там ага — не бывало, одно зверье непуганое, — молвила водомерка и заскользила по воде.

— Ладно, зверок, мы тебе с Ильюхой поесть принесли, — сказал Ракитянский. — Лови хлеб-то.

— На хлеб не ловлюсь, — зло отрезал уже окунь, заработав желваками, как жабрами. — Червячка бы заморить. Есть, не?

— Ты чего, Серега? — озадачился Ракитянский. — Мы ж свои. Ты против других бунтуй. Мы-то при чем?

— При том, что ради вас же стараешься, муки принимаешь, а вы меня потом в дикую природу мою носом тычете.

— Извини, мы не хотели тебя обидеть, — вмешался в диалог Буриков.

— О, Ильюшка прорезался, — отреагировал окунь и не замедлил с советом: — Ты бы, брат, поменьше с Ракитянским-то водился.

— Чего это? — спросил Буриков.

— Того это... Ты его, с позволения сказать, трактаты по Родине читал?

— Ну.

— Ну и что ты из них понял?

— Да все понял. А ты разве нет? По-моему, ясно и глубоко написано. Применяй, как говорится, не хочу.

— Вот именно — не желаю! — ребром плавника разрубил окунь водную гладь. — Он ведь в Россию-то не верит, Ильюха. Я аж закручинился над расчетами его. Над «Му-му» в младенчестве так не горевал, как над выкладками Ракитянского. Его фермы, заводы и фабрики ждет процветание, кто ж спорит. Он же у нас все до мелочей вымерил. И где, и что, и как, и в каком количестве, и сбыт, и логистику, и все-превсе.

— И что тебя тогда смущает? — задал вопрос Буриков.

— А то, что в трактатах Ракитянского русские люди унижены. Толян же на них совсем не рассчитывает, без них процветание их собственной страны выводит. Вспоминай, Ильюха. Функционирует, например, у Ракитянского тяжелая промышленность. Прибыльная тяжелая промышленность. Сверхприбыльная даже. Пытался я придрататься к выкладкам его — не смог. Все четко! Ни одного узкого места! И сверхприбыльный его тяжпром вопреки тому, что в нем девяносто восемь процентов рабочих — воры, пьяницы и тунеядцы. Вспоминай же! Вспоминай ракитянские штатные расписания по заводам и фабрикам! Таблицы его! В них же нормаль-

ного работника днем с огнем не сыщешь! Почти сплошь — горе-кадры! Вор-бухгалтер. Выпивоха-литейщик. У технички — водобоязнь. Сторож-жаворонок — как минимум! Ракитянский ведь их даже высокотехнологичным оборудованием заменять не стал, чтоб безработицу не вызвать. Точнее, заменил, где надо, но никого не сократил, ни одного человека! На новые должности балласт назначил! Один третий зам по корпоративному климату чего стоит!

— В расчетах я всего лишь исходил из самой худшей социально-экономической обстановки, — заметил Ракитянский. — Несправедлив ты, брат. Прошу — остынь.

— Я тут за ночь так остыл, что языком меня лизни — прилипнешь! — плеснулся окунь, ушел под воду и, вынырнув, продолжил: — Ты ж не знаешь совсем людей, Толя! Как ты смеешь тогда?! Я те не Буриков, иллюзий насчет нашего человека не питаю, но даже я содрогнулся, читая тебя! И хорошо бы только люди. Но ты ж и природу унизил! У тебя ж и в ней все максимально неблагоприятно! Она-то тебе чем не угодила, анти ты Пришвин?! Ведь одни же засухи, потопы, пожары, ранние зимы, поздние весны в расчетах по сельскому хозяйству! Согласен, у нас зона рискованного земледелия на зоне, но не до такой же степени, чтобы даже трава не родилась! Она ж сама растет, сама! Так нет — ты и по ней прошелся в таблицах своих! Жаль, нельзя ткнуть тебя носом в наши таежные поля и огороды. Плохой они пример — полем мы их! Ну так возьми в среднем по России! Вспомни сводки! Рассказы старших наших! Известно же тебе, что вся страна травой заросла! Бурьян на лебедь! Пырей на крапиве! Да такие высоченные — хоть баскетбольные команды сколачивай! И не только сельские — городские тоже! Поэтому я за животноводство, в отличие от тебя, давно не переживаю. Травы навалом — жрать скоту не пережрать! Не держи коров в загонах, выпинавай баранов с кошар, и завалимся молоком и мясом!

Ну да черт с ним, с бурьяном. Ты мне лучше вот на что ответь, Толя: с каких щей у тебя раз в два года запланирован неурожай по зерновым в Краснодарье?! Да, тебе довольно одного удачного года, чтобы забить закрома на десять лет вперед. Да, ты на двух экспериментальных сотках в Сибири доказал, что это не сказка. Но разве обязательно при этом глумиться над черноземом и климатом Краснодарского края?! Ты забыл, что на Большой земле этот регион в один ямб с раем ставят?! С какого рожна у тебя там год на год не приходится?! Почему не год на пять?! Семь?! Десять?!

И почему у тебя киты — эта вековая пища рыбацких поселков Крайнего Севера — вдруг перестали заплывать к чукчам? Это анекдот такой, да?! Или, может, ты с китами на коротком хвосте, что все про них знаешь?! А я тебе говорю: заплывали, заплывают и будут заплывать, будь ты неладен! Потому что это тебе не пелядь-сельдь-треска. Это киты, Толя! В океане им нет равных по силе! Они находятся на шпилье пищевой цепочки и в курсе, что никто, кроме чукчей, их не проредит! И плывут на смерть сами! Мудрость китов в этом плане не уступает их размерам. Она уходит своими корнями в библейскую древность. В ветхозаветные времена в китовых колониях даже не преступников перевоспитывали — пророков! Чуешь масштаб рыбин?! Иону вспомни. Ну же! Давай вспоминай Иону! — потребовал Огрызкин от Ракитянского вспомнить, похоже, даже не книжное, а, судя по интонации, личное знакомство с пророком. — Киты знают, что чукчи без них пропадут, знают, что от них не требуют больших жертв, а потому идут на заклятие с радостью! Одна особь — и поселок сыт три месяца! — сказал Огрызкин с такой уверенностью, как будто вырос среди чукчей на китовых отбивных и не знал никакого другого жира, кроме ворвани. — Киты иной раз даже охотников не ждут — сами на

берег выбрасываются! Но ты унизил эти многотонных агнцев. Они у тебя, видите ли, перестали к чукчам заплывать!

Ильюха, постой, не уходи! — взбурлив воду, вскричал редкий, занесенный в Красную книгу окунь-холерик, как будто Буриков действительно куда-то намылился. — Ставлю тебя в известность, что даже Всевышний оставил Россию! Спросишь, какой? Да любой, Ильюха, любой! Боги всех мировых религий, по Ракитянскому, отвернулись от шестой части суши! Не говоря уже о всяких языческих божках! Это наш знахарь совсем недавно в бухгалтерию свою занес. Он умудрился вывести благоденствие России не только при минимальном участии людей, земли, природы, но и Божьей помощи!

Если говорить о православии, то оставлена всего одна мироточащая икона на страну! — бужевал Огрызкин. — Каково, а?! Одна икона! Куда остальные-то делись?! Куда запропастились?! Куда?! Ну да ладно — я все равно не расстроился. А знаешь, почему, Ильюха? А потому, что и одной благоухающей Казанской позаглаза на всю Россию! Великую, Малую и Белую! Еще и сербам перепадет! Лично к ним повезу, чтоб понюхали и приложились! А уж греки давай к нам сами, че все время мы да мы?! — так искренне возмутился Огрызкин, как будто во главе некой церковной делегации уже намотался по белу свету, и его порядком достала эта кочевая жизнь, в которой толком ни помыться, ни побриться. — И копий наделаю. Сотни! Тысячи копий Богоматери! Это вам не Шишкин, где репродукция хуже оригинала. Это Богородица! Она наверняка везде прекрасна, хоть и не видел ее! Что, что?! Иконописцев, кричите, столько не нарою?! — разгневался, если не сказать расвирепел Огрызкин, как будто кто-то действительно проорал ему в ухо о дефиците Рублевых. — А ребятишки на что?! Они писать будут! Не качеством — так детской непорочностью возьмем! Нимб набекрень, зато святость динь-дилинь! — перешел Огрызкин на колокольный язык, видно, не сумев с ходу облечь святость в достойные ее ризы на русском. — Ведь ни наши люди без Божьей Матери, ни Она без них! Спокон веков! Я, атеист Сергей Огрызкин, заверил во Христа, прочитав Ракитянского! С перепугу, наверно! Истинно, пути Господни неисповедимы! Тута мой Иордан! Днепро мое! Вмиг и окрещусь, чего тянуть! — сказал курсант и три раза погрузился в карцерные воды с головой.

А дальше, Ильюха, хуже, — уже спокойно сказал новообращенный православный христианин. — По Ракитянскому, процент исцеляемых от мощей святых — две целых сорок пять сотых. Интересно, откуда эти сорок пять сотых? Откуда такая прямо немецкая точность? Это ж только у бюргера сто коров дают сто телят. А у нас сто коров могут дать девять телят, а могут и сто двадцать семь. Где двадцать семь не из двойняшек, а заняты у соседнего совхоза на время районной проверки. Или сперты по наваждению лукавого. Или прибились с Божьей помощью — наверняка есть у нас и дикий домашний скот. Всего можно ждать от Большой земли... Ильюха, меня страшит благоденствие от Ракитянского. Мне не нужно оно. Я умолять его готов, чтоб он внес коррективы в свои работы. Это до чего мы тут или они там, на Большой земле, докатились, что лучшие курсанты выводят процветание без участия людей, природы, Бога?!

Ракитянский и Буриков лежали на карцерной решетке и поджаривались на словах Огрызкина, как шашлыки на углях. Посетителям было что ответить узнику, но его намеренно не прерывали. Куски мяса лишь резко переворачивались, когда снизу уж очень припекало. Знали Ракитянский и Буриков — настрадался за ночь Огрызкин, но напрямую об этом сказать не может, поэтому пусть себе выплескивается через Россию. Жаловаться через нее не считалось зазорным, так как она являлась

слабостью всех курсантов без исключения. Плохо, грустно, тяжело, страшно, обидно, больно тебе — реви хоть в три ручья. Но не по себе, а по Родине. Такое было правило.

К слову, имелось предостаточно примеров, когда родная страна помогла курсантам вынести физическую и душевную боль. Однажды на учениях парнишка с Летнего конца города подорвался на противопехотной mine и лишился ступни. Целых пять минут он решал, над чем же ему заголосить в России под стать своим страданиям, и за все это время, как положено, не издал ни звука — только побледнел, что не осуждалось при ранении. А боль, надо сказать, была страшная. Казалось бы, не мучайся, взвой над нищетой и безнравственностью народа или вспомни о непрочности тех же духовных скреп, и дело с концом. На поверхности же эти вещи лежат и вполне соответствуют тяжести страданий. Так и хотел поступить несчастный, да совесть не позволила: не обе ж ноги оторвало по самую сурепицу — ступню только.

«Может, коррупция? — мелькнуло в воспаленном сознании. — Нет, ее берут все, кому не лень».

Видно, ступня действительно заслуживала большего разнообразия, так как курсант, невзирая на дикую боль, продолжил перебирать вариант за вариантом. И когда уже не было сил терпеть, раненый неожиданно вспомнил об утраченной Аляске. Парнишка возликовал. Сердце его бешено заколотилось, разогнало кровь по телу, и доселе прерывистые струи из культи забили, как ручьи из скалы. Что там ручьи — это были натуральные молочные реки для комаров и других мелкокалиберных вампиров. Ну да не суть — главное, Аляска вполне годилась. «Это не Крым, поди, не вернем», — подумал парнишка и со спокойной совестью взревел белугой. Вероятно, над разбазариванием казенных земель позволялось даже визжать, потому что никто не бросил на курсанта косога взгляда, когда он позволил себе взять слишком высокие ноты. В глазах товарищей светилось сочувствие. Благодаря вопившему раненому многие заново открыли для себя Аляску. Оказалось, американцам продали не кусок намазанной снегом мерзлоты, а белую женщину, которая, как прабабка Пушкина, во имя любви не побоялась понести плод от эфиопа. Это несчастный так нефть завуалировал, которая в курсантской среде была синонимом национального позора наряду с газом и лесом, а потому по возможности заменялась другим словом или словосочетанием.

Слушая Огрызкина, сдержанный Ракитянский ровно клокотал глубоко внутри себя, как вулкан задолго до извержения. Хлесткая критика задевала Толю, но не до такой степени, чтобы хоть сколько-нибудь поднять и без того высокую температуру магмы в недрах его самодостаточной души. Ракитянский реагировал на бортовку друга не как хоккеист на ледовой арене, а как человек, которого толкнули плечом в метро, — обернулся и тут же забыл.

«Если б они знали, если б они только знали, что меня мучит», — думал Ракитянский.

Минул год, как парень потерял покой. В июне 2006-го в Толиной душе поселился ужас. Он ежедневно жевал курсанта, как бубльгум, высасывая сладость бытия. Все началось с того, что Ракитянский случайно услышал разговор двух преподавателей по военному делу.

— Ты видел ребят сегодня? — задал вопрос первый.

— Как же не видел, — ответил второй. — Уровень боевой и политической, как у небесного воинства, не ниже.

— И все же давай спустимся с небес на землю, — призвал первый. — Как бы они, по-твоему, захватывали дворец Амина, если бы знали, насколько сильны?

— Ну, думаю, один бы выполнял приказ, остальные гоняли бы мяч поблизости.

— И кого бы они, на твой взгляд, послали в дело?

— Полагаю, кого-нибудь из травмированных. Ну, чтоб не скучал на скамейке запасных и познакомился с древней восточной архитектурой.

— Оружие бы хоть туристу дали? — хитро спросил первый.

— Щас, — подмигнул второй. — Еще пристрелит кого-нибудь. А вот руки бы связали, чтоб подольше по дворцу шлялся и от футбола не отвлекал. Любят, черти, мяч попинать. Другой раз хочу прошение написать на имя мэра, чтобы хоть пять пацанов после окончания курса в сборную отдали.

— И не мечтай, — сказал первый. — Каждый человек на счету. Чем аргументировать-то будешь?

— Подъемом национального самосознания после побед.

— Побед, — усмехнулся первый. — Победы тогда победы, когда в тяжелой борьбе добыты. А у нас в городе бразилец на аргентинце и парагвайцем погоняет. Латинская Сибирь. Ты видел, как ребята в атаку ходят? Одни идут осторожно, словно по минному полю. Филигранные пасы, никаких лишних перемещений. Другие, напротив, прут вперед, как в штыковую. В полный рост. На скоростях. С десятками потерь и отъемов мяча в рукопашных. А как стоят те, кто играет от обороны? Мне кажется, я вижу траншеи с ходами сообщений, пулеметные гнезда, разобранных и взятых на мушку противников. А вратари как прыгают? Как кузнечики на лугу: не всегда эффективно, но эффектно всегда. Бывает, мяч в правый угол летит, саранча — в левый, и не знаешь, за кем наблюдать.

— Саранча?!

— Голкипер команды, против которой болеешь, — пояснил первый.

Дальше Ракитянский слушать не стал. А зря, потому что дальше речь всерьез зашла о том, что надо бы сбегать несколько ребят Танзании, чтобы в будущем российской сборной было с кем конкурировать. В диалоге двух военных некоторым курсантам засветили иностранное подданство и не виданный доселе гражданский долг — игра против собственной страны.

— Нет, это уже ни в какие ворота не лезет, — на миг опаматовался первый.

— Кроме футбольных, — успокоил второй.

Из услышанного Ракитянский понял, какими высокими профессионалами стали курсанты. Но это не наполнило Толю гордостью, это его ужаснуло.

«А если на Большой земле кто-нибудь из моих товарищей спятит или подпадет под дурное влияние? — думал он. — Никто же его не остановит. Ведь же сотни и тысячи людей лягут, если вовремя не будет вызван кто-нибудь из наших для нейтрализации. Для этого разве мы родились, — сокрушался Ракитянский, — чтобы убивать сошедших с ума или истинного пути братьев?! — Уродливые, страшные мысли стали одолевать юношу: — Уж лучше бы Россию завоевали извне или порвали в клочья сепаратисты. Тогда после выхода из леса нас ждала бы война, к которой мы готовились с детства. Уж где-где, а на фронте нас точно не переклинит. Там никто не сможет нас обмануть, подставить, использовать в предательских целях, даже если захочет. А то. Мы же псы войны. И далеко не овчарки и ротвейлеры — питбули и стаффордширы. Если с дворцом Амина правда, то последний из нас стоит батальона, первый — полка, если не дивизии.

Только что теперь об этом рассуждать. Россия устояла. Впереди не исключена и даже высоковероятна гражданская служба. Готовы ли мы к ней? Многие считают, что да, и даже мечтают реализовать себя в мирной профессии. Наивные! Думают, всестороннее образование гарантирует им воплощение грез. Полагают, знаний, полученных в тайге по программам ведущих вузов мира, достаточно, чтобы на Большой

земле все сложилось отлично, пошло как по маслу. Ну не дурачье ли?! С психикой-то своей больной что будут делать?! С сердцами прокаженными?!

Нас же с младых ногтей накачивали войной. Мы же куличи не из песка — из пороха лепили! Первые детские воспоминания вспышками: враг внешний справа, враг внутренний слева! А первые слова?! Не „мама“, „папа“, „баба“, „пи-пи“, „бо-бо“, как на Большой земле, а „шалдат“, „недлуг“, „пуфка“, „гилой“, „тилли“. Ну какой?! Вот какой логопед теперь нам души выправит?!

Я хочу стать архитектором, шепчет мне перед сном Буриков. А отрубится — ведет в атаку танковую бригаду, сровнивает с землей здания, которые пять минут назад строить мечтал! И пусть нечасто такое с ним, но бывает же!.. А Холодцов? Какая ему, к чертовой матери, хирургия?! Днем планирует оперировать кишки, а после отбоя спит и видит, как наматывает их на штык! Пусть не каждую ночь наматывает, но случается же!.. Кувардин все о стезе физика грезит. Прекрасно. Только боюсь, от разработки альтернативных источников энергии его быстро унесет в сторону создания бомбы хлеще водородной. И ведь создаст же, черт упертый! Что тогда делать прикажете?! Предателем становиться?! Сдавать его разработки другим странам, чтобы восстановить баланс сил в мире?! Вот спасибо тебе, брат Кувардин, за Иудин удел!..

Да и о чем я вообще?! Ведь не дадут же ребятам работать там, где они хотят! Не позволят же им! Зачем они себя только травят?! Забыли, что люди долга не выбирают поприще, что будущее лесных братьев давно определено — истэблшмент. Новый правящий класс. До шестого года — военный, после изменения ситуации в России — еще и гражданский. Эй, архитектор, скажут Буре. Мы дали тебе целых полтора года на чертежи проектов, а теперь иди-ка ты замом к министру строительства Ростовской области... по юридическим вопросам. Не для того государство столько денег в тебя вложило, скажут Холодцову, чтоб ты до конца жизни во внутренностях копошился. Но в медицине, так и быть, оставим. Возглавь-ка Минздрав Забайкальского края и сконцентрируйся... на финансово-хозяйственной деятельности. Твой физический профиль радует нас, скажут Кувардину. Продолжай работать в выбранном направлении, только малость повернись. Руководитель Федеральной антимонопольной службы — это тот же физик, только в ФАС...»

С каждым днем реалист Ракитянский стал крениться в сторону пессимизма, пока полностью не завалился на мрачный бок. Юноша почти перестал улыбаться. Он знал, что там, на незнакомой, в сущности, Большой земле, в какой-то момент может произойти сбой у любого из его товарищей, и довольно будет пары-тройки спятивших, чтобы все пошло прахом. Ракитянский ни с кем не делился своими опасениями, чтобы не заронить у собеседника такие же мысли, как у себя, и тем самым не создать предпосылки для негативного сценария развития чужой души.

У парня оставалась только одна надежда — на то, что люди, создавшие город в сибирской глуши, поймут всю чудовищность возможных последствий эксперимента и после этого не уничтожат лесных братьев как производственный брак, а отпустят их в свободное плавание по миру. Шестое чувство, развившееся в девственной природе, подсказывало Ракитянскому, что накануне контрольной Третьей мировой пройдут генеральные репетиции — сотни жестоких мелких войн. Войн без начала и конца, победителей и побежденных, тыла и фронта. Войн всех против всех, где будут сражаться не армии — десятки тысяч мобильных мини-формирований, просыпающихся для боевого дня в песках Ирака, обедающих в снегах Арктики, засыпающих в джунглях Сьерра-Леоне. Войн, где выпускники таежного университета могут проявить себя как никто другой.

Ракитянскому так ясно виделась те, с кем придется столкнуться в битвах, как будто они уже всю орудовали рядом. Эти зомбированные черные храбрецы за-

хватывали уже не заложников, а бомбардировщики, субмарины, атомные станции, арсеналы с химическим и биологическим оружием. Жадным до убийства извергам было мало смерти современников — подавай еще не рожденных.

Толя всеми фибрами души сопротивлялся дьявольскому обаянию новейших варваров, по сравнению с которыми толкиновские орки казались даже не людьми — эльфами. Тщетные усилия. Размышляя о преармагеддоновых временах, юноша против воли проникался уважением к их зловонному порождению, мечтающему уже не о захвате отдельного разложившегося Рима, но кровавом обновлении всего мира, погрязшего в несправедливости и пороках. Гунны XXI века совсем не дорожили жизнью, не гнались за деньгами, славой и почестями. Даже в их аморальности была заключена пусть и изуверская, но нравственность: не хотите вместе с нами сражаться против несправедливого мироустройства — умрите все до единого. И умрите такой смертью, перед которой костры инквизиции покажутся соляриями.

Ракитянский терзался, что в боях с черными ордами лесные выпускники будут олицетворять отнюдь не белую рать, как бы хотелось. Слишком глубоким мыслителем был юноша, чтобы оперировать двумя классическими цветами. Это ведь только во время апокалипсиса белое схватится с черным, размышлял он. В предпоследние же времена силам добра, под знамена которых встанут таежные ратоборцы, выдадут форму пока лишь переходного серого цвета — в масть пыли и пеплу от терактов и уличных боев.

— Да, мы будем защищать мир и порядок, слабых и обездоленных, коли отпустит от себя Россия, — казнили курсант, — но вместе с тем и золотой миллиард, планетарную элиту, которая хоть и не убивает людей — не дает им достойно жить... Нет, не белыми мы будем — серыми. Как заработные платы на материке — серыми. Сможем обеспечить людям только более-менее спокойное настоящее. Но не будущее. Не будущее!

Воюя в мыслях с выкидышами преисподней в Афганистане и Швеции, Австралии и Мексике, ЮАР и Камбодже, Ракитянский ни на секунду не забывал о Родине и был готов вернуться в нее по первому зову, так как знал, что беда может случиться в любой момент...

9

...Об угрозе китайского вторжения в Сибирь в изумрудном городе заговорили давно. Впервые эта тема была поднята таежной администрацией, когда состоялся юбилейный сотый побег на Большую землю. Пойманного с помощью собак курсанта приволокли на Лобную площадь, привязали к столбу и повесили ему на грудь табличку с надписью «Следующий беглец будет считаться предателем Родины». Молодые горожане потребовали объяснений, так как — чего греха таить — каждый второй из них втайне мечтал удрать на материк, чтобы поскорее приступить к службе Отечеству.

И объяснения последовали. На самом высоком уровне. Мэр собрал жителей города в Колизее и обратился к ним с речью, суть которой можно свести к одному предложению: «В то время как над Сибирью нависла угроза желтухи, вы, олухи с шилом в коричневом месте, драпаете из нее». В качестве доказательства градоначальник потряс над головой свежими письмами с материка, в которых верные люди предупреждали его о приближающемся азиатском нашествии.

Мэр лгал. Никаких писем он не получал, а в руках держал липу. Поднебесный агрессор был специально придуман лесной администрацией, чтобы курсанты пере-

стали переживать из-за того, что находятся в тылу современной российской истории, и ощутили себя пограничниками на потенциальной передовой, с которой, как известно, валят только предатели и трусы.

Запущенная утка о китайских оккупантах сработала, не могла не сработать в режиме изоляции, который является идеальной питательной средой для мифов, слухов и домыслов. Побег прекратился, а с ними и смерти юных дезертиров в тайге от холода и диких зверей. Один Бог знает, скольких русских мальчиков спасла КНР от гибели и тюрьмы. Известно только, скольких не уберегла. Двадцать шесть трупов, семьдесят четыре эка — цена отсутствия басни о китайцах-агрессорах до 2005 года.

Узнав о грозящей Сибири беде, курсанты первым долгом бросились в библиотеку искать подтверждения словам мэра. Святые старцы, великие прорицатели вроде Нострадамуса, астрологи средней руки и мелкая вошь в виде колдунов, магов, гадалок и ведьм как будто только того и ждали, чтобы к ним обратились за страшными пророчествами. Они не только поддержали градоначальника в его лжи во спасение, но, образно говоря, даже по-отечески обругали мужчину со страниц фолиантов за немалое преуменьшение китайской угрозы. Тот факт, что другие, уже оптимистичные старцы, пророки, астрологи, колдуны, гадалки, маги и ведьмы предсказывали Сибири безмятежное и даже местами весьма великое будущее, курсантов ничуть не успокоил. Во-первых, потому, что прорицателей-пессимистов точным огнем поддержали знаковые математики вроде Гаусса и Лобачевского, которые прокричали с учебников, что минус на плюс дает-таки минус. Если ты, читатель, гуманитарий, то перевожу: «КНР оттяпает у нас Сибирь» на «КНР питает к Сибири исключительно добрососедские чувства» дает нам «китайскую речь на улицах Новосибирска, Омска, Томска, Красноярска, Ачинска, Читы, Барнаула, Кемерово, Бийска, Иркутска, Ангарска, Норильска, Абакана (мой город в списке, черт бы побрал этих математиков!), Лесосибирска, Железногорска, Читы». Во-вторых (да-да, есть еще и «во-вторых»), курсанты просто не желали верить в светлое будущее темно-зеленой на кипенно-белом Родины. Глупые пацаны! Не мужи, но мальчики! Им хотелось стать богатырями Владимира Красно Солнышко на заставе. И богатырями не праздными, а сражающимися. Муромцами себя мнили. Никитичами. Поповичами. Вот же бесово племя, если под лупой на них взглянуть. Они ж беды жаждали, если всмотреться-то! По ним так без внешнего лиха как бы и подвигам неоткуда было взяться! Дурьи бошки, ей-бо!

А дальше курсанты принялись досконально изучать потенциального врага. Язык Поднебесной стал вторым городским. Ложки и вилки были заменены на палочки. История, культура, искусство, ремесла, религия, быт и нравы древнего и современного Китая подверглись скрупулезному исследованию и произвели такой переворот в умах и сердцах курсантов, что многие из них, сами того не ожидая, влюбились в Срединное царство глубокой и, как им казалось в силу особенностей национального характера, неразделенной любовью. Дошло до того, что четырнадцать юношей вдруг заговорили о том, что выдающийся южный сосед достоин больших и лучших территорий и Россия совсем не оскудеет, если передаст Китаю неиспользуемые ну так-то земли под огуречные и помидорные теплицы. Как и следовало ожидать, сердобольные рубахи-парни довольно быстро пострадали за нездоровое чувство к Поднебесной. Эти особо широкие русские души были изнахрачены товарищами так, что едва не вознеслись туда, откуда Великую Китайскую стену (так сказать, разумную границу любви, которую нельзя переходить) можно наблюдать во всей ее протяженности. О чем есть прямые свидетельства спутников и космонавтов.

Дальше — еще интереснее. По тайге пронесся слух, что нацпредатели якобы уже сдали Сибирь китайцам и выставили гнусное дело так, как будто не сдать территорию было нельзя и даже почти преступно. Все лесные юноши за редким ис-

ключением сразу поверили, что именно так оно, несомненно, все и было, потому что представляли собой иссиня-пассионарных товарищей, которые на дух не выносят благополучное положение дел и готовы поверить во все что угодно, в любую чушь, лишь бы получить возможность пролить за Отечество не пот, а кровь. И вот хоть бы уж с боем матушку нашу сдали, чертыхались курсанты, или на худой конец — без боя. А то ведь ни рыба ни мясо — в аренду. Невесть откуда взялся даже точный срок — на сорок девять, мол, лет. Цифра для такой мерзости, как слив собственной земли, подходила идеально, и с ней моментально согласилась вся молодежь. Другого такого хитромудрого числа, по общему мнению, просто и придумать было нельзя. Вот если бы Сибирь сдали в пользование на солидный юбилейный полтинник, гудели курсанты, тогда да — русский народ непременно почувствовал бы себя проигравшим от сделки и поднял бы восстание. Не против инородцев. Против родных же мразей. В цифре же сорок девять — глубоко, конечно, выношенной в ренегатских лабораториях — были успокоительная размазанность и незавершенность, маркетинговая легкость и игра, а следовательно, как будто ничего смертельного.

Группа юношей с Осеннего конца предположила в деталях, как и при каких обстоятельствах подписывался договор аренды, и другие концы, согласившись, подхватили: «Ну факт! Факт!» По твердому убеждению осенников, слив территории был обставлен в высшей степени красиво и трогательно и, следовательно, омерзительнее некуда. Если бы перед сдачей Сибирь ограбили, унизили, изнасиловали в щель между Уральскими горами, шумели курсанты, то это еще куда ни шло. Но ведь нет же! Изменники ведь ее, конечно, и пальцем не тронули, чтоб товарный вид не испортить. Они под руку подвели китайцев к Сибири и... поцеловали ее. Не образно, а натурально припали губами к земле под вспышки фотоаппаратов и, ободряя народ, что аренда — это не навсегда, облобызали святые пяди, чтобы до времени ни одна живая душа не догадалась, что свершился самый утонченный вид предательства, введенный в обращение в 33 году нашей эры.

После всего этого денежная сумма, которую Россия получила по договору, могла быть, конечно, только одна. Тридцать триллионов долларов. Всего за тридцать триллионов, плевались курсанты и при обмусоливании этой цифры чувствовали себя виноватыми, словно самолично предали Сибирь. Так им и надо, ибо нельзя слово «всего» в таких случаях употреблять. Как будто если бы за сто триллионов Родину сдали — то ниче, нормально, а тридцать — это, блин, продешевили!

Ракитянский со стороны наблюдал за кипением городского котла и по мере сил охлаждал страсти. Больше всего он опасался, что горячие головы бросят клич и начнется поход на Большую землю. В мыслях он уже представлял оставленные после марша петляющие, стокилометровые просеки на теле тайги, похожие на борозды, какие выгрызают на кедровых стволах червяки-древоточцы. Видел курсант и конец похода. Бесславный и позорный, как детский крестовый, потому что воевать на материке, по мнению Ракитянского, было не с кем. К такому заключению курсант пришел практически рациональным умом и гораздо раньше, чем случилась речь мэра в Коллизее. Ракитянский был уверен, что на Большой земле все спокойно — и это при том, что Сибирь давным-давно и совершенно бесплатно взята китайцами.

— Не там ребята руют, не там, — со скрежетом, как с четвертой скорости на первую, переключился Ракитянский с войны против представителей огненной геенны на китайский вопрос. — Лучше бы придали значение долетавшим до нас отрывочным сведениям. Китайцы ведь уже тихо просочились в Россию с правого борта. Красные бизнесмены, торговцы, рабочие и крестьяне — кого только нет, кроме военных! С Дальнего Востока зашли. Понятное дело. Он малый портовый. Сам легко в гости

ездит и других у себя привлекает. Древнее морское гостеприимство, значит. Но это просачивание-пропитывание-промокание у товарищей почему-то опасений не вызывает. Говорят, ерунда. Обычные миграционные потоки.

Обычные-то обычные, только у русских женщин уже дети в Хабаровске рождаются с раскосыми и жадными очами! Собственными глазами читал! — И тут произошло то, что называют внезапным прозрением, от которого волосы на теле курсанта обрели бицепсы и задвигались. — А даешь смешение рас, — почему нет?! — стеганул Ракитянский пришедшую в голову мысль и галопом поскакал вперед. — Ведь неизбежно же это! Процессы глобализации всего и вся коснутся! Значит, принять их как данность! Значит, первыми надо обновить кровь! — Резкий поворот влево. — Но ведь о русско-китайской семье писали-то пока как о чем-то из ряда вон! Не хотят соседи ассимилироваться! Не желают смешиваться с нами! Или анклавами селятся, или заколотили денег — и назад в Поднебесную! — Ракитянский натянул поводья, и взмыленная мысль успокоилась, перешла на плавный шаг. — А как было бы здорово разбавить русскую кровь китайской. Влить в нашу легендарную лень (любовь к решению задач при минимуме движений) отчаянное трудолюбие Чаины (любовь к решению задач при максимальной активности). — Шпоры в бока мысли, переход на рысь. — Какие бы у нас славные дети вышли! На загляденье же! Красивые! Умные! Здоровые! Сметливые! Работящие! Наши нынешние женщины, говорят, и так самые-самые, а метиски от смешанных союзов так прямо на тыщу лет вперед застолбили бы все модельные подиумы. Какое блистательное будущее открылось бы нам! Самые прекрасные на свете выходили бы замуж за самых сильных мира сего по всей планете и в ночной тиши, любовным шепотом, как Клеопатры, вершили бы судьбы земного шара. По справедливости и доброте вершили, потому что у наших женщин, как говорят, сердца из чистейшего золота. Только ж вот не ценят, совсем не ценят русские мужчины этот духовный Клондайк! Дождутся — другие оценят!

Потеря идентичности после смешения? Я вас умоляю, — высокомерно улыбнулся Ракитянский, отвечая возможным оппонентам. — Двести наций в себя вобрали, переварим как-нибудь и несчастную китайскую. Еще и обогатимся. Надо только увеличить в разы расходы на образование, культуру и науку. Сам этим займусь, если Россия от себя не отпустит, — думал Ракитянский, уже втайне желая, чтобы Россия не отпустила. — Тут главное — первое время выдержать. Перекантоваться до первых ребятишек от смешанных браков. Они уже наши будут! Евразиаты в комплекте — не только душой, но и телом, выходит. Все силы на это бросим. Умрем, а ситуацию вытянем!

А что если все будет идти так, как сейчас? Что если китайцы под видом рабочей силы, инвестирования в экономику и дальше продолжают тихо заходить в наши не сильно-то населенные пункты и жить сами по себе, своим укладом? На кой мы им нужны, смешиваться с нами?! Они ведь и сами с реденькими усами. Ведь до того же дойдет, что они заберут власть в городах и весях на наших же выборах. Не уменим, а числом возьмут. Ну что ж — тогда план «Б»! — метнул Ракитянский перуновы молнии вовсе не в адрес китайцев, к которым питал глубочайшее уважение.

Скоро мы выйдем в люди, и первое, что сделаем, — тихо сменим властные элиты. Вплоть до глав поссоветов. Предшественников с помпой отправим на заслуженный отдых. Ордена, медали, грамоты, большие пенсии, пожизненный почет — все им будет, лишь бы отошли от дел и не мешали. А дальше начнем бесплатно раздавать земли за Уралом. Молодым семьям. Огромными кусками. Такими огромными, что конца и края надела не увидишь — полный беспредел. До границ участка не сможет дотянуться даже бинокль. Даже если он сверхдальнобойный, а у смотрящего — черника в рационе.

Проследим также, чтоб земли крупному бизнесу не достались. Вам, олигархи, — шиш, а не куш. Мы простим вам грабеж страны в период первоначального накопления капитала. Живите, как жили — вы нам не нужны. Чего нельзя сказать о ваших детях и внуках. Мы внедрим наших людей в школы и университеты, чтобы с малолетства ковали из ваших сыновей и дочерей социально ответственных граждан в лучших традициях отечественного купечества. А сейчас преспокойно воруйте, дорогие мои толстосумы. Чем больше украдете, тем больше нам вернет ваше потомство. Добровольно возвратит. Вы ж сейчас не себе — грядущей России карман набиваете. Мы даже вам памятники будем ставить, улицы в вашу честь называть за то, что сохранили и приумножили народное достояние. А в восемнадцать лет ваши наследники мужского пола пойдут у нас служить в дальние гарнизоны, чтобы пообтесались возле солдат от сохи и станка и приобрели среди них друзей. А коли к совершеннолетию ваших сыновей будут горячие точки, извиняйте — придется парням, значит, обжечься. Не переживайте — не на переднем краю. На второй и третьей линии фронта, через которую вывозят двухсотые и трехсотые грузы. Чтобы ваши наследники переоценили ценности еще раз, кто в школе и вузе чего-то недопонял. Нам новые богатые живыми нужны, только живыми, ведь на их воспитание мы потратим время и силы лучших наших людей.

Всем сибирским колонистам — беспроцентные кредиты на строительство жилья и закладку собственного бизнеса. Проценты будет крыть государство. Где финансы возьмем? А в коррупционном кошельке пошарим, почти годовой бюджет там, по слухам, а то и два. Мы же воровать не станем, деньги лесными братьями презируются. Все, что раньше не доходило по назначению, оседало в карманах чиновников, в дело пустим. Привлечем и дополнительные средства. Взятки станем брать у воротил. И тут же в наручники злодеев. А деньги — в казну. Вот резонанс-то будет. Жаль только, что быстро пересохнет этот дополнительный источник госдохода. Мигом скумекают владельцы заводов, газет, пароходов, что нарвались на стукачей-государственников. Для начала так, а дальше видно будет.

Не успеют люди порадоваться новой власти, как мы пойдем на непопулярные меры. Станем вырубать свет от Урала до Дальнего Востока с девяти вечера до шести утра. — Здесь Ракитянский покраснел, как Россия в 1917-м. — Ну, чтоб взрослые ребятишек, ну это... стругали. Или читали при керосинке в кругу семьи. Можно и при огне камина — ведь как уютно на самом деле! И никаких телевизоров и компьютеров. Или... заходи в любимого человека, или читай, или разговаривай с домочадцами о житье-бытье. В крайнем случае — ложись на боковую и сил для нового дня набирайся. — Как ни хотел Ракитянский избежать очередного покраснения, а куда деваться, пришлось. — В калошах в святая святых, в хранилище для малышей негоже. Полный запрет на резиновую контрацепцию введем. О фабриках, ее производящих, позаботимся. Цеха перепрофилируем на производство воздушных шариков. С запахами, — а что делать? Не распускать же парфюмерные отделы. Да и здорово же, когда шарик клубничкой или черемухой пахнет. О, Боже! Есть же еще эти таблетки со спиральями, в энциклопедии читал. Ну и материк — слов не хватает, — вздохнул курсант. — Сибирь временно должна превратиться в страну свифтовских лилипутов. Идешь по городу — и почти все ниже тебя чтоб! Чтоб на двух Гулливеров десять лилипутов приходилось! Ничего не знаю — мы должны демографически взорваться! В кромешной тьме! Как вселенная во время зарождения — из маленькой точки (вот где доказательство, что все из ничего возможно). Да и дело-то по производству новых людей, как пишут, крайне приятное. Время придет — испытаю на себе. Неужели лучше меда или трех ведер картошки с лунки? Быть не может.

Дальше так: трое детей — серьезные льготы и пособия, четверо — никаких преференций вообще, а вот пятеро — колоссальные привилегии и деньги. Немыслимые просто! Свои у тебя дети, чужие — не имеет значения. Так за год все детдома опустошим. О! Стариков приравняем к детям. Точно! Как у нас говорят? Что стар, что млад, говорят. Стало быть, дети равны старикам. Хочешь — воспитывай ребенка из детдома, хочешь — рожай своего, а хочешь — старика на поруки бери. Никаких домов престарелых, позорища этого, не потерпим! Знаю даже, кого ответственными за это дело назначим. Лесных братьев кавказского происхождения. У них в крови ненависть к детдомам и уважение к старшим.

10

Огрызкин и Буриков болтали через решетку. Ракитянский не принимал участия в разговоре. Выпав из диалога в какой-то момент и погрузившись в себя, он уже никого вокруг не слышал. Ребята его не дергали, знали — не любит, сам к ним обратится, когда сочтет нужным. Ракитянский с детства держался особняком, а в последний год, когда в его голове завелись мрачные мысли, увеличил расстояние между собой и товарищами на пару световых лет. В таком поведении не было ничего от высокомерия или стремления к одиночеству. Давным-давно Ракитянский был назначен командиром, старшим дома, которого учили держать с подчиненными дистанцию, быть товарищам старшим братом, но не панибратом. Юный командир, как заведено, отгородил себе отдельную комнату-канцелярию, в которой никто не смел его трогать. Таким помещением стал мозг. Когда ребята видели, что Ракитянский уходит в себя и замыкается — его не беспокоили.

Толе было всего пять лет, когда его сделали первым среди равных. Это случилось на исходе осени. На самом краю одного из полигонов мальчик увидел запутавшегося в колючей проволоке зайца. Малыш не стал звать взрослых. С большим трудом, голыми, неумелыми еще руками он сумел самостоятельно освободить издыхавшего косоногого. Потом поднял семикилограммового, разжиревшего за лето русака, чтобы отнести его в полевой госпиталь, но, не сделав и пяти шагов, повалился наземь — не по возрасту оказалась ноша. Делать нечего — Толя ухватил раненого за ухо и молча пополз с ним через поле. Получалось неплохо — пузо пятилетнего санитаря еще не забыло времена, когда для перемещения было совсем необязательно уметь ходить. Изрезанные проволокой ладони пластуна кровоточили и саднили. Линии жизни на них были продолжены едва ли не до локтя и разветвлены, как генеалогическое древо. Несмотря на боль и напряжение физических и душевных сил, Толя не издал ни звука. Ртом. Подчинять своей воле попу кроха тогда еще не умел.

За мальчиком с самого начала спасоперации наблюдал один из воспитателей. Он и прервал подвиг двухвершкового героя, когда тот, загребая ногами и свободной рукой, преодолел аж пятнадцать метров пути. Как атлант, подхватил наставник ползущих и понес их в госпиталь, улыбнувшись про себя, что в 1941-м тире 1945-м такие великаны, как он, пришлись бы как нельзя кстати...

— Че с посевами, интересно? — спросил Огрызкин у Бурикова. — Такой град прошел.

— Не знаем пока, — был ответ. — Глянем на рассвете.

— А-а, че там смотреть, — обреченно махнул рукой Огрызкин. — Мы теперь хищники на целый год. Мясо, фаршированное мясом, на завтрак, обед и ужин... Вот же хотел стать травоядным, — неожиданно даже для себя вдруг заявил Огрызкин, —

так ведь небо не дало, сам, можно сказать, Бог. — Перст архиплута вонзился туда, откуда, по его мнению, пришел отказ насчет вегетарианства.

— Ты что — правда хотел одними злаками да овощами питаться? — улыбнулся Буриков. — Нет, правда?

— Хренавада, — брякнул Огрызкин. — Около тыщи раз те говорено, что нет правды на Большой земле, куда тя, дурака, кода-нить выпнут. Есть слово «в натуре». В на-ту-ре. Ты в натуре хотел одними злаками да овощами питаться? Так спрашивать надо. Финский с египетским штудируете, а родного сленга не знаете. Словарь базара на что?! Четырехтомник для кого писан?! Для одного меня?! Я че — на Большой земле при каждом из вас переводчиком состоять должен?! Тебе объясняю: классический русский — это уже мертвый, как я понял, язык. Что-то вроде латыни.

— Да ну, — не поверил Буриков. — Это все домыслы твои.

— Ниче не домыслы. Во время града третий глаз у меня открылся.

— Где?

— Где, где — где звезда у царевны горит. Фонарик включи — сам увидишь!

— Фонарь на синяк напоролся, — осветив лоб друга, констатировал Буриков. — И глаза — ну, которые обычные — заплывшие.

— Издержки прозорливости, — вмиг нашелся Огрызкин. — Когда третий глаз открывается, два обычных захлопываются, вон хоть Вангу вспомни... Говорю тебе — скоро вообще сократят часы русского до минимума или вообще предмет такой уберут. В Минобразования тоже не дураки сидят. Зачем народные деньги на дохлятиную переводить, если ту же физкультуру допчасами усилить можно, мускулы нации нарастить? Вот увидишь — волейбол вместо «жи-ши» будет, хоккей вместо «тсяться». — Огрызкин сплюнул с досады, и при всем желании нельзя было определить, положением русского он недоволен или физкультуры. — Ладно, че в городе нового?

— Ребята с весеннего конца ракету взялись строить, в космос собрались, до конечной остановки Солнечной системы, на Плутон! — восторженно, на одном дыхании выпалил всегда романтично настроенный Буриков, при этом его глаза даже как будто вспыхнули в темноте зеленым инопланетным светом, как у обычной кошки. — И знаешь, где материалы взя...

— Отчизна в лаптях ходит, — перебил Огрызкин, ничуть не заинтересовавшись происхождением материалов, — из колодцев-журавлей пьет, автомобилям ума дать не может, дуракам да дорогам с Гоголя еще, а они за раке-е-еты, на Плутон-о-он... Кто, говоришь, главным конструктором у них? Под Королева кто, э-э, косит?

— Макс Карамашев подвизается.

— А, знаю-знаю... Вызову его, как с карцера выйду.

— Куда?

— На дуэль, куда, — пояснил Огрызкин. — Пристрелю инженера, чтоб ребят, э-э, пацанов не смущал. Отправлю без пересадок туда, куда его душа так рвется... Плутон ему, видите ли, нужен. А в цветнометаллургический Бесищинск, скажу, не хочешь? В буроугольный Первопердовск? Легкопромышленный Ухлюпинск? Нога человека там, может, и ступала, зато конь не валялся. Осваивай — первым станешь, как ай да Юрий. И все у тебя, скажу Карамашеву, как в космосах будет. Вместо воздуха — выхлопы машин. Познаешь, скажу, и невесомость, когда зарядят тебе под зад за то, что не проставился при высадке.

— Проставился? — удивился Буриков. — Как это?

— Не проставишься — узнаешь! — психанул Огрызкин. — Опять на факультативах по русским обычаям в облаках витаешь, Монтеские своего обдумываешь. Вот зачем те Монтеские? Он те че — кум, сват, брат?! Сгинешь же задарма с философией своей, горе ты луковое! — Огрызкин покачал головой от расстройства за не умею-

щего жить товарища. — А ну повторяй за мной! Между первой и второй промежуток небольшой! Нас имеют — мы крепчаем! Наглость — второе счастье! Не мы такие — жизнь такая! — Огрызкин шмякнул по воде. — Не отсебятину горожу — из словаря современных выражений цитирую!

Ракитянский краем уха слышал разговор друзей. Ему не надо было особо вникать в их диалог, чтобы понять, у кого что болит и кто куда клонит. Он знал ребят как облупленных — с пеленок же вместе. Так шофер может преспокойно думать о своем под знакомую песню по радио, но спроси его, какие следующие слова в играющей фоном композиции, и он без колебаний их напоеет. Почувствовав, что один из друзей вот-вот подомнет другого, Ракитянский тотчас вышел из себя (в смысле из задумчивости). В Огрызкина сверху полетела вышелушенная прошлогодняя шишка.

— Блин, за что опять? — потеряв макушку, обиженно спросил Огрызкин.

— Увлекся ты, брат, — объяснил Ракитянский.

— Че увлекся-то, ниче не увлекся, — сказал плут. — Просто учу Бурикова поведению в народных массах, чтоб его за шпиона не приняли, за неруса.

— А мне сдается, что ты учишь Илью прогибаться под народ, опускаться до него, где надо и не надо.

— Вот же не любишь ты народ, Анатолий, положим, Алексеич, — уколола Ракитянского, судя по всему, уже рыба-меч. — Я за тобой это давно-о приметил. Ты ж народа не нюхал даже. Только по рассказам наставников, газетам да романам выводов о нем и настроил. И ведь все лучшее отмел, худшее запомнил... Нет, не любишь ты народ, Толя, не любишь...

— Когда отец наказывает детей за проступки, он их разве не любит? — отразил Ракитянский. — Когда он у проказников на поводу не идет? Не закрывает глаза на их пакости?

— Уж не отцом ли нации ты себя возомнил, Анатолий, допустим, Кириллыч? — размахнулась в своем море-окияне рыба-молот и ударила наотмашь: — Отчим имя тебе!

— Интересно, что же, по-твоему, не так во мне? — криво усмехнулся Ракитянский.

— Радости в тебе нет от поприща, нам уготованного, — заявил Огрызкин и, подложив руки под голову, разлегся на водном матрасе. — Ты ж в народ, как на Голгофу, пойдешь. Мука это для тебя. Иглы под ногти. Падение капель в одну точку на темечке. Для тебя служение России — претяжкий долг. Счастливым ты не будешь, нет. Ты будешь с трудом вставать по утрам, запрягаться в бурлацкую лямку и уныло тащить баржу. — Огрызкин ударил руками по воде, как веслами, и ушел в короткое плавание. — С чего ты взял, что государева служба — это тяжело, скучно, грустно?

— А чему веселиться-то? — спросил Ракитянский. — Бюджетники, к примеру, еле концы с концами сводят. Вот как им заработные платы поднять?

— Сокращать сперва научись, — хохотнув, посоветовал Огрызкин.

— Не понял.

— Заработную плату до зарплаты, — пояснил плут. — Ты ж говоришь как устный бюрократ. В два слова, когда одного довольно. А устный бюрократ — предтеча бумажного. Бюрократия — вот главная проблема Большой земли. Сперва ее реши, а потом за зарплаты берись.

— Если я устный бюрократ, — хмыкнул Ракитянский, — то кто тогда ты, помело лесное?

— Тот, кто не побоится тебе сказать, что не с повышения зарплат начинать надо. Статус бюджетников первым долгом подыми. Их же уважать перестали, потому что в 90-е статус стал зависеть от количества денег в кошеле.

— Дурак ты, Огрызкин. Бюджетникам не до статуса. Им есть нечего!

— Ну не перемерли же, — спокойно парировал арестант. — Потому что не хлебом единым живут. Сейчас у бюджетников, знаешь, что идет? Величайший пост длиной в полтора десятилетия. У них теперь такая духовная сила, что как бы чудеса творить не начали, исцелять людей прикосновением. А ты им утробы поскорее хочешь набить. Знаешь, че бывает, когда человек долго не ест, а потом обожрется?! Заворот кишок! Ты что, гад, смерти лучших людей желаешь?! — в сердцах вскричал Огрызкин, утратив контроль над собой, однако все же не настолько, чтобы забыть отметить, какой он все-таки умница: заложил такой опасный вираж на повороте мысли и при этом не вылетел в кювет. — Сначала сделай бюджетников кастой брахманов, новейшими дворянами, випами. Педагог, врач, библиотекарь — не профессии, а титулы. А князя да графья, они ж и в рубище князя да графья. Дюжину лет положи на социальную рекламу в Интернете и на ТВ. «Бедный учитель выше олигарха!» — на знамени эпохи начертай!

— Гаси фантазию!

— Не известь тебе! — бросил Огрызкин и продолжил: — Дай бюджетникам кучу предпочтений. На тех же выборах, допустим. У чиновника пусть один голос будет, у бюджетника — столько голосов, сколько лет он в школе или больнице проработал. Сразу и почитаемыми учителя с врачами станут, и власть выберут нормальную. Не переживай — голоса бюджетников в целом хорошо поставлены, умный они контингент, споют, как надо, петуха в бюллетенях не дадут. Чистейшие басы, баритоны, контральто и теноры из урн вынешь. Накидываю дальше. Издай закон «О поясных поклонах при встрече с бюджетником». Пусть всяк, как лист, складывается пополам при виде хирурга или, там, учителя химии. Идет педагог, а ему навстречу не люди — страусы в испуге. Крестьяне перед барами до отмены крепостного права! Загни всех раком — не бойся! А потом все само собой пойдет!

— Томас Мор! — бросил Ракитянский. — Не утопленником — так утопистом за ночь стал!

— Сам ты Фурье, Сен-Симон и иже с ними! — огрызнулся Огрызкин.

— Тише, тише, братья, — вмешался Буриков. — Ну что вы, в самом деле? Прекратите уже.

— Нет, я не прекращу, — сказал Ракитянский. — Огрызкин опасен. Ты в курсе, Илья, что он выдал на тайной вечерке?

— То ж версия была, — запротестовал Огрызкин. — От слова «сомневаюсь».

— Ой ли, — покачал головой Ракитянский.

— Евой клянусь!

— Кем?!

— Прамамой, — расшифровал Огрызкин. — Мать не знал, прамамой клянусь!

— А ну тебя, горе-горец, — махнул рукой Ракитянский, перевернулся на решетке с живота на спину, чтобы только не видеть Огрызкина, и обратился к Бурикову: — Ты вот, Ильюха, не знаешь, почему у нас промышленность стоит, а наш Огрызкин в курсе. Промышленность у нас, оказывается, под парами. Ага, отдыхает, как пашня, чтоб ты знал. Получается, вроде как и не стоит производство вовсе, а совсем даже восстанавливается после работы в СССР. И за это, по словам Огрызкина, мы должны 90-м еще и поклон отбить. Но это еще не все, далеко не все.

— Не продолжай! — воскликнул Буриков и с восторгом распял себя на карцерной решетке к тайге задом, яме передом. — Дальше Огрызкин наверняка про экологию речь завел! Стоят заводы — не загрязняется земля, воздух, вода — так?! Ведь про экологию же ты говорил, Сережка?!

— Истинный крест, — подтвердил снизу Огрызкин, торжественно посолив щепотью лоб, пуп и плечи справа налево.

— Да ну ты, — усмехнулся Ракитянский. — У тебя ни слова про экологию не было. Ты нам все про какую-то усталость металла плел, про конец эры подсечно-огневой экономики.

— Все так, все так, — не стал спорить Огрызкин, а дальше начал работать экспромтом, придумывать на ходу: — Да, я напрямую не говорил про экологию... Не говорил, да... Но я, э-э, подводил к ней, — тянул Огрызкин время, придумывая, что бы сказать, и таки придумал, стерва: — Вы ж народ-то темный — ну чисто ветхозаветные иудеи. Не дозрели вы еще до новозаветного «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих и гонящих вас». А вот ветхозаветное «око за око, зуб за зуб» — это вы поймете. Вот я вам, если говорить образно, и молол про усталость металла, подсечно-огневую экономику, потому что до экологии вы еще не доросли. Вот как вам сказать в лоб, что в России промышленность потому поднять не могут, что Бог не велит. Что огромная территория, которой мы владеем, запланирована под рай, зафрахтована Господом, словно ковчег, для спасения человечества. И что главная задача россиян — максимально не замусорить природу. А с заводами да фабриками — конец же эдему, в клоаку природа превратится... Ты ж вот, Толян, думаешь, что наши люди не хотят и не умеют работать. А они, может, сами того не осознавая, сад для грядущих поколений блюдут.

Тут Огрызкин почувствовал, что несет уже даже не чушь, а прямо непотребное, и, к чести парня надо сказать, попытался заткнуть рот пробкой воли. Куда там — разве взболтанное шампанское удержишь в бутылке?! В общем, чопик воли вылетел со свистом, и сточные речи лесного проходимца вновь полились в уши товарищей, как в септики. Дошло до того, что былинный богатырь Илья Муромец, оказывается, вовсе не был обезножен, а валялся на печи до возраста Христа по идейным соображениям. Огрызкин не удержался и окрестил его первым преславным трутнем Отечества, прозревшим национальную идею на заре русской государственности и вставшим на защиту границы единственно для того, чтобы поганые печенег и дальше не мешали зарастать Отчизне разнообразной флорой. Как ни больно было Огрызкину, но в какой-то момент пришлось предать анафеме даже Петра Великого, который потворствовал строительству заводов и дал отмашку на вырубку деревьев сосновых, еловых и можжевельных для украшения проезжих улиц и домов к Новому году.

11

Охламон до того увлекся, что не заметил, как ему на голову полилась вода. Но уже не пресная, а соленая. Спешу успокоить читателя. Несмотря на страшное негодование, вызванное речью Огрызкина, жидкость носила безобидный характер. Это был просто пот. Сначала — холодный (от внезапного появления еще одного слушателя), потом — горячий (от интенсивных отжиманий).

Между Ракитянским и Буриковым, выжимавшими тела над Огрызкинским, стоял военный, гражданский, художественный, бессменный и всякий другой руководитель дома № 11 по улице имени генералиссимуса юмора, капитана сатиры и рядового сарказма А. В. Маслякова.

Поджарого сорокадвухлетнего мужчину с взглядом секутора римского легиона, осанкой осинового кола и носом человека, никогда не остающегося с носом, звали Василием Владимировичем Дроботом. Читатель познакомился с ним в первых главах романа. Это был тот самый офицер ФСБ, который отвечал за набор кадров в таежный город и счел своим долгом отправиться в глухомань вместе с другими участ-

никами эксперимента. Таких, как Василий Дробот, в курсантской среде называли дядьками. В их задачу входило воспитание мальчиков по специально разработанной системе, в суровости которой у читателя уже было время убедиться. Ни один из курсантов не видел, чтобы Василий Владимирович когда-нибудь кого-нибудь приласкал или похвалил. «Мое поощрение — это отсутствие наказания» было выбито над входом в двухэтажный коттедж № 11.

Любил ли Василий Владимирович подопечных? Вне всяких сомнений. Но его чувство никогда не проявлялось открыто. Курсант, достигавший успехов в учебе или поведении, вместо одобрения слышал: «Ты сам поставил и взял высокую планку. Опустить ее хоть на миллиметр — будешь наказан. Не поднимешь в течение месяца — опять же молись». Да простит мне читатель столь смелое сравнение, но любовь дядьки к мальчикам чем-то походила на любовь Бога к людям, которую, как известно, не так-то просто почувствовать — особенно грешникам. Но курсанты — люди в большинстве своем светлые и чистые — ощущали любовь воспитателя. Она была в самой атмосфере дома с перевернутым, примирившим небо с землей знаком «равно» на входной табличке — дома № 11.

Что и говорить — от дядькиной любви совсем не веяло нежностью и теплом. Она вселяла страх в сердца курсантов. При появлении Дробота даже у самых смелых юношей порой начинало сосать под ложечкой — прямо как у святых угодников в тот момент земного существования, когда Господь, скажем так, достаивал их чести перейти из разряда «слепо верующих» в разряд «точно знающих». Но это, как уже понял читатель, был страх особого порядка, коему имя — священный трепет. Испытывая его, курсанты все же не сомневались в глубине и силе излучаемой дядькой любви, как даже насмерть перепуганные Богоявлением праведники не сомневались, что Господь питает к ним такое чувство, перед которым хваленое материнское так — не более чем симпатия.

Тайга очень изменила офицера ФСБ Василия Дробота. В лучшую сторону. Среди кедров ему не было нужды опасаться, что впереди могут ждать задания, государственная необходимость которых (истинная или мнимая) несовместима с нормами человеческой морали. Надо сказать, что, будучи по природе человеком честным и порядочным, человеком, мечтавшим о славе Рихарда Зорге, на Большой земле он только и боялся, что приказов а-ля Берия, которые всегда были, есть и будут частью службы в госбезопасности.

В глухомани мужское начало постепенно заострилось в Василии Дроботе, как нос глубокого старика. Так случилось не только с ним. За труднопроходимые годы в тайге почти все городские жители стали напоминать героев былин, мифов, легенд и саг. Пройдешь по Абрикосовой и увидишь, как некий напрокудивший Геракл чистит городские Авгиевы конюшни. Свернешь на Виноградную и наткнешься на какого-нибудь осымнадцатилетнего богатыря средней руки Никиту Кожемяку, наминающего бока то ли Ромулу, то ли Рему — поди разбери этих близнецов.

Что касается Василия Владимировича, то через пять лет после высадки в сибирском лесу он одичал до стадии «человека естественного» и стал изрядно смахивать на викинга. К высокому росту, светлым волосам и голубым глазам добавились звериная сила, выносливость, стойкость, неприхотливость, жажда открытий и смерти не в постели. И кто его знает, почему произошла именно такая трансформация. Давайте на гены сошлемся, почему нет? Ведь древние скандинавы, как мы знаем, были частыми гостями на Руси, и могло запросто так случиться, что на пути из варяг в греки какой-нибудь фанат Одина насильничал поклонницу Перуна — пра(ставим приставку на долгий повтор)бабку нашего героя. До полноценного викинга Дроботу недоставало разве что жестокости. А ведь в детстве сорванец му-

чил кошек, и еще как. Спрашивается, куда подевалось жестокосердие? Тут, слава богу, к пра(снова заевшая пластинка)бабке ходить не надо. Заглянем к отцу нашего героя. Именно он при помощи португеи в свое время купировал живодерскую жестокость Васьки до жесткости, как хвост доберману. Ну да дело прошлое. И пусть Дробот не дотягивал до норманна по изуверству, зато усы отрастил в тайге, как у истинного варяга, подковой. Ее концы были направлены книзу, из чего можно было сделать вывод, что счастья, курсанты, не ждите. И так оно, надо сказать, и было.

— Буриков, о чем задумался? — задал вопрос Дробот, увидев, как парень снизил темп отжиманий до воздушно-десантного.

— О России, — был ответ.

— Конкретнее.

— Да вот думаю, кто она по знаку зодиака.

— И?

— По всем признакам — Рыбы на стыке с Водолеем.

— Это наш одноглазый в точку, Василий Владимирович, — вмешался из карцера Огрызкин. — В другой раз бы поспорил, а нынче не стану. Приятно, знаете ли, осознавать, что сижу я в затопленном погребе не абы как, а в ногу со временем, осваиваю, можно сказать, обозначенное Буриковым зодиакальное пограничье. Хотя че там особо осваивать? Что в Рыбах, что в Водолее — вода на воде и водой погоняет. Как выйду, может, даже астрологический трактат об этом напишу.

— Жду шедевра. Главно, лей побольше воды на воде, графоман, — посоветовал Дробот и вернулся к Бурикову: — Вообще-то за Рыбами, сколь мне известно, идет Овен, а не Водолей.

— Я ж не о месячных циклах, Василий Владимирович, — сказал Буриков. — О тысячелетних же. Эра Рыб исчерпала себя. На брег они выброшены, ртом воздух хватают. Но Водолей не даст им бесследно пропасть. Он уже занес над ними кувшин с волшебным океаном. Рыбам вскоре предстоит жить в совершенно другой среде. Они и сами, приспособляясь к новым условиям, изменятся... Братья! Мы на пороге новой эпохи. Эпохи духовных открытий, добра и самопожертвования, где всяк будет любить ближнего не как себя, но больше себя в четыре, а самые отъявленные — в пять, а то и в шесть-семь раз. Вы не поверите, но даже соревнования по любви появятся. Что-то типа бега на разные дистанции. Сразу говорю, спринт будет не в чести, потому что хоть и яркий, смотрибельный, да быстро кончается. Не любовью — страстью, скорей всего, такой бег нарекут.

Королевская же дистанция — марафон. Эдакие состязания по долгой любви к людям с открытием второго, третьего, четырнадцатого дыханий и взвинчиванием темпа во время них. И будет неважно, двадцать ты лет пробежал или восемьдесят семь. Важно будет не сколько, а как. Нет, это понятно, что в первые столетия Водолея на марафонскую дистанцию смогут бегать только самые сильные и выносливые.

Спрашивается, что будут делать бесчисленные те, у кого желание любить большое, а способности к этому средние? Правильно — они начнут выбирать спринт! Но не просто короткометражный бег, который я недавно страстью условно окрестил, а бег с препятствиями, который уже есть — да! да! — самая настоящая любовь. Пожалуйста, не ухаживай до конца жизни за парализованным (первое препятствие), агрессивным (второй барьер) дауном. Но семь лет — будь добр. Тьфу, а не срок, правда же? Стометровка та же. А потом, значит, передай эстафетную палочку свежему бегуну, чтоб командный дух и все такое. Уверен, вы сейчас наверняка думаете, что этот Буриков наивный идиот, что верит он в розовую эпоху, в которой нет места злу. Черта с два! Не угадали вы ни со мной, ни с эпохой! В эре Водолея никакой дискриминации по нравственному признаку не будет, понятно вам?! В ней всем, чтоб вы

знали, места хватит! И злу в том числе — чем оно хуже добра?! Да еще какому злу! — воскликнул Буриков с таким восторгом, что сам Люцифер разинул варежку и выпустил ухо шкодливого бесенка, третьего дня убавившего огонь в адских конфорках и организовавшего побег двух клептоманов в рай. — Такого зла еще отродясь не видели! Широчайший ассортимент. От неприкрытого зла-презла до зла, похожего на образцово-показательное добро, как Христос на отчима Иосифа — ну, в том смысле, что вроде родственники, а на самом деле — нет. Ну согласитесь же, друзья, что будет жутко интересно жить с грядущими брендами от лукавого, — расплывшись в улыбке, призвал Буриков разделить его мнение, что скука рядом со злом качественно нового уровня невозможна по определению (как будто с более примитивным злом эпохи Рыб, прошу прощения за вмешательство, человечество прямо изебалось, ага). — Так вот, полагаю, Россия начала переступать порог эры Водолея еще в 90-х, только на радостях под ноги-то не глядела, споткнулась и распласталась. Лежит пока, березовая наша, поленом. Но я уверен — встанет она, братья!

— Только сначала поотжимается, как ты, чтоб заплатить по счетам и бицепсы нарастить, — устав от идеалистических бредней, сказал дядька. — Активней землю толкай, мечтатель в перьях! Вечно отвлекаетесь на страну, как на девицу. Лучше бы учились.

Тут из карцера донеслась очередь булькающих звуков, как будто в нем закипела вода.

— Это кто там пузыри пустил?! — грозно спросил Дробот. — Ты, колодник?!

— Никак нет, — отрапортовал Огрызкин. — Полагаю, газ из земли вышел. Явление в природе довольно распространенное.

— Это в забетонированной-то яме?

— Газ, как мышшь, найдет щель.

— Молись, чтоб он мне в нос не ударил и не выдал твоё тухлое нутро. Ведь врешь же. Знаю — врешь.

— Обвинения ваши, Василий Владимирович, беспочвенные, — ответствовала хитрая рожа, в темноте карцера разгоня тельняшкой газ, имевший к земле точно такое же отношение, как цыгане к оседлости. — Всё гнобите меня, зато я, по крайней мере, не озабоченный, о России день и ночь не думаю, как Буриков. А прикажете — могу вообще о ней не думать и других науч...

— Комфортно тебе там, смотрю, — перебил дядька, почуяв подкоп под святыни. — Пора, наверно, из карцера в тюрьму переводить. Уж чья бы корова про озабоченность мычала, а твоя бы припухла. Забыл, за что в темную брошен? Или, может, я женщину, похожую на мужика, слепил и напоказ выставил?

— Ну волк же на волчицу похож, — заметил Огрызкин. — Пока под хвост не заглянешь, и не определишь подчас, сука перед тобой или кобель. Наверняка с людьми так же. Нас же общества женского лишили, остается додумывать, как баба выглядит... А скульптуру я чин чинарем слепил: на груди — полушария, волосы — до пояса, зарослей на бороде нет. Все как в книгах, не придерешься... Да, я сорвал занятия. Да, сорвал! Зато теперь ребята имеют представление о прекрасной половине человечества. То есть даже о половине с лишним — женщин же больше.

— Вот именно — ты сорвал занятия, за что и наказан, — пригвоздил Дробот, чтобы Огрызкин не сомневался, что в карцер он попал отнюдь не за искусство. — Но и про Афродиту твою скажу, что на Афродиту она вовсе не похожа. Это пародия на Афродиту, чтоб ты знал. Это сантехник с титями, хренов ты ваятель. Таких женщин, как у тебя, на Большой земле нет.

— Сейчас, может, и нет, — не стал спорить пройдоха. — Но то, что моя женщина похожа на мужчину, плюс мне как скульптору. Не погрешил я в глине против ис-

тины, прозрел будущее, считаю. Леди тридцатого века сотворил. Возможно, в настоящее время женщина все еще похожа на женщину, хотя мне трудно судить — ни одну не видел. Но ведь только же внешне похожа. Дух-то уже мужской, насколько мне из литературы известно. Феминизм, эмансипация и т. д. А от духа и до телесной эволюции недалеко — дайте срок. На это вы можете сказать, что большинство женщин на феминизм и прочее не повелись. Пусть так, но сильные-то повелись! А именно они выживают и дают здоровое и крепкое потомство. Законы природы никто не отменял. Горстка пассионариев в юбках распространили новую идеологию на весь мир, разве не так? И ведь шустро управились. За сто лет примерно. — Тут в Огрызкинине впервые ворохнулось что-то либерально-толерантное, как недоразвитый человек в материнском чреве. — Неудобно говорить, но на защите женственности ныне только геи активно стоят, про парады их вся тайга читала. Ага, даже флаг свой имеют. Радугу, пишут, к древку пришпандорили. Вот как на нее теперь смотреть?! — в сердцах бросил Огрызкин, как будто созерцание разноцветного коромысла в небе было его единственной радостью в жизни, а теперь все — не полюбуешься.

— Эй, противогей, — прервал Дробот тираду Огрызкина. — Вот только не тебе про нравственность чесать. Давай-ка лучше отожмись раз эдак девятьсот девяносто девять.

— А почему не тыщу? — удивился сиделец.

— А не хочу, чтоб тебя в будущем в магазинах за дурака держали.

— Не понял.

— Время придет — поймешь... Упор лежя принять!

— На воде-то?

— А у тебя выбор есть, контрагейка?! — рявкнул Дробот.

Отжималась тройца. Ракитянский и Буриков качались как следует. Огрызкин же нелепо барахтался булками кверху и проклинал воду за то, что ночью она не превратилась в лед — субстанцию, как известно, более приспособленную для отжиманий. И вот ведь как будто не было до этого у измержшего парня отчаянной борьбы за живучесть и лишь одного желания — юркнуть в мартеновскую печь и задрать за собой заслонку, чтобы не выстужать топку.

Дробот молча наблюдал за подопечными и думал о том, что на Большой земле самая большая опасность для парней будет исходить, безусловно, от женщин, о которых все чаще стал гудеть половозрелый курсантский люд. Дядька искренне желал, чтобы парни влюбились в уродок. Дробот по опыту знал, что страшные, обделенные вниманием женщины не закатывают скандалов, не требуют внимания и золотых гор. Ошарашенные неожиданным семейным счастьем, они до конца дней заглядывают в рот тем, кто их выбрал, и даже с соперницами сражаются тихо и трогательно: вкусными домашними котлетами, запотевшей в холодильнике водкой, идеальными стрелками на мужних брюках, реанимационной чистотой квартиры и умными, все-вотца детьми.

Красавицы же, не сомневался Дробот, несут одни лишь опасности. Эти стонут не только в постели, требуют к себе повышенного внимания, склонны к изменам и интригам. В девяти случаях из десяти они не дадут выходцам из тайги спокойно выполнять воинский или гражданский долг, а то и вовсе развратят юношей.

Дробот надеялся, что после окончания лесного курса парни быстро западут на страшилищ, переженятся и займутся делом, для которого их готовили. Дядька находил, что, слава богу, так оно, скорей всего, и будет, ведь у юношей совсем нет вкуса в отношении женщин — ему просто не на ком было сформироваться. У ребят начисто отсутствуют собственные понятия о женской красоте, не получили они и общественных представлений об идеале, а значит, утешал себя Дробот, при выборе супруги

лесные магистры будут руководствоваться прежде всего животным инстинктом продолжения рода. Как неандертальцы. В таком случае, не без радости заключил Дробот, у популярных на Большой земле женщин модельной внешности просто нет никаких шансов захомутать сибирячков, ведь с древности солитерная худоба и плоская грудь — синонимы болезни, а одним смазливym личиком, извините, сыт не будешь. Вывод про смазливое лицо окончательно успокоил дядьку. А зря. Он явно забыл, что пусть красивые глаза, губы, носы и не способны накормить, зато могут с успехом лишить аппетита — при удачном сочетании друг с другом, конечно.

Сам Дробот, как и его коллеги по службе, о женщинах старался не думать. Воздержание давалось мужчинам нелегко, но они справлялись: во время бодрствования — на «отлично», во сне (попробуйте не искать подтекста в следующей оценке) — на «удовлетворительно». В общем, хорошо справлялись, если вывести среднее арифметическое. Побеждать плоть помогали возведенные в культ спортивные, трудовые и умственные перегрузки, отсутствие сексуальных раздражителей и постоянные стрессы, связанные с выполнением учебных сверхзадач. Когда же становилось совсем неважно, мужчины начинали сублимировать — да так энергично, что это нередко приводило к брусилковским прорывам в научно-образовательной и культурно-воспитательной работе. Поразительно, но именно во многом благодаря озабоченным кадрам, научившимся переплавлять похоть в творчество, концентрация гениальности на метр городской площади уже к середине Сибириады превысила все допустимые нормы, и слово «эврика!» в лесу стало столь же расхожим, как «ну», «короче», «капец» и «блин» на Большой земле. Светское монашество, в отличие от обычного, не подавляло сексуальный инстинкт, а поставило его на службу общему делу.

Дядька посмотрел на отжимавшихся парней. Никто из них не филонил. Даже Огрызкин не сачковал — имитировал упражнение, как мог.

И вдруг щемящее чувство жалости к юношам захлестнуло строгого наставника. И дело было совсем не в том, что Дробот заметил на лицах курсантов признаки усталости — физические упражнения еще никого не убили. Нет, причина жалости крылась в другом. Вытекала она из недавних мыслей Василия Владимировича о женщинах.

«Какие же из парней выйдут граждане, — думал Дробот, — если они не знали ни материнской, ни первой любви, никого не дергали за косы, не таскали девичьих портфелей? Что даст им выстоять в час испытаний? Ни мам, ни Маш из первого „К“ у них нет. Кто придаст ребятам сил? Вдохновит их на бой и труд? Невский?! Лихачев?! Скобелев?! Ломоносов?! Ну уж нет, — горько усмехнулся про себя Дробот, едва не добавив „только не эти“. — Кутузов, Менделеев, Рокоссовский, Капица всегда шли только в нагрузку к мамам и Машам, лишь в нагрузку. Еще ни один мужчина перед тем, как стать выключателем света во вражеском дзоте, не воодушевился суворовским переходом через Альпы, не вспомнил про речь Хрущева на двадцатом съезде. Любящие мамки и вредные Машки — вот кто являются подлинными творцами героев, даже если мамка простая прачка, а Машке семь лет».

Из всех этих мыслей одна для Дробота была особенно болезненной. Про первый «К». Она не являлась для дядьки проходной, не случайно пришла ему в голову. Дело в том, что Дробот начал учебу именно в первом «К». С годами менялась только цифра, буква же прокочевала с Васькой до выпускного класса.

— Эх, какие были времена, какие времена, — закончив с мамами и Машами, взял дядька ворошить советское прошлое.

Нетрудно догадаться, что времена для Дробота были все из себя замечательные.

— Одних только детей, — ностальгировал он, — водилось в СССР столько, что, будучи первоклашкой, я мог, стоя у доски, на ура перечислить добрую половину

алфавита не по букварю, а по друзьям-товарищам из параллели — пусть и несколько вразнобой.

Буква «К» в полном названии школьного класса даже представилась Дроботу ни много ни мало — символом многодетности, знаменем бэби-бума, индикатором здорового микроклимата в семьях и макроклимата в стране.

В 90-е же, — позволим себе домыслить за нашего героя, — в русскую землю, намечая контуры будущей демографической ямы, воткнулись первые лопаты, и нынче буквой «К» в школах и не пахнет — повывелась ребятня, на «В» не наскребешь.

Так-то оно так, Василий Владимирович, только вспомни, сколько человек с тобой в первом «К» училось? Тридцать шесть — я специально пробил! Разве в такой орде получишь нормальное образование?! Ведь никакого же индивидуального подхода к ученику! Не кажется ли тебе, что было бы гораздо лучше, если бы ты учился не в старой 1228-й, а в новой 1229-й школе, которая в твоё распрекрасное советское время так и осталась на бумаге?! Ты ж в первом «Г» мог учиться, край — в «Д»! И твои одноклассники прекрасно размещались бы на фотографии, стояли бы на ней не плечом, а грудью вперед! Не бери, короче, 90-е. И на них чье-то детство пришлось...

...Дядька вытер пот со лба и обвел взглядом своих, по его твердому убеждению, «совершенно железных подопечных». Особенно защемило сердце наставника при виде Огрызкина, превратившего отжимания на воде в клоунаду, мечтавшего о точке опоры так же, как грезил о ней Архимед, чтобы перевернуть Землю. Из-за того, что арестант был не менее, а быть может, даже более стальным, чем остальные, жалость Дробота неожиданно усилилась.

«Как бы не заржавел в мокроте», — на полном серьезе подумал наставник.

Хотите верьте, хотите нет, но температура воды в карцере волновала Дробота постольку-поскольку, хотя он помнил, что вчера прошел ливень с градом, а ночи в тайге прохладные даже летом. Дело в том, что курсантов с детства закаляли по системе Порфирия Иванова, и они не боялись низких температур. Понятно, что Огрызкин так же, как и все, прошел через ледяные обливания и лизания сосулек, поэтому у дядьки и мысли не возникало, что сиделец способен закоченеть, да еще в июле. А вот заржаветь, по убеждению Дробота, — так вполне. Железный же.

Неужели курсанты и впрямь были из металла? Да бросьте. Просто дядька неадекватный. Поживи-ка в небылице двенадцать с лишним лет — поди, еще не такой бред в голову заметать станет.

К слову, не только Дробот верил в то, что холод не может нанести Огрызкину серьезный ущерб. Ракитянский с Буриковым в этом тоже не сомневались — слишком уж пылок и горяч их друг. Для курсантов качества характера Огрызкина были такими же материальными, как желания для тех людей с материка, которые, вдохновившись фильмом «Секрет», обклеивали холодильники и двери туалетов визуализирующими ватманами с изображениями принцев, замков и Канар. В общем, по мнению Ракитянского и Бурикова, Огрызкин как бы должен был отапливаться пылкостью и горячностью. Но не только. В отличие от людей с Большой земли, друзья арестанта все же понимали, что современный человек еще слишком незрел, безнравствен и приземлен, чтобы у него получалось реализовывать свои желания, качества и способности без активных действий. Мечтаешь о квартире — работай не покладая рук, и будет тебе в итоге аж две: одна — для тела (со стандартной площадью два на два), другая — для души (с вечной пропиской). А хочешь согреться в карцере, на пылкость и горячность надейся, а сам не плошай — толки, пинай, меси воду. Чем узник бессовестности всю ночь и занимался — в том Ракитянский и Буриков были убеждены. Потому и замерз не насмерть, а всего лишь как зюзик — дело для тайги обычное.

Курсанты давно привыкли к различным видам физического дискомфорта и страдания: холодно да и холодно, голодно так голодно, вшиво, и что теперь. Одни ребята (более сильные и закаленные) переносили тяготы и лишения легко, другие (менее сильные и закаленные) — стойко. Нередко в ход шел юмор. Например, однажды на учениях танк закатал в траншею мальчика с Весеннего конца. Когда полуживого юнармейца откопали, первыми его словами были: «Никто из вас не знает родной земли по-настоящему. Только я и морковь». Через сутки парнишка с воинскими почестями едва вновь не проследовал туда, откуда его достали вместе с сокровенным знанием. Товарищи уже даже присматривали место для последнего окопа, но обошлось. Спасибо молодому организму и лесным докторам.

Раз уж на страницах рукописи всплыл нехреновый морж Порфирий Иванов, то надо сказать, что его системе Огрызкин толком так и не освоил, хоть и закалялся, как все. Так в школе каждый проходит геометрию, но не всякому она дается. Да, Сергун с детства щеголял босиком по морозу, обнимался со снежной бабой, но все же таки как был, так и остался мерзляком. Если бы за закалку ставили оценки, то Огрызкин не вылезал бы из троек, которых, однако, вполне хватало, чтобы не болеть в сибирские зимы или перекапываться в холодном карцере без ущерба для организма.

Итак, Дробот принял решение освободить арестанта условно-досрочно, но прямо это сделать не мог: дашь слабинку — перестанут уважать, распоясаются, сядут на шею. Необходимо было схитрить, сделать так, чтобы узник сам признался, что в карцере ему не просто хорошо, а в сто раз лучше, чем на свободе. После чего, соответственно, отпустить на волю.

Задача предстояла прелепая, потому что Огрызкин, как и все лесные юноши, воспитывался в духе презрения к боли и мукам. Сущий спартанец. Правда, слегка недоделанный, так как не мог похвастать лаконичностью речи, которой, как мы помним, отличались лучшие воины Эллады.

Но это, опять же, с какой стороны посмотреть. К примеру, помести мы Огрызкина в Спарту времен царя Леонида — и он бы явил собой образец лаконика. Невидимо, ведь его древнегреческий был плох — настолько из рук вон, что на занятиях по эллинскому поднимаемый для ответов юноша в основном молчал. Но отнюдь не в тряпочку. Глубокомысленно. Как Диоген.

В общем, под историческим углом зрения Огрызкин, несомненно, был вылитым спартанцем с философским даже уклоном, однако этот факт не спасал того еще древнего грека от регулярных пороков. Когда преподаватель античных языков раскладывал озорника на лавке, чтобы высечь его за убогий словарный запас, то всегда слышал одно и то же: «Перед тем как свершится экзекуция, в очередной раз напомню, что я единственный в классе носитель диалекта, на котором общались под Фермопилами. Нет моей вины в том, что лексикон спартанцев был скудным. Что многие слова (как то „трусость“, „предательство“, „назад“, „подлость“, „пулемет“, „кибервойна“) в языке героизма и мускул так вообще отсутствовали». Далее курсанта стабильно освистывала розга и купали в аплодисментах товарищи.

— Как сидится, скульптор? — приступил дядька, доподлинно зная, каким будет ответ.

— Шикарно, — не разочаровал Огрызкин.

— Так уж прям и шикарно?

— Не то слово.

— Как же так? — словно бы огорчился Дробот. — Вообще-то я тебя в карцер сажал, а не на престол. Надеюсь, что в яме тебе будет максимально некомфортно. А тебе, выходит, хорошо.

— Не хорошо — превосходно, — поправил Огрызкин, продолжая гнуть традиционную для тайги геройскую линию.

— Ведь опять врешь. Как может быть превосходно в тесноте, а потом еще и сырости после дождичка-то в четверг?

— Да очень просто, ведь за четвергом последовала среда.

— Что ты мелешь? Какая среда?

— Благоприятная во всех отношениях, — разъяснил пройдоха. — Теснота и сырость — это ж среда материнской утробы, которая, между прочим, по уюту держит второе место после Христовой пазухи... Скажете, для матерного чрева недостает темноты.

— Матерного?!

— Сирота я, — напомнил Огрызкин. — Так вот скажете, для матерного чрева не хватает темноты. Отвечу — хватает! Даже с решеткой наверху хватает! И в светлое время суток? Да-да, и днем. Ну, если держать глаза закрытыми, конечно. То есть, проще говоря, спать, что я и делал, — сказал Огрызкин, но этого ему показалось мало, и он вызывающе добавил: — И все это, когда другие учились и работали.

— Ах ты, с... сын, — опешил Дробот от столкновения с доблестью и наглостью в одном флаконе. — И что — совсем на волю не тянет?

— Клянусь — был бы против, если б у темницы воды отошли.

— Я так и думал, что карцер для таких, как ты, не наказание. Это как если бы черта наказали преисподней, а мазохиста — плетью. Ты как черепаха — тебе везде дом родной. В общем, так...

В этот самый момент в ночной тиши раздались три хлопка, не дав Дроботу произнести слова об амнистии. Стоявшие в упоре лежа Ракитянский и Буриков синхронно припали грудью к решетке, пружинисто оттолкнулись от нее, зависли в воздухе и, резко перевернувшись, как подброшенные на сковородке блины, впились в небо: ну же, ну! И оно не разочаровало — ракетницы! Две красных, одна белая! Началось...

...Стартовали десятые военные игры...

— Ракитянский, Буриков — свободны, — проводив взглядом пущенные с земли кометы, произнес Дробот и обратился к арестанту со словами, подтверждавшими, что экс-офицеров госбезопасности не бывает: — А вас, Огрызкин, я попрошу остаться.

Стоит ли объяснять читателю, что значило для юных жителей города участие в зарнице. Пацанва есть пацанва. При слове «война» не то что мальчишки — взрослые мужики подчас набитыми дураками делаются, если, конечно, не прошли через фронтową ад. Огрызкин не прошел, поэтому Дроботу не надо было углубляться в душу курсанта и на полштыка, чтобы понять, что в ней теперь творится. Спору нет, к своим семнадцати годам парень нанюхался пороха будь здоров, но все же не боевого, а учебного, который лишь усиливает воинственность, вызывает не отторжение, а токсикоманию.

«Попалась, пиранья, — мысленно потирал руки наставник. — Сейчас посчитаю твои зубы, зашамкаешь у меня, как старик. Ума не приложу, как это я тебя за так хотел отпустить. Что за слабость такая на меня нашла? Это ж только мелкую рыбу по доброте душевной на волю отпускают. А ты у меня экземпляр крупный — сколько уже крючков и неводов порвал. Нет, брат, теперь все только под условия и гарантии».

12

Огрызкин высоко выпрыгнул из воды, как ватерполист перед броском, и вцепился в карцерную решетку правой рукой. Два пальца на левой (указательный и средний) тут же юркнули в одну из квадратных щелей и впились в ботинок стоявшего наверху Дробота.

— Василий Владимирович! — подтянувшись к решетке, взмолился сиделец новым протекторам на подошвах наставника.

— И не проси, — отрезал Дробот (содержание челобитной ему уже было заранее известно, какая уж тут тайна).

— Но Илью же с Толей отпустили!

— А че их держать? За то, что посетили тебя, отжались. Или ты хочешь, чтоб я их к тебе посадил на время Игр? Они вот, например, по отношению к тебе поступили как настоящие товарищи. А вот ты — настоящий ли им товарищ? Или гусь свинье?

— Вы же знаете!

— Не сомневался в тебе, — похвалил Дробот. — Тогда тебе наверняка приятно будет узнать, что твои товарищи определены в разведзвод. Порадуйся за них. Козырная карта легла паре домов с нашей улицы. Когда еще такая ляжет? А никогда. На следующих Играх — это уж как пить дать — за нынешний бонус наш дом оставят на полевых работах. Полоть, поливать, пасти КРС будете. Думаю, не станешь спорить, что это вполне справедливая плата за возможность побывать разведчиками на юбилейных маневрах. Разведка — это же так весело. Просто весело, когда надо достать сведения о перемещениях противника. И очень весело, когда надо добыть языка. Вот твои товарищи как раз за языком-то и пойдут. Сведения достоверные, имею своего человека в штабе. Играем за «синих», если интересно. На главном направлении удара. От атаки. В общем, все, как вы любите... А ты посиди, подумай над своим поведением.

— Уже! — вскричал Огрызкин, совершенно потерявший голову от слов наставника.

— Так быстро?

— А неча тянуть! Свинтусом жил! Каюсь! Рву волосы на себе!

— Там у тебя рвать нечего, лысая башка. Пеньки одни.

— Я не про голову! — моментально нашелся Огрызкин.

— Про подмышки, что ли?

— Даже ниже!

— Это где это?

— Неудобно говорить!

— Шутить со мной вздумал, клоун?

— Что вы! — воскликнул арестант, которому действительно было не до шуток. — Показываю глубину раскаяния же! Марианскую! Потому и рву гнездо для яиц! В переносном смысле, конечно!

— В прямом давай.

— Руки заняты!

— Так отпусти.

— Уйдете же! — вырвалось у Огрызкина, который искренне верил, что пока он удерживает ботинок — дядька никуда не денется.

И вдруг пальцы узника стали предательски сползать с гладкой кожи башмака. Им на выручку сейчас же поспешила свободная нога наставника. Правая, кому нужны детали. Она придавила клешню Огрызкина с такой силой, что не возникало сомнений: в самом ближайшем будущем дневник курсанта пополнится новыми неудачами по сурдопереводу.

«И так проблемы с акцентом, — сморщившись, подумал узник, — а теперь наверняка еще и зашепелявлю».

В глазах Огрызкина помутнело, как в плохо законсервированной банке с огурцами. Он изогнулся на импровизированном турнике, как свежий червь на крючке, но данную себе установку выполнил — не сопровождал боль озвучкой. Русский Чаплин умел молчать на дыбе не хуже украинского Бульбы. Никакого героизма. Немая синема.

Как же таежный Чарли хотел вернуть пальцам окоченелость трехчасовой давности, которая сделала их нечувствительными — хоть руби! Курсант пожалел, что с приходом друзей, а потом и наставника так много двигался, что кровь разогналась по телу до такой скорости, что кое-где уже не вписывалась в повороты и вылетала за пределы трассы. Как уже наверняка догадался читатель, она выливалась из организма как раз в тех местах, до которых несколькими часами ранее вообще не дотекла — в районе указательного и среднего пальцев левой руки.

Между тем испытания только начались. Наставник полностью перенес вес тела на правую ногу и начал круговыми движениями ботинка ездить по пальцам курсанта, как танк по траншее, боящийся гранаты сзади. Над головой Огрызкина раздавался хруст, как будто кто-то жрал капусту.

«Господи, пронеси», — взмолился про себя курсант, как будто то, что он сейчас перенес, было так — ромашки и лютики.

Как в воду глядел. Ромашки спрятались, поникли лютики, уступив место калинке-малинке. Правый ботинок Дробота оторвался от раздробленных пальцев, но только для того, чтобы через долю секунды прибить их к левому. Намертво. Огрызкин забился в конвульсиях, но не издал ни звука, потому что перед ударом успел предусмотрительно зажать в зубах заменитель палки — кость руки.

— Вот теперь точно никуда от тебя не денусь, — с удовлетворением произнес Дробот. — Ты ведь, кажется, этого хотел?

— Этого, — процедил курсант.

— Ну и где благодарность?

— Спасибо!

— Нигде не жмет? — участливо спросил наставник.

— Мой размер!

— Ну-ка пошевели-ка пальцами, — попросил Дробот. — А то ведь у тебя вон какая лапа, а у меня сорок первый всего.

Большой, безымянный и мизинец Огрызкина скрючились.

— Не этими, курсант, — посмотрев под ноги, с улыбкой произнес дядька. — Указательным и средним.

— Не могу!

— Стало быть, все-таки не впору тебе мои боты.

— В самый раз! — бросил арестант. — Просто обувь новая, разносить надо!

«Вот же сатана-то», — не без гордости за воспитанника подумал Дробот и решил, что на сегодня с Огрызкина довольно: — Хорошо, отпущу тебя. Но у меня есть условия. Даже одно.

— Называйте!

— Поклянись, что перестанешь шкодить.

Огрызкин не сразу отреагировал, хотя ему этого очень и очень хотелось.

«Если быстро присягнуть — труба дело, — рассудил пройдоха. — Слова покажутся дядьке легковесными, и он не поверит, что больше я ни-ни».

И арестант взял паузу. Он тягостно молчал, показывая тем самым, как ему невероятно сложно принять и выполнить условие наставника. Молчал, как рыба, кото-

рую проклятый старик попросил о невозможном, ну почти невозможном: сделать старуху вольною царицей, вторым, так сказать, лицом после владычицы морской. Молчал аж до самого восхода солнца (ведь как звучит, если не знать, что речь все-го-то о двух минутах четырнадцати секундах). Но не просто безмолвствовал Огрызкин, а сдабривал тишину непрофессиональными вздохами — в том смысле, что не наигранными театральными, а, как сама природа, естественными, которыми демонстрировал, что отказ от нечестивой жизни для него — это уж конечно — подобен смерти.

— Ну? — не выдержав, первым нарушил тишину наставник.

— Но Василий Владимирович! — взмолился хитрец, и в голосе его было сопротивление кролика, который хоть и упирается, но очень даже лезет в пасть удаву.

— Не испытывай мое терпение, — осветив курсанта фонарем, пригрозил наставник.

— Но прошу вас, — еле слышно вымолвил Огрызкин, как бы все еще цепляясь (но слабенько, для одного только вида) за прежнюю поганую жизнь свою, и (ну надо же, какая находчивость!) даже пал перед Дроботом на колени в висячем положении (делов-то, оказывается — надо просто пятки в зад вонзить).

— Так ты принимаешь мое условие или нет?

По тону дядьки арестант понял, что тянуть с ответом больше нельзя — можно переборщить и все испортить.

— Я... сог... ласен, — не сказал, но выблевал из себя Огрызкин. — А коли не сдержу слово — Бастилия, одиночка.

— Смотри же, — предупредил Дробот, убрал ногу с пальцев и, пообещав освободить узника через час, был таков.

Огрызкин отцепился от карцерной решетки, плюхнулся в воду и сразу отключился. От разможенных пальцев потянулись красные лентообразные струи. Запах крови привлек находившуюся поблизости и очень похожую на автора этой книги акулу пера. Она тотчас подплыла к узнику для проведения медкомиссии. Внимательно осмотрев побывавшие в твердом переплете персты, хищница пришла к выводу, что травма у курсанта пустяковая и он вполне годен к предстоящим военным играм — правда, с незначительными ограничениями.

— Допуск «Б», — вынесла вердикт акула и уплыла восвояси.

Очнувшись и поглядев на пальцы, Огрызкин сделал такое же заключение, но ничуть не обрадовался. После слов дядьки о разведке перспектива участия в Играх в составе какого-нибудь понтонного батальона, куда зачисляли со штампом «Б», курсанта совсем не прельщала. Ему нужно было только спецподразделение, а туда брали исключительно с категорией «А»: годен без ограничений.

— Хрен вам, а не операция! — психовал Огрызкин, вероятно, обращаясь к пальцам. — Госпитальеры сразу настучат, кому следует, что курсанту такому-то наложен гипс на левой руке, поэтому просим зачислить его писарем в тыл. Ну, конечно. Я же переученный левша, справлюсь и правой... Не, а че мы краснеем?! — вскричал Огрызкин, и это уж точно относилось к окровавленным пальцам. — Раньше надо было краснеть! Когда понос затыкали! Когда к верхней губе прикладывались, чтоб я на фюрера походил! Когда на сходках грязными в рот лезли и «зеленых» освистывали! Деревьев, видите ли, и так как собак, а леспром в упадке — даешь лесопилки, комбинаты целлюлозно-бумажные! А перевяжу-ка я вас, гниды, как мумий, чтоб глаза мои вас не видели! И на бинт рот не разевайте! — взбурлил сиделец, как будто в карцере имелся выбор перевязочного материала и пальцы затребовали бинты. — Щас — разметались! Тельняшка вам, а не бинт! Мокрая! Еще и помочусь на нее! Антисептик, ага. Только без «анти»!

Взгляд арестанта был холоден, жесток и страшен. Не было уже ни Огрызкина, ни пальцев его. Гай Юлий Цезарь взирал на залитые кровью фаланги, сломавшие строй под варварским натиском и опозорившие своего полководца. Бесчестье ваше не падет на меня, словно говорил надменный взгляд великого, не желавшего знать поражений римлянина. И легион левой руки, давно изучивший военачальника как свои пять пальцев, понял: о разбитых фалангах в вечнозеленый город доложено не будет.

— Жребий брошен! — отхлебнув из личного Рубикона, произнес Огрызкин и, подмигнув барахтавшемуся в воде жучку, добавил: — Я же просто порезался, ерунда, с кем не бывает.

Курсант оторвал от тельняшки кусок материи, перевязал пальцы и забыл о них. О них, но не о жгучей боли, которая — это Огрызкин знал — будет терзать его во время Игр, как мучила и сейчас. Этот факт не только не огорчил, но — как ни странно — даже обрадовал юношу. Как и все курсанты, он мечтал понять родную страну, стать ее частью и в свои семнадцать уже имел твердое убеждение, что ничто так не сближает человека с собственным народом, как физические или духовные страдания. Они есть крепкие и только на первый взгляд уродливые корни, питаюсь от которых вымахал прекрасный тысячелетний дуб, любил говаривать Огрызкин. Размышляя над отечественной историей, курсант пришел к выводу, что Россия сделала себя благодаря одному лишь страданию и что на самом деле русский народ жить без мучений не может, хотя никогда в этом не признается. И по Огрызкину это вовсе не была нация-мазохистка. Это была нация, которая на подкорке хотела походить на самого позднего Христа, в самые страшные для Него мгновения — минуты предсмертной агонии. И все для того, чтобы потом, если уж не на третий день, то хотя бы на пятый-седьмой-десятый-семидесятый год воскреснуть, как Спаситель, в небывалой силе и славе.

Уверен, читателя уже порядком утомило, что в тайге только и мыслей-разговоров, что о России. Знал бы читатель, как изможден гражданской прозой и автор, но ничего не поделаешь. Курсанты просто толком не умели говорить на другие темы. Они смахивали на детей белоэмигрантов, которым с утра до ночи рассказывают об одном и том же — какая прекрасная и несчастная страна осталась за морями и лесами. А если тебе только и делают, что круглосуточно твердят о России, то она поневоле становится твоим всем.

Конкурентов у Родины не было и близко, и причина этого крылась не столько в яром патриотизме лесных воспитанников, сколько в жестких условиях эксперимента, конечно. Ведь ни одной же девушки на тыщу верст, к примеру! Уж кто-кто, а представительницы слабого пола точно вскружили бы парням головы и задвинули бы надоевшую нам Россию на второй план. Пустые мечты. Хоть испсихуйся, а девушки, которые разнообразили бы жизнь парней, а заодно и книгу, в тайге не водились. Да, интерес к женщинам со стороны курсантов временами вспыхивал, и довольно ярко, однако же быстро гас, так как мужская братия, как известно, любит глазами, а в тайге визуальные дамские образы были под строжайшим запретом. Лесная администрация прекрасно понимала, что даже скверно написанный портрет какой-нибудь кокетки может спровоцировать волнения в крови и на площадях. Поразительно, что за много лет ни у кого из взрослых обитателей леса, умевших рисовать и видевших женщин живьем, не сдали нервы. Ни одна Мария, Анечка, Юлька, будь то мать, сестра или возлюбленная, не легла на бумагу. Как ни умоляли об этом курсанты. Как ни хотелось этого подчас самим наставникам.

Или взять автомобили. Ведь самая же что ни на есть мужская тема, способная на равных конкурировать с Отчизной. Машины же в тайге были. Были-то были, но

опять-таки с военно-патриотическим уклоном, и разговоры о них в конечном счете сводились к тому, сколько, например, танков и БТРов нужно, чтобы никто в Россию не сунулся.

Литература? Спорт? Беседы о них опять же скатывались к стране. Кубарем. Ничего удивительного. Курсанты быстро, легко и с удовольствием подверстывали к стране дуршлаг, веник какой-нибудь, тараканов — чего уж говорить о таких высокодуховных или телесных вещах, как литература и спорт.

13

В оружейной комнате дома № 11 по улице прославленного при жизни Александра Маслякова шла тщательная подготовка к военным маневрам. Капитан Ракитянский и лейтенант Буриков чистили оружие.

Разжалованный в рядовые Огрызкин перекрашивал зеленые каски в темно-миротворческий цвет армии «синих», негромко напевая: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Погоны ефрейтора с Сергуна сорвали в прошлом году. Если вдруг кто-то из читателей переживает за юношу, спешу успокоить: при падении с карьерной лестницы (ну как лестницы — приступка) Огрызкин ничуть не расшибся. Оно и понятно. Довольно сложно получить серьезное увечье, упав почти с земли.

А провинность суворовского чудо-юдо-богатыря, коли интересно, была такой: он лишил провианта двести неприятельских солдат, самовольно, без приказа спалив их продсклад. Огрызкин знал, что это ЧП не деморализует закаленных таежной жизнью недругов. Младодиверсант замахивался совсем на другое. Он рассчитывал нанести удар по интеллекту противника, добиться максимального отупения неприятеля, чтоб даже и стрелять разучился. И сначала все шло по плану. У вражеских солдат началась быстрая деградация по дарвиновской шкале происхождения видов. Не прошло и суток, как они, подобно неандертальцам, занялись собирательством, так как на охоту с передовой далеко не отлучишься, а поблизости зверь был распуган маневрами. Между тем, читатель, стоял февраль. А это вышелушенные бурундуками и белками шишки. Это семнадцать мерзлых и сморщенных брусничек на квадратный километр. Не ягоды — костяные бенди-мячи для мальчиков-с-пальчиков.

На девятый день лютый голод выгнал из окопов уже совсем питекантропов и швырнул их в атаку. Встречный холостой огонь (учения все-таки) не остановил, просто не мог остановить первобытных штурмовиков с дубинами в руках (к слову, после маневров они, как мальчишки на материке, закончившие игру в войнушку, напроць докажут, что пули и снаряды летели мимо).

В общем, противники сшиблись, и завязалась такая варварская рукопашная, что не приведи Господь. Санитары не справлялись с потоком раненых. Бинты быстро закончились, и в ход пошли тельняшки, штанины и рукава от формы, а кое-где даже святыни войсковых соединений — знамена, за использование которых двенадцать солдат-крестоносцев позже ответят перед судом военного трибунала. Санинструкторов-гуманистов привяжут к кедром и заперют до полусмерти. За них никто не вступится — даже те, кто был перевязан бинтами из стягов. Не будет ни одного слова в защиту медбратьев. При этом их преступление товарищи одобряют. Но довольно своеобразно. Перед началом истязания палачам-сверстникам шепнут: «Лупите ребят со всей дури, чтобы быстро потеряли сознание и ничего не чувствовали. Проявите мягкосердечие — пеняйте на себя».

16 февраля навсегда станет антисанитарным днем не только благодаря солдатам, разорвавшим знамена на бинты. Через час после начала резни большинство медбратьев вообще увидят свой долг в том, чтобы оставить раненых на произвол естественного отбора и присоединиться к драке. Молодая кровь взыграла. А как ей, скажите на милость, было не взыграть, если она, разбив оковы вен и вырвавшись на свободу, стала полновластной хозяйкой округа, окрасив все в цвет голубой мечты коммуниста? Окопы напоминали натуральные пункты кровосдачи, только раскуроченные и без шоколадок.

Санитаров, сорвавших с себя повязки с красными крестами и вязавшихся в свалку, после маневров строго не накажут — лишь пожурят для вида. Оставили бы без помощи женщин, стариков или детей — расстрел без суда и следствия, а раненые мужики — ниче, пусть истекают кровью, коли уж кончился перевязочный материал. Победа важнее цены за нее, и лучше мертвый мужчина, чем никакой — так учили курсантов. Им говорили, что еще при Советах в стране не стало мужика, что превратился он в невозможную тряпку, о которую вытирают ноги тянущие воз бабы. Юноши не переставали удивляться, до чего странные были эти бабы. Они выли от взваленного на плечи груза и одновременно упивались абсолютным лидерством в семье и государстве. При внешнем неудовлетворении — какое-то урчащее кошачье удовольствие от того, что в России матриархат, что все успехи — их заслуга, а провалы — пьющий и тунеядствующий мужик виноват. Каждый курсант знал, что на материке он должен явить собой не просто образец настоящего мужчины, а гипертрофированного. И благодарности за это от женщин ждать не стоит. При внешнем ликовании они окажут мощное внутреннее сопротивление, и власть просто так не отдадут.

— В борьбе канут минимум два поколения россиян, — каждый раз предупреждали педагоги.

— Потерпим ради победы, — отвечали юноши.

— Дурачье, — смеялись наставники. — Какая победа?! Мужчины станут мужчинами, а женщины женщинами — вот итог войны.

Рукопашная длилась около двух часов. Пощады не просил никто. Не было ни пленных, ни отступающих — лишь нокаутированные или обездвиженные от переломов. И полуобезьяны одержали верх над превосходившими их по численности людьми. Когда Сергун очнулся среди победивших кроманьонцев (резкий эволюционный скачок после плотного обеда во вражеском лагере), то понял, что ни условного, ни безусловного врага, если он силен, опытен и отважен, нельзя лишать провианта: звереет и выигрывает.

При подведении итогов зарницы вина Огрызкина в поражении на одном из участков фронта была установлена и доказана. Сто девяносто шесть неприятелей из двухсот (четверо погибли во время атаки) показали, что, оказывается, сытое брюхо к победе глухо и если б не взорванный продсклад, то результат боя мог быть каким угодно. Ну да отвлеклись мы...

...В отличие от товарищей по дому, которые уже несколько часов назад разошлись по своим подразделениям, наши друзья оставались в доме. Их ждало спецздание. Через час им предстояло явиться к главкому «синих» Георгию Брянцеву — семнадцатилетнему генерал-лейтенанту, прозванному за полководческий талант Станиславским Театра Военных Действий.

Буриков был сам не свой, и это не ускользнуло от Ракитянского.

— Че приуныл, Илья? — спросил Толя.

— Да так, — буркнул Буриков, поправив на пустой глазнице пиратскую повязку, хотя она и так сидела хорошо.

— Говори уже.

— Огрызкин засмеет.

— Я ему засмею... Переживаешь, с задачей не справимся?

— Да не — в первый раз, что ли... Толь, я вот все про общественный транспорт на Большой земле думаю. Как бы в нем впросак не попасть.

— И с этим олухом я сейчас в разведку пойду, — покачал головой Огрызкин. — Где там просаку-то случиться? Все ж просто: в теплое время не будь русак, в холодное — беляк, а то выпнут из троллейбуса. Ну и в окно не глазами, естественно. Смотри, кто на остановках в двери заходит. Старикам, инвалидам, детям, беременным место уступай.

— Во-о-от, — выпучил глаза Буриков. — С местами-то как раз у меня и проблема. А точнее — с женщинами! Вот скажите, какой из них надо уступать место? Встанешь сдуру — обидишь же смертельно. Дамы ведь крайне чувствительны к возрасту. Вставанием с места ты им прямо укажешь, что зачислил их в старухи. Где грань между молодой и пожилой женщиной? Как провести классификацию? По морщинам? Осанке? Седине? Зубам?.. Не поможет это все. Морщины с горбом, простите, согбенностью у наших изработанных соотечественниц задолго до положенного срока появляются, но это вовсе не значит, что старые они. Да и седина с пустым ртом — не индикаторы возраста. Волосы, я читал, красят, а зубы вставляют.

— Может, по платку на голове судить? — предложил Ракитянский.

— Не вариант, запутаешься только, — с видом всезнайки изрек Огрызкин. — Это ж стереотип, что старуха обязательно должна быть в платке, а девица — в шляпке. А платки нынче наверняка и молодухи носят. Хоть бы и в церковь. После кашпировских 80-х и сектантских 90-х нация резко ударила в истинного Бога, чуть лоб не расшибла — мы такие. Читали же об этом, когда воздушное сообщение работало. А женщины есть женщины. Сперва захотят не внутренне, а внешне перед Всевышним и угодниками преобразиться. Это уж как пить дать. И тут непременно атрибут — платок. И не абы какой, что ты! В чем попало на прием к Василию Блаженному да Серафиму Саровскому?! Да вы с ума сошли! У модельеров, наверно, уже ум нараскоряку, какой фасон придумать, чтоб Анжела в храме отличалась от Полины.

— А ты у нас, смотрю, прям тонкий знаток женской природы, — заметил Ракитянский. — Монашки, например, на красоте платков совсем не циклятся.

— Исключение из правил, которое только подтверждает правила, — отрезал Огрызкин, разрезав воздух ребром ладони. — Не хотелось бы усугублять, братья дорогие, но наткнулся я как-то на заметку про одну нашу пенсионерку, которой было восемьдесят два, выглядела она при этом на шестьдесят пять, а ощущала — на семнадцать со всеми вытекающими: маникюр делала, мини-юбки таскала, кокетничала с вьюношами за сорок. А в магазинах, напоминаю, продавщицы все как одна являются девушками, даже если какой пятьдесят с гаком. Железобетонное правило. Прочел где-то, что любая ларечница тебя непременно обсчитает и правильно сделает, если ты ее, не дай бог, женщиной обзовешь.

— Если нельзя молодых от пожилых отделить, можно просто перед любой дамой вставать, — робко предложил Буриков.

— Гимн тебе, что ли?! — взбеленился Огрызкин, и нельзя было понять, возмущенный патриот в нем говорит или великий сердцевед по женской части. — Давай еще паспорт у дамы спроси!

— И спросил, и спросил бы под видом проверки, нам же спецкорочки выдадут, — произнес Буриков. — А толку-то?! Ну, увижу, что ей шестьдесят, а дальше? Присаживайтесь, пожалуйста, — так что ли? Это ж конец. Она сразу поймет, что меня возраст интересовал. Да ведь и границу нам четко не обозначили, что нет даме шестидесяти — сиди, а стукнуло — уступи место. Цифру же я от балды взял. А вдруг женщина вооб-

ще за равноправие полов! Больше — воинствующая феминистка! Или просто не согласна с пороговым числом!.. И ведь не спросишь же паспорт, все равно не спросишь, хоть бы и сделали рубежом шестидесятилетие, хоть бы и согласна она была с ним. Сидящий парень удостоверяет личность стоящей женщины — каково, а?! Это ж стыдоба и скотство. Да и не хватало еще, чтоб она, бедная, подумала, что я ее в чем-то подозреваю. И это ее-то! Не в «кадиллаке» сидящую! В автобусе трясущуюся! — с искреннейшей болью за нелегкую женскую долюшку выкрикнул Буриков, как будто не по картинкам, а по жизни знал, что в «кадиллаке» комфортнее, чем в пазике. — Нет, она, разумеется, вовсе не подумает, что я ее подозреваю в чем-то противозаконном. Не надо ее за дуру держать. Она сразу смекнет, что меня именно возраст интересует. Пишут же, что женщина прозорлива, простите, как старлица, когда дело внешности касается. А лучше б решила, что я в ней убийцу или террористку увидел! Ей-богу, так лучше! Главное — не старуху!.. Плюс у нее сумки наверняка. Пишут же, что наши женщины всегда с сумками. Как кенгуру австралийские навроде. Сходство близнецовое. Даже впереди, читал, сумки держат, чтоб от воров убежаться. Будет такая рыться в авоськах своих, ронять все в поисках паспорта. Короче, столько неудобств человеку создашь и моральных, и физических... Измучился я, братья. Что делать-то? Как в женщинах разобраться?

— Задал ты задачку со звездочкой, — вздохнул Ракитянский. — Вряд ли мы ее решим. Женщины — существа необъяснимые, непонятные. Предсказуемы, пожалуй, только в одном: всегда играют на понижение возраста, как биржевые «медведи» на понижение курса.

— Тогда в чем проблема? — с хитрецей подмигнул Огрызкин. — Надо просто никогда не уступать место, тем самым демонстрируя даме, что она моложаво выглядят. И не отворачиваться к окну. На нее смотри! В упор! Пожирай глазами, как в бульварных романах советуют. Типа, нравишься ты мне, красавица, сил никаких. И лет-то тебе, наверно, от восемнадцати до пятидесяти семи, что в среднем арифметическом составляет тридцать семь и пять. Ты ж видишь, милая, я сижу! Это не от бескультурья, а знак тебе, что твои годы не замечены. Можно даже на весь автобус грубо тыкнуть ей как сверстнице. Это окончательно убедит ее, что она молода. Перед этим, конечно, сделать так, чтоб она тебе сумкой задела, а то неправдоподобно выйдет. Она тебе: «Вы почему мне тыкаете?!» А ты ей: «Это я-то тебе? Это ты в меня баулом своим тычешь! И ты мне не мать, выкать тебе! У меня сестра и то старше тебя, а я ей тычу, и ниче. Ишь, в какое платье вырядилась! Небось от кутюр, а сумкой мне в харю лезешь. А туфли?! Я таких эксклюзивных лодочек, гондол венецианских, ни на одной не видел! Так соответствуй своей внешности хоть маленько!» Она, ясен пень, обзовет тебя хамлом, а про себя подумает: «А я еще ничего. Какой славный молодой человек».

— От молодец какой! — язвительно прокомментировал Ракитянский. — По-твоему, пусть стоит уставшая женщина, наслаждается молодостью, которой ты ее одарил. Не стыдно? — спросил Толя, как будто Огрызкин уже напакостил в маршрутке. — Короче, выход вижу только один — иди на выход. Увидел женщину поблизости — сразу встал и пошел к двери, чтобы слезть на следующей остановке. И она села, и ты вне подозрений.

— Ты так никогда до пункта назначения не доберешься, — усмехнулся Огрызкин. — Это тебе не наш таежный городок, где женщин тю-тю. Это настоящий, черт тебя возьми, город. Там девочка на женщине и бабулей погоняет. Транспорт, я уверен, забит ими. Замучаешься, в общем, на каждой остановке сходить. Тебе статистика нужна? Легко. На десять девчонок — девять ребят... Эх, нам бы сюда хоть вот эту одну, которой пары не досталось. Королевой была бы. Пусть даже безрукая, безногая, без-

глазая, безъязыкая — движениями бровей бы управляла. А мы бы никогда не сидели в ее присутствии. При королевах не позволено сидеть, я читал.

— Эврика! — взъерошив копну рыжих волос, радостно воскликнул Буриков. — Можно ж вообще в транспорте не садиться! Не сядешь — вставать не надо!

— Ну слава богу, — выдохнул Ракитянский. — Ай да Ильюха!

— Ай да бестолочь лесная, — продолжил Огрызкин, не разделив общей радости. — Все-то у вас просто. Ты не сядешь — займет место кто-нибудь другой. И это обязательно будет мужик, которому плевать на женщин, на все плевать. Он ни за что не встанет! И вообще мужиком я назвал это ведомое, инфантильное, спившееся, безответственное существо по инерции. Нынче в России от мужика одно название осталось, и то скоро из обращения выйдет, сами знаете. А в курсе ли вы, к примеру, что стране было мало одного типа недомужика, и она завела себе дополнительных зверушек. В самой последней почте о них прочел, название газеты не помню, но найду в подшивке, если надо. Первый, значит, зверок — дикое и грубое мачо. Целует мускулы на камеру. Второй — ручной и благовоспитанный метросексуал. Пудрит нос перед зеркалом. Объединяет оба типа нарциссизм, селятся они в основном в Москве. Живчики эти имеют успех у женщин, так как не пьют и ходят в тренажерные залы, чтобы качать свое body. Спрашивается, для чего они качают свое body? Чтоб кули ворочать? Землю пахать? Защитниками слабых и угнетенных быть? Ага, размышлялись. Чтоб от самих себя млеть — вот для чего. Им и женщина-то, уверен, не нужна, а если и нужна, то как кошелек, потому что влюбленные в себя зверушки к бабке не ходи — гермафродиты. Пока латентные, конечно, но подождите — дойдет до того, что они сами себя это самое будут. Я прям геев щас зауважал. Хорошие парни. Не эгоцентристы, по крайней мере. Кого-то, кроме себя, любить могут.

— Фу-у-у, — поморщились Ракитянский с Буриковым. — Заткнись уже.

— Молчу, молчу, несовременные мои ретрограды, — осклабился Огрызкин. — Вернемся к мужику в троллейбусе, который сел на свободное место. Так вот повторяю: он ни за что не встанет ни перед женщиной, ни перед стариком, ни перед кем вообще, потому что сидеть — это его ментальность такая сегодня. Он либо охранник в магазине, либо менеджер в офисе, либо альфонс на шее, либо лузер в луже, либо зэк в тюрьме. И нам, кстати, сидячего образа жизни тоже не миновать. На мате-рике быстро окажемся за решеткой.

— Ты преувеличиваешь, — улыбнулся Буриков.

— Еще как окажемся, только я хоть тренированный, а вы, — Огрызкин махнул рукой, — из вас зэки как испанцы из каталонцев. Из вас зэки как ловеласы из евнухов. Как зонтики из...

— Хорош болтать, — не дав сыроежкам закольцевать каскад сравнений, перебил Ракитянский. — Ближе к сути.

— Как скажешь, кэп, — подчинился Огрызкин. — Не будете же спорить, что на Большой земле нас запросто могут назначить чиновниками. А это, знаете ли, прямая дорога в колонию.

— Не мели ерунды, — бросил Буриков. — Мы ж не будем брать взятки! Мы ж честно!

— Ты где живешь, Ильюшенька? — перешел Огрызкин на голос, которым говорят с малыми детьми. — Ты в какой стране, солнце мое, от колонии зарекаешься? Как раз твоя честность тебя и сгубит. Чтобы это понять, тебе надо было, как я, зачитываться материковой прессой, распечатками с Интернета, радио- и телеэфиров. Но ты современной печатью зачастую брезговал, предпочитал ей «Слово о полку Игореве» или «Повесть временных лет». Ты максимально отгораживался от российской действительности. А если и брался за нее, то выбирал в основном хорошие или нейтральные моменты. А всяческую гадость намеренно пропускал

мимо глаз и ушей, боясь запачкать в ней свой идеализм, — не так ли?.. А ты, Ракита, тоже хорош. Слушал старших и читал ты избирательно. По России тебя интересовали сухие выводы, статистические данные, а не живая жизнь, из которых они складывались. Ты не вникал в мелочи, а схватывал картину целиком. Не тактик потому что — стратег. Не раз я видел, как Буриков начинал витать в облаках, а ты незаметно переключался на разработку какой-нибудь системы мелиорации, когда преподаватель на паре отвлекался и заводил речь о нищете, в которой оказалась конкретная семья. Буриков не хотел слышать о бедности каких-нибудь Карпушкиных из-за гипервосприимчивости, не выносил горькой правды, заболел сразу. А тебе достаточно было знать, что просто есть нищета как проблема. Много ты впитал, многое понял, не спорю. Но упустил в тыщи раз больше!.. Из вас я один с головой погружался в трильоны деталей и частных случаев. В быт. В вонь. В грязь. И в ущерб себе, между прочим! Вы вообще знаете, сколько пороков я вынес за то, что по ночам читал прессу, когда к уроку надо было подготовить войну алой и белой розы?! Или факторы, влияющие на скорость химических реакций?! Поэтому о материке знаю в тыщи раз больше вашего. Так вот слушайте сюда, вы! Я сяду в тюрьму. И ты, Ильюша, сядешь. И ты, Ракита. — Подбородок прохвоста задрожал по-стариковски, голос его задребезжал, как сервант при землетрясении. — Знать, не доведется среди женщин пожить. Из одного мужского коллектива в другой перекочую. Вот спасибо тебе, фатум.

— Не лей воду и не скули, — призвал Ракитянский. — Говори толком.

— Мы ж не сразу зайдем главные посты, хлопцы, — энергично, с увлечением говорил прохиндей (и куда только недавнее упадничество делось, одно слово — актер). — Сначала нас будут обкатывать в низовых и средних звеньях, чтоб набрались опыта. Вот тут и амба нам. Работать не дадут. Начнут втягивать в коррупционные схемы, повязывать грязными деньгами, как кровью. Откажемся сотрудничать — подставят. И так подставят, что охренеете. Вот что у тебя в подсумке, Ильяз?

— Известно что — противогаз.

— А я тебе говорю — четыре кило героина!

— Ты спятил! — бросил Буриков.

— Мы с Ракитянским свидетели, — сухо произнес Огрызкин. — Че молчишь, Толян? Скажи же, что у Бурикова наркота.

— Наглая ложь, — отрезал Ракитянский, хоть и понял, куда клонит плут.

— Не забывай, у тебя семья, двое ребятишек, — принялся давить Огрызкин. — Мишутке всего годик. Только от соски отучили. Совсем малыш. Жить да жить еще.

— Не думаю, что в России все прогнило до такой степени, — сказал Ракитянский. — Не думаю, что до такой!

— До такой, цирроз им там в печенку!.. Ну же?!

— Мы свидетели, Ильюха, — скрепя сердце поддался Ракитянский. — У тебя в подсумке наркотики. Прости.

— Да вы что, ребята?! — вскочил Буриков, и единственный глаз его заморгал быстро-быстро. — Как же это?!

— А так, — лениво пригвоздил Огрызкин.

— Ах, так?! — воскликнул Буриков. — Тогда знайте — живым не дамся! Сотни при моем аресте лягут!

— Не лягут, — улыбнулся Огрызкин.

— Лягут! Всех положу и в леса уйду! Обучен!

— В таком разе я тебя в самой глухой чаще достану, чертово ты Рембо, — пригрозил Огрызкин. — Я ведь тоже из леса вышел, был сильный мороз. Мне что березняк, что осинник, что кедрач — параллельно, везде найду. Медленной и мучитель-

ной смертью у меня умрешь. Надо будет — из пенька электрическую табуретку сварганю. Предмет «Пытки», как я теперь понимаю, нам не для общего развития преподавали. Как раз для работы с такими падшими ангелочками, как ты. Заруби себе на носу, с... сын, — нас не для того готовили, чтобы убивать соотечественников. Мне дорог каждый человек, говорящий или даже мялящий на русском языке. Каждый! И за гибель выполнявших приказ милиционеров, у которых есть дети, жены, матери, — ответишь по всей строгости таежной присяги. Нигде не спасешься. Лесные братья помогут мне разыскать тебя и на воле, и за решеткой. В местах, не столь отдаленных, это даже проще. Там будет сидеть много наших, как ты уже понял. Команду на твою ликвидацию получают по так называемым малявам. Тюремная почта работает быстро и четко — не чета «Почте России». Так и разошлю всем: «В преступлении с наркотиками Буриков не виновен. Но на нем кровь соотечественников. Четыреста двадцать трупов, включая бойцов спецподразделений. Предать убийцу смерти. По возможности — изощренной». Не сомневайся, я тебе это устрою, если при аресте лапки вверх не вскинешь... Ты со мной, Ракита?!

— С тобой, будь ты проклят, — опустив глаза, тихо ответил Ракитянский. — Не обижайся, Илья.

— Как же это?! — Буриков вскочил со стула и попятился к стене оружейной комнаты. — Вы ж братья мои!

— Колымский песец тебе брат, — отбрил Огрызкин. — Молись, чтоб тебя кокнули при задержании. Или не героин подбросили, а устранили физически. Дай бог, чтоб тебя нашли мертвым от инфаркта, инсульта, прободения язвы или поносного обезвоживания. Или подпилили тормоза на твоей машине (в подконтрольных СМИ: по предварительным данным, в момент аварии водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а прохождение техосмотра считал пустой тратой времени и денег). Но очень-то на физическое устранение не рассчитывай, Ильюша. Не то время. Сейчас морально уничтожают, чтоб другим неповадно было. — Взгляд Огрызкина стал инквизиторским. — А ведь ты, Буриков, совсем не похож на наркодельца. Ну правда... Ты ж вылитый педофил. Одноглазый, рыжий, веснушки эти сладострастные. Короче, тебя обвиняют в изнасиловании девятилетней девочки. Анатолий, и вы не расслабляйтесь. Проходите свидетелем по делу.

— А не пошел бы ты, — сказал Ракитянский.

— И вот вы из свидетеля стали соучастником, поздравляю, — произнес Огрызкин. — Вас видели вдвоем, да. Вы устроили групповуху с маленькой отличницей, гниды. Страна готова вас разорвать. Благодаря вам все наше лесное братство дискредитировано. Нас клеймят позором и увольняют отовсюду... Нет, Буриков. Давай-ка ты лучше будешь у нас маньяк. Двадцать два изнасилования и убийства свесили на тебя. Снимай-ка военную форму. Примеривай извращенную.

— Зачем ты с ним так? — произнес Ракитянский, увидев побледневшего, вжавшегося в стену Бурикова.

— Не поверишь — из любви и сострадания, — ответил Огрызкин. — Он все вынесет, кроме бесчестья. Вот я и предупреждаю его насчет материковых методов. Но самое страшное, что таких не приспособленных к жизни праведничков, как Буриков, в нашем городе 42,375 процента. — Огрызкин на ходу придумал цифру, но друзья ему поверили, потому что в святой простоте своей полагали, что нельзя соврать до тысячных. — Не-а, не приживутся наши ангелочки на Большой земле, отторгнет тамошняя дичка наш белый налив... И только не говори, Ракита, что я тебе сегодня Америку открыл. Ну, то есть Россию.

— Не открыл, но если честно, я немного других опасностей от материка ждал, — признался Ракитянский. — Может, выход предложишь, специалист по Отчизне?

— Предлагаю сесть хотя бы за дело, — деловито произнес Огрызкин. — Но это получится, только если попадем в здоровый чиновничий коллектив. Без казнокрадов и мошенников. Коли повезет, будем спокойно работать какое-то время. Несколько месяцев, полагаю. Не унываю, потому что это большой срок на самом деле. Можно многое успеть. Поставим раскладушки в кабинетах и будем служить, служить, служить до посинения. А потом настанет один прекрасный день, когда все же придется сесть. По доброй воле.

— Не понимаю, — сказал Ракитянский.

— Давай пример приведу, — произнес Огрызкин. — Встретился тут с хакасом Боргояковым с Летнего конца. Так вот он говорит: «Если меня бросят на сельское хозяйство в родную республику и перечислят сверху деньги на посевную, то я пойду на нецелевое использование и сяду. Потому что урожаи по зерновым в степной зоне — гулькин хрен с гектара. В Хакасии скот разводить надо, и я все деньги на животноводство пушу». Если потребуется, говорит, подделаю документы и подпишу их у вышестоящих. А когда все вскроется, возьму вину на себя... Славный малый этот Боргояков, не правда ли? Сяду, подмигивает мне, а прецедент создам. Рыночная экономика, говорит, только городов коснулась, а в деревнях — плановая до сих пор, совок, колхозы. И я с ним солидарен. Плюс централизация власти, говорит, началась, чиновничество и отсутствие инициативы на местах. — Огрызкин посмотрел на Бурикова. — Братан, ты че там приуныл? Че стену подпираешь? Расслабься. Чиновником тебя не назначат, не переживай. Таким, как ты, обычными пожарными быть, простыми военными, заурядными полисменами. А чиновник — это тебе не игрушки. Самая опасная профессия в перспективе. Люди там будут быстро терять свободу, родных, доброе имя и лишь при идеальном раскладе — жизнь... Это судьба истинных героев, — выпрэнно заявил прохвост.

— Круче, чем у аргонатов? — с горящими глазами спросил Буриков.

— Тьфу на тебя, — сплюнул Огрызкин. — Дураком растешь, сравнил анус с перстом... Аргонаты — это ж разве герои? Жалкие мореплаватели твой Язон со товарищи. Такие победы, как у них, любой одержать может. Тебя хоть взять. Помнишь великое сражение, где победил миллионы? Тоже, кстати, в водной среде было дело.

— Не припоминаю что-то, — сказал Буриков.

— Постарайся вспомнить.

— Отвянь. Сочиняешь ты все.

— Как же сочиняю, Нельсон ты мой одноглазый? Вспоминай же, друг Горацио.

— Я не побеждал миллионы нигде! — занервничал Буриков.

— Ну как же? А в лоне? Хотя на твое «нигде» более точное словцо просится, согласен. Миллионы сражались за овладение островом-яйцеклеткой и...

— Прошу — замолчи! — вскричал Буриков. — Хватит!

— Ты там, слышал я, по головам шел, — не унимался Огрызкин. — Ну, по головам не по головам — по головастикам.

— Заткнись! — передернув затвор на «калашникове», пригрозил Буриков.

Но на него уже смотрело дуло пистолета. Огрызкин доставал «макарова» так же быстро, как вообще всяких людей, когда считал, что это необходимо, как в случае с Буриковым.

— Не советую горячиться, Флинт, — предупредил пройдоха. — Я нервный, меня мама в детстве бросила.

— А ну заткнулись! — приказал Ракитянский. — А то обоих пристрелю!

— А давай, — произнес Огрызкин. — Мертвые срама не имут. Все лучше, чем этот идиот страдать на материке будет. Я этого не вынесу, с катушек слечу. Я ж не для того про победу в лоне сказал, чтобы унижить Бурю. А чтоб понял он, что

рождение — это и есть самая великая наша победа, других не будет и не надо. Идем не на смерть даже — на позор... Вот что я вам скажу: я люблю людей на Большой земле, как отец. Даже как мать. Настоящая. Ну та, которая за детей жизнь положит, даже если узнает, что они твари. А их (ну тварей) в России хватает. Может быть, даже большинство, и поэтому...

— Не смей так о наших людях! — по-гюрзиному прошипел Буриков, вероятно, запамятовав, как пару минут назад сам же хотел проредить этих самых наших людей, если они несправедливо с ним обойдутся.

— Смирно! — скомандовал Ракитянский. Гвардии капитан Ракитянский.

Огрызкин и Буриков подскочили, вытянулись в струну. Приказ старшего офицера, как тумблер, в секунду переключил их на профессиональных солдат. Груз ответственности свалился с плеч Сергея и Ильи, уставших от постоянных треволений по поводу будущего. Все распуталось. В головах и душах прояснилось. Приказ «смирно!» был больше чем приказ «смирно!». Это ж только на поверхности лежала команда к подчинению, а в глубине — примерно следующее: «Думать и решать теперь буду я, капитан Ракитянский, а ваша задача простая — беспрекословно слушаться, стойко переносить трудности и героически умереть, если понадобится». И Огрызкин с Буриковым повеселели, потому что задача действительно была несложной. Как большинство русских, юноши на генетическом уровне отлично умели и подчиняться (татаро-монгольское иго, крепостное право при царях и генсеках), и терпеть (а прямо вся история от Рюрика до наших дней), и умирать (довольно и одной ВОВ для примера). Делов-то. Лишь бы кто-то повыше рангом избавил их от извечных вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?». Лишь бы не принимать решения самостоятельно и не нести за них ответственность.

Одни называют это рабской психологией, другие — монархическим сознанием. И первое не значит «плохо», потому что сам Спаситель умыл ноги своим ученикам. А второе не значит «хорошо», если вспомнить Эйнштейна, доказавшего относительность всего и вся.

14

Троица вышла на улицу и отправилась в ставку главкома, которая находилась на другом конце города. По пути нашим героям то и дело попадались идущие в ногу коробки «синих» в полной амуниции. Они чеканили шаг по брусчатке, вероятно специально уложенной неровно, чтобы напоминать о сердце России — Красной площади. Издалека доносился рев моторов военной техники, построенной за городом в колонны для марша. Судя по частым звукам разгазовки, можно было понять, что механики-водители ждали приказа к выступлению и нервно топят и отпускают педали, рвут на себя и от себя рычаги — так бык бьет копытом о землю перед тем, как рвануть с места. С каждой минутой и без того зычная переключка боевых машин «красных» становилась все яростнее. Казалось, груды военного металла тоже изнывали от напряженного ожидания вместе с водителями и только и ждали, что команд по рациям, чтобы начать преследование своей пехоты, получившей несколько часов беговой форы.

В это же самое время боевые машины «синих» спокойно спали в загородных боксах, чувствуя сквозь сон, как в их утробах проводят профилактические работы те, без которых гуманитарии читали бы своего Ремарка в пещере при свете огня и называли бы феном искусственный ветер, созданный маханием горящих звериных шкур. Технику разбудят только через три дня — срок, за который армия «красных»

должна выстроить глубоко эшелонированную оборону. Солдатам «синих», в отличие от их танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта, спать не дадут. Они будут за околицей дено и ночью упражняться в стрельбе, преодолевать полосы препятствий, освобождать заложников, чтобы вымотаться не меньше «красных», которые займутся круглосуточным строительством фортификационных сооружений в ста километрах от города. Это делалось для того, чтобы уравнивать силы двух армий еще до сражений, так как тот, кто сначала возводит укрепления, а потом их защищает, устает больше того, кто эти укрепления должен просто захватить.

Красота улицы, по которой шли наши разведчики, поражала. Терема-коттеджи, оконные ставни, петухи-флюгера на крышах, заборы, палисадники, колодцы были раскрашены в бело-сине-голубой цвет. В снег, море и небо. Так выглядел весь Зимний конец. Здесь было так много освежающей гжели, что даже жара, казалось, переносилась легче, чем в других городских районах, расписанных под хохлому (Осенний конец), дымку (Летний), жостово (Весенний).

Пройдя метров двести по родной улице, парни услышали странный шум за воротами дома № 96. Решили проверить. Калитки и двери в городе не запирались. Вошли. Переглянулись. Потребовали объяснений у белообрисых близнецов Чука и Гека Ладошкиных, которые держали за шею черного, как эфиоп, картавого цыганенка Яшку Волчкова и куряли его в бочку с водой.

— В побег арапка намылился, — сказал Чук гостям. — Учим по-братски.

— Се гавно сбе... — вскричал Яшка, а «гу» уже вышло в виде партии пузырей.

— Так вроде не бегаем уже, — произнес Буриков. — Всем же объяснили, что передовая нынче в Сибири.

— Насгать... мне... на Сибиг'ь! — вместо того чтобы благоразумно набрать воздуха перед очередным погружением, прокашляла выдернутая из воды головешка.

— А ну притопи злослова, — отдал распоряжение Огрызкин двоим из ларца. — «Р» не выговаривает, а рыпается. Не пробовали ему камней в рот насовать, как Демосфену? Нагрузку на челюсти дать? Все меньше картовой чуши спорет... И ведь главное, не обвинишь в предательстве, если придерживаться буквы закона? Сибиг'ь — не Сибирь. Чертова юриспруденция!

— Ребята, а че он в Россию-то собрался? Не говорит? — спросил Буриков.

— Какая тебе Россия?! Какая Россия?! — ответил Гек. — Украина ему теперь Родина, туда лыжи наострил.

— Выньте его на пару слов, — сдвинув брови, попросил Ракитянский и сурово обратился к вылетевшему из воды чавору: — Подтверди или опровергни про Украину.

Ошалелый, едва не захлебнувшийся Яшка долго откашливался, отхаркивался и жадно хватал воздух, как загнанный волк — снег. Известная своей гидрофобией злая волшебница Бастинда из приблизительно такого же, как наш, «Изумрудного города» не боялась воды так, как страшился ее теперь таежный цыганенок. Она перестала быть для парня символом жизни. Яшка не желал состоять из нее ни на семьдесят, ни даже на двадцать процентов — максимум на ипотечную ставку по кредиту в развитой европейской стране. Курсант умылся и напился на годы вперед. За час в нем убили потенциального моряка, рыболова, ученого-гидролога, художника-мариниста, почитателя Жюль Верна и Даниэля Дефо. Зато породили всю татаро-монгольскую орду, прикасавшуюся к воде, как известно, исключительно во время форсирования рек и озер. Перенесенный гидроудар был таким мощным, что цыганенок по всему должен был отказаться от побега в Малороссию — тем более знал, что воспримут это не как слабость, а как отречение от дурости. Но Яшка был ай-на-нэ.

— Ук-га-и-на! — набрав в легкие воздуха, по слогам прокричал он, и все его свободолобивые предки-гадалки и прашуры-конокрады бросились выпрашивать у ан-

гелов с чертями небесные табуны, чтобы после смерти «смелый красавчик» мог спокойно воровать по косяку каждую ночь вплоть до Страшного суда.

— Ни родины, ни флага, одно слово — цыган, — покачал головой Огрызкин и не без сожаления, как капитан «Варяга», приказал: — Открыть кингстоны!

— Стоять! — бросил Ракитянский. — Сам недавно в осадках сидел, — теперь других топишь?.. К ответу, Яков! Заклинаю — к ответу!

— Бгатья! — вздев руки к небу, воскликнул цыганенок. — Котогый уж месяц сон снится, что Укгаина в огне! Кгасное солнце с захода на восход катится! И нас, гусских, во всем обвиняют! Весь свет нас ненавидит! А укгаинцы пуще всех! Стгочка проклятая по ночам идет: «Никогда мы не будем бгатьями! Ни по године, ни по матеги!» Не могу я так больше! Отпустите! Вгемя есть еще! Лет пять-восемь!

— Да ты, погляжу, совсем умом тронулся! — схватив Яшку за глотку, гневно вскричал Огрызкин и потряс цыганенка, как осеннюю яблоню. — Чтoб украинцы русских ненавидели?! Славяне славян?! Катай его, братья! Выбивай дурь!

И Яшка, как кубок после победы, пошел по рукам. Били сильно, но без злобы — по-товарищески. Цыганенок не сопротивлялся и даже не обижался. Понимал, что сон не может быть достаточным основанием для произнесения ужасных, просто невысказанных вещей. Осознавал, что сказанное им приравнивается к фразе «Ельцинское десятилетие стало золотым веком для России» или того хлеще — «Фашисты выиграла войну в 1945-м». Лицо Яшки превращалось в кроваво-сопливую дрисню, но он молчал, терпеливо сносил заслуженные, как ему казалось, удары, не сомневаясь, что братья желают ему добра.

— Еще скажи, дуралей, что Олимпиаду проведем! — крикнул Чук, вlepив Яшке по уху с такой силой, что превратил аккуратный пельмень в разваренный мант.

— Ага, зимнюю! Среди сочинских пальм! — заржал Гек, но вспомнив, что живет в России, в которой и небываемое бывает, перестал смеяться и присовокупил к сказанному совсем уж невероятное, капитально несбыточное, чтоб уж, как говорится, наверняка: «И при этом не будут разворованы такие средства, на которые можно провести семь Олимпиад, а на сдачу — два чемпионата Европы по пинг-понгу».

— Нет, пусть лучше скажет, что Крым рано или поздно вернем, — подключился Ракитянский и пробил Яшке в солнечное сплетение, наглядно продемонстрировав цыганенку, что лишиться воздуха можно и без помощи воды.

— Не поздно вернем — рано! Почти за послезавтра! — усугубил Огрызкин, не сомневаясь, что такая шустрая стыковка полуострова с Россией уж точно никак невозможна, но все же, как и Гек с Олимпиадой, на всякий пожарный подстраховался: — И весь мир встретит это воплями «браво!». А хохлы воскликнут: «Возьмите прицепом и Донбасс с Луганщиной!»

— О! — воскликнул Буриков, зарядив цыганенку ногой с вертушки и как бы совершенно случайно промазав. — Скажи-ка лучше, Яша, что вторгнемся, например, э-э-э... в Сирию! Да, в Сирию! Хотя нет — это очень возможно! Это как раз таки по-нашему: когда самим есть нечего, спасти несчастных сирийцев, с которыми даже не граничим. Это ж святое дело — помочь евангельскому ближнему! И это, конечно, должен быть сразу Ближний Восток — никак не меньше! Короче, Сирия отменяется! Надо придумать что-то понереальней, позабористей! О! Давай-ка лучше, Яша, кто-нибудь наш самолет собьет! Вон хоть турки!

— Только, чур, не гражданскую «тушку», а стратегический бомбардировщик! — подхватил Чук, и этого дополнения, по его мнению, было более чем достаточно для нереальности, потому что османы, конечно, никогда не посмеют сбить бомбардировщик, не дураки же. Но, подумав, однойцевый все-таки решил, что мало ли, поэтому ввел в бой уточнение из области, как ему мнилось, совершенной фантасти-

ки: — И Россия снесет пощечину, только потроит для порядка, что, мол, больше, пожалуйста, не сбивайте.

Ржач одобрения. Оно и понятно. Скорее земля перестанет вращаться, чем турки останутся безнаказанными, если вдруг, ну вдруг совершат невозможное по определению — собьют военный самолет. Засмеялись, однако, не все.

— Знаешь, а ведь если собьют, мы после этого можем вот запросто другую щеку подставить, — сказал Гек, но, судя по удару кулака, самый что ни на есть Гектор. — Мы же выше мести. Такая натура у русских: вы нам, турки, подлянку, а мы на ваших курортах несколько полумесяцев отдыхать не будем, потому как злые вы, бе-бе-бе... Поэтому пусть лучше Яшка скажет, что православные пойдут отвоевывать святую Софию, как католики — гроб Господень. Да, зальют кровью Стамбул, чтоб переименовать его в Царьград и сплавить грекам! Вот этого уж точно не может быть! По крайней мере, в обозримом будущем!

Яшка дал знак, что хочет говорить. Парня перестали лупить. То, что слетело с его губ, когда он собрался с силами, заставило истязателей застыть сталактитами. Общее потрясение было столь сильным, что приземлился на словах цыганенка летающая тарелка, курсанты не обратили бы на нее ни капли внимания. Или стали бы из нее есть (так бывает, когда человек в чрезвычайном волнении начинает поглощать все подряд, не замечая, что он трескается и из какой посуды).

— Укр-р-раиночка! Укр-р-раинушка! Укр-р-раинонька! — прокричал мученик за крайних восточных славян и потерял сознание.

Это была такая эталонная «Р», что ее хотелось вырвать из середины алфавита и поставить перед буквой «А», чтобы другие литеры равнялись на этот своеобразный флаг с простреленным ядром полотнищем.

— Слова не Яшки, но Яхонта, — произнес Чук.

— Пусть валит в свою Украину, — вздохнул Гек.

— Так выловят же, система отлажена, — сказал Огрызкин.

— Этот дойдет, — не согласился Буриков.

— Но сделать ничего не сможет, где-нибудь в Одессе на скорую руку жизнь за други своя положит, и весь сказ, — заключил Ракитянский и отдал команду: — Уноси говенького!

Наши разведчики вышли за калитку. Сразу напоролась на дворника Аркадия Степановича — того самого экзальтированного доктора наук, который прошел отбор на участие в эксперименте на зорьке романа.

Читатель, поприветствуй девяностые — начало нулевых. Шутка ли дело — ученый метет улицы. В лесном городе выполнявших черную работу академиков можно было встретить на каждом углу, однако курсанты относились к этому спокойно, если не сказать — равнодушно.

Безусловно, кабы наши болевшие за судьбу Родины юноши жили, положим, в Новосибирске образца 1996 года и узнали бы, допустим, что известный академик вынужден заниматься починкой унитазов, то они бы негодовали вместе со всеми здравомыслящими гражданами. Все правильно — светила должны трудиться по специальности, стоять за кафедрами, руководить лабораториями, писать диссертации. Если, конечно, при этом есть кому работать руками. А если некому? Если вокруг светило на светиле? Ну, как было в таежном городе. Что ж — тогда добро пожаловать в ренессанс, в котором пекарь шпарит на латыни, а сапожник в свободное от основной работы время пописывает трактаты о движении небесных тел. Курсанты, не знавшие другой жизни, считали такое штатное расписание нормой. Ну, изъясняется хлебопек и изъясняется — лишь бы батоны были с хрустящей корочкой. Ну, пописывает сапожник о небесных телах, и дай бог — только бы подковал

ботинки, как у дембелей на Большой земле. Постригающий газоны доктор экономических наук — это не хорошо и не плохо. Это обычное дело. А как еще, если экономисту тебе преподает финалист Нобелевки?

А понятия «престиж профессии», если читатель вдруг о таком вспомнил, в городе и вовсе не существовало. Юноши одинаково уважали и любили как интеллектуальную, так и физическую работу. Последнюю даже больше, так как она отлично проветривала мозги. Да и результат от нее был виден сразу. Ровенькая, похожая на пчелиные соты поленница дров — красота же. Это вам не теорема Ферма, которой не залюбуешься, которую не применишь в быту, составляющему ядро жизни.

Повлиять на престиж профессии могли бы, конечно, деньги, но в городе их не платили ни мэру, ни дояру. И даже если и платили бы, это нисколько не изменило бы ситуацию. А нет — изменило бы. Тот, кто получал бы меньше всех, пользовался бы самым большим почетом. Купюры, как помнит читатель, в городе считались нечистыми, как свинина для мусульман.

Аркадий Степанович выглядел сейчас гораздо лучше, чем в момент нашего с ним знакомства. Он так посвежел, что просто удивительно, как ему не приклеили кличку Бриз. Говорят, время, проведенное на рыбалке, не идет в счет жизни. Но это мужицкая байка такая — не более. А вот то, что пребывание в тайге возвращает молодость, — уже чистая правда. Из-за этого в лесном массиве Сибири даже не рекомендуется находиться долго: можно со временем впасть в глубокое детство и, как следствие, начать без опаски шастать по тайге, что с большой долей вероятности кончится плачевно. Прямых доказательств, что среди кедрача молодеешь, у автора нет. Зато имеются косвенные. Ореховал он как-то. Пил при этом много, и спирт, разбавленный одной слюной. До пяти утра. А в шесть — подъем. Так вот при пробуждении — ни бодуна, ни усталости. Взлетал автор на кедр четырнадцатилетним подростком, чтобы удочкой насшибать шишек и до кучи понять, что чем выше человек поднимается, тем меньше у него становится свободы. Чего греха таить — открывшуюся красоту вида заслонял страх падения. При кажущемся всемогуществе — минимальная возможность для маневра и постоянная болтанка (на макушке даже тихий ветер превращается в штормовой) — не то что у счастливицков внизу, на которых сыплются шишки, всего лишь сыплются шишки. Словом, кто еще хочет стать президентом или другим высокопоставленным слугой народа — добро пожаловать в тайгу. А я — пас... Овец.

Физическое состояние Аркадия Степановича было превосходным. А вот душевное оставляло желать лучшего. Нет, старик не устал от тайги и не соскучился по материку. Его печалило другое: в последние годы он утратил влияние на курсантов. Они выросли и почти перестали интересоваться мальчишескими забавами, которые регулярно организовывал Аркадий Степанович, чтобы за игрой, между делом делиться с пацанвой знаниями — преимущественно факультативными, дабы не дублировать школьных педагогов. Однако как бы ни были плохи дела старика в плане влияния на молодежь, он не сдавался, цеплялся за любую возможность раздвинуть научные горизонты курсантов.

— Ребятки, у меня для вас бомба, — без предисловий обратился дворник к вывалившейся на него троице.

— Здравствуйте, Аркадий Степаныч, — отвечивал Ракитянский. — Потом взорвете. Спешим мы.

Курсанты с обеих сторон обогнули доктора, как речные воды — островок, и быстро двинули дальше. Доктор развернулся и засеменял рядом с ними.

— Здесь все о нанотехнологиях! — выхватив из перекинутой через плечо сумки стопку бумаг, воскликнул он. — За ними будущее! На сорока листах — самое главное!

Цинус! Чистая эссенция! Полгода ужимал информацию! Технический язык на пушкинский перевел! Почти в рифму всё! Читается и запоминается, как «Наша Таня громко плачет»!

— Отдайте кому-нибудь другому, а у нас война, — отмахнулся Огрызкин. — «Красные» уже на позиции выдвинулись, а вы нам мелюзгу втюхиваете, которая держит за материк инфузорию-туфельку.

— Да ты ж сначала почитай, почитай сперва, — попросил Аркадий Степанович и резко перешел на другую тему, которая только на первый взгляд не имела отношения к делу: — И когда ты вырос, мальчик мой? Гляжу на тебя и не верю, что мы с тобой когда-то воздушных змеев запускали. А кораблики? Помнишь кораблики? Пелекласьте палуса в алый цвет, Алкадий Степаныч. Достаньте в мастелских подшипников для ядел. Договолитесь на складе, чтобы списали пятьдесят пуль — очень полах нужен для осады Толтуги.

Мимо кассы. Деликатный нажим на чувство благодарности не прокатил. Огрызкин не только не взял рукопись о нанотехнологиях — он даже не удостоил доктора взглядом. Что тут скажешь? Семнадцатилетний юнец еще не оторвался от детства настолько, чтобы с теплотой возвращаться мыслями в нежный возраст и испытывать признательность к тому, кто запускал с ним в небо бумажных анаконд и мастерил ему игрушечные корветы. Должно было пройти еще немало лет, чтобы у Огрызкина стало щемить в груди от детских воспоминаний. Сейчас же его даже раздражало, что ему, взрослому и самостоятельному мужику, каким он себя считал, напомнили о времени, когда он баловался всякой ерундой.

— А помнишь, как я корни у соседних кедров откапывал, чтоб избушка, которую ты наверху строил, была на курьих ножках с всамделишными лапками?! — с доброй улыбкой наседавал Аркадий Степанович, не понимая, что номер с экскурсом в недавнее прошлое уже провален. — С веником тогда быстро с тобой решили, дворник же я! А ступа?! Это была проблема, вспомни! Пришлось напеть главному технологу общепита, что у детей все признаки весеннего авитаминоза — надо налечь на капусту. И бочка под твою, Сережа, ступу опустошилась за ужин. Да не одна — целый погреб! Выбирали еще с тобой потом. А помнишь, как елку-небоскреб к Новому году в тайге наряжали?! Как «Двенадцать месяцев» возле нее ставили?!

— Как не помнить?! — усмехнулся Огрызкин. — Июлем был. В сорокаградусный мороз. Щеголял на вечерней премьере в рубашке и сандалях на босу ногу. Обморожение нижних конечностей схлопотал. А на второй день Май засопливил, слегли с ангиной Апрель с Ноябрьем.

— Но вы ж сами тогда уперлись, чтоб все было взаправду, как я вас ни отговаривал, — растерянно пробормотал Аркадий Степанович. — А вы ни в какую. Грозилась сорвать представление, если одежда месяцев не будет соответствовать временам года.

— А вам надо было все равно настоять на своем, не надеяться на нашу закалку, мы ж несмышленная детвора, — подмигнув доктору, весело произнес стервец, всем своим видом давая понять, что за спектакль он не в обиде, но и всучивать ему нанотехнологии не надо.

— Анатолий, друг сердешный, ты хоть возьми! — подскочив к Ракитянскому, взмолился доктор.

— Не могу, Степаныч, простите. К главкому торопимся. Потом сразу в тайгу. Когда нам читать?

— А хоть бы на привале, — ответил доктор и бросился развивать наступление: — Бумагу после этого можно на разведение костра пустить, чтоб не тратить время на

поиск сухостоя. Я ж не собрание сочинений Маркса предлагаю. Всего-то сорок страниц. Вещмешок не оттянут.

— У вас копия-то хоть есть? — начал поддаваться Ракитянский.

— Тыща! — солгал доктор, потрясая перед носом курсанта единственным имевшимся у него экземпляром, как дореволюционный мальчишка-газетчик. — У меня в типографии все схвачено! Берите, читайте и смело жгите!

— Хорошо, давайте сюда, — сдался Ракитянский.

— Дай слово офицера, что пустите на розжиг только после ознакомления, — попросил Аркадий Степанович.

— Слово, — поклялся Ракитянский и взял рукопись.

Доктор остановился и долго глядел вслед удалявшимся разведчикам. Лицо его было ясным и светлым. Ну чисто ангел, окрыленный чувством выполненного долга и не воспаривший к небесам, наверно, только потому, что, будучи ученым, верил не в Бога — в науку и человеческий разум (говорят, у высоконравственных атеистов за спиной вырастают куриные крылья, чтобы не могли оторваться от так любимой ими земли). Аркадию Степановичу не было жаль многомесячного труда, который вскоре должен был стать пеплом. Он помнил работу наизусть и в ближайшее время намеревался восстановить ее.

15

Парни пересекли центральную площадь и вошли в Летний конец города. Здесь надо было держать ухо востро. Массовые драки и небольшие стычки между районами случались часто. Сходились как на масленичный кулачный бой — без ненависти и оружия. Выплеск адреналина с энергией — и ничего более. Сражения с участием трех и более человек запрещены не были (исключение — время военных Игр). Если и на дуэли-то, всегда имевшие под собой серьезный повод и нередко заканчивавшиеся смертельным исходом, городская администрация смотрела сквозь пальцы, то о битвах «стенка на стенку», происходивших единственно от чрезмерного душевного и физического здоровья и не приводивших к серьезным увечьям, и говорить не приходится. Таежная мэрия даже хотела легализовать межрайонные баталии, определить для них правила и специальные места, но курсанты провели на центральной площади санкционированный митинг против нововведений. Требование было простым: оставьте, как у Дюма, интригу, позвольте слепому случаю решать, где, когда, при каких обстоятельствах и в каком количестве столкнутся условные мушкетеры и гвардейцы.

Происшествие не заставило себя долго ждать. Не прошли разведчики по Летнему концу и пятидесяти шагов, как дзынькнули каски. У Бурикова из щеки брызнула кровь — срикошетил камень от бронированной головы Ракитянского. Остановились. Осмотрелись. Никого. Отправились дальше, но не сделали и шага, как получили камнями по не защищенным бронежилетам плечам. Кто-то явно пристрелялся.

— Мы тут, зимнички! — прозвучал голос сверху. — Как вам наш летний метеоритный дождик?!

Взрыв смеха. Разведчики подняли головы. На крыше двухэтажного терема, лузгая семечки, в одних трусах возлегло четырехкратное превосходство в живой силе. Встретившиеся зимники и летники были знакомы, как минимум, шапочно. Неудивительно — город маленький. Затесались в обеих компаниях и такие личности, биографии которых каждый горожанин знал, как свою собственную.

— Ба-а, кого я вижу! — обратился Огрызкин к долговязому синеглазому пареньку с шикарным, как у киношного советского тракториста, чубом. — Сява Уржумцев собственной персоной! Про дождь спрашиваешь. Так вот дождь ваш, Сявка, косой! Как трусишка зайка серенький! Да и не ливень, сказать! Грибной какой-то сикнул! Грешу на простатит у тучек! Эй, пись-пись! — выдал Огрызкин и скомандовал друзьям: — Черепаха!

Разведчики сложились, как трансформеры, сократились в размерах, как дробь, а именно присели на корточки, убрали руки под себя, втянули головы в плечи. По панцирям забарабанило. С минуту шла бомбардировка. Она не нанесла черепахам серьезного ущерба. Тучи распсиховались и, соответственно, шмаляли без подготовки — лишь бы просто попасть.

Переждав бомбежку, черепахи выпрямились, подняли головы, приветливо заулыбались. Сверху им весело подмигнули уже выхолощенные тучи или, проще говоря, облачка. Теперь все было вроде бы хорошо, и разведчики наверняка беспрепятственно продолжили бы свой путь, если бы Буриков не задал совершенно безобидный на первый взгляд вопрос:

— Ребята, а вы чего голые, почему не по форме?

— Олигофренд ты, олигофренд, — повернувшись к Бурикову, прошипел Огрызкин. — Еще бы добавил: уж не зачислены ли вы в отряд военных ныряльщиков для диверсий в зеленом море тайги? Чую, не миновать нам теперь госпиталя на пути к главкому.

Буриков захлопал глазами. Он не понимал, что такого страшного спросил.

Эх, Илья, Илья... Право, круглый дурак на твоём месте — и тот бы, наверно, сразу догадался, почему парни на крыше облачены во френчи Адама. Тут же все очевидно: юношей в порядке очереди или за провинности оставили в городе для ухода за скотом, огородами и посевами. Буриков, согласись, и так обидно, когда во время войны тебе выдают бронь или выбраковывают по морально-деловым, а тут еще твой нелепый вопрос, через который ты, сам того не желая, намекнул-напомнил парням, что зарница 2007 года пройдет без них. Как тебя напалмом из глаз не испепелили — ума не приложу. Чтоб ты знал, курсанты с Летнего конца так переживали из-за невозможности выступить в поход, что вот буквально не находили себе места. И поиски подходящего, да будет тебе известно, продолжались аж несколько часов, пока наконец один из обделенных судьбой не провещал философски, что «время собирать камни», и не предложил залезть на крышу в одних трусах, чтобы «свысока взирать на проходящих мимо потных милитаристов и при случае собранные камни разбросать».

То, что Буриков спросил о форме одежды без задней мысли и никого не хотел обидеть, понимали только его друзья. Те же, кто находился наверху, расценили вопрос Ильи как ядовитую подколку (мол, пока мы, курсанты с Зимнего конца, займемся настоящим мужским делом, вы, недоделки с конца Летнего, будете ковать победу в тылу, как женщины и дети).

Лица летников посерели, как солдатские шинели. Желваки за их щеками заходили, как поршни. Глаза засверкали, как кончики штыков на солнце. Казалось, вот-вот покатаются курсанты с крыши коттеджа, как суворовские гренадеры со швейцарских Альп. Но один из сидевших на самом краю парней вяло, как старый индейский вождь, поднял руку — не время! Его взведенные до упора товарищи-курки недовольно буркнули, но послушаться не посмели.

Коренастого, среднего роста шатена, придержавшего кровопролитие, звали Артемом Багдасаровым. Монархист, бретер, один из неформальных лидеров Летнего конца, он всегда говорил с изысканной ленцой, негромко и слегка высокомерно. Ти-

пичный лев, привыкший повелевать, знавший себе цену и словно бы дремавший, пока дело не доходило до драки, в которой он был великолепен, как семерка из вестерна: действовал отважно, хладнокровно, решительно, быстро и точно. В рукопашной его лапищи производили такую же разрушительную работу в неприятельских рядах, как шары-бабы на сносе домов.

Багдасаров был слишком породист, слишком уважал себя, чтобы позволить товарищам устроить потасовку из-за шавки с Зимнего конца, пусть и больно цапнувшей. Слишком мелко для льва. Если уж драться, подумал он, то на идейной подкладке.

— Ракитянский, — обратился Багдасаров к человеку, которого считал равным себе по силе и славе.

— Ну я.

— Все еще стоишь на своем?

— Смотря о чем ты.

— Да все о том же, — лениво произнес Багдасаров. — О законопроекте, который ты пропихиваешь в парламенте. Как там бишь его? Про кедр, что ли.

— Про них, — ответил Ракитянский. — Стою на своем. Кедр на сто седьмом километре рубить нельзя.

— Но там же сухостой. Древние коряги. Какие проблемы?

— Такие, что нельзя деревья валить.

— Ну мы ж не просто свалим, — заметил Багдасаров. — Мы ж все чин чином. Саженцы воткнем, и вырастет лес краше прежнего.

— Через пятьдесят лет?

— Да хоть через сотню, — ответил Багдасаров и подмигнул своим: — Мы никуда не торопимся.

— Зато я тороплюсь, — сказал Ракитянский. — Нравится жить грядущим — живи, как вся наша дурная страна. Только и делает, что живет для светлого будущего. А оно все отодвигается и отодвигается. Пора прикрывать эту лавочку. Все — нет будущего. Есть только сегодня, край — завтра и то до обеда. «Мы не для себя — для грядущих поколений живем, — хвастают альтруизмом на Большой земле. — Главное, чтоб у детей все было, сложилось у внуков. А мы уж как-нибудь, как-нибудь». Не от жертвенности это «как-нибудь». От лени, хилости душевной и нежелания брать на себя ответственность.

— Эка загнул, — усмехнулся Багдасаров. — Не понять тебе с твоей ляшской фамилией, что есть такое русская душа.

— Ты фамилию мою не тронь, — предупредил Ракитянский. — Не ты — уважаемые люди пальцем в справочник тыкали, меня нарекая.

Багдасаров, посмотрев на своих, покачал головой и развел руками — мол, я сделал все, что мог, я пытался, но бесполезно, сами видите. Вялая отмашка жоака — и его товарищи слетели с крыши на землю, как голуби, которым сыпнули горсть семян. И вот хоть бы один сломал или уж подвернул ногу, второй этаж все-таки. Нет, все четко: пружинисто приземлились, перекатились колобками, встали, взяли разведчиков в кольцо.

Расклад сил походил на разгромный хоккейный счет — 12:3.

Вокруг разведчиков, скинувших стволы по заведенным правилам, но больше от гордыньки, завертелся хоровод. Не как окрест елочки — веселый и радостный. Воинственный, дикий и страшный — как есть чечено-ингушский, лесные братья все-таки. Разведчикам аплодировали в такт бешеной пляске — воздавали, надо полагать, последние почести.

И вдруг танцплощадка испарилась. На ее месте вырос шаолиньский зверинец с редкими посетителями. Тигр. Богомол. Аист. Обезьяна, дразнившая пришедшего

в зоопарк рукопашника. Дракон. Леопард. Змея. Белый журавль. Танцор-капоэйро. Снова белый журавль и опять богомол. Медведь. Олень. Ну и другая фауна.

Схватились. Раздетым было легче бить, закованным в броню — принимать удары. Рыцарскому правилу «один на один» курсантов не учили — готовили к жизни на материке, где идет не благородный шестнадцатый, а подлый двадцать первый век, в котором не до моральных кодексов: гаси противника числом, не стесняйся, а сам оказался в меньшинстве — не жалуйся, переходи на умение.

Разведчики бились спина к спине. Каждый оборонял находившихся сзади товарищей, понимая, что прорыв неприятеля даже на одном из участков приведет к окружению в окружении, и тогда пиши пропало.

Тактика летников была простой, как пляжный шлепанец: вымотать зимников, используя численное превосходство. Раздетые не стали наваливаться всей массой, а разобрали одетых и создали организованную очередь за свежим человеческим мясом: урвал кусок — становись в конец, жди, отдыхай.

У разведчиков перекуров не было — эдакая сдача на краповые береты в переводе на Большую землю. Махать руками и ногами им приходилось гораздо чаще спарринг-партнеров: Ракитянскому с Буриковым — в три, Огрызкину — аж в шесть раз.

На плута не потому насело ползоопарка, что он был более сильным соперником, чем его друзья. Просто в нем начисто отсутствовала предсказуемость, а такие бойцы, как известно, стоят десятка. Парня шатало из стороны в сторону. Он падал не от ударов, а когда ему взбрело в голову. Затягивал песню и тут же ее обрывал. Клял судьбу, власть, проклятый ЖЭК и курву Галку. Стравливал противников, нахваливая одних и принижая других. Ржал. Каялся. Плевался. Хвастал. Лез обниматься. Засыпал и просыпался. Умышленно молотил руками и ногами не по цели. Словом, представлял собой бойца кунг-фу, в совершенстве овладевшего пьяным стилем. Этот человек вообще как будто не ведал, что творил. При этом не только блестяще защищался и контратаковал, но даже как-то успевал попинывать Бурикова, сопровождая это репликой «Бей своих, чтобы чужие боялись». Симбиоз китайского монаха и отечественного алкаша — вот что представлял собой вошедший в раж Огрызкин. Он не трезвел, даже когда попадало по разможенным пальцам — для этих случаев из арсенала доставались те самые пьяные слезы и стоны по загубленной и скотской жизни, на которые так горазд наш человек после того, как кто-нибудь затравит: «Че власть? Сами-то! Мы-то!»

Противники никак не могли сладить с Сергуном, так как вели трезвый образ жизни и не имели опыта общения с людьми под градусом. Ситуацию для них усложняло еще и то обстоятельство, что Огрызкин играл отнюдь не нажравшегося русского, у которого в организме есть разлагающие алкоголь ферменты, положительно влияющие на уровень предсказуемости и адекватности. Чтобы стать совершенно непостижимым для недругов, пройдоха влез в шкуру загулявшего чукчи, о котором прочел в газете «Бескрайний Крайний» (в статье представитель малочисленного народа, цитата: «изгнал заглянувшего в чум белого медведя звонким чилимом, поставленным промеж настырных, желто-карих глаз», конец цитаты). Тактика сработала. Курсант превратился в сущий сопромат для тех, кто выбрал его в качестве цели.

Огрызкин отлично имитировал поведение нетрезвого человека не только потому, что по книжным картинкам тщательно изучил движения шаолиньских монахов, исповедовавших пьяный стиль. Кто бы сомневался, что разбойник еще и лично был знаком с тем головокружительным состоянием, которое тотчас приходит на ум западному обывателю при слове «Россия».

Около года назад по найденному в библиотеке чертежу курсант смастерил самодельный аппарат из подручных материалов и втихаря запустил его в работу на

дальнем охотничьем кордоне. В таежном городе, который жил по сухому закону, это считалось производством алкоголя в промышленных масштабах. Пожизненное заключение грозило и за распитие какого-нибудь случайно забродившего компота, а тут — целый подпольный завод по изготовлению спиртосодержащей продукции, Уралмаш по меркам леса. Но Огрызкина не остановил страх наказания. Он был авантюрист. Такие в детстве открывают новые протоки и затоны, в зрелости — проливы и заливы.

— Я вкушу запретный плод не ради новых ощущений, не ради них, нет, — облизываясь и глотая слюнки, убеждал он себя, пока слезы капали из трубки в приготовленную тару. — Я должен знать, что губит мой народ (иногда Огрызкин был невыносимо пафосен).

Опрокинутая залпом кружка первача произвела апокалипсис в масштабах организма. Чтобы затушить разлившуюся по нутру лаву, Огрызкин подскочил к стоявшему рядом ведру с водой и на какое-то время превратился в почтительного ливонского рыцаря на приеме у папы римского. В те тяжелые мгновения курсант разочаровался в материковых средствах массовой информации, «потому что всё, собаки, врут — выпитая дрянь ну вот никак не может вызывать привыкание и служить средством оплаты за товары и услуги в сельской местности». Но не прошло и трех минут после дегустации, как Огрызкин, стоя на коленях, уже просил прощения у СМИ, выпитой дряни и ближнего кедра, на который до этого помочился. Но этого его раздавшейся вширь душе показалось мало, и он рассыпался в извинениях перед всей тайгой, которую он, «проклятый дура-ак», якобы «загубил».

Умиленное, прощеновоскресное настроение, однако, долго не продлилось. Огрызкин внезапно взбунтовался — бессмысленно и беспощадно. И опять досталось на орехи ближнему кедру. По нему прошелся топор, а затем и похожая на ЭКГ струя негодования, потому что «не надо молчать хариусом, когда с тобой разговаривает главный в мире охотник и последняя надежда России».

Дальше главный в мире охотник гонялся за одной белочкой, а поймал другую. Последствия были ужасными. Огрызкин с топором вернулся к дважды помеченному кедру и спустил с него три коры на уровне человеческого роста, потому что «не надо говорить под руку, когда главный в мире охотник ловит белочку». Известно, чем бы кончил в тот день богатырь федерального значения, если бы его не сморил сон. Проснувшись в блевоте, Огрызкин ничего не помнил. Ничего, кроме телесных и душевных ощущений во время угара. Этого было достаточно, чтобы сейчас, в драке, вытворять такие цирковые номера с насевшими на него зверями, во время которых даже взрослые зрители в шапито в щенячьем восторге хватают соседей за рукава и кричат: «Сатри! Сатри!»

Не прошло и пятнадцати минут после начала свалки, как Огрызкин нанес шаолинскому зоопарку ущерб — впрочем, незначительный. Действительно, зачем зверинцу два белых журавля? Право, довольно и одного для знакомства с видом. Не стоит, наверно, горевать и по макаке. Слава богу, в Красную книгу пока не занесена. Да и сама напросилась. Отказалась фотаться. И с кем?! С несчастным корсаром, у которого накануне скончался любимый волнистый попугайчик, не налетавший и десяти авиачасов.

Несмотря на успешное ведение боя, Огрызкин чувствовал неудовлетворенность. Внезапно его осенило: он начал с произвольной программы, забыв об обязательной. И Буриков сейчас же получил пендель под зад, от которого выгнулся, как лук.

— Ах ты ж! — схватившись за черствые булки, крикнул Илья и развернулся на сто восемьдесят.

— Ты меня уважаешь? — осведомился у него Огрызкин.

— Что?! — опешил Буриков и опять развернулся на полный транспорт, чтобы встретить летевшего на него противника.

— Ты меня уважаешь? — повторил обязательную программу Огрызкин для тех, кто не расслышал, резко присел на левую ногу и, подпрыгнув на ней, одновременно описал правой окружность, как артист ансамбля песни и пляски. Надо ли говорить, читатель, что на опасной линии оказалась парочка парней с Летнего конца, фамилии которых специально не разглашаем, чтобы вдобавок к голеням не пострадала еще и их гордость.

— Толя! — воскликнул Буриков.

— А?! — откликнулся Ракитянский,

— Че он творит?!

— Кто?!

— Да Огрызок! Пинаца и пинаца!

— Так ответь!

— Я тебя уважаю, Огрызкин! — вот уж ответил так ответил простодушный Буриков.

— Тады хряпни со мной, — расплылся в пьяной улыбке прохиндей.

— Переведи! — бросил через плечо Буриков.

— Дюбни, намахни.

— Это на каком?!

— На родном.

— Еще синоним!

— Вчикерь.

— Еще! — размазав богомола по танцору-капоэйро, затребовал Буриков.

— Пожалуйста. Козинак.

— Козинак с тобой — это как? Поесть с тобой?!

— Тепло, циклоп. Загруби только.

— Пожрать?!

— Нажраться, дура! — психанул Огрызкин и заорал во всю глотку: — Stop, animals!

От неожиданности драчуны замерли на месте, как в «Море волнуется раз».

— Все, я за нерусей сражаться не буду, теперя сам по себе, — сделал заявление Огрызкин и обратился к знакомому нам парню с Летнего конца: — Сявка, отомри. Подь ко мне ординарцем. Махно не обидит. Ты ж хле-бо-робище у меня. Крепостная косточка. Никто! Никто тут не вспомнил, что град посева поцоал! Один ты! — с гордостью за Сявку вскричал Огрызкин, чем переместил шары чубатого парня на лоб. — А им бы только воевать. Град без хлебов нас, а им хоть бы хны. Медведёв будут жрать, Сявка, медведёв! Шоб у них от того лубка несваренье сделалось!

Появившаяся на улице военная полиция не дала драчунам переварить пьяный бред.

Трель свистка. Выстрелы в воздух.

— Атае! — скомандовал Багдасаров, и драчуны бросились врассыпную, как бусинки на порвавшемся ожерелье.

На хвост разведчикам присел один из полицейских — волевой и упрямый курсант с Осеннего конца Дмитрий Северцев. Он не стал размениваться на ребячьи догонялки, а с первой минуты организовал профессиональное преследование: никакой лирики в виде угроз, стрельбы, запальчивых рывков, которые сбивают дыхание и истощают силы. Полицейский зарядился на кросс на износ. Его как будто даже не волновали нарушители. Он словно специально держал разведчиков впереди, как опытный бегун-марафонец, чтобы достать их на самом финише, когда они уже окончательно решат, что задают темп в гонке, и, следовательно, потеряют бдительность.

Полицейскому было плевать, что впереди — трое вооруженных людей. Он олицетворял собой таежный закон, которому никто не имел права сопротивляться. Это было так же верно, как то, что и он, городской, не мог прекратить погоню, а ведь такое пекло, такое пекло — какая уж тут радость в преследовании? Белая каска с красной окантовкой на голове обязывала полицейского бежать до конца, несмотря на то, что в 2003-м один из нарушителей порядка — будь все проклято! — волок его, придавленного лесиной курсанта Северцева, четырнадцать километров по тайге.

Разыгрывалась трагедия, читатель. Полицейский мечтал, чтобы его хватил солнечный удар, так как впереди мелькали пятки спасителя — Ильи Бурикова с Зимнего конца. Но сиявший на голубой тарелке желток, как назло, оставался безучастным к переживаниям полисмена. Нет, можно было, конечно, специально поскользнуться или как бы выбиться из сил и отстать. Но это ж, думал Северцев, самообман. Как потом с этим жить? Как после этого тому же Бурикову в глаза смотреть? К слову, во время бега полицейский уже несколько раз пересекался взглядом со своим спасителем и не увидел в единственном глазу Ильи ни намека на осуждение. Наоборот, воспаленное око Бурикова будто говорило: «Выполняй свой долг, хавбек сибирского „Зенита“. Я спас от ампутации твои придавленные кедром ноги, но сейчас это ничего не значит, кроме того, что теперь они не ведают усталости, и мы уже третьей километр петляем из-за них по улицам и переулкам».

На счастье Северцева, читатель, у разведчиков имелся Огрызкин, знавший историю со спасением, а еще — что милосердие выше любого закона. Когда настал удобный момент, Сергун избавил от мук полицейского, который, в отличие от своих более профессиональных коллег на Большой земле, совершенно не знал, как примирить службу с дружбой.

В глухом переулке имени Бетховена Огрызкин резко затормозил, как будто перед ним вспыхнул красный, развернулся и стал палящими лучами Ярила, опустив заранее скинутый с плеча АК-74 на каску приблизившегося Северцева. Оглушенный полицейский снопом рухнул на брусчатку.

— Ты что натворил?! — подбежав, сказал Ракитянский. — Ты закон преступил!

— Поправки внес, — спокойно ответил Огрызкин. — Без рассмотрения, правда... Это тот самый парень, которого Буриков с лесосеки на горбу волок. Че молчишь, Буря? Ты ж показывал его мне. Не думаю, что он обидится, когда очнется... Ну и это — квиты вы теперь с ним. Хватит ему, Буря, быть перед тобой в долгу. На нем только один должок висеть должен — перед Россией! Ты лишний в этой долгой яме, пол меня?!

— Да понял, понял, — сказал Буриков. — Хороший парень. Наверняка блок даже не поставил, когда ты ему мозги вышибал.

— Ну и я, извини, не с плеча рубил, — заметил Огрызкин. — Слегонца гвазданул. Жалеючи.

— Надо его в тенек отнести, — сказал Ракитянский. — Раз-два — взяли!

Уложив полицейского под навес, разведчики направились в штаб. Добрались без приключений. Отдав честь солдатам, стоявшим у дверей в здание, вошли внутрь. Взлетели по лестнице на второй этаж. Доложили сидевшему за столом дежурному офицеру, что так, мол, и так — такие-то, такие-то на аудиенцию к главкому по поводу спецзадания явились.

— А че запылились? — с усмешкой спросил штабной, в чертах которого Огрызкин тотчас узрел что-то крысиное: то ли от самого грызуна, то ли от яда.

Разведчики переглянулись.

— Так не на парад собираемся, товарищ майор, — сухо ответил Ракитянский. — Доложите о нас.

— Доложу, когда надо, — холодно произнес штабной офицер. — А вы пока приведите себя в порядок. Ходите тут, как я не знаю. Грязные почище свиней.

— Есть! — с кое-как замаскированной издевкой произнес Ракитянский и застрелился вскинутой к виску пятерней. — Лейтенант Буриков, рядовой Огрызкин, выполнять!

Огрызкин шелкнул по плечу средним пальцем — пропылесосил форму, надо понимать. Буриков поплевал на грязные ладони и провел ими по кителю — помылся, вытерся, значит. Сам Ракитянский, не сводя глаз со штабного, перевязал шнурки с одного бантика на два.

— Издеваться?! — перекосило майора. — Да я вас под трибунал! Не бывать на передовой ни вам... — штабной осекся.

— Ни тебе, майор? — тихо продолжил Ракитянский.

— Да, ни мне, — доволен?! — взорвался штабной, выдохнул и уже спокойно добавил: — Пришли — ждите. У главкома сейчас начальник артиллерии фронта.

И тут разведчики всё про дежурного офицера поняли. Прозревший Огрызкин вдруг увидел, что майор совсем не похож на крысу — просто лицо в нос ушло, грузинские у парня корни.

— Рапорт о переводе писал? — участливо спросил Ракитянский у штабного.

— Писал... Отказано.

— Огрызкин! Буриков! Привести себя в порядок! — рявкнул Ракитянский, и прозвучало это как «все, что могу, майор, все, что могу».

В этот момент дверь распахнулась, и от главкома вышел бледный, выпотрошенный, как рождественская индейка, семнадцатилетний полковник. Вдогонку ему неслось:

— Божок войны ты, а не бог! На капище тебе место, а не в артиллерии! Два часа сроку даю! Нет, жирно два — еще уложишься, подлец! Я тя знаю! Час двадцать, и ни секунды сверху! Лично проверю! И захвати зеленку! Не успеешь — ставь крест на лбу, карьере, жизни!.. Жирбанидзе!

— Я, тащ генерал! — вытянувшись, откликнулся штабной офицер.

— Есть кто еще?!

— Фронтальная разведка! По особому заданию!

— А-а, без них голова кругом! — взвизгнул генерал. — Гони их к чертовой матери! Должна же быть хоть у одного! Нету?! К мачехе перенаправь! А и той тью-тью! Сиротское войско! Всех мне подбросили — воюй, генерал!

— Заходите, парни, — уверенно сказал майор. — Чудит старик, как обычно. Не доводилось под его началом быть?

— Мне только, — сказал Буриков. — В 2002-м. Но так-то личность известная. Кто ж не знает Георгия Победоносца?

— И Гого Фартового, — добавил Огрызкин. — Ну, я про мирное время.

Вошли. Вытянули руки по швам. Цокнули каблуками на берцах...

Скрестив ноги и руки, опираясь костлявой задницей на огромный дубовый стол, застеленный картой боевых действий, как скатертью, стоял худощавый семнадцатилетний генерал-лейтенант Георгий Брянцев. Роста был наполеоновского. Военного дарования такого же. Двигался быстро. Говорил короткими предложениями, отрывисто, в возбужденном состоянии — с перескоком на фальцет. Смотрел с лукавым прищуром. Шутил колко. Смеялся звонко, рассыпчато, но в ересь безудержного хохота не впадал, мог вмиг, безо всякого переходного периода, стать серьезным, суровым, даже жестоким. Продвигался по службе со стремительностью попавшего под Сталинград-42: сегодня — взводный, завтра — ротный, послезавтра — комбат. Первое

время к нему, как и к другим юным командирам, приставляли военных советников из числа материковых экс-офицеров. Но уже с восьми лет он командовал вверенными ему подразделениями самостоятельно. Рядом с ним наши разведчики казались мальчишками в гольфах. Тот же Ракитянский, например, вышел из-под опеки советников всего пять лет назад — аж в двенадцатилетнем возрасте.

— Товарищ генерал-лейтенант! — начал Ракитянский доклад. — Разведподразделение в составе...

— Отставить, — махнув рукой, перебил главком и живо подошел к Огрызкину. — Что с пальцами, воин?

— Порезался малость.

— Разбинтуй. Гляну.

— Да там ерунда, тащ генерал. Не стоит внимания.

— Приказываю.

— Мне несподручно одной рукой развязывать, — улыбнувшись, сказал Огрызкин. — Может, вы пособите?

— Нет, ну не борзый ли, — опешил генерал от такой наглости. — Впрочем, люблю. В деле такие хороши. Дай руку пожму.

Огрызкин протянул здоровую правую ладонь.

— Левую! — взвизгнул генерал. — Это армия! Раз-два — левой!

Огрызкин подчинился. Генерал стиснул перевязанную ладонь. Ни один мускул не дрогнул на лице Огрызкина. Вот только слеза выкатилась. Сама. Без спросу.

— Протек, боец, — заметил генерал.

— От радости, — не растерялся Огрызкин.

— Да ну! И че ты так обрадовало?

— Георгий Брянцев руку пожал, — вскинув подбородок под прямым углом, отчеканил Огрызкин. — 2001-й. Победа при Гринвуде. 2002-й. Марш через Гиблую Падь. 2003-й. Брянцевский прорыв. 2004-й. Атака у Желтых холмов. 2005-й. Высадка на Эльфийском...

— Хорош! Хорош! Хватит! — замахав руками на Огрызкина, как секундант на боксера в перерыве между раундами, закричал генерал и неожиданно: — Сколь верст до Луны?!

— Два брянцевских перехода!

— Врешь, собака! Суворовских там! Навязались на меня! Подведешь — зарублю! Я топором, как Петр Романов: корабли, головы, евроокна!

— Сдохну, а не подведу! — пообещал Огрызкин.

Генерал перешел к Бурикову и впился в его лицо комаром. Сосал, сосал — отвалился довольный.

— Узнаю, узнаю, — обняв Илью за плечи, склонив голову набок, обратился генерал к Бурикову так, как, должно быть, Кутузов обращался к солдату у Бородино, которого помнил по Аустерлицу. — Сержант Буриков... Да вижу, вижу, что летеха! Растешь! Не сказать, что как на опаре, ну да все одно! Как мы им тогда насовали, а?! Драпали от нас, с... дети! От малолеток-то! — лукаво прищурившись и стукнув Бурикова в грудь тыльной стороной ладони, весело вскричал генерал, как будто от малолеток драпали не такие же молокососы, а седоусые ветераны.

— Еще как драпали, товарищ генерал-лейтенант, — расплывшись в восторженно-дурацкой улыбке, произнес Буриков. — И еще, и еще насуем, как вы скажете.

— Молодец, только без шапкозакидательства мне, — серьезно сказал главком. — Прошу к столу, товарищи офицеры и как там тебя, рядовой?

— Огрызкин!

— От яблока? — подмигнув, спросил генерал.

— Груши, — буркнул Огрызкин.

— Не обижайся, брат. Шучу. Сам знаешь, на Играх — главком, после — Гога. Найдешь меня в Весеннем конце, если за пальцы дуешься. Переулок Стоеросовый. Спросишь Фартового. Покажут. А сейчас к делу. — Генерал взял указку и, продирижировав ее в воздухе, вонзил в карту. — «Красные» выдвинулись сюда. Десять наших разведгрупп отправились вслед за ними. Выживут в лучшем случае три-четыре. — Пауза. — Контрразведкой «красных» рулит сам Витька Шестопалов.

— Шестопалов! — в голос воскликнули разведчики.

Кто не знал Шестопалова? Все знали. Контрразведчик от дьявола.

— Верно, лучше б за нас играл, ну да что теперь? — развел руками генерал. — Шести-семи разведгруппам — царство небесное, хорошие ребята были. Можете уже прям сейчас каски снять и помянуть товарищей, — живо похоронил главком ушедших в рейд подчиненных и продолжил: — Данные от уцелевших разведчиков будут разрозненными. Полной картины по этим сведениям не составить. Да и шут с ним — не на эти десять групп мой расчет. Они только прикрытие для вас. Оттяжка сил. Пусть их хоть всех там сцапают и в застенках перемучают — лишь бы вы добрались. Они все, абсолютно все будут действовать перед фронтом. Ваша же задача зайти «краснопузым» в глубокий тыл. Для этого придется дать широкий крюк, чтоб не нарваться на засады. Они теперь по всему лесу расставлены. Обходная дуга должна быть такая конкретная, чтобы можно было подумать, что вы решили дезертировать в Россию, но на полпути вспомнили о долге. В тылу противника вы уже, само собой, шаритесь в красных касках. Штирлицы такие. Не анекдотичные — настоящие. Потритесь с часик в тылу, понюхайте — и к передовой топайте. А там разбегайтесь в разные стороны и кочуйте от части к части — вроде вестовые со срочными пакетами. Трое суток, чтобы добраться. Двое — на сбор данных. Три часа на возвращение — мы уже к этому времени рядом будем.

Из города выйдете, как все группы до вас — по одной из «красных» дорожек. Сильно не прячьтесь. Не как на параде, конечно. Но и не хоронитесь особо. А то знаю я вас: нацепляете на себя веток, обложитесь мхом, и ищи-свищи вас. Не маскируйтесь под тайгу. Не надо этого передвижного ельника, пихтача ли. Наоборот, поторгуйте собой на выходе. Потому что часть «красных» осталась здесь — я Шестопалова знаю. Его ребята сейчас пасут за теми, кто выходит из города, и телефонируют: «Встречайте „синих“ олухов». Пройдете полукремлевцами километров десять — и круто забирайте на север. Не забудьте перекрасить каски в главный пасхальный цвет. Вопросы? — произнес генерал и тут же отрезал: — Я не люблю... Жирбанидзе! Командиров второго, пятого, седьмого, двенадцатого полков — ко мне!

16

Выдвинулись... Поначалу, как было велено, «синие» разведчики шли, почти не прячась: привлекали внимание «красных» лазутчиков. Чтобы засветиться на сто процентов, на втором и третьем километрах громко переругались. На четвертом для верности разодрались. Перед началом потасовки Огрызкин испросил разрешения на использование ненормативной лексики, чтобы, по его словам, не только привлечь внимание врага, но и создать у него впечатление полного морального разложения в рядах «синих». Ракитянский признал аргумент резонным и санкцию на мат дал. Дать-то дал, но условий никаких не выставил, поэтому был сразу обозван последними словами и послан гораздо восточнее Камчатки, из-за чего едва не за-

хлебнулся — то ли от ярости, то ли в Тихом океане. Досталось и Бурикову. Он был обложен, как язык во время болезни, после чего подробно узнал обо всех своих предках до четырнадцатого колена. В пятнадцатом Огрызкин ковыряться не стал, заметив, что наверняка тоже ничего хорошего — какая-нибудь портовая девка и далекий от святости дух (выражения матерщинника заменены на более мягкие из цензурных соображений). После такого драка, разумеется, вышла натуральнее некуда.

Пройдя десять километров, разведчики взяли на север. С ходьбы перешли на среднетяжелую трусцу. Если ты, читатель, не из Сибири, то должен тебе напомнить, что тайга — это не равнина, а вспузырившаяся сопками поверхность, густо заросшая хвойными. Бежать не очень-то приятно. Кругом, извини меня, все в деревьях, которые посажены Богом далеко не квадратно-гнездовым. От этого маршрут человека всегда змеевидный — петляешь, петляешь, увеличиваешь себе расстояние. В гору совсем тяжело, но и при спуске не веселее: не разгонишься во весь дух, чтобы взлететь на треть следующей сопки. Приходится себя сдерживать, иначе махом лоб расквасишь. И ладно бы кедры росли поскромнее. Не выпячивали хотя бы свои корни, которые повсюду торчат из-под земли, как руки древних старух, — мол, смотрите, люди и звери: это наш рот, через него мы питаемся. Подножка на подножке, в общем.

Мох этот еще. Это ж валяться на нем здорово, а бежать по нему — хуже некуда. Вязнешь, утопаешь постоянно, как в сугробах. Да и валяться-то на мху, признаться, не очень. Перина хоть и важная, да влажная. Отчего мох потеет — черт его знает, я не биолог. И ведь, главное, под ногами сырость разведена, а климат при этом идеально сухой, проигрывает в конкурентной борьбе только Сахаре с Калахари.

С воздухом тоже все не слава богу. Ведь до того ж чистый и кислородом перенасыщенный, что, вдыхая его, испытываешь головокружение с тошнотой, как после карусели. Нет, воздух проблемой для бежавших разведчиков, конечно, не был. Придышались с годами. Я это для того сказал, чтобы тебя, читатель, предупредить. Если попав в нашу тайгу, разбежишься на радостях до свиста в ушах (а это частый случай вне зависимости от возраста туриста) и заплохее тебе — не переживай. Привыкнешь к стерильности атмосферы. Человек ко всему приспосабливается.

Знаешь, читатель, вот смеются над нами иностранцы, говорят, что мы только импортировать и умеем, а того не знают, что у нас за Уралом вся местность в зеленых заводах. «Даешь миру кислород!» — на мартеповских кедрах высечено. То не туман — дым из миллионов труб валом валит! Производство оптимизировано донельзя — жалкая горстка лесников за цехами приглядывает. Сбыт и логистика, правда, пока налажены плохо: куда ветры — туда экспорт целебных воздушных масс.

— Газы! — скомандовал Ракитянский.

Дисциплинированный Буриков полез на бегу расстегивать подсумок с противогазом.

Огрызкин ушам своим не поверил. Уж что-что, а такой подлянки на марш-броске от капитана он не ожидал.

— Какие еще газы?! — взбрыкнул Огрызкин. — Какие газы?!

— Хлор, — ответил Ракитянский.

— Кэп, окстись! — призвал Огрызкин. — Или я подумаю, что ты с дуба рухнул посередь кедрача! Воздух чист, как совесть Бурикова! Какой еще хлор?!

— Условный!

— Побойся Бога! Жара, как на противне!

— Выполняй приказ, — бросил Ракитянский.

— Я-то выполню, я выполню! — на бегу говорил Огрызкин. — Только ведь нам полтайги отмахать надо! У нас задача! Зачем ее усложнять?! Нормально ж бежали!

— Выполнять!

— Дай хоть слово сказать!
— Обойдешься!
— Хоть междометие!
— Да хоть заахайся. Газы, я сказал!
— Элефант, ты че молчишь?! — на бегу дернув Бурикова за гофрированный хобот, как веревочку на сливном бачке, воскликнул Огрызкин. — Это ж издевательство! Ты хоть ему скажи, что газы неактуальны! На дворе век информационных технологий! Ты ж читал журналы, когда авиасообщение было! Спецназ скоро за компьютеры сядет! Будет выкашивать дивизии нажатием клавиш! А у этого — газы! Это ж античность! Он бы еще скомандовал: «Конница — справа!» Какие, блин, газы?! За что?!
— Конкретно тебе — за мою родовую, Моська! — глухо вострубил слон.
— Придурок, — сплюнув, изрек Огрызкин и начал вытаскивать противогаз. — В России не звони мне даже! Знать тебя не желаю! Через Ракитянского все про тебя, дурака, визнавать буду! По косвенной связи!.. Чтоб ты сдох от безделья в регионе-доноре! Чтоб ты в командировке был, когда в твоём доме пожар и детей выносить надо! Чтоб ты траванулся чебуреком и у тебя в бою понос случился — докажи потом, что не от страха обделался! Черенковой вон до сих пор припоминают! Весь скафандр при приземлении уделала! Так то женщина в космосе! Из тубиков ела! Перегрузки испытывала, чтоб ты, дурак, говорил: «Зачем нам нормальные машины, если все равно пересядем на ракеты?!»

Оставим разведчиков. Им еще бежать и бежать. Сейчас необходимо сказать о сказочной красоте тайги. Ни за что не стал бы этого делать, если бы не производственная необходимость. Есть в наших палестинах такой негласный закон: описывать прелести темно-зеленой Родины только в крайнем случае. Инвесторов боимся, читатель, потому что за ними — это уж как пить дать — припрутся нечистоплотные туристы и все загадят. Честное южносибирское, я оттягивал про красоты, сколько мог, но дальше молчать уже никак нельзя, иначе станет непонятно, как в нашем захолустье могло случиться то, что случилось.

Слава богу, я слабый специалист в описаниях природы, поэтому большой беды от меня не будет. Ликую от некомпетентности своей. Чувствую себя трусливым партизаном в застенках СС, который все равно умрет Героем Советского Союза, так как тупо не знает, что говорить. Не обладает ни сколько-нибудь важными данными, ни подвешенным языком — хоть на куски режьте. Места у нас расчудесные — вот все, что выродил за три часа упорного сидения. Придется тебе, читатель, поверить на слово, что тайга у нас такая во всех отношениях знатная, что мы не понимаем, почему ей до сих пор не присвоили княжеский титул. Заметь, не царский — княжеский. Просто попадая в наши дремучие, первозданные, изобилующие зверем, птицей и насекомым леса, человек видит, что очутился даже не в средневековье, в котором наблюдалась маломальская человеческая активность, а прямо-таки в былинном времени, где на тыщи верст — ровно три богатыря, коих 407 соотечественников и 652 иноземца знали по имени-прозвищу. А это где-то десятый век, не знавший царей — только малых и великих князей.

И вот, значит, в начале двадцать первого столетия один из сильных мира сего, который родом из наших краев, поведал своему шефу о заповедных землях в центре России, якобы выгодно отличающихся от лучших мировых курортов. В перерыве между заседанием по внешней политике и совещанием по социалке, блеснули в разговоре, как золото, серебро и бронза, три тайги в следующей очередности: сначала — тувинская, потом — хакасская, затем — красноярская. Нашей крале было отведено второе место, но мы тут, в Хакасии, твердо знаем: тувинский кулик высокого полета просто нагло перехвалил родное болото.

Разрекламированные места для активного отдыха пришлось первейшему лицу по вкусу, и борты № 1 и № 2 стали летать в сибирскую глубинку. Неудивительно. Сам-Пресам хоть и орудовал ножом и вилкой не хуже английского лорда, но был рожден, чтобы есть с одного ножа, если вообще не голыми руками, как германский варвар. Ему претили песчаные пляжи, люксовые отели, изысканная кухня, предупредительный персонал, которые превращают мужчину в женщину. Он любил снега по пояс, неотесанные срубы, варево из дичи и суровых охотников, которые хоть Самому-Пресамому не побоятся сказать: «Мы для чего на тебя матерого гнали? Чтоб ты жалел его, как своих амурских тигров? Здесь тебе не там, чтоб гринписать. Взял ружье — бей!»

Раз уж затесалось первостатейное столичное лицо во второсортный периферийный роман (а иначе и быть не могло, без альфа-самца сейчас ничто не движется, и это уже накаляет, потому что никакой полубог в одиночку не вывезет огромную страну), то надо сказать, что сибиряки его крепко уважают. Возможно, чтили бы меньше, если бы им от государства что-то было надо. Только ведь сибирякам почти ничего не требуется — умеют обходиться малым. Кроме того, люди они свободные и независимые, привыкли жить самостоятельно, своим умом, ни на кого не рассчитывая.

И уж как приятно сибирякам, что московский гость выбрал для отдыха именно их глухомань. Рабочий люд относит это к тому, что первейшее лицо — настоящий мужик. Интеллигенция не соглашается, говорит, все дело в отличном вкусе. И вдвойне приятно сибирякам, что они вот не могут себе заграничные юга позволить, а столичный гость может — да не позволяет. Такие пироги с ливером...

17

Разведчиков взяли в плен на второй день — за несколько часов до захода солнца. Чтобы марш-бросок не казался подчиненным медом, Ракитянский дал команду «отбой» в хорошее для бега вечернее время, когда жара спадает и дышится легче. Огрызкин назвал это очередной дуристикой, но бухтеть не стал — спать так спать. Поменяли ларьки с холостыми патронами на супермаркеты с боевыми. Подстрелили трех бурундуков по числу едоков. Почитали про нанотехнологии, развели костер из первых страниц. Пожарили полосатиков, поели и вырубались. Минут через сорок сон сменился беспмятством от ударов прикладами.

Очнулись уже со связанными руками и ногами. Вокруг были молодые люди в военно-полевой форме, но не «красные», а всякие, разные: бледнолицые, красно-, желто- и чернокожие.

— Вы кто? — вытерев кровь со лба, спросил Ракитянский.

— Те, кто вас в плен взял, — ослабившись, ответил юный мулат на международном.

— Я тебе сказал говорить на их языке, — по-русски зарычал на мулата смуглый европеоид с бычьей шеей и похожим на подпись Зорро шрамом на щеке. — Забыл, чему нас учили? В чужой стране думай и говори на ее языке. Здесь тебя могут выдать даже деревья. Они отлично помнят тридцать седьмой, судя по виденным нами пеньковым кольцам.

— Этот лес не выдаст, — буркнул мулат на разрешенном языке. — Его как раз рубили в то время. Он за нас. Он ненавидит русских. Он знает, почему лесоповал. Он не хочет повтора.

— По лесу будешь ходить под Рязанью или Тулой, — властно заметил европеоид со шрамом, из чего разведчики сделали вывод: этот у чужестранцев главный. —

А здесь тайга, парень. Не лес. Не бор. Не роща. Не чаща и не дубрава. Сибирская тайга, которой в наших краях пугают малых детей.

Пленные переглянулись. В уголках ртов промелькнули улыбки. Несмотря на гнетущие мысли, которые обуревали разведчиков, им было приятно, что иностранец отличает непонятно что от тайги. Огрызкин прямо еле сдержался, чтобы не подмигнуть Бурикову — мол, да, этот с буквой Z на щеке молодец, соображает, что к чему.

Их было десятеро. Вооруженных до зубов. В пятнистой форме «Северного альянса», что ровным счетом ничего не значит, так как натовка — одежда прочная, удобная и практичная, — в той же Сибири ее часто заказывают для себя охотники, рыбаки и фермеры. Молодые чужеземцы, сброшенные, скорей всего, с воздуха, прошли, судя по всему, такую же серьезную, как и жители нашего города, военную подготовку — дилетантов вряд ли бы послали в тайгу. Хорошо, что гражданство парней неизвестно — не нарвемся, по крайней мере, на международный скандал. Если исходить из различных цветов кожи иностранцев, то они могли представлять собой и интернациональный отряд и командос из страны, где так же, как и в России, проживает множество разноликих народов. В общем, это мог быть кто угодно.

— Мы ищем большого человека, — обратился к пленным чужеземный главарь с Z-образным шрамом на щеке.

— Никак снежного, — тренькнул Огрызкин. — Так он недавно...

— Заткнись! — оборвал главарь. — На идиота ты не похож, поэтому не надо. За меть, меня даже не интересует, кто вы такие и сколько вас таких по тайге бродит. Повторяю: нам нужен большой человек. Знаете, где его искать?

— Я — нет, — ответил Ракитянский.

— Тоже, — пожал плечами Буриков.

— Понятия не имею, — замкнул незнайкино кольцо Огрызкин.

Не соврали. Действительно ни сном ни духом...

— Уточняю, — сказал главарь. — Так как вы, кажется, здешние, то должны были видеть вертушки. Раз в квартал. Может, в полгода. Не обязательно над головой. Рядом. Меня интересует направление полета, если смотреть с этого места. Север?.. Юг?.. Может, северо-запад?.. Юго-восток?.. Северо-восток, нет?.. Юго-запад?

Во время речи иностранный главарь внимательно наблюдал за пленными. И таки дождался — сверкнули глазами. Значит, видели. У двоих вспышка на слове «вертушки». Третий указал сроки. Направление не выдал никто. Надо было лучше формулировать, второй раз не купятся, подумал интервьюер.

— Мне добавить нечего, — сказал Ракитянский.

— И мне, — произнес Буриков.

— Я человек сугубо плотский, земной, смотрю не наверх, а под ноги, — доложил о своей природе Огрызкин.

— Лжете, — бросил главарь. — Советую подумать... Не скажете — будем пытаться.

Ну попробуйте, раз надо, — буднично ответил Ракитянский.

— Другого выхода для них не вижу, — повернувшись к Ракитянскому, сказал Буриков.

— Эй, Якудза, Апач, Латинос, Ариец Большой, Раджа, Австралопитек, Капустин-two, Ариец Короткий, Истинный, Талиб! — обратился Огрызкин к стоявшим вокруг, заодно присвоив им прозвища в соответствии с типом лица. — Чур, меня огоньком мучить! Настродался я в Сибирих от морозов! Это не у вас там!.. Кстати, откуда будете?! Давайте из Швейцарии! А то нехило устроилась! Все грызутся, а она и нашим и вашим! Сколько уже можно банковать?! Хорош! Решено — вы из Швейцарии!

— Он у вас всегда такой? — с сочувствием спросил у Ракитянского чужеземный главарь.

— Не твое вражье дело, — был ответ.

— А у нас Круз такой, — пропустив грубость мимо ушей, миролюбиво заметил главарь и весело обратился к тому, которого Огрызкин нарек Раджой: — Эй, Круз! Видел себя? Это ж ты на земле лежишь. Поллюбуйся.

— Они вообще все на нас здорово похожи, — заметил тот, которого Огрызкин называл Талибом. — Один в один. Страха нет. Одна досада, что попались. На воинов напоролись, будь они прокляты. А это значит...

— Что пытаться их — только время тратить, — продолжил парень, в котором Огрызкин разглядел Якудзу.

— Нет, помучить-то можно, — подключился Апач. — Но мы же не садисты, чтобы делать это просто так. Мы честные солдаты. Они тоже. И мы сейчас в этом убедимся. Русские! — сказал парень пленным. — Пытать вас бесполезно. Отпустить, взять с собой нельзя. Что бы вы сделали на нашем месте?

— Расстрел, — хладнокровно произнес Ракитянский. — Вы обязаны нас ликвидировать. Или мы ликвидируем вас.

— Эх, не бывать мне, видно, в Петербурге, — тяжело вздохнув, пробормотал Буриков. — Не пройтись по Невскому, не поклониться Петру Алексеичу, не познакомиться с Боярск...

— Давай растрогай их еще, мечтатель сраный! — зло перебил Огрызкин. — Парням убивать впереди, пожалел бы их! Они должны видеть в тебе русскую свинью, как им там напели! А ты им ее подкладываешь! Перед самым-то грехом! Не хватало, чтоб ты им снился со своим Питером, Махонький Принц! Че ты в Питере не видел?! Неча там смотреть! Ты про Питер знаешь больше, чем его коренные! Экскурсии можешь водить! — увидев, что Буриков сам не свой из-за Петербурга, Огрызкин изменил тон: — Ты что пригорюнился, Илья? Ты это брось. Не смей из-за Питера, слышь? Не стоит он того. Лучше бойся смерти, нам с Ракитой легче будет. Не стесняйся, Илья. Все свои тут. Солдаты все... Был ли кто в Питере?! — спросил Огрызкин в надежде на то, что недруги — достойные люди и поймут, какого он хочет ответа. — Санкт-Петербург — полное название. Северная наша столица.

— Я проездом, — не разочаровал тот, кого Огрызкин окрестил Австралопитеком.

— Ну и?

— Так себе город... Серенький... И по отделке, и вообще.

— Слышь, Илья? — сказал Огрызкин. — Серенький... Парняга явно предвзят, но его можно понять. Я бы в 1945-м о Берлине тоже, знаешь, не очень-то выразился. Но в целом он прав. Питер — так себе населенный пункт. ПГТ и ПГТ. Болотина замощенная. Может, только статульку Чижика-Пыжика и стоит посмотреть. Из людей — одни интеллигенты. А не соблаговолите ли вы да позвольте-с. — Жалость к Бурикову внезапно захлестнула Огрызкина горячей волной. — Знай, ты лучший из нас, брат! Ракитянского в десять раз! Меня в тыщу! Нет, меня в пятьсот, а то возгордишься перед смертью, и Бог тебя накажет, идиота... Эй, ребята! — бросил Огрызкин чужеземцам. — Мне плевать, как у вас принято пускать в расход! Или кончайте всех разом, или Бурикова первым! Не хватало, чтоб у него сердце разорвалось, глядя на наши трупы! Оно у него — не нашим всем чета! За весь мир болит, включая места, где все нормально! Первым чтоб Бурикова, слышали?! Я посмотрю, какие вы солдаты! Я проверю!..

...Рыли себе могилу под прицелами автоматов и винтовок. Главарь командос сказал, что любой боец — свой ли, вражеский — должен быть предан земле, а не перевариваться в волчьих желудках, не вываливаться из лисьих задниц по всей тайге.

— Нет, а почему я должен рыть себе могилу? — окопавшись по колено, проворчал Огрызкин. — Мне что, больше перед смертью заняться нечем?

— Они по-человечески с нами хотят, — улыбнувшись, сказал Буриков. — Хорошие ребята. Мы их задерживаем, а они все равно.

— Ты дурак или как? — спросил Огрызкин. — Напоминаю: они враги. Ищут нашего с тобой соотечественника. И далеко не последнего, как ты в бухучете. Блин, спорное сравнение получилось! Не поймешь, то ли в авангарде ты, то ли в хвосте плетешься... Толян! Буриков вообще у нас даун, оказывается, — воткнув саперку, заявил Огрызкин. — Уже врагов полюбил. Дай волю — обожать начнет. Матфей Заенисейский.

— Замолкни и рой, — произнес Ракитянский.

— Не буду.

— Будешь.

— Замолкнуть — замолкну, а рыть не буду, — начал торговаться Огрызкин. — Им надо, вам надо, а мне нет. Меня можно лапником притрусить, и все, я не гордый. И вообще, может, я тебе с Буриковым посмертную оппозицию составить хочу. Поэтому мне нужно лежать отдельно. Имею право — все-таки пока еще в свободной стране умираю. Канем плечом к плечу, как полагается товарищам, а потом извиняйте, я сам по себе. Кроме того, медведям надо жир на зиму нагуливать. Кто о них подумает? Огрызкин, больше некому. Вы ж под землю лыжи наострили. А я справный, само то для хозяина. На свеженину он, конечно, не позарится. Ему тухлятину подавай. Не бойсь, Ракитон, — все рассчитано. Сейчас лето, пекло вон какое, махом спорчусь. Хочу даже Якудзу попросить, чтоб хакири мне своим мачете сделал. Кишки наружу — смрада больше. Кстати, ты не знаешь, зачем Якудза захватил сюда мачете? Где он тут лианы увидел? Блин, наберут из амазонских джунглей, а потом мучайся с ними!

— Да заткнешься ты или нет? — бросил Ракитянский.

— Это можно, — ответил Огрызкин. — Но под условие.

— Говори уже.

— До пояса в землю углубляемся, и довольно. Скоро солнце начнет садиться. При свете дня сдохнуть хочу... Ну, желательно.

— Тогда рой в темпе, — сказал Ракитянский.

И работа закипела...

Когда могила была готова, Огрызкин походил по ней туда-сюда, придирчиво осмотрел каждый уголок, подтесал неровности на стенах, после чего заявил неприятелям, что не мешало бы устелить дно лапником. На вопрос Арийца Меньшого «Зачем?» последовало следующее объяснение: «Чтоб нам, сибирячкам, падать было мягче, если кое-кто не умеет отправлять на тот свет с первого выстрела и нуждается в контрольном».

Вражеское хмыканье. Прикручивание глушителей к оружию. Десять беззвучных одиночных. Падение с кедров шести бурундуков и четырех белок. Отпадение необходимости в лапнике.

Пленных развязали. Заставили раздеться до пояса и встать возле могилы. Взяли на мушку.

— Можете сказать последнее слово, русские, — произнес молодой главарь со шрамом.

— Да хоть десять! — живо откликнулся болтун Огрызкин. — Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!.. Блин, как-то банально получилось. Так ниче ж в голову не идет, меня первый раз расстреливают, опыта нет... Давайте по-простому лучше. Вы зря к нам пришли, парни, ой зря. Мы собственной стране ума пока дать не можем, это правда. Но и вы у нас хозяйничать не будете. Никто не будет. Даже из благих намерений. Ныне, присно и во веки веков. Аминь... Вот гляжу на вас — умные

вроде ребята, языки знаете. На нашем без акцента лопочите. Ну не то чтоб там совсем чисто, зато по-своему прелестно. У вас акцент, как у наших инородцев: удмуртов, бурятов, дагов, адыгов. Так вот согласитесь, хлопцы, для чего-то ж Россия раскинулись на полсвета. Уж наверно, Господь нам такую территорию не просто так отмерил. И вы сто процентов в курсе, что у нас нет Дня нападающего Отечества. Защитника только. Потому что чужая земля нам даром не нужна. Своей как дерьма за баней, устали отстаивать. И мы до родной земли — вот это крепко запомните! — страсть какие куркули. Последнюю рубашку с себя — пожалуйста, а почву — хрен... Вот не хотел говорить, но мы, чтоб вы знали, намеренно не развиваем дорожное хозяйство и многое другое, чтоб враги погрязли в нашей грязи и многом другом. Препоны для супостатов в виде убитых трасс, никакущих коммуникаций и прочей инфраструктуры — это мы все специально, да. Это нацполитика такая, одобренная нашим народом еще при Вещем примерно Олеге. Не на сознательном, конечно, — на глубинном подсознательном уровне одобренная... В том же духе и продолжим. Да, верным путем идем. Так и продолжим, да.

— Я протестую! — с искаженным от гнева лицом бросил Ракитянский. — Говори за себя!

— О-о-о, — передразнил Огрызкин. — Протестует он... Тебе, мой лютый Лютер, отдельное слово предоставлено будет. А я с вражеского позволения свою речь продолжу. Так уж вышло, что не доведется мне послужить родной земле. Не говорю о великих делах, не до жиру сейчас — двор бы хоть подмести в Воронеже или, там, Уфе. Я бы вот ни сориночки не оставил. Подмел бы, вымыл и насухо вытер, чтоб без разводов, — сообщил Огрызкин, как будто кто-то другой, а вовсе не он только что говорил, что в грязи и разрухе спасение России. — Вот языком бы все вылизал.

— Не переживай, Сережа, другие вылизут, — ободрил Буриков.

— А я не хочу, чтоб другие! — вскипел Огрызкин. — Я сам хочу! Я эгоист, понятно?! А того, за кем вы, парни, охотитесь — вам не взять. Вы только первый кордон прошли, на авангард наткнулись, а дальше хана вам. Мы таежники и плохо знаем нужного вам человека, читали только о нем. Кто-то его любит. Кто-то нет. Но он наш соотечественник, понимаете? Сто пятьдесят миллионов встанут за него без раздумий. Не потому, что он такой уж прям хороший. Грехов хватает у него, как у всех. Наш он просто. А русские своих не сдают. И если кому-то и решать его судьбу, то не вам, а нам. Потому как не ваш он слуга — наш. Спасибо за внимание, я кончил... Ты, Илья, что скажешь?

— Добавить нечего, — ответил Буриков. — Ты про главное все сказал. Спасибо, брат, а то я очень волнуюсь. Мысли совсем повывлетали.

— Ну хоть про второстепенное скажи, про личное. Перед смертью разрешается.

— Смеяться опять будешь.

— Да будь я проклят, если заржу, — сказал Огрызкин. — И потомки мои до 5000 года. С потомками лишка хватил, согласен. Ну да ты меня понял.

— А по секрету можно? — попросил Буриков.

— Перед смертью все можно, брат, — заверил Огрызкин. — Тут ребята с понятием собрались, последнее слово даже предоставляют, как в киношных сценариях. Лезь мне в ухо, не смущайся.

— Сережа, я девочку ни разу не целовал, — прошептал в раковину Буриков. — Как это, интересно, девочку поцеловать?

— Да никак, Ильюха! — громко сказал крупнейший специалист по поцелуям, только не практик, а теоретик. — Нашел из-за чего сердце рвать. Даже не бери в голову. Переход микробов из одной полости в другую. Разнос бацилл, и ниче более. Хожде-

ние вирусов в пространстве. Что все эти амурсы? Мороженое не попробуем — вот это я понимаю потеря!

— Так грызли же мерзлую клюкву, — заметил Буриков. — То же мороженое. Натурпродукт.

— А я вот с консервантами хочу! — воскликнул Огрызкин. — Блажь, понимаешь, такая нашла. Точно на бабу беременную. Ладно, хорош болтать... Толя! Скажешь че напоследок?

— Не, — ответил Ракитянский. — Последнее слово за мной останется.

— За тобой? — удивился Буриков.

— Со мной, я хотел сказать. Оговорился... Не за мной. Со мной. Ничего не хочу говорить, короче.

— Дело хозяйское, — произнес Огрызкин. — Тогда будем прощаться, братья.

Попрошались. Обнялись. Троекратно поцеловались. Огрызкин попросил, чтобы атеист Ракитянский и сомневающийся Буриков перекрестились — хотя бы из уважения к древнерусскому обычаю. Просьба была удовлетворена. Однако Огрызкина это не устроило. Он взял на себя роль священника и перекрестил друзей своей рукой, сказав, что знамения лишь тогда могут считаться действительными, когда их накладывает настоящий православный христианин. Такой, как он. Сергей Огрызкин. Погрузившийся в карцерные воды с головой три раза, как того требует обряд.

Замерли. Настроили взгляды: каждый — в соответствии со своим пониманием последних секунд перед встречей с неизвестностью.

Огрызкин твердо смотрел на врагов — в упор...

Ракитянский спокойно глядел поверх неприятельских голов — в бесконечную даль...

Буриков поднял единственный глаз к небу... То, что он увидел, поразило его. Несметная рать стояла в звонкой голубой вышине. При полном параде. С развернутыми, реявшими на ветру хоругвями и знаменами. Бесчисленные шеренги павших воинов всех времен. Богатыри Владимира Святого. Дружинники Александра Невского и Дмитрия Донского. Стрельцы Ивана Грозного. Ополченцы Минина и Пожарского. Петровские преображенцы и семеновцы. Гренадеры Суворова. Кирасиры Кутузова. Матросы Нахимова. Солдаты Брусилова. Бойцы Красной и Белой армий в соседних колоннах. Рядовые и генералы Финской и Великой Отечественной. Воины-интернационалисты. Солдаты и офицеры всех чеченских кампаний...

— Раздайсь! — услышал Буриков глас в поднебесье. — Принять пополнение!

— Get ready (товсь)! — прозвучала следом команда главаря командос. — Aim (цельсь)!

— Стойте! — крикнул Ракитянский и бросился вперед. — Я проведу вас. Примерно представляю квадрат. Четыре дня — и мы там! Нужный вам человек отдыхает в тайге неделю. Реже — полторы. Вертушка была сегодня.

— Resign! — дал отбой главарь командос. — Не соврал. Твои слова совпадают с нашими данными.

— Одумайся, Толя, — вытерев росяной пот со лба, сказал Буриков. — Не позорь нас. Одумайся, брат... Умоляю — не надо. Не надо!

— Не надо?!! — благим матом заорал Ракитянский. — Я жить хочу!!! Любить хочу!!! Детей!!! Я не хочу умирать!!! Непонятно за кого!!! Меня никто не спрашивал, когда в тайгу ребенком!!! Я не Маугли!!! Я человек!!! Человек, а не подопытный кролик!!!

— Отродье ты, Ракита, а не человек, — спокойно пригвоздил Огрызкин. — Иуда твой апостол. А дерево — осина, а не кедр наш. Чтоб ты, с..., на суку удавился.

— А ты сам-то кто?!! — взревел Ракитянский. — Ты же...

— Верблюд ноне, — сыграл на опережение Огрызкин, набрал слюну из носовых пазух и харкнул в стоявшего поодаль Ракитянского.

Промазал. Сплюнул от досады. Попал на берцы Бурикова. Присел. Вытер слюни перебинтованными пальцами. Выпрямился и... провел растопыренной пятерней по бритой голове, как будто зачесывал волосы назад. Это был условный знак между ним и Ракитянским, который они применяли с детства. Означал «продолжай, подыграю».

— Иуда, значит? — заметив жест Огрызкина, процедил Ракитянский. — Автомат!

Ракитянскому дали, что просил. Но сначала приставили пистолет к его виску и взяли на прицел Бурикова и Огрызкина.

— Ну! — сказал главарь с буквой Z на щеке и с силой вкрутил холодное дуло в висок Ракитянского. — Тронул — ходи, как говорят шахматисты. Смерть товарищей — твой пропуск в жизнь и в наше доверие.

— Стреляй, тварь! — увидев страшное сомнение в глазах Ракитянского, вскричал Огрызкин и опять провел пятерней по голове. — Ненавижу тебя! Власовец! Будь ты прок...

Пуля вмазалась в сердце Огрызкина, как раскочегаренная иномарка мажора в столб. Курсант полетел в яму. Вдогонку за ним с красной звездочкой во лбу пустился Буриков. Якудза и Апач подошли к могиле и прошли лежавших на дне мертвых контрольными очередями...

— Разбить лагерь! — скомандовал своим главарь десантников. — Выступаем утром!.. А ты, — с брезгливостью сказал он Ракитянскому, — похорони бойцов. Для меня и моих людей было большой честью присутствовать при их гибели. Хорошо, что мы не осквернили руки. Кровь воинов не на нас.

...Шатена Ракитянского больше не было. Был пепельный блондин с лицом альбиноса. Он зарывал друзей руками, разминая каждый комок, отбрасывая в сторону корни и редкие камни. Ему предложили саперную лопату, чтобы дело пошло быстрее, но он покачал головой. Настаивать не стали — пусть хоть всю ночь закапывает, если хочет. Закончив работу, Ракитянский обнял могилу, уткнулся лицом в землю и замер до утра. Юноша не спал. Он шептался с мертвыми братьями, как с живыми. Как дома после отбоя, когда они все, удобно расположившись на деревянных кроватях без матрасов и укрывшись пододеяльниками, обсуждали в комнате прожитый день и планы на завтра. Ракитянский не просил прощения за содеянное, потому что погибшие, где бы они сейчас ни находились, знали, почему он пошел на братоубийство...

* * *

Утром парень с польской фамилией повел иностранных солдат в Гиблую Падь, как тот мужик из села Домнина, с оперы о котором вот уже много десятилетий открывает сезоны Большой театр...

Во время пути Ракитянский ловил на себе презрительные взгляды, и его это устраивало — лишь бы не подозревали в обмане. Чтобы окончательно убедить врагов в своей надежности, на второй день он как бы невзначай завел речь о будущей жизни в Венеции, в которую якобы решил перебраться после того, как все закончится. Далее плавно перешел к денежному вопросу, намекнув, что жизнь в граде на воде наверняка стоит недешево. Главарь пообещал крупную сумму в долларах, и Ракитянский немедля согласился, сказав, что в его положении не торгуются. Курсант увидел, как после всех этих венецианских планов и разговора о деньгах пал в глазах недругов ниже некуда. Как человек. Зато значительно подрос как проводник. В нем перестали сомневаться.

На третий день марша, ближе к обеду, Ракитянского чуть не подвел вылезший из кустов огромный бурый медведь. Курсант поднял руку, чтобы шедшие за ним остановились, и отправился к зверю, стоявшему на четвереньках метрах в семи. Парень знал, что повел себя слишком смело для трусливого предателя, но другого выхода для себя не видел. Ракитянский решил, что оправдание своей внезапной отваге он придумает позже. Если выживет.

Курсант замер в метре от медведя и сделал то, что ни в коем случае делать не рекомендовалось: посмотрел хозяину в глаза. Это была игра ва-банк, которую мог себе позволить только уже не дороживший жизнью человек. У Ракитянского не сработал даже инстинкт самосохранения. Пульс не только не участился — он стал успокаиваться, так как юноша остановился после изнурительного марша в темпе, который викинги называли волчьим шагом вестфольдинга.

— Ми-иша-а-а, — баюкающим голосом прошептал Ракитянский, надеясь на то, что родился под звездой, которую Огрызкин называл борзой. — Ми-и-ш, пропусти нас... Заломает меня, еще пару-тройку, а остальные тебя того. Это смелые и меткие люди, Миша... Оставшиеся в живых будут рыскать по округе и найдут нужного им человека. Это нельзя, Миш, это нельзя... Дай мне довести их до ума. Всех. Умоляю... Сейчас я заговорю во весь голос. Ты медленно развернешься и победишь. И не вздумай вставать на задние, ты уже на прицеле. Я знаю, ты все сделаешь правильно. Ты послушный медведь... Винни! — весело крикнул Ракитянский и готов был поклясться, что в этот самый момент медведь подмигнул ему. — Ты, думаю, иль не ты?! Ах ты, разбойник косопалый! А мы-то думали, куда он делся?! — Ракитянский обернулся к врагам. — Год как ищем, а он вон где! — Поворот к медведю. — А ну вали! Давай, давай! А то получишь под зад! Как от Похабова!

Зверь оскалился, медленно, как танковая башня, развернулся, оглянулся на Ракитянского, словно спрашивая, «точно ли проваливать?», и, услышав «вали, вали!», неуклюже припустил по своим медвежьим делам.

Утром следующего дня Ракитянский достал из вещмешка дневник, который вел много лет, и начал делать записи. Это увидел главарь командос и подошел к пленному.

— Что калякаешь, Кристофер Робин? — прозвучал вопрос.

— Заговор от лешака и кикиморы, — ответил Ракитянский. — Дошел до нас от славян, жителей глухих лесов — дреговичей. Сегодня ночью войдем на территорию темной тайги — в Гиблую Падь. Жуткие болота. Предпочел бы их обойти, но никак. Это самый короткий путь к пункту назначения. Нам не пройти через страшные места без древнего, как сама земля, заговора. Хочу, чтоб твои ребята переписали его и читали. Вслух. Бесперывно.

— А больше ты ничего не хочешь? — ухмыльнулся главарь командос. — Вы точно варвары. Верите во всякую чушь. Одно не могу понять: откуда у таких дикарей может быть такой балет?

— Откуда?.. От мертвого верблюда, который плюнул мне в лицо на расстреле.

— Здесь не на русском, — посмотрев в дневник, сказал главарь. — Буквы те, да не те. Я ничего не понимаю, хотя свободно владею вашим языком.

— Так заговор на старославянском, — объяснил Ракитянский. — Перевод на современный делать нельзя: слова утратят силу. Как закончу текст, напишу транскрипцию. Твои люди должны все переписать и повторять в пути, как мантру. Чтоб я слышал. А иначе...

— Что иначе? — спросил главарь.

— А иначе дальше я не ходок, — поставил условие Ракитянский. — Хоть че со мной делайте. Хоть расстреливайте. Боюсь темной тайги пуше смерти.

— Ты ненормальный. Вы все ненормальные. Crazy!

— Я не услышал ответ.

— Ладно, пиши.

Запись в адаптированном переводе со старославянского на современный русский гласила:

Никогда не приходите в страну гипербореев с оружием. Ее жители не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить врага. Сейчас впереди нас идет человек, который отдал на заклание родных братьев. Он застрелил их собственной рукой и не жалеет об этом. По его твердому убеждению, иначе было нельзя. Он все рассчитал. В Гиблую Падь войдем нынешней ночью, чтобы уже оттуда не выйти. Страшные топи. Никому из нас не выбраться. Он слышит, как мы произносим эти слова, и одобрительно кивает.

Он не верит в Бога, но каждую секунду повторяет про себя: «Господи, не спаси и не сохрани ни меня, ни их». А ведь мы ему нравимся. Он ничего лично против нас не имеет. Даже считает славными людьми. Его гнев против тех, кто послал наш отряд в тайгу, кто стравливает простых людей из разных стран между собой, прикрываясь национальными интересами. Он слышит, как мы произносим эти слова, и одобрительно кивает.

О, если б мы только пришли, как добрые гости! Нас бы приняли как королей. Нам бы показали самые красивые места в мире. Кормили бы как богов. Любое наше желание становилось бы законом. И тот, кто сейчас ведет нас, счел бы за честь служить нам. Но мы пришли с мечом, и за это умрем. Он слышит, как произносятся эти слова, и одобрительно кивает.

Наш гид многое бы сейчас отдал, чтобы на месте спасаемого им большого человека оказался рядовой гражданин, интересы которого в Гиперборее не учитываются совсем. Но выбирать не приходится. Долг не делит людей на великих и малых. Жизнь за царя-2 так жизнь за царя-2. Поводырь слышит, как мы произносим этим слова, и одобрительно кивает.

Через несколько часов он оставит вещмешок с завернутым в пленку дневником перед входом в Гиблую Падь, и мы не заметим этого. На страницах — заветные мысли о северной стране. Наш проводник знает наверное, что его рукопись будет найдена. Для этого сделано все, что в таких случаях требует Гиперборей. Сакральные жертвы принесены...

В теплую июльскую ночь курсант закрытого таежного города Анатолий Раки-
тянский и вражеский десант вошли в Гиблую Падь. Что произошло дальше — автор не знает. Ему известно только то, что известно всем: никаких громких покушений и убийств в 2007 году не было...

Александр ГАБРИЭЛЬ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Она до сих пор приметлива и глазаста.
Никто и не скажет, что ей пару лет как за сто,
когда она варит борщ и торчит на грядке.
И ей до сих пор хотелось бы жить подольше:
в порядке ее избенка в районе Орши,
и сердце в порядке.

Девятое мая — в нем красных знамен оттенки,
и, рдея звездой, висит календарь на стенке,
и буквы на нем победно горят: «Са святам!»
А в старом шкафу в прихожей лежит альбом:
в альбоме отец, который канул в тридцать восьмом,
и муж, который сгинул в тридцать девятом.

Над дряхлую сковородкой колдуют руки,
вот-вот же приедут сын, невестка и внуки,
по давней традиции в точности к двум, к обеду.
Хвала небесам за непрерыванье рода.
И ежели пить за что-то в сто два-то года,
то лишь за Победу.

Как прежде, вселенских истин творя законы,
висят над старинной печкою две иконы,
без коих мир обездвижен и аномален.
А праздник идет, оставаясь под сердцем дрожью...
Скосив глаза,
улыбаясь,
смотрит на Матерь Божью
товарищ Сталин.

ВЕСНА НА КУТУЗОВСКОМ

Будешь в Москве — остерегайся говорить о святом.

БГ

...А небо, словно капля на просвет,
прозрачно. Лучик солнца — словно нитка.
В Москве весна. Кутузовский проспект.
Безвредная собянинская плитка.

Александр Михайлович Габриэль — дважды лауреат конкурсов им. Николая Гумилева (2007, 2009), обладатель премии «Золотое перо Руси» 2008 года, автор многочисленных газетных и журнальных публикаций в США, России и других странах. Автор четырех книг. С 1997 года проживает в пригороде Бостона (США).

Дни лета так отчетливо близки,
как шее обреченного — гаррота.
По-воровски пригнувшись, сквозняки
втекают в Триумфальные ворота.
Набросил хипстер легкий капюшон,
мальш случайной луже скорчил рожу...
Совет в Филях давно как завершен,
Москва сдана. Но существует все же.
И вновь весенний день глаза слепит,
столетия играют в подкидного...
История нажала на «Repeat»,
чтоб в виде фарса повториться снова.
И моет «мерс», ворча на голубей,
в сухих губах мусоля сигарету,
таджикский гастарбайтер Челубей
столичному мажору Пересвету.

БЕЛАРУСЬ

Пятно на карте, словно морда огра —
моя страна. Найди ее, географ,
скупую территорию освой.
Моя страна. Республика. Кочевье.
Задорный детский смех. Этюды Черни
и тетива веревки бельевой.

Пломбир лениво таял в пальцах липких.
Эх, юность, ты — ошибка на ошибке,
и сам я молод, глуп, не сеял круп...
Но там, в краю чужих единоверцев,
жила любовь, вгрызавшаяся в сердце,
как бур дантиста в воспаленный зуб.

Народ там добрый был и терпеливый.
За редкие приливы и отливы
горком в ответе был или обком...
Приветливо для всех светило солнце,
лишь оседал, как в обмороке, стронций
в картонной треуголке с молоком.

Из девяностых — помню злые лица,
и будущее не спешило сбыться
назло ведунье с картами Таро.
Молчало сердце и молчала лира,
когда, кривясь, работница ОВИРа
давала мне последнее «добро».

Где книжки записные с адресами,
свиданья под почтовыми часами
и крохотного сына пятерня,
простой и ясный свод житейских правил?
Всё там. В стране, которую оставил.
В стране, в которой больше нет меня.

ВРЕМЕННЫЙ

Я временщик, коль посмотреть извне,
и сердце все, как есть, принять готово.
Как ни крути, оставшееся мне
незначимей и мельче прожитого.
Мне больше не войти в свои следы;
все четче ощущаю что ни день я
себя на ветке капелькой воды,
набухшей ощущением паденья.
Стираются и боль, и благодать.
Как ни хрипи натруженной гортанью,
но стало невозможно совпадать
со временем, сменившим очертанья.
Услышу вскоре сквозь тугую вязь
словес, недосложившихся в поэзу:
«Которые тут временные? Слазь!»
И я скажу: «Я — временный».
И слезу.

МЕЛАНХОЛИЯ ОСЕНИ

Стынут воды в Гудзоне — практически так, как в Неве,
и подходит к концу солнцедышащий видеоролик...
Меланхолия осени в рыжей блуждает листве.
Ты и я — оба чехи. И имя для нас — Милан Холик.
В октябре нет границ, и я вижу мыс Горн и Синай,
и за шпильки Сизтла усталое солнце садится...
Осеняй меня, осень. Как прежде, меня осеняй
то небрежным дождем, то крылом улетающей птицы.
С белых яблонь, как вздох, отлетает есенинский дым.
В голове — «Листья жгут» (композитор Максим Дунаевский).
Нас учил Винни-Пух, что горшок может быть и пустым.
Все равно он — подарок. Подарок практичный и веский.
К холодам и ветрам отбывает осенний паром,
и нигде, кроме памяти, нет ни Бали, ни Анталий...
А поэт на террасе играет гусиным пером,
и в зрачках у него — отражение болдинских далей.

НА ПЕРРОНЕ

...И вроде бы судьбе не посторонний, но не дано переступить черту.
Вот и стоишь, забытый на перроне, а поезд твой, а поезд твой — ту-ту.
Но не веди печального рассказа, не истери, ведь истина проста,
и все купе забиты до отказа, и заняты плацкартные места.

Вблизи весна, проказница и сводня, сокрытая, как кроличья нора.
Но непретенциозное «сегодня» не равнозначно пряному «вчера»,
а очень предсказуемое «завтра» — почти как сайт погода точка ру.
Все, как всегда: «Овсянка, сэр!» — на завтрак. Работа. Дом. Бессонница к утру.

Но остановка — все еще не бездна. И тишь вокруг — пока еще не схрон.
О том, как духу статика полезна, тебе расскажет сказку Шарль Перрон.
Солдат устал от вечных «аты-баты», боев и аварийных переправ...
«Движенья нет!» — сказал мудрец брадатый. Возможно, он не так уж и неправ.

Ведь никуда не делся вечный поиск. Не так ли, чуть уставший Насреддин?
Не ты один покинул этот поезд. Взгляни вокруг: отнюдь не ты один.
Молчание торжественно, как талес: несуетности не нужны слова.
Уехал цирк, но клоуны остались. Состав ушел. Каренина жива.

Вячеслав РЫБАКОВ

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

Рассказ

Болел желудок.

Кажется, он болел всегда.

Кажется, он будет болеть всегда.

Дудки. Прорвемся.

Нескончаемая ноющая боль изматывает. Ведь это не просто тупой кол в брюхе, это еще и сигнал: внутри тебя чужой, враждебный, неумолимый. Надо срочно что-то делать! А ничего сделать нельзя.

Боль можно превозмогать, но к ней нельзя привыкнуть. Это как с толерантностью, которая терпимость. Терпеть можно долго, мужественно, приветливо, с улыбкой на устах, но на самом-то деле пока терпишь что-то одно, уже не в силах по-настоящему радоваться ничему другому. Нарастает раздражение, и если не можешь претворить его в отпор, начинаешь раздражаться на что-нибудь совсем невиноватое, расположенное поодаль и сбоку.

Например, на давно умершую последнюю жену, которая так и не научилась не пережаривать котлеты.

Как, впрочем, и предыдущая.

А ведь сколько раз им было говорено. И лаской, и таской...

Ох, ладно.

Например, на всю собственную жизнь.

Но так нельзя. Жизнь я прожил достойную.

Почему, собственно, прожил? Я еще живу!

Я живу достойно, другим бы так. И буду жить впредь, не меняясь. Не изменяя себе. По совести. Не по лжи. Честно. Смело. Вечно.

Надо почаще себе это повторять. Как молитву. Это же физзарядка души, чтоб не захирела и не сникла. Аутотренинг.

Какой-нибудь упертый христианин сразу вспомнил бы тут евангельскую притчу. Дескать, «два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Но это же чушь. Компенсаторные выдумки неудачников, которым ничего не остается, кроме как уповать, что кто-то большой

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточный факультет ЛГУ, работает в Институте восточных рукописей, доктор исторических наук. Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и Государственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в Санкт-Петербурге.

и верхний их почему-то за их неудачи оправдывает. Зависть к тем, кто умеет и добивается. Просто зависть.

О какой ерунде я думаю, однако... Тех, кто несет по кочкам религию, и без меня хватает.

Я решительно схлопнул мембрану окна. Нет там никакого свежего воздуха.

От кондея несло ледяной духотой и словно бы машинным маслом. Или не маслом... Все равно, чем-то ненастоящим, мертвенным. А снаружи — хлесткая морось, порывистый ветер со всех сторон, плюгавые кусты обреченно скачут на одном месте, размахивая блестящими ветками, и дальние деревья метут распухшее от серой воды небо.

Климат совсем охренел.

Рост мировой экономики, без которого немислима социальная стабильность, требует непрерывного роста потребления, и хоть тресни. Неспроста рекламы навязывают такой образ жизни, что на зарплату хрен потянешь. И вот итог: в начале века пятно мусора в Тихом океане было, как говорили, со штат Техас. Теперь с Австралию. И вдобавок его подкипичивает Эль-Ниньо. От Аляски до Тасмании в воде формальдегид от миллиардов медленно плавящихся в горячих струях пластиковых бутылок. Про Атлантику и ее моря и говорить не остается. Жрать осталось одно ГМО. Лидеры «зеленых» заняли достойные места среди мировой финансовой элиты, остальные кусают локти от того, что не сориентировались вовремя и вообразили, будто и впрямь спасают мир.

Болит. Жалобно и безнадежно.

Стоишь — болит. Сядешь... Кресло мягкое, удобное, свет светит идеально, но читать ничего не хочется. И смотреть ничего не хочется. Ведь все равно болит.

Поначалу я пробовал спасаться тем, что менял позы. Дудки. Ляжешь — болит, и на боку болит, и на животе. В молодости не было положения удобней, чем лечь на живот, обнять подушку... Потом стали затекать руки. Сосуды... Я тогда еще удивлялся. Еще умел удивляться недомоганию. Как же так: всегда было хорошо, и вдруг то же самое — и почему-то плохо. А теперь...

Вон по ту сторону открытой двери в спальню — постель. Благодатная, эффектная. По последнему слову. И подушки. Супер.

А за стеной — бассейн с прозрачной, как хрусталь, голубой водой.

А что толку?

Если у тебя под носом постоянно маячит то, что сулит удовольствие, но самого удовольствия нет, стало быть, это все — ненастоящее. Одна видимость. Взять нельзя, словно вместо женщины подсовывают статую. Но если все настоящее, а взять все равно нельзя — значит, это я сам ненастоящий? Так, что ли?

Какая чушь...

Нельзя раскисать. Важный разговор на носу.

Надо усвоить: дареному коню в зубы не смотрят.

В старину говорили: здоровье не купишь. Как бы не так. Первобытные времена. Теперь, что греха таить, здоровье только и может быть покупным. И даже бесмертие, если оно не приобретено самостоятельно за деньги, а получено как грант, в рамках благотворительной программы по сохранению культурного наследия, не может не оказаться эконом-класса.

Поначалу открытие вызвало эйфорический шок. Только отпетые мракобесы принялись было гундосить о том, что вечная жизнь в мире сем — это отказ от царствия небесного и воскресения телесного... Или, например, от нирваны. Перед лицом возникшей перспективы никогда не достаться червякам балаболов, разумеется, никто не

слушал. Били, бывало. И поделом. Их заезженные, стершиеся об углы веков разглагольствования воспринимались теперь как издевательство.

Быстро выяснилось: многоэтапные процедуры столь дороги, что подавляющее большинство человечества о подобных проблемах вообще может не беспокоиться, им так и этак не светит. Попы умолкли. Но мало кого из этого большинства такое успокоило. Наоборот. Оборотистые жулики сколачивали миллиарды, торгуя из-под полы якобы полноценными стартовыми пакетами: сделай себя бессмертным сам, не выходя из дома! Подпольные салоны «Стань вечным» или «Будущее для всех» полиция брала штурмом, с пальбой, с трупами виновных и невинных — но на месте одного вырастали уже назавтра десять. В подворотнях людей без колебаний резали за гроши, а на судах здоровенные бугаи размазывали мутные слезы по щекам в надежде разжалобить присяжных и, старательно булькая соплями, лепетали: я собирал для мамочки денег на бессмертие, она болеет очень. Потом, бывало, выяснялось, что мамочка-то давно померла, и не просто так, а от сыновних побоев... Из небытия и безвестности пулями взлетали политики, обещавшие сделать иммортализацию обязательной и бесплатной; но, безоговорочно выигрывая любые выборы и добираясь до вожделенных вершин, они убеждались, что их оппоненты были правы, что денег на такую социалку взять неоткуда, разве что всю власть в мире пришлось бы отдать северокорейским коммунистам с их нищей уравниловкой, и принимались скромненько и бодренько заботиться о том, как за период полномочий обеспечить обещанные избирателям блага хотя бы себе.

Да и впрямь: стань бессмертными все — куда было бы девать и чем кормить эту-кую прорву народу?

Потом, как и следовало ожидать, оказалось, что больше всего проблем как раз у тех, кому бессмертие по карману.

Потому что у них есть, что наследовать. Очень даже есть что. И есть кому.

По планете покатались волны загадочных громких смертей. От континента к континенту, не обращая внимания на границы, цивилизационные особенности и культурные различия. Безвременная смерть престарелого богатея оказалась абсолютно общечеловеческой ценностью. Утонул в ванной... сгорел в личном самолете... разбился на скользкой дороге... пропал в лесу во время охоты... В общем, грибков намедни поел и преставился.

Через некоторое время престарелые воротилы опомнились. Никто не хотел умирать. Бессмертные — в особенности.

Пошли процессы. Приговоры были чудовищными. Поначалу они воспринимались избаловавшимся от гуманизма человечеством как возвращение средневековой жестокости. Саудиты, бывшие согласно всем международным рейтингам самой демократической страной арабского мира, с удовольствием вернулись к четвертованиям, колесованиям и сажанию на кол. И так и остались, кстати, самыми демократичными. Американцы хладнокровно продолжали свои вполне гигиеничные уколы, но почему-то раз за разом препараты для смертельных инъекций стали оказываться просроченными или некачественными, так что казнимые, колотясь в судорогах внутри фиксирующих ремней, заходясь воплями, утопая в собственных нечистотах, помирали сутками, а то и дольше. Европейцы перестали ставить в одиночные камеры игровые приставки и отрубали там Интернет. Наши тоже не отставали — на свой простецкий, московитский манер... Хозяева денег давали своей молодежи наглядный окорот, иначе было просто нельзя. Ведь страшно стало жить.

Убийства сделались редкостью, но прогресс не остановишь. И вот уже маститые врачи, лауреаты всех на свете премий, на потребу наследникам и в несомненном расчете на долю избрали новое психическое расстройство — секторальную деменцию.

Мол, старикан вроде бы и нормальный, соображает, как и год назад, и два, и три, и читает, и даты помнит, и в отчетности разбирается — а вот собственностью управлять уже не может. Именно в этом секторе деятельности у него мозги как раз и отказали. Стало быть, пора по суду отбирать право финансовой подписи.

Как инкубаторные принялись плодиться лойеры, которые на основании самых незначительных оговорок и описок могли как дважды два доказать, что пациент секторально недееспособен.

В ответ, естественно, начали плодиться лойеры, которые на основании тех же самых медицинских показателей могли как дважды два доказать, что пациент вполне дееспособен.

Слушать их словесные дуэли в судах было одно удовольствие. Поэмы. Доходы и тех, и других росли соответственно. Лойерам тоже хотелось жить вечно. И, разумеется, комфортно. Потребление било рекорды, экономические показатели распухали, как на дрожжах. ВВП зашкаливал повсеместно. Смертным, правда, почти ничего не доставалось. У них-то доходы не росли. Яркими упаковками были завалены все шопы, бутики и прочие лабазы, приходи, покупай. Только не на что. С каждой распродажи по больницам развозили десятки искалеченных.

А мне суждено оказалось сделаться вечным задарма. Просто за то, что жил правильно.

Но бессмертие само по себе — это еще не вечная молодость.

Ничего. Прорвемся. Когда-нибудь я заработаю на все приложения.

Как весело все начиналось! Солнечное, раздольное время... Все они красавцы, все они поэты. Ежедневные шумные застолья, вольнолюбивый треп до рассвета в прокуренных кухнях, насмешливое презрение к окончательно впавшей в маразм власти — и предвкушение славы в мире куда лучшем, чем тот, где родились, и упоеание своим талантом, и несокрушимая, маниакальная надежда на что-то такое... огромное, лучезарное... непременно обязанное случиться. И гитарные перезвоны, лиричные напевы... Не обещайте деве юной любви вечной на земле... Эти камни в пыли под ногами у нас были прежде зрачками пленительных глаз... Так незаметно, день за днем, жизнь пролетает... В молодости куда как сладко погрузить о быстротечности времени и бренности бытия. Еще не страшно, но остроты восприятия добавляет. Я, бывало, тоже рифмовал. Смерть была хотя и за горами, но советским людям горы не преграда...

Кругом — духота, застой, лицемерие, карательная психиатрия, накрепко зашитые рты, повальная ложь сверху донизу и тотальная, нестерпимо унижительная не-свобода... И мы. Дон Кихоты, Ланцелоты. Гулливеры в Лилипутии. Ум, честь и совесть эпохи. А скромность украшает только бездарей.

И ведь пробивались все, кто проявлял хоть чуточку упорства.

Пока сосу — надеюсь. Это как бы от лица младенца. Ха-ха-ха!

Отсель валить мы будем к шведу. Это как бы от лица Петра Первого, что основал Петербург исключительно для удобства драпа в сытую благополучную Скандинавию. Ха-ха-ха!

Никто, кроме нас — никого, кроме вас! Это как бы от лица дуболомов десантников с их хвастливым слоганом, с намеком на то, что опасность они представляют лишь для собственного гражданского населения. Ха-ха-ха!

Военные строятся поротно, а питаются повотно.

Добро должно быть с кулаками, а кулак должен быть с добром!

Тогда это все шло по линии юмора. И ведь печатали, показывали по ящику, смеялись. А ты-то понимал, что плюешь им в хари, и они хохочут потому, что им нравится размазывать по собственным харям твои плевки. Такими они рождены, и так они

воспитаны. И можно было по праву ощущать себя высшей расой. Светочами в темном царстве. Единственно свободными людьми в стране рабов... Платили, конечно, гроши, но ведь и жизнь была дешевой, как и полагается рабской жизни, в которой деньги и вещи почти отсутствуют и мало чего стоят, обмен идет иным. На портвейн и на цветы для красавиц хватало. А от них отбою не было. Восхищенно хлопали ресницами, помнили шутки и монологи наизусть, потом тебя же тебе и цитировали в твоей же постели... Видимо, вскрикивая в момент оргазма, а потом, в прельстительно и незащитно накинутых на голые плечики незастегнутых мужских рубашках разбалтывая в чужих кухнях новомодную растворяшку, тоже ощущали принадлежность к тем, кто единственно свободен.

А ведь в ту пору если девушка тебе давала вот так, с восторгом и ни за что, это действительно много значило. Душу значило. Подарок значило. Не то что нынче, в эпоху контрацепции, пренатального скрининга, равноправия гендерных ориентаций и доступной с детства сети, раздувшейся от порнухи. Нынче будто ссудили друг другу крупные суммы и теперь ожидают с процентами, и счетчик уже включен. Или самоутвердились каждый за счет другого. Или весело и полезно для здоровья немножко сыграли во что-то вроде пинг-понга, с шутками и прибаутками.

Впрочем, когда тебе в последний раз давала девушка, старый ты хрыч?

Ничего. Прорвемся...

Ни одного имени уже не помню. Как распирало от самодовольства, помню, как мнил, что по моим талантам мне так и положено, помню... помню топ-топ-топ босыми пяточками по полу: ты кофе сладкий пьешь или без сахара? А вот имен их...

Все они давно умерли.

Ну и что? Они не заслужили, а я заслужил.

Потому что я — носитель культуры.

Да, поначалу просто хихикали. Дальше — больше.

В этой стране не осталось нормальных людей, потому что выжить могли только стукачи да вертухай.

Откуда тогда мы взялись, такие замечательные?

Неважно. Даже в голову не приходило об этом задуматься. Красиво же сказано.

В России одна половина сидела, другая охраняла.

Кто тогда воевал? Кто конструировал, кто строил?

А известно кто. Штрафбаты, шарашки и ээки, и весь сказ.

И пошло-поехало... Международные премии за гражданское мужество и широту мышления, гранты от фондов распространения и поддержки демократии...

Мелодично сыграл свои простенькие ноты визит-контроль. Медовый голос консьержа произнес из-под потолка:

— К вам гость.

Наконец-то.

— Впустить, — сказал я.

Кресла я расставил заранее, одно напротив другого. Сел поудобнее. Начал улыбаться.

Все равно болит.

Он вошел. Тоже с приветливой улыбкой. Я гостеприимно встал и сделал шаг ему навстречу.

Мы пожали друг другу руки.

Давненько не виделись...

— Давненько не виделись, — сказал я, жестом предлагая ему сесть. Он уселся, закинул ногу на ногу.

— Мы стараемся пореже вас беспокоить, — сказал он.

Ой, не лги царю. Прошлое тонет все глубже, и нужда во мне возникает все реже. Чтобы этого не понимать, надо быть круглым идиотом, а я не идиот.

— Кофе? — спросил я.

— Не откажусь.

— Коньяк?

— Я за рулем.

— Без шофера? С чего вдруг?

— Иногда приятно самому.

Время неотесанных бесцеремонных братков давно миновало. Гость мог бы сойти за университетского декана. За директора театра.

Во времена ударных строек коммунизма в КГБ это называлось «куратор».

Теперь... Шут его знает, как это назвать теперь. Наверное, работодатель.

Менеджер по ассортименту.

Раньше о материальном положении человека можно было почти однозначно судить по одежде. Нынче этот признак легко мог обмануть. Зато сами человечьи стати сделались железной характеристикой. Судя по почти нечеловеческой ширине плеч гостя, по цвету атласной кожи его лица, немислимому в новом климате, по тому, как объемисто топорщились брюки у него в паху, можно было с уверенностью сказать, что его счет в банке измеряется числом, где цифр не меньше, чем букв в каком-нибудь идиотском советском сокращении, типа Ленмашэлектробытприбор.

Одним — гнилые объедки, другим — ствольные клетки...

Приподняв ленивчик, я набрал код кофе. Едва слышно прогудела гиперварка, и чашка, распространяя дивный аромат, мягко выплыла наружу. Гость торопливо поднялся.

— Не вставайте, я сам возьму. Мне кажется, вам нездоровится.

Тонкий намек.

Во времена моей молодости говорили: тонкий намек на толстые обстоятельства.

Неужели я так отвратительно выгляжу? Неужели боль у меня на лице написана? Плохо. Теряю товарный вид.

— Я вас надолго не задержу, — предупредительно сказал гость, идя с чашкой в руке обратно к своему креслу. Втянул воздух носом. Изобразил на лице наслаждение пополам с восхищением. — Вы научили свою машинку готовить великолепный напиток, — сказал он. — Честно скажу: такой кофе мне доводится пить только у вас.

— Заезжайте почаще, — рискнул предложить я.

Он улыбнулся, давая понять, что оценил шутку.

— Свобода творчества свята. Мы просим вас о помощи только в самых исключительных случаях...

Я решил не тянуть.

— Судя по всему, сейчас как раз такой случай?

Он вновь уселся. Отхлебнул глоточек. Кивнул.

— Да. Именно такой.

Ладно. Не буду давить. Больше он вопросов от меня не дождется. Когда захочет — тогда сам скажет. А мне как бы наплевать.

Хотя не исключено, это стучится ко мне в жизнь гонорар, который позволит покончить с болью.

Он несколько раз неторопливо пригубил, потом понял, что я решил молчать и ждать. И легко с этим смирился. Собственно, что ему... В таких мелочах он вполне мог позволить себе пойти у меня на поводу. Мелочи ведь ничего не меняли, ничего не значили.

— Конечно, страшилками про СССР сейчас уже мало кого испугаешь, — неторопливо сказал он. Будто учитель, начавший объяснять элементарную истину дебилу. — И все же любое лыко в строку. Подспудное неприятие некоторых перемен то и дело принимает форму какой-то... даже не ностальгии, какая уж ностальгия, если, кроме вас, реальную советскую жизнь никто не помнит... какой-то смутной дурацкой мечты о том, чего никогда не было, но якобы могло со временем случиться, если бы история пошла иначе.

— Мечта прекрасная, еще неясная, — не утерпел я.

Он явно не узнал цитаты.

— Может быть, — равнодушно сказал он. Снова пригубил. Одной рукой он аккуратно держал изящное блюдечко на уровне груди, другой брал изящную чашечку и подносил ко рту, потом вновь ставил. Все это было так мирно, так патриархально... Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди.

— Вы новости смотрите? — спросил он.

— Когда как, — осторожно ответил я.

— В Думу наконец-то внесен законопроект о поголовной чипизации детей с четырех лет. Все цивилизованное человечество давно так живет, и только наши опять артачились. Но теперь им не отвертеться, придется голосовать. Тут уж любая помощь будет в цене. Кошка за Жучку, Жучка за внучку... — он улыбнулся.

Вот оно что.

— Нужно вспомнить какой-нибудь свежий, незатасканный эффектный ужастик, — сказал он. — Ну, скажем, в СССР партийные руководители на завтрак ели детей. Или что-то в таком роде...

— Но это же неправда.

— Неужто это будет ваша первая неправда? — беззлобно парировал он.

Я смолчал.

— Это не ложь, а всего лишь небольшое преувеличение, — мягко сказал он. — Не вы ли сами писали: обожравшееся человечиною государство...

— Это была метафора! — резко ответил я.

— А также гипербола, — сказал он. — А также парабола.

Умолк.

Я не отвечал.

— В конце концов, — сказал он, поняв, что я опять принялся играть в молчанку, — если о чем-то много мнений, правда — это то мнение, за которое больше платят. Конечно, всегда хочется получать деньги за свое собственное мнение. Но так получается далеко не всегда.

— Это ведь чушь, — сказал я. — Никто не поверит.

— Вам поверят, — ответил он. — Вы последний человек, который родился еще в СССР. Никого больше не осталось. У вас есть определенное реноме. Определенный имидж. Кстати, мы помогли вам его наработать, если помните. И у вас есть умение убеждать. Талант. Вы опытный пропагандист...

— Я не пропагандист, — сказал я. — Я художник.

Он чуть улыбнулся.

— Художники все в Лувре, — сказал он.

Конечно, он не мог помнить глумливой большевистской фразы «Господа все в Париже». Я и сам-то знал ее лишь по черно-белым фильмам о первых годах советской власти, что смотрел в раннем детстве. Но в воздухе носятся не только новые идеи. В нем висят еще и архетипы. Комиссары никуда не делись, и поэтому их ключевые фразы никуда не деваются, воспроизводятся с легкими вариациями из поколения в поколение словно бы сами собой...

Как это было в «Короле Лире»?

Колесо судьбы свершило свой оборот.

— Оплата немедленно по выполнению, — сказал он наконец главное.

— Сколько? — не удержался я.

Ненавижу себя.

Он сказал.

Желудок, осатаневший от боли, завопил: мне! Мне!

— Я подумаю, — сказал я. Надеюсь, голос у меня не дрожал.

— Подумайте, — ответил он и встал. Небрежно сунул чашечку с блюдечком в приемную нишу машины. — Только постарайтесь не затягивать. Прием записи в режиме ожидания. Стэнд-бай. Как только — так сразу.

— Я понял, — примирительно ответил я. И даже заставил себя добавить: — Рад был встрече.

Он улыбнулся и молча протянул мне руку. И я молча ее пожал.

Тем временем на улице стемнело. Подойдя к окну, я проводил взглядом маслянисто лоснящуюся крышу и габаритные огни его глайдера, беззвучно скользнувшие в черноту, полную летящей воды. Всё. Уехал.

Значит, законопроект уже внесли...

Мотивировалось все это в высшей степени пристойно: положительным опытом мирового сообщества, требованиями безопасности, оптимизацией образовательных методик...

Разумеется, службы спасения были за. Ребенок со вживленным информационно-коммуникационным чипом никогда, дескать, не сможет потеряться. И никогда не будет похищен. Сигнал чипа отслеживается спутниками круглосуточно с точностью всяко не больше метра. А то, что, когда дети подрастут, о любом взрослом тоже можно будет в каждую секунду знать, где он, — что ж, издержки. И в смысле борьбы с мировым терроризмом весьма даже полезные. Европейцы вон уж сколько лет видны на мониторах собственных спецслужб в виде разноцветных огонечков, все поголовно, и стар и млад. И ничего, живут. Оказалось, свободы это не нарушает. Даже разговорам о свободе не мешает. Иди куда хочешь, делай что хочешь и с кем хочешь, ничего не возбраняется, просто все видно, а при соответствующей санкции правоохранительных органов — даже и слышно. Но, в конце концов, честным людям скрывать нечего. А если кто-то нелегально подключится к каналу и выкачает чьи-то личные данные — это подсудное дело: до трех лет. Другое дело — как такое подключение обнаружить да потом еще доказать... Но это уже не дело законодателей. Правда, хакеры уже научились вливать ложные координаты, если украсть приспичило не на шутку; скажем, похищенную шестилетнюю девочку, победительницу детского конкурса красоты «Юная Марианна», по сигналам искали в Провансе, а она, изнасилованная пятерыми педофилами из знатных семей, помирала совсем даже в центре Парижа. Но имитация координат тоже подсудное дело: до десяти лет.

Школьные учителя тоже были за. С них, как, впрочем, и с родителей, снималась огромная доля ответственности. Средний уровень грамотности первоклашек неуклонно снижался, а их общий уровень и подавно; рос только уровень агрессивности. С ними просто не о чем было разговаривать, их невозможно было учить, они не знали, что буквы и цифры — это не одно и то же, что Земля крутится вокруг Солнца, что Европа и Америка — это не только ночные клубы или торговые центры, а еще и континенты, и — самое ужасное — не верили, когда им это пытались втолковать, и резко, упрямо возражали; они умели только быть непоколебимо уверенны в себе, отстаивать свою независимость и убивать на дисплеях хоть кого-нибудь. Никто из них никогда не начинал рассказывать о своих мечтах словами: «Я вырасту и ста-

ну...» Уж не так важно кем — бизнесменом, космонавтом, врачом, летчиком, пожарным... Писателем... Хоть бы вообще — хотел бы кем-то стать! Но нет. Всякий рассказ начинался словами: «Я вырасту, получу много денег и...» Вживленный чип предполагал обязательный пакет из четырех бесплатных программ: воспитательной «Мы все хорошие», природоведческой «Славная жизнь какашки», общеобразовательной «Учись считать рублики» и просветительской «Мальчики, девочки и все-все-все»; за плату число каналов можно было, разумеется, увеличивать, сколько душевненьке угодно, но эти четыре шли простым приложением. Конечно, ясно было, что этак вот ребенка можно без ведома родителей накачать чем угодно (да потом и взрослого тоже) — но, опять-таки, это издержки. Если накачка окажется противоправной или тем более нелегальной, то, опять-таки, издержки подсудные.

Во всяком случае, реформа действительно облегчила бы подтягивание мелких хоть к какой-то стандартной образовательной норме. То, что таким образом будет полностью и окончательно искоренена всякая вероятность появления детей выше нормы, умнее, мотивированнее, любознательнее, порядочнее нормы — уже мало кого волновало. Не до грибов, Петька, не до грибов. Все цивилизованное человечество так живет, зачем нам в очередной раз открывать велосипед?

И так далее, и так далее...

А ведь проголосуют, подумал я.

Теперь все на крючках.

Помню, где-то в начале века я еще удивлялся, когда стало выясняться: в коррупционных схемах оказываются замешаны и министры, и директора банков, и даже — звучит-то как! — инфанты. Французский премьер, кандидат в президенты США, один из главных идеологов компартии Китая... Казалось бы, этим-то чего не хватало?

Потом понял: финансовые правила столь противоречивы, финансовые механизмы столь изощренны, а экономика столь сложна, столь велико в ней количество инстанций разной степени законопослушности, по которым, причудливо извиваясь, текут длинные, как глисты, денежные потоки, что если всех и впрямь разложить по буквам закона, окажется — воруют все. Сверху донизу. По-крупному и по мелочи, в зависимости от уровня. И как раз тем, у кого всего много, нужно всего еще больше, и еще, и еще, чтобы оставаться хотя бы на прежнем уровне. Как у Кэрролла: чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил.

И даже необязательно воруют нарочно — просто в любом доходе всегда есть «грязная» доля. Самые наивные про нее даже не подозревают, и когда их берут за шкуру — искренне удивляются. Другие, поумнее, делают все от них зависящее, чтобы эта доля росла и плодоносила.

Прирост мирового ВВП поддерживается только за счет надбавки к реально произведенным стоимостям и реально заработанным деньгам того навару, что возникает в результате финансовых махинаций просто из воздуха и растекается по капиллярам экономики из бесчисленных артерий глобального жульничества, обдиралова и распила. Если каким-то чудом некий бог, царь или герой вдруг прекратит это безобразия — мировая экономика, в одночасье рухнув, сразу делается чем-то вроде жалкой, убудочной, всегда дефицитной, вечно задыхающейся советской.

Между прочим, в какой-то момент наши опять, как частенько в России бывало, попытались пойти против мирового тренда и сдуру начали было робко, неуклюже, конвульсивно, совершенно не понимая, к чему это может привести, и впрямь бороться с коррупцией. Да и оппозиция этого громогласно требовала: мол, долой коррумпированную власть! Но как только кого-то и впрямь хватали, именно благодаря оппозиции сразу выяснялось, что вот этот-то как раз и не вор, а прогрессивный противник

режима, или великий, нестандартно мыслящий художник, или защитник прав человека, так что преследование лишь рядится в одежды экономического, а на самом-то деле происходит по сугубо политическим мотивам. Так что его-то трогать никак нельзя, а непременно надо кого-то другого. И поскольку искоренять ворье реально были настроены лишь те, кто по старинке и по недомыслию еще хотел какой-то, шут его знает какой, пользы для этой страны, а не искоренять — все лучшие люди плюс все мировое сообщество... Да плюс вековая окаянная привычка любых здешних властей задабривать чужих, а на своих ехать и погонять, свесив ноги, потому что свои и так никуда не денутся... Понятно, кто в этой борьбе победил.

И поэтому если кого-то понадобится посадить — то всегда пожалуйста. Любого. Безо всякого террора, безо всякой ежовщины, безо всяких измен Родине... Честно-благородно. За казнокрадство. За нецелевое использование средств. За неуплату налогов. Это же общемировая практика, везде так; и в Европе, и в Америке. Неприкосновенных нет — и народы рукоплещут. Что при демократии и требуется.

Так что попробуй не проголосуй, как надо.

И тем не менее сомнения в успехе и массовой поддержке, видимо, были. А в такой момент совсем не вредно напомнить трудящимся, что как бы худо или, по крайней мере, сомнительно ни становилось сейчас, при Совдепе все равно было гораздо хуже. Стало быть, как ни крути, прогресс налицо, так что все было и есть не зря. А то напридумывали легенд... И черпают в них непокорство, вновь и вновь подпитываясь вредной иллюзией, будто тому, что творится, возможна какая-то альтернатива.

Но как же от всего этого тошно...

И как болит.

Ладно. Я, что называется, подумаю об этом завтра. Сейчас — обезболивающее, которым страшновато злоупотреблять, но без которого не уснуть... И ароматного чайку. Чайку, пожалуйста... Я потянулся к ленивчику.

Краем глаза я увидел какое-то движение у двери. Сердце запрыгало, как брошенный на лед карась, в глазах мотнулась короткая слепота. Я никого уже не ждал, и визит-контроль не издавал ни звука. В приоткрывшуюся дверь просунулась рука и мазнула воздух, точно малярной кистью, тусклым раструбом какого-то прибора. Я не специалист и не сразу узнал стоящий на вооружении спецслужб высокочастотный излучатель, вырубаящий камеры слежения.

Видимо, считая, что обезопасил себя, в дверь вошел незнакомый мне человек. За ним еще один. Завороженно замерев, я следил. Такого просто не могло быть.

Это оказались довольно молодые парни. Дюжие, но вида нездорового, с угреватой, пятнистой кожей, редкими бессильными волосами... Когда один из них успокоительно улыбнулся мне, я увидел плохие, желтые с гнильцой зубы.

Смертные.

С оружием.

Не успев стереть с лица мимолетную улыбку, пущенную мне как знак мирных намерений, первый парень приложил палец к губам, а потом сделал знак стволом автомата: мол, пошли. Хорошо ему махать своей железякой. У меня ноги обмякли так, что с кресла было не встать. Дыхание будто заткнули забухшей пробкой. Черт возьми, я все же старый человек. Бессмертие и вечная молодость — не одно и то же.

Гнилозубый выждал несколько мгновений, а потом повторил свой жест уже резче, настойчивей. Но по-прежнему молча. Что они, прослушки боятся? Наивные...

— Что происходит? — сипло спросил я.

Гнилозубый, яростно оскалившись, стукнул себя кулаком по голове: кретин, мол. И уже без обиняков наставил на меня ствол.

Пришлось кое-как встать.

А потом пойти.

Проходя через первый этаж, я отметил погасшие огоньки консьержа. Поди ж ты, отключили каким-то чудом. Надо будет устроить хорошую головомойку фирме-поставщику. Там клятвенно заверяли, что система стопроцентно надежна. Техника... Вот уж воистину: на каждую гайку найдется свой болт.

Потом я сообразил: о возмущенных разборках с фирмой думать ох как рано. Еще неизвестно, чем все это кончится. Поворот жизни проявлялся в сознании неторопливо, грузно, точно трансконтинентальный авиалайнер начал закладывать круг. Слишком уж неожиданным и внезапным был переход от спокойного, саркастически размыслительного сидения в одиночестве к этому... этой... тут даже не знаешь, как сказать.

У входа мокнул под дождем старенький обшарпанный глайдер. По зализанной крыше барабанили капли и вскипали множественными фонтанчиками, мерцая в свете фонарей. Сама крыша блестела так, что почему-то напомнила мне кожаный плащ эсэсовца из какого-нибудь старого советского кино. Как разведчик разведчику: вы болван, Штюбинг! А вас, Штирлиц, я попрошу остаться... Черт знает какая чушь лезет в голову, когда тебя впервые в жизни похищают.

И насколько же я весь в прошлом.

Это и есть старость. Бессмертная старость. Что было вчера — не помню, что было семьдесят лет назад — помню, будто это было вчера...

Заднюю дверцу заблаговременно подняли. Я вопросительно глянул на гнилозубого. Тот кивнул: мол, да, ты понял правильно, лезь внутрь. Я влез. Продавленные сиденья были влажными от напитавшей воздух мороси. Гнилозубый пристроился рядом и ткнул мне в бок стволом; второй сел за руль. Дверца, негромко взвывая, закрылась. Глайдер косо поднялся сантиметров на сорок и, то и дело припадая на бок и гулко, точно пустая конервная банка, скребя днищем по диаманитному покрытию дороги, полетел сквозь ливень шут знает куда. Ведро с гайками. Похитители, мать их... Ствол автомата ощутимо давил в бок.

Летели недолго. Честно говоря, я приготовился к худшему и уже начал было гадать, покинем ли мы город, въедем ли в какой-нибудь дремучий лес, придется ли мне, нагибаясь в три погибели, лезть в сырой подземный схрон каких-нибудь террористов — но тут глайдер, немощно вихляясь и дребезжа компрессорами, зарулил в один из дворов какой-то промзоны и остановился у ворот огромного мятого ангара, по закругленным жестяным стенам которого, гулко гремя, струились потоки воды.

Вошли.

В ангаре едва тлело дежурное освещение. Полукружьем возле стоящих вплотную двух стульев сидели на цементном полу, на поставленных на попу пустых ящиках, на грудях упаковочного пластика человек с полста. Сколько можно было понять — в основном молодых; впрочем, лица их белели смутными пятнами, а задних и вовсе было не разглядеть; так, очертанья. Тени.

Гнилозубый показал мне на один из стульев. Я, решив ничему не удивляться — а что бы изменилось, если б я принялся удивляться или упрячиться? — уселся. Тогда он повесил автомат на спинку второго стула и сел рядом со мной. Второй из моих сопровождающих скинул куртку и опустился прямо на пол напротив нас, можно сказать — в первом ряду. Под курткой он оказался гол по пояс. Мускулистый торс с какой-то жутковатой вдавлиной на правом боку был словно заплеван татуировками.

Я выжидательно посмотрел на гнилозубого.

Он кашлянул, и оказалось, что он стесняется. Искося он глянул на меня.

— Простите, — проговорил он, — что мы были такие бесцеремонные. Не наша вина. Мы хотели поговорить с вами так, чтобы это было безопасно и для вас, и для нас тоже. Вот тут можно говорить откровенно.

— А у меня дома нельзя? — спросил я.

— Вам ли не знать, что нельзя, — ответил он. — Вы же как на ладони. Мы давно уж хотели с вами встретиться. Но только сегодня у нас получилось вырубить вашего сторожа, да и то ненадолго. Он, сволочь, сразу запустил самодиагностику и сейчас, наверное, уже вернулся в режим. Поэтому мы так торопились.

Похоже, он имел в виду консьержа. Я немного расслабился. Приключение, однако...

— Чем обязан? — светски спросил я и заложил ногу на ногу.

Сидевший рядом со мной гнилозубый замялся, и вдруг нетерпеливо подал голос татуированный:

— Расскажите, как на самом деле было там.

— Где там? — спросил я, уже начиная понимать.

— В СССР, — с нелепым благоговением выговорила явно непривычную для ее рта аббревиатуру сидевшая рядом с татуированным девица; так когда-то мои одноклассники, только что прочитавшие «Дочь Монтесумы», выговаривали, скажем, «Тескаглипока». Собственно, то, что это девица, можно было уяснить лишь по голосу. На ней была бесформенная, в пятнах, хламида, голова то ли обрита наголо, то ли облысела, и из черепа торчали изогнутые, с металлическим отливом рожки.

— Ах, вот оно что...

Я окончательно пришел в себя. Так это просто встреча с читателями, весело подумал я. Очередная, не первая и не последняя. Просто несколько экстравагантная. Даже любопытно.

Если бы только желудок не болел.

— Но, ребята, я практически все рассказывал и описывал уже не раз и не два, — сказал я, произвольно переходя на привычный, десятилетиями обкатанный тон выступления перед молодежной аудиторией. Так сказать, тон номер три. — Какие подробности вас интересуют?

— Нас не подробности интересуют, — ответил сидевший рядом со мной гнилозубый. — Нас вообще... На публике или для массовой информации, официально, вы действительно много говорили, мы перечитали всё не раз и не два. И переслушали... Но вот сейчас, когда никого, кроме нас, тут нет, ни ведущих ток-шоу, ни берущих интервью... Никого. Мы хотим узнать правду.

Ничего себе. Это что ж они себе навывдумывали, буйные головушки?

— Должен вас разочаровать, — сказал я, а сам подумал: не пристрелили бы они меня от разочарования.

Впрочем, я уже понимал прекрасно: ничего мне плохого не сделают. Наверное, и автомат-то у них игрушечный... Муляж. Пугач. А если даже и нет... Вон какие глаза, какие лица. Не иначе как откровения ждут.

В напряженной тишине чей-то вздох из глубины ангара прозвучал, будто шину спустили.

— Я всегда и говорил правду. И сейчас могу только повторить: это было отвратительное время и это была отвратительная страна. Нищая. Злобная. Милитаризованная насквозь. Раз и навсегда наплевавшая на свой народ, не говоря уж обо всех остальных. Мировое пугало. Заповедник доисторического рабства. По сути — огромный концлагерь. Унизительные пьяные очереди. Хамская уравниловка. И при том — узаконенное неравенство. Пустые полки магазинов для одних и избыточные распределители для других. Бесправие для одних и вседозволенность для других. Деградация искусства. Маразм власти. Физическое уничтожение несогласных. При-

нудительное единомыслие. Женщине моего друга присудили три года химии только за чтение «ГУЛАГа». После этой химии она больше не могла иметь детей!

— Гулага... — медленно, чуть ли не по слогам повторила лысая девица с металлическими рожками. Это слово ей явно ничего не говорило. — Но ведь она, наверное, знала, что это нельзя... Зачем же она читала этого Гулага?

— Потому что правды хотела! — рявкнул я, теряя терпение. — Мы все хотели правды, а это было нельзя! Вот как вы сейчас! Только вам можно, а нам было нельзя!

Молчание. Тишина.

— Черт возьми, — сказал я почти яростно. — Вам даже не представить, какой это был идиотизм. Нас с детства, с детского сада приучали ходить строем! Колоннами по двое! И кормили всех одинаковой дрянью, а кто отказывался есть, тех публично карали! Какие-нибудь морковные котлеты, которые и в рот-то взять тошно...

Наверное, блевотный вкус пережаренных на прогорклом масле морковных котлет — это мое первое сохранившееся воспоминание. Первая оставшаяся в сознании встреча со страной проживания. Первое значимое соприкосновение с реальностью.

Сколько мне было? Три? Четыре?

Детский сад. Советский детский сад, тюрьма для малолетних преступников, все преступление которых состоит в том, что они родились в стране победившего Октября. Я давлюсь, я не могу это есть. Меня заставляют. Когда меня начинает мутить, когда к горлу подкатывает тошнотворная сладковатая масса, которую не принимает желудок, я плююсь. Мне велют встать из-за веселенького зелененького пластмассового столика, за которым покорно давятся и не плюются еще трое таких же бедолаг, и на глазах у всей группы — одиннадцать одинаковых веселеньких столиков — ставят в угол. И там я снова плююсь, уже нарочно, из принципа. Все смотрят на меня, и никто не плюется, все только давятся.

Любые котлеты с тех пор мне кажутся пережаренными.

— В них были превышены нормы предельно допустимых концентраций? — сочувственно спросил кто-то из глубины.

— Не знаю, — после паузы ответил я.

Не о том они, не о том.

— От них умирали?

Как хочется ответить «да», чтобы до них дошло наконец!

Ненавижу себя. И в особенности — свою честность.

— Нет, — ответил я. — Иногда дристали только.

— Дристали, — нерешительно повторила рогатая девица. — Это вроде карциномы? Вот же дура.

Скоро в русском языке ни одного русского слова не останется.

— Нет, — сказал я. — Проходило само.

— А сколько эти котлеты стоили? — выкрикнули с задних рядов.

— Это было бесплатно, — сказал я, уже начиная понимать: они слышат в моих словах совсем не то, что я этими словами говорю.

— Бесплатно? — ахнули там.

Опять стало тихо.

Некоторое время я молчал, ожидая новых вопросов. Но вопросов не было.

— Я понял, — сказал потом татуированный. Обернулся к своим. — Я предупредил... — Потом опять посмотрел на меня. Уже с явной неприязнью. — Вы как все они.

— Кто они? — устало спросил я.

— Известно кто, — сказал он. — Меня только одно утешает. Вот мы все сдохнем...

И я буду смотреть сверху, как вы тут останетесь вечно мучиться в этом аду.

— Бога нет, — сказал я.

Он встал. Я напрягся. А если небрежно повешенный на спинку стула автомат все же настоящий? Да и без автомата... Вон какие кулачищи ему задарма, как во времена дикарей, прилетели от природы. Кожа в трещинах и лишаях, да, но сами-то... С мою голову размером.

Он навис надо мной и протянул руку. Не кулаком. Раскрытой ладонью.

— Замажемся? — спросил он.

Смешно. Кто и когда сможет проверить, я проспорил или он? Я без колебаний протянул ему свою ладонь. Гнилозубый молча разбил.

И тут холодок сомнения лизнул сердце. Стало жутковато.

Потом стало просто жутко.

Вечно мучиться этой болью... И порой ловить себя на опасливой мысли: а вдруг он все-таки смотрит?

Вечно. Всегда. В двадцать первом веке, в двадцать втором веке, в двадцать третьем... В двадцать четвертом... Никто уже не припомнит, что такое особые тройки, Хрусталева — машину, ботинок в ООН или сиськи-масиськи. Никому дела не будет, кого звали Кремлевским Горцем, а кого Кукурузником, никто не засмеется, узнав, что за звук раздастся, если какого-то Брежнева треснуть рельсом по голове. Никто не сможет воскресить мысленным взглядом задумчивую девушку с гитарой посреди пепельной белой ночи, негромко поющую друзьям «Чтоб не пропасть поодиночке»... Уже никто. Ни единая живая душа. А у меня по-прежнему будет болеть желудок.

Ну нет. Дудки. Не будет.

— Вы хотели правды? — ледяным голосом спросил я. — Так вот вам правда. Про этот ваш СССР. Я никогда еще об этом не рассказывал, потому что очень уж мерзко. Партийные руководители начиная с определенного ранга на завтрак ели детей. Была у них такая привилегия. Младшеклассников в основном. Кто помягче, понежнее. Обкомовские холуи спозаранку ездили на черных «Волгах» и присматривались к идущим в школу ребяташкам. Кто понравится — хватить, и в багажник. И на кухню. А если родители пытались возражать, им говорили, что это необходимо для дела построения коммунизма. И родители умолкали, потому что советскому человеку ради построения коммунизма ничего было не жалко.

— Не может быть, — потрясенно выговорил сидевший рядом со мной гнилозубый.

Я резко обернулся к нему. Чуть не сорвалось: «Кто здесь Ленин — ты или я?» Но он наверняка не знал этого анекдота. И я спросил просто:

— Кому лучше знать?

Он не ответил. У него затряслись губы. Я снова обернулся к залу.

— Только при Горбачеве стали вводить этот жуткий сталинский обычай в какие-то рамки. На кухню разрешалось отправлять лишь трудных подростков из неполных семей. И лишь Ельцин вообще положил этой позорной практике конец.

Все. Сделано.

Теперь тишина навалилась такая, что далекая дробь дождя едва ли не оглушала. Потом начала всхлипывать рогатая девица.

Гнилозубый тяжело поднялся.

— Я отвезу вас домой, — сказал он.

В правом верхнем углу поля зрения, почти не застилая реальность, бегущей строкой поползли, точно светящиеся муравьи по проторенной дорожке, ажурные буквенные уведомления: «Запись завершена успешно. На ваш счет перечислено...»

Стало легко-легко.

Я встал стремительно, как молодой. Отчаянно хотелось еще что-то назидательное сказать им напоследок. Чтобы знали свое место.

— Правда иногда ранит, — проговорил я с отеческой мягкостью. — Но все равно лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Никто не ответил.

Назад меня транспортировал один только гнилозубый. Никто уже не тыкал мне в бок автоматом. Сгорбившись, парень неторопливо вел свою колымагу по ночному городу и молчал. Он выглядел так, будто из него душу вынули.

Тут я сообразил, что не вижу на ветровом стекле капель. Похоже, дождь прервался. Это случалось теперь так редко, что грех было не воспользоваться. Когда я начал узнавать улицы неподалеку от дома, то попросил:

— Останови.

Гнилозубый мельком покосился на меня непонимающим взглядом, но послушно притормозил. Глайдер тяжеловесно просел, скрежетнув днищем по дороге.

— Дойду пешком, — сказал я. — Надо продышаться после такой встряски.

Коротко взвыла тяга, и дверца рядом со мной оттопырилась вверх. Я вышел наружу. И только тогда гнилозубый подал голос.

— Простите за беспокойство, — безжизненно выговорил он.

— Ничего, — сказал я. — Я понимаю. Тоже был молодой.

Воздух оказался промозглым и зябким. Я поднял воротник.

* * *

«Вчера поздно вечером на углу Горбачев-авеню и Третьей улицы Строителей был сбит популярный публицист и блогер, обычно выступающий под ником Последний Из СССР. Виновницей ДТП оказалась известная общественная деятельница, светская львица и ведущая ток-шоу „Всех в рот“, дочь владельца холдинга „Патриот-инвест“ Венера Доиш. Судя по показаниям свидетелей, она сильно превысила допустимую скорость и, как выяснилось позже, вообще была на год лишена прав после недавнего инцидента с ребенком на площади Свободы. Девушка попыталась скрыться с места происшествия, но была задержана оказавшимися поблизости прохожими, от которых ее спасла вовремя подоспевшая полиция. Пройти тест на алкоголь виновница происшествия отказалась. В настоящее время она отпущена под залог, величина которого не разглашается в интересах следствия. Что касается пострадавшего, то поскольку травмирование при дорожно-транспортных происшествиях не входит в перечень страховых случаев, предусмотренных услугой „Имморталити-лайт“, после первичной госпитализации лечебно-восстановительные мероприятия были отложены до внесения полной предоплаты. Пострадавший в сознании, но лишен способности самостоятельно передвигаться и практически не может говорить. Однако вот что незадолго до происшествия он успел рассказать о чудовищной жизни при тоталитарном советском режиме...»

Сергей ИЛЬЧЕНКО

ШТУРМ ЗИМНЕГО КАК ЗЕРКАЛО СОВЕТСКОГО КИНО

В прежние времена любой советский школьник мог наизусть процитировать стихи классика детской литературы, живописующие те самые события, которые случились в столице Российской империи вечером 25 октября 1917 года (по старому стилю). Помните?

Мы видим город Петроград
В семнадцатом году:
Бежит матрос, бежит солдат,
Стреляет на ходу.
Рабочий тащит пулемет.
Сейчас он вступит в бой.

Понятно, что за целый век, прошедший с того самого дня, случилось немало важных исторических событий, оставивших свой след в кинематографе. Но штурм Зимнего дворца — это совсем отдельный случай, ибо он — своеобразная квинтэссенция тех радикальных событий в России, которые в совокупности нынешние историки номинируют как «Великая русская революция». При этом имеется в виду именно неразрывная цепь революционных перемен в нашей стране по схеме «от Февраля к Октябрю», имея в виду две произошедшие в России революции (воспользуемся прежней терминологией) — буржуазно-демократическую и социалистическую. В наши задачи не входит спор об исторических дефинициях. Мы рискнем присмотреться к основным экранным версиям ключевого эпизода в насыщенной до предела цепи исторических событий 1917 года.

Именно с помощью экранной культуры, как мы увидим в дальнейшем, и был сформирован как в массовом сознании, так и в российской цивилизации визуальный образ эпизода, который в исторической литературе известен как «штурм Зимнего дворца в Петрограде 25 октября 1917 года». Мифотворчество было настолько продуктивным, что предопределило критическое отношение к любым иным альтернативным — научным и художественным — версиям событиям вокруг Зимнего дворца. Мы намерены разобраться именно в том, каким образом сложился подобный экранный миф и как он в конце концов стал не только экранным, но и историческим фейком.

Сергей Николаевич Ильченко родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет ЛГИТМиК. Автор более 20 книг, посвященных теории и практике телевидения, обозреватель радио «Петербург». Доктор филологических наук, кандидат искусствоведения. Доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ.

Именно под этим углом мы и рассмотрим три фильма, поставленные режиссерами-классиками отечественного кинематографа: «Октябрь» Сергея Эйзенштейна (1927), «Ленин в Октябре» Михаила Ромма (1937) и «Я видел рождение нового мира» (вторая часть дилогии «Красные колокола», 1982) Сергея Бондарчука.

Первоначально необходимо хотя бы вкратце изложить общепринятую историческую фабулу памятного эпизода. Центральным местом, в канве Октябрьской революции, принято считать штурм Зимнего дворца. По официальной версии советского периода, он начался 25 октября 1917 года, в 21.45, после холостого выстрела с крейсера «Аврора». Хотя на самом деле был еще и световой сигнал со стен Петропавловской крепости. В Белой гостиной Зимнего дворца в ночь с 25-го на 26 октября, в 2 часа 15 минут министры Временного правительства были арестованы. Таков в общих чертах сюжет истории. Имеет смысл обратиться в первую очередь к тому экранному варианту его интерпретации, который задал всю последующую традицию демонстрации событий октября 1917 года в Петрограде. Речь идет о фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь».

Вариант Сергея Эйзенштейна

После триумфальной премьеры предыдущей картины — «Броненосец „Потемкин“» 24 декабря 1925 года — у режиссера возник замысел снять фильм о событиях, которые происходили в ходе 1917 года и в конечном счете привели страну к Великой Октябрьской социалистической революции. Логика постановочной мысли Эйзенштейна была очевидна: он опирался на предыдущий опыт съемок фильма к юбилейной дате.

Стоит напомнить, что «Броненосец „Потемкин“» первоначально и не планировался как самостоятельное произведение. В Одессе Сергей Михайлович снимал лишь развернутый эпизод, который должен был войти в общий цикл под названием «1905 год». Однако гениальное озарение, охватившее режиссера на Потемкинской лестнице и ставшее впоследствии одним из самых ярких мифов мировой истории кинематографа, спродюцировало желание превратить эпизод в законченную ленту, что и было сделано в рекордно короткие сроки.

В случае с проектом съемок фильма об Октябрьской революции у Эйзенштейна было достаточно времени и ресурсов, чтобы не превращать работу над картиной в испытание на выносливость для всей съемочной группы. Уже в середине 1926 года режиссер получает в руки утвержденный список мемуаров и художественной литературы, которые можно было бы использовать при разработке сценария. А в сентябре того же года специальная юбилейная комиссия утвердила и проект съемки «центральной художественной фильма на тему „Десять дней, которые потрясли мир“ (режиссер Эйзенштейн)».

Предлагаемые со стороны сценарии режиссер отвергал ввиду их значительно объема и гигантского охвата событий не только 1917 года, но и последующей Гражданской войны. Хотя сам он в предварительных набросках схемы будущего сценария также мыслил фабульную канву картины с аналогичным размахом. Первоначально его «юбилейная фильма» должна была заканчиваться взятием Перекопа в 1920 году (!).

Работа осложнялась параллельными съемками картины «Генеральная линия», ради которых режиссер покинул Москву на целых три месяца (с ноября 1926 года по февраль 1927 года). И только 8 марта 1927 года он вместе с Г. В. Александрово-

вым получает в руки утвержденный сценарий будущего фильма. Последовала долгая киноэкспедиция в Ленинград, в ходе которой повторилась история съемок фильма о броненосце. По свидетельству В. Б. Шкловского, «съемки „Октября“ иногда продолжались по сорок часов подряд. Съемки на улицах, на набережных. Разрушался и вновь воздвигался колосс памятника Александру III. Дрожали от выстрелов „Авроры“ люстры дворцов».

11 октября 1927 года были сняты последние кадры будущей картины. И хотя к монтажу Эйзенштейн приступил, не дожидаясь окончания съемочного периода, но было ясно, что к юбилейной дате окончательный вариант «Октября» не будет готов. Было отснято более 30 000 метров пленки. Эйзенштейн даже попытался расширить хронометраж картины до двух серий и «разложить» фильм на две серии в объеме 4000 метров. В результате было принято компромиссное решение. На торжественном заседании, посвященном 10-летию Великого Октября, которое состоялось в Москве, в Большом театре 6 ноября 1927 года, были показаны только фрагменты из второй серии.

Праздники прошли, и началась неспешная и обстоятельная доработка картины, которую Эйзенштейн и Александров проводили в течение нескольких месяцев. Идея двухсерийного отпала, но и одна серия фильма «Октябрь» шла достаточно долго — 1 час 50 минут. На экраны страны фильм был выпущен 14 марта 1928 года. В советской печати картина получила в основном позитивную оценку, так же как и среди профессионального кинематографического сообщества и среди тех, кто был непосредственным участником и свидетелем событий октября 1917 года в Петрограде.

Отмечая мастерство создателей картины, экспрессию ее монтажных переходов, выразительность ракурсов и множество образных решений, многие все же указывали на то, что, следуя собственной теории «монтажа аттракционов», Эйзенштейн превратил некоторые эпизоды в самоценные шедевры кинорежиссуры, которые не имеют прямого отношения к ходу исторических событий, а в ряде случаев интерпретируют их достаточно своеобразно.

В подобном контексте развернутый эпизод, посвященный штурму Зимнего дворца восставшими народными массами, является ключевым как для понимания идеологического, так и образного смысла экранной версии событий октября 1917-го в Петрограде. К 1927 году еще не была сформирована официальная версия произошедших тогда в столице Российской империи событий. Однако уже в 1923 году на русском языке была издана книга американского журналиста Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». В ней был представлен достаточно субъективный взгляд наблюдателя на октябрьскую революцию, но главное обстоятельство все же было упомянуто. Рид описывал то, что происходило вокруг Зимнего дворца вечером 25 октября 1917 года (по старому стилю). Приведем характерную цитату, в которой американец описывает тот путь, который вместе с ним прошли те, кто «штурмовал» Зимний. Джон Рид пишет: «Подобно черной реке, заливающей всю улицу, без песен и криков прокатились мы под красной аркой. Человек, шедший передо мной, тихо сказал: „Ох, смотрите, товарищи, не верьте им! Они наверняка начнут стрелять...“ Выйдя на площадь, мы побежали, низко нагибаясь и прижимаясь друг к другу. Так бежали мы, пока внезапно не наткнулись на пьедестал Александровской колонны.

„А много ваших убито?“ — спросил я.

„Не знаю, верно, человек десять...“

Простояв здесь несколько минут, отряд, насчитывающий несколько сот человек, ободрился и вдруг без всякого приказа снова кинулся вперед. В это время при ярком свете, падавшем из всех окон Зимнего дворца... мы вскарабкались на бар-

рикады, сложенные из дров, и, спрыгнув вниз, разразились восторженными криками: под нашими ногами оказались груды винтовок, брошенных юнкерами. Двери подъездов по обе стороны главных ворот были распахнуты настежь. Оттуда лился свет, но из огромного здания не доносилось ни звука».

Сегодня, с исторической дистанции в целый век, все очевидней становится сцепление различных обстоятельств, которые в своей совокупности привели к формированию достаточно стройного и впечатляющего образа Октября-1917 не только в культуре, но и в массовом сознании. Для Сергея Эйзенштейна некоторые описанные Джоном Ридом события, приведенные факты, цитаты стали первоначальным к созданию собственной экранной версии происходившего в Петрограде. Некоторые фрагменты ленты «Октябрь» сегодня могут восприниматься исключительно как наглядная иллюстрация журналистских заметок и мини-репортажей американца, в том числе и те, которые связаны со штурмом Зимнего и последующих эпизодов. Однако заметим, что в тексте Джона Рида дана менее драматичная и не очень экспрессивная картина прохода отрядов красногвардейцев и рабочих в Зимний дворец.

Книга «10 дней, которые потрясли мир» даже собственным названием распространила в мировом культурном пространстве образную интерпретацию событий Октября-1917. Недаром лента Эйзенштейна демонстрировалась за рубежом именно с названием, идентичным названию книги Рида. В то же время к моменту съемок «Октября» в отечественной литературе появилась и еще одна образная версия случившегося в Петрограде в связи со взятием Зимнего. Мы имеем в виду поэму Владимира Маяковского «Хорошо!», которой сам автор дал выразительный подзаголовок — «Октябрьская поэма». Она была готова к осени 1927 года. Автор активно выступал с ней на публике в Москве и Ленинграде, а также в крупнейших городах страны. Можно сказать, что устная версия немного опередила выход печатного издания поэмы. Для нас важно то, что к моменту начала работы над окончательным вариантом фильма «Октябрь» текст Маяковского уже широко распространен в читательской среде. Мы не можем достоверно утверждать, что Эйзенштейн и Александров были знакомы с поэмой, но то, что существует прямая перекличка между теми ее фрагментами, в которых описывается штурм Зимнего, и структурой аналогичного эпизода в картине, для нас очевидно.

Приведем одну из самых ярких и широко известных цитат, свидетельствующих о том, как Маяковский воплотил собственное видение штурма известного здания в Петрограде:

А поверху
 город
 как будто взорван:
бабахнула
 шестидюймовка Авророва.
И вот
 еще
 не успела она
рассыпаться,
 гулка и грозна, —
над Петропавловкой
 взвился
 фонарь,
восстанья
 условный знак.

— Долой!
 На приступ!
 Вперед!
 На приступ! —
 Ворвались.
 На ковры!
 Под раззолоченный кров!
 Каждой лестницы
 каждый выступ
 брали,
 перешагивая
 через юнкеров.

Однако некоторая нарочитая показательность отдельных деталей легендарного эпизода, связанного со штурмом Зимнего дворца, не прошла мимо внимания даже тех, кто был сторонником творческих поисков Эйзенштейна. Выразительные кадры того, как революционный матрос взбирается на запертые ворота, ведущие внутрь двора, и наступает башмаком на царский герб, чем не символ революционного изменения привычного порядка вещей? Заметим, что именно продолжение этого кадра стало частью официального плаката к фильму «Октябрь». Здесь уместно вспомнить проницательное замечание того же В. Б. Шкловского: «Фактически ворота Зимнего не были закрыты, и через них не надо было перелезать. Но перелезание через ворота дало показ окончательного преодоления не только царизма, но и царства вещей. На воротах изображены орлы и короны. Люди, лезшие через ворота, пользовались геральдическими украшениями как ступенями, которые они попирают ногами. *Это хорошо придумано* (выделено нами. — С. И.), это выразительно».

Кульминационный эпизод штурма Зимнего дворца, когда из-под арки Главного штаба революционно настроенные массы выбегали на Дворцовую площадь и решительно устремлялись на баррикады у Зимнего, получился настолько впечатляющим, что позднее во многих документальных фильмах о событиях 1917 года эти игровые постановочные кадры включались в монтаж безо всякого уведомления как историческая хроника. Таким образом, почти одновременно с выходом фильма «Октябрь» благодаря энергичной визуальной интерпретации известных на момент съемки исторических сведений об Октябре-1917 возник развернутый экранный миф. С точки зрения современных коммуникационных практик его вполне можно номинировать как художественный фейк.

Влияние его оказалось настолько сильным, что предложить иную трактовку, иной зрелищный образ Октября-1917 не представлялось возможным ни по идеологическим, ни по цензурным, ни по творческим соображениям.

Вариант Михаила Ромма

Следующим этапом в формировании визуального образа ключевого политического акта социалистической революции стал фильм Михаила Ромма «Ленин в Октябре». Его появлению предшествовала целая серия событий, которые пришлось на 1937 год. Как известно, именно на него пришелся разгар той общественно-политической ситуации в Советском Союзе, которую в научной и публицистической литературе времен перестройки и гласности стали именовать как «Большой террор».

Тем не менее именно на этот год выпал 20-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Данное обстоятельство и предопределило желание руководителей советского кинематографа «встретить» столь значимую дату фильмом, который был бы напрямую связан с событиями Октября-1917. Характерно, что первоначальный сценарий будущего проекта именовался вполне определенно — «Восстание».

Проблема тем не менее заключалась в другом. Никто не мог гарантировать его реализацию в срок, к юбилейной дате. Как никто не мог гарантировать и художественное качество будущей картины. Ситуацию усугубляла и вполне очевидная идеологическая заданность фильма, главным героем которой, конечно же, был В. И. Ленин, но все понимали, что без фигуры И. В. Сталина в такой картине обойтись было невозможно.

К ситуации добавлялось и чисто производственное обстоятельство: кинематографическое начальство долго не решалось сделать выбор между «Мосфильмом» и «Ленфильмом» в качестве студии-производителя. Фильм все-таки был запущен на «Мосфильме», у которого были более чем скромные финансовые показатели деятельности, а такая масштабная лента, фактически революционная эпопея, могла восстановить статус-кво для столичной киностудии (так оно в результате и случилось).

Однако желающих братья за создание столь амбициозной историко-революционной ленты не находилось. Рассматривался даже вариант с равноправным участием двух молодых, но уже популярных на тот момент режиссеров — Юлия Райзмана и Михаила Ромма. Последний после долгих переговоров с коллегой и руководством советского кино решился единолично возглавить съемочную группу.

Времени было в обрез, потому что картину надо было сделать к 7 ноября. Что и предопределило характер работы над фильмом. Съемочный период длился 80 дней. Все эпизоды с участием Бориса Щукина, которому была доверена роль Ленина, снимались с одного дубля. 6 ноября 1937 года в Большом театре в Москве состоялся премьерный показ фильма «Ленин в Октябре». Далее картину ждал прокат в 16 городах Советского Союза. Однако в первом варианте фильма отсутствовала одна, ключевая сцена. Вечером 7 ноября Михаила Ромма вызвали к Борису Шумяцкому, заместителю Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР, руководившему всем отечественным кинопроизводством. Именно он и озвучил режиссеру категорическое требование И. В. Сталина, касающееся отсутствия в фильме важнейшего эпизода Октября-1917. Вот как описал эту сцену в своих мемуарах сам Михаил Ильич: «Выходит Шумяцкий, потирает руки, говорит:

— Ну, вот, сегодня после демонстрации Иосиф Виссарионович еще раз смотрел картину и просил передать вам, что без ареста Временного правительства и штурма Зимнего дворца все-таки крах буржуазного правительства России будет неясен. Придется доснять штурм Зимнего дворца и арест Временного правительства.

Я говорю:

Как доснять? Когда доснять? Ведь картина на экране!

А Шумяцкий говорит:

Нет, она уже не на экране, час назад по телеграфу снята со всех экранов».

Дальнейшие шаги по созданию экранной версии ключевого эпизода Великой Октябрьской социалистической революции в Петрограде Михаил Ромм много позже описал в мемуарах, часть из которых была опубликована после его кончины, уже в постсоветский период развития нашего кинематографа. Что является косвенным доказательством того, что идеологическое руководство страны времен СССР не допускало публичного появления подробностей создания экранного фей-

ка, надолго зафиксировавшего в массовом сознании публики образ события. В киноверсии оно носило очевидно постановочный характер. Что отчасти соответствовало и содержанию самого исторического события, связанного со штурмом Зимнего дворца.

В мемуарах М. И. Ромма по поводу съемок можно обнаружить следующий характерный абзац, описывающий попытку доснять «штурм Зимнего»: «Назавтра или послезавтра поехали мы в Ленинград. Приехали, площадь закатана асфальтом, стоят трибуны перед Зимним дворцом. Чтобы снимать, надо было бы их ломать. А я как-то не привык ломать вещи. В Зимнем дворце снимать — видели мы Орбели, хранителя, — понял я, что там с массовой расправляться будет нелегко, они до сих пор помнили, как Эйзенштейн снимал, и не хотели повторять этот опыт. Подумали мы, решили снимать на „Мосфильме“».

Очевидная искусственность снятого финала фильма Михаила Ромма сегодня, с исторической дистанции, проявляется в следующей детали: ворвавшиеся в Зимний дворец рабочие, солдаты и красногвардейцы устремляются на второй этаж здания по лестнице, которую нынче именуют «Октябрьской». В реальности нет документальных свидетельств того, что именно этот маршрут был главным 25 октября 1917 года. Но после выхода фильма Михаила Ромма никто уже не сомневался в том, что все было именно так, как показано в известной ленте. Любопытно, что при строительстве декораций «Зимний дворец» для ее изображения была использована лестничная конструкция, которая оставалась на складах киностудии «Мосфильм» со времен съемок кинокомедии «Цирк». Инсценировка истории по прямому указанию И. В. Сталина хотя и была вынужденной, но все-таки оставалась неким экранным зрелищем, энергичным и впечатляющим, несмотря на свою абсолютную фейковую природу.

Учитывая последующий идеологический и культурный контекст в кинематографическом развитии темы Октябрь-1917, можно утверждать, что Михаил Ромм с его версией штурма Зимнего дворца фактически закреплял уже существовавшую трактовку Эйзенштейна-Александрова. И вновь черно-белые кадры революционно настроенных масс, бегущих к Зимнему дворцу и врывающихся в здание, в очередной раз убеждали многомиллионную аудиторию советских зрителей, что в 1917 году в революционном Петрограде все было именно так. И никак иначе. Киноверсия стала визуальным канонem, закрепившим яркий зрелищный образ события, которое по сути было историческим, но оставило в источниковедении Октября-1917 достаточно противоречивый фактологический и мемуарный след.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, например, считает, что многое из того, что происходило вокруг ситуации с низложением и последующим арестом Временного правительства, чья резиденция находилась в Зимнем дворце, носило характер инсценировки, призванной зафиксировать в публичном дискурсе факт революционного прихода к власти партии большевиков и их союзников. Более того, по мнению ученого, визуализация череды центральных и важных эпизодов 1917 года, произошедших в Петрограде, имела очевидное (другой вопрос: случайное или намеренно организованное) визуальное сходство с иконографией Великой французской революции. И хотя эти события отделяли от Великой русской революции более 120 лет, но некоторые событийные переклички, зафиксированные в изобразительном искусстве и литературе, не потеряли на тот момент актуальности. Штурм Бастилии в Париже 14 июля 1789 года, давший старт Французской революции, и штурм дворца Тюильри 10 августа 1792 года очень четко обозначили переломные моменты в этой драме смены государственного строя в крупнейшей европейской стране.

Великая Русская революция 1917 года не имела в своей хронологии столь четко акцентированных насильственных массовых действий, когда одна политическая сила де-факто подавляла другую. Волнения в Петрограде в феврале—марте 1917 года носили достаточно стихийный, неорганизованный характер. Отречение императора Николая Второго вообще произошло вдали от столицы Российской империи, а новая власть в лице Временного правительства не успела (или не смогла?) оставить след в истории организацией соответствующих зрелищно-массовых акций по свержению монархии и демонтажу всей предыдущей политической системы. Поэтому большевики и их союзники так интуитивно стремились к вооруженному варианту прихода к власти, в центре которого должен был оказаться некий массовый и зрелищный акт низвержения прежних официальных руководителей государства. В этом, на наш взгляд, и социально-психологические корни возникновения событийной мифологии Октября-1917 года и возникающей цепочки полужоко-полумемов: от залпа «Авроры» до штурма Зимнего дворца. И отечественный кинематограф сыграл в утверждении этой мифологии важнейшую роль.

В послевоенный период развития советского кинематографа в тех картинах историко-революционной тематики, в которых сюжетно так или иначе затрагивалась тема Октября-1917 года, созданный экранный фейк-канон соблюдался неукоснительно. Мы можем обнаружить его отражение в таких лентах, как «Человек с ружьем» (1938, режиссер — Сергей Юткевич), «День первый» (1958, режиссер — Фридрих Эрмлер), «Две жизни» (1961, режиссер — Леонид Луков), «Залп «Авроры» (1965, режиссер — Юрий Вышинский), «Посланники вечности» (1970, режиссер — Теодор Вульфович), «Семья Коцюбинских» (1970, режиссер — Тимофей Левчук). Косвенным образом эта версия присутствовала и в различных кино- и телеверсиях таких ключевых для отечественной культуры произведений, как «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Хождение по мукам» Алексея Толстого.

Можно утверждать, что подобная экранная версия штурма Зимнего дворца «продержалась» в отечественном кинематографе вплоть до конца советского периода его развития. Новая попытка обновления привычных и укорененных в массовом сознании стереотипов восприятия Октября-1917 связана с именем одного из признанных лидеров отечественного и мирового кино Сергея Федоровича Бондарчука. И состоялась она на самом излете существования эпохи, которую некоторые нынешние историки публицистического толка именуют «эпохой застоя».

Вариант Сергея Бондарчука

Возможно, что этого варианта не было, если бы в 1981 году американский актер Уоррен Битти не снял фильм «Красные», в котором сам же и сыграл роль своего соотечественника, журналиста Джона Рида. Именно того Рида, который написал книгу о революции 1917 года под названием «10 дней, которые потрясли мир». Картина имела шумный успех, получила три премии «Оскар». Наград удостоились: сам Уоррен Битти (за лучшую режиссуру), Морин Стэптон (за лучшую женскую роль второго плана), Витторио Стораро (за лучшую операторскую работу). Картина получилась обстоятельной и продолжительной (3 часа 20 минут). В ней нашлось место и эпизодам, посвященным Октябрю-1917 в Петрограде.

Однако достаточно непростые отношения между Советским Союзом и США не создавали даже намека на возможность натуральных съемок в Ленинграде. Уоррен Битти нашел выход, отправившись снимать Петроград образца 1917 года... в сосед-

ную европейскую столицу Хельсинки. Легко понять, что в кадре зрители «Красных» так и не смогли увидеть здание хотя бы приблизительно похожее на Зимний дворец, а сцена его штурма показана на экране в отраженном варианте.

Сегодня картина Уоррена Битти кажется достаточно наивной и — что особенно важно — откровенно недостоверной, в том числе и в части версии Октября-1917. Тем не менее советские идеологи не могли согласиться с тем, что о Великом Октябре сняли фильм американцы. И тогда возникает проект дилогии Сергея Бондарчука «Красные колокола». В ее основу были положены книги американского журналиста Джона Рида.

Первая часть дилогии — «Мексика в огне» — была посвящена истории путешествия Джона Рида в Мексику в то время, когда там происходила революция. А вот вторая часть под названием «Я видел рождение нового мира» как раз и представляла собой фактическую экранизацию книги американца «Десять дней, которые потрясли мир». С учетом того, что будущий фильм создавался в сотрудничестве с иностранными кинокомпаниями и предполагался его мировой прокат, был сделан и соответствующий выбор исполнителя главной роли. Им стал итальянский актер Франко Неро. Фильмы с его участием шли в советских кинотеатрах, в том числе и те, которые были посвящены борьбе с мафией. Таким образом повышалась узнаваемость персонажа, который для большинства потенциальных советских зрителей не идентифицировался визуально. Тогда как на зарубежных площадках Неро предостояло вступить в невольное сравнение с Уорреном Битти.

Проект «Красные колокола» был задуман в цветном широкоформатном варианте. Мы оставляем в стороне анализ первой части дилогии, так как нас более всего интересует вторая ее часть. На стадии подготовки съемочного периода было принято принципиальное решение: снимать центральные эпизоды в местах реальной локации в 1917 году. Чтобы производственный процесс был эффективным, Сергей Бондарчук заручился поддержкой самых высоких инстанций, а по прибытии в город на Неве встретился с первым секретарем Ленинградского обкома КПСС Григорием Романовым, дабы заручиться покровительством фактического руководителя города. Поддержка была обещана и — самое главное — оказана. Так, например, для съемок сцены штурма Зимнего на Дворовой площади были возведены настоящие баррикады, а для участия в массовых сценах были привлечены военнослужащие частей Ленинградского военного округа.

Как режиссер Сергей Бондарчук прекрасно осознавал всю мифологичность традиции изображать штурм Зимнего как кульминацию восстания масс. Созданный экранный образ заключительного акта Октября-1917 к началу съемок «Красных колоколов» давно стал фейком, в который приходилось верить всем и с которым приходилось считаться тем, кто обращался к теме Великой Октябрьской социалистической революции. Несколько лет спустя после съемок дилогии Сергей Федорович поделился с одним из журналистов собственным видением данного эпизода: «Я очень люблю фильм Сергея Эйзенштейна „Октябрь“. Смотрел его много раз. Это удивительная картина. Если бы ее не было, история нашего кинематографа была неполной. Но несмотря на то, что фильм сделан почти по свежим следам революции... политические страсти того времени, когда она создавалась, наложили на нее свою тень. Это — первое. Второе — в силу ряда обстоятельств в картине имеется ряд исторических несоответствий. Это, если мне не изменяет память, признавал и сам Эйзенштейн».

Поэтому в фильме «Я видел рождение нового мира» и возникли непривычные для зрителей кадры, демонстрирующие работу госпиталя, который действительно

был расположен в здании Зимнего дворца в октябре 1917 года. Ревизовал Бондарчук и привычную хронологическую последовательность событий: выстрел «Авроры», штурм Зимнего дворца, выступление Ленина на II съезде Советов. И у Эйзенштейна, и у Ромма цепочка этих эпизодов составляла единый экранный хронотоп. У Бондарчука эти события отделены друг от друга некоторыми «соединяющими» эпизодами и отстоят на некотором временном расстоянии. Подобным приемом режиссер пытался преодолеть прочно укоренившийся в массовом сознании фейковый образ Октября-1917, но все равно ему пришлось так или иначе воплощать эти зрелищные моменты в своей картине. При этом он либо получил недостоверные сведения от консультантов, либо его подвела память при беседе с автором книги о его творчестве. Например, в отношении пресловутого «залпа „Авроры“». Вот с каким пафосом он комментирует то, что происходило вокруг Зимнего дворца вечером 25 октября 1917 года (по старому стилю): «Все же не так было! Действительно, был залп. Но не холостой, как о том пишут. Снаряд попал в здание Зимнего, и Временное правительство вынуждено было перейти из Малахитового зала, где заседало, в небольшую комнатку — столовую. А Малахитовый зал, который никто не снимал до нас, мы тоже показали. Это ж история, подлинный факт».

Заметим, что этот исторический фейк давно прокомментирован специалистами. Крейсер «Аврора», находившийся на временной стоянке у Благовещенского моста, совершил только один (!) холостой выстрел в направлении Зимнего дворца. Таким способом был продублирован световой сигнал к началу штурма, который был дан со стен Петропавловской крепости. Однако в темном сумраке осеннего вечера он мог быть не замечен теми, кто готовился войти в Зимний дворец. И потому и состоялся знаменитый, ныне символически воспринимаемый выстрел «Авроры». Но стреляли и пушки Петропавловской крепости. Именно оттуда и прилетел тот самый снаряд, который попал в угол здания Зимнего дворца, выходящего на набережную Невы.

Мы столь подробно описываем и анализируем детали трех экранных версий визуального зрелища «Штурм Зимнего дворца», чтобы прояснить наш очевидный тезис о том, что независимо от личности постановщика, времени создания фильма и конкретно общественно-политической ситуации в стране каждый из режиссеров практически не отступал от утвердившегося в традиции отечественного кинематографа канонического набора эпизодов Октября-1917 года в Петрограде, в том числе и того события, которое в момент его сотворения получило раз и навсегда закрепленное за ним название — «штурм Зимнего дворца» с последующим смысловым и символическим комментарием «арест Временного правительства».

Вариант «Красных колоколов» получился едва ли не самым эффектным. Камера оператора Вадима Юсова в буквальном смысле «парила» над Дворцовой площадью, фиксируя революционный порыв масс, устремившихся по направлению к Зимнему дворцу. Вся эта монтажная фраза длилась на экране достаточно продолжительное время, и ее сопровождала музыка композитора Георгия Свиридова.

Характерно, что сам Сергей Бондарчук не был до конца удовлетворен творческим результатом. Хотя усилия съемочной группы не пропали даром. Диалогия «Красные колокола» была удостоена Государственной премии СССР. Когда режиссер готовил фильм к показу на телевидении, то он для повышения фактора зрительной аутентичности добавил в структуру картины кадры кинохроники. При этом вовсе не исключено, что в качестве «документальных» фрагментов использовались и кадры из фильма Сергея Эйзенштейна. Премьерный показ сериала на Центральном телевидении состоялся в 1984 году.

Что впереди?

Опыт интерпретации средствами экрана важных исторических событий продолжился и в постсоветский период развития отечественного кинематографа. Однако за более чем четвертьвековую историю его существования в новых политико-идеологических реалиях мастера десятой музы так и не смогли создать новую, альтернативную версию господствующему фейку «Штурм Зимнего дворца». Даже такой мастер, как Александр Сокуров, снимая свой уникальный фильм «Русский ковчег», действие которого целиком происходит в интерьерах эрмитажных зданий, намеренно отказался от экранного воплощения темы Октября-1917 года, которая является существенной частью истории легендарного здания.

Надвигающийся столетний юбилей Великой русской революции 1917 года наверняка отразится и в том, как мастера экранных искусств предпримут попытку современной интерпретации того, что составляло политическую и военную суть событий Октября-1917. Какой она может быть — подобные предположения относятся к сфере прогнозов. Но в одном мы можем быть уверены практически по максимуму: эти версии будут строиться на открытой или скрытой полемике с тем экранным фейком, который был сформирован с посильным участием отечественных мастеров экранных искусств и преодолеть который при явном гигантском прогрессе технических возможностей визуализации событий, на наш взгляд, будет архисложно.

БИТВА ЗА ИСТОРИЮ

I

Сервантес надеялся, что лживых историков будут преследовать как фальшивомонетчиков. Когда-то это еще будет, а пока нужно самому научиться отличать фальшивку от подлинного исторического свидетельства. Иначе вот такие ответы на экзаменах по истории станут нормой: «Помещики устраивали облавы на крестьян, потом к ним присоединились большевистские комиссары». И такой предстает наша история в глазах российского школьника 2013 года.

Надо ли предупредить аудиторию о том, что сегодня, как никогда, именно на постсоветском пространстве, политические и государственные новообразования ищут свою родословную, а не находя в прошлом необходимых опор, додумывают, придумывают, интерпретируют в интересах современной политической и геополитической конъюнктуры.

В сущности, ничего нового. После восшествия на престол лукавого и увертливого врага Бориса Годунова, Василия Шуйского — Василия Четвертого (1606—1610), понадобилось дать историческое обоснование этому событию. Поступили просто. Взяли, как говорят на собраниях, «за основу» «Предание о том, как сел на престол Федор Иоанович», и, переставив знаки «плюс» и «минус», ненужное зачеркнули, подчистили, нужное прибавили. Получилось «Предание о том, как сел на престол...» на этот раз Борис Годунов, неопровержимо доказав, что его появление на царстве — прямое следствие волшебства, колдовства, магии и деловых сношений с нечистой силой. Будем помнить, что в ту пору к написанному пером относились с таким же доверием, как к сообщениям ТАСС в более поздние времена. Достоверность написанного не подлежала сомнению.

По той же самой схеме — подчистили, прибавили, поменяли «минус» на «плюс» — недавно нам было преподнесено «Предание о блистательном флотоводце». «Блистательный» даже кораблем 1-го ранга в жизни не командовал, за полгода его командования флот понес потери неизмеримо большие, чем противник от его мин на Балтике, ни одного морского сражения не выиграл, но преданно любил чужую жену. И это чистая правда. И это главное. Об этом и фильм. Мы к нему вернемся.

Переписывание истории — это наглядное свидетельство как раз битвы за историю.

Почему так долго держалось «единственно верное» учение о том, что Земля стоит на трех слонах, а слоны на китах, а киты еще и на черепахе? Ответ прост, как в любом расследовании, спросите, кому это выгодно. Жрецам, придумавшим эту славную сказку, она давала власть и доход. При том, что Эратосфен, кстати, глава Александрийской библиотеки, измерил окружность Земли с погрешно-

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет ЛГТИ им. А. Островского. С 1961-го по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в Санкт-Петербурге.

стью менее 10 % в III веке до нашей эры! Но выгоды от этого знания никто не видел. Пришло время, и люди сообразили, что выгоднее, с практической точки зрения все-таки считать Землю круглой, а не плоской, и про трех китов и слонов стали забывать.

В Болгарии понятие «турецкое иго» было одним из краеугольных камней новейшей истории. Но и краеугольные камни при наличии достаточных средств можно двигать в нужную сторону. Экономически слабая Болгария сегодня все больше и больше становится зависимой от Турции. Турция не только в болгарской экономике, но и в средствах массовой информации обретает ведущие позиции. И вот уже болгарские историки пишут вместо «турецкое иго» — «турецкое присутствие». Сколько было уничтожено болгар за время этого «присутствия», продано в рабство, сколько было уничтожено христианских храмов, говорить сегодня не принято.

Я был с лекциями в университетах Великобритании, в том числе и в университете города Свонзи, графство Уэльс. Гостиница стояла на берегу моря, вечером на горизонте я увидел огоньки. Спросил моих университетских коллег: «Что там? Корабли? Маяки?» Ответ меня оgorошил: «Там — Англия». И сказано было таким тоном, каким говорят о чем-то малоинтересном, не стоящим разговора. Я имел глупость спросить: «А мы где?» И услышал в ответ: «Мы? В Уэльсе!» И сказано было так, что никаких сомнений относительно того, где центр Вселенной, быть не могло. Анекдот? Ничуть не бывало. Я имел неосторожность и в Глазго произнести: «У вас в Англии...» и увидел вопросительные выражения лиц. Явно эти люди слышали, конечно, что такая страна есть, но где расположена, точно сказать не могут. Таким образом, мне дали понять, что для шотландцев «Англия» находится, скорее всего, в другом полушарии.

А вот еще история. 1953 год. Нобелевский лауреат Уильям Фолкнер на встрече с японскими студентами в Токио, не моргнув глазом, сообщает о том, что в США война Севера и Юга еще не окончена. Преувеличение? Но в 2011 году мне случилось быть на родине Фолкнера в городке Оксфорд, штат Миссисипи. Мне показали университетский кампус со следами огня на стенах, где год назад шли побоища как раз на сюжет войны Севера и Юга. Еще одно, живое, уже неустное, свидетельство тлеющей, но все еще не угасшей войны, то ли недописанной, то ли неперевернутой страницы истории. Перед мэрией Оксфорда стоит памятник герою Гражданской войны в форме конфедерата. Все равно, как если бы у нас во Владивостоке вместо памятника красноармейцу в советское время стоял памятник белогвардейцу. Кстати, в Оксфорде на флаштоках перед мэрией гордо реет рядом с государственным флагом и флагом штата, нелегитимный, запрещенный флаг конфедератов, флаг проигравших войну южан.

Остров Готланд в Балтийском море был датским, немецким, норвежским, шведским и даже русским, правда, недолго, во времена наполеоновских войн. Чей он? Наивно думать, что на этот вопрос ответит история. Чей остров Манхеттен? Исторически — он принадлежит индейцам. Что из этого следует? Только то, что доход с казино в индейских резервациях идет на «социалку» бывшим коренным жителям Северной Америки, и больше ничего.

Почему я говорю не о вхождении Грузии в Российскую империю, не о возвращении Крыма в Россию, не об Изборске и городке Пыталово, историческая принадлежность которых России исступленно оспаривается эстонскими историками. Не говорю, не потому что это не интересно, а потому, что хочется показать: битва за историю идет по всему свету. Это самая продолжительная, никогда не прекращающаяся война, с временными перемириями, как правило, лишь с затаенной враждебностью.

Сегодня, когда государства, партии, неофициальные и подпольные организации располагают средствами массовой атаки на мозги граждан, становится злободневным вопрос о том, как выработать противодействие от насилия над нашими головами, хотя бы в одной области, в области собственной истории,

Итак, «битва за историю». Что же дает мне право, не будучи профессиональным историком, вторгаться в область исторического знания?

Дело в том, что не я вторгаюсь в историю, а история, изготовленная не для просвещения, а для необъявленных целей, вторгается в меня, хочет мной овладеть.

Я вправе защищаться теми средствами, уж какими располагаю, или, по крайней мере, предохраняться от фальсификаций, независимо от того, какими намерениями они, эти фальшьистории, продиктованы. Есть исторические сказки, заполняющие пустоты, отсутствие сколько-нибудь достоверного знания. Прекрасно. Но при этом желательно помнить, что те же летописцы зачастую дошедшие до них предания выдавали за факт.

Здесь уместно вспомнить любимый девиз Маркса: «Все подвергай сомнению». Применительно к историческому знанию рекомендация весьма полезная. Точные даты правления наших первых Рюриковичей, условно Олега и безусловно Игоря, не известны, но то, что им обоим летописи приписывают именно по 33 года правления, напоминает былинный зачин — тридцать лет и три года!

II

О, сколько нам открытий чудных преподносит пресса, телевидение, радио, не говоря о книгах, кинофильмах, лекторах и проповедниках.

Здесь я вспоминаю способ кормления детей в бедных крестьянских семьях. Старуха своим беззубым ртом нажевывала хлеб, потом выплевывала это нажеванное вперемешку со слюной в тряпку, тряпочку завязывали в этакий узелок и этот узелок давали младенцу сосать взамен молока и каши. Кажется, этот нищенский продукт назывался «жевки». Вот и нас с вами кормили, кормят и будут кормить в вопросах истории как раз «жевками». Можно, конечно, удивляться, но у публики вырабатывается даже вкус к такому питанию.

Вкусить «жевки» популярного эстрадного историка собираются аудитории в залах и еще большие у телевизора. Он же так много знает и про Моцарта, и про Сталина! А докладывает артистично, вдохновенно и прямо как очевидец! Поскольку речь идет об обращении к огромной аудитории, есть смысл чуть задержаться на этом участке фронта в битве за историю.

Воспитывает умы, как известно, не только историческая правда, но и историческая ложь.

Для примера.

Популяризатор истории открывает публике глаза на кучку заговорщиков и авантюристов, поименовавших себя «Народной волей». Вдоволь поглумившись над зловещим «Исполнительным комитетом», почтенной публике сообщается о том, что народовольцы, узнав, дескать, Александр Второй едет подписывать конституцию, решили его убить.

Почему?

Да потому, что при конституционном строе (!) «Народная воля» и зловещий «Исполнительный комитет» утрачивают смысл, а главное, власть над умами и людьми в обществе. Серьезное, оскорбительное обвинение в политическом карьеризме, замешенном на невинной крови.

Но историк почему-то забывает сказать внемлющей публике, кто сообщил народо-вольцам, хотя бы Софье Перовской, поскольку Желябов уже арестован, и она взяла дело в свои руки, о том, с какими намерениями едет государь император к себе во дворец после воскресного развода караула в Манеже. Кто доложил народо-вольцам о конституции, которую, наверное, читал всезнающий историк, но о которой еще ни сном ни духом не ведает ни государь император, ни его наследник, ни его любимый министр внутренних дел Лорис-Меликов, авторы этой самой якобы «конституции».

Когда-то еще император поедет «подписывать конституцию», а народо-вольцы загодя рыли подкоп в Подмоскovie под железной дорогой, подорвали «свитский» поезд. Царь уцелел. Стали рыть подкоп под Малой Садовой в Санкт-Петербурге, по которой частенько ездил государь, заложили четырехпудовый фугас.

На день «подписания конституции»?

У «мастеров» в карты, они деликатно именуют себя «исполнители», есть такой прием, называется «дёржка», когда одна карта подменяется другой. «Дёржки» бывают разные — «ласточкин хвост», «салат „весна“» и т. д. Здесь же «дёржка» называется «конституция».

Императору был вынесен приговор и приведен в исполнение. А вот когда, почему, по каким причинам, по каким мотивам, лучше всего узнать все-таки не у лектора, а у самих заговорщиков. Вполне обстоятельно, недвусмысленно, внятно в ходе судебного процесса и Желябов, и Перовская, и Кибальчич изложили причины, вынудившие, как они считали, начать «охоту» на государя.

Да можно ли им верить?

Желябов был арестован до покушения, его обращение в суд ясно говорит, какого склада это были люди. Из тюрьмы он писал прокурору Судебной палаты: «Было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно (!) покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. А. Желябов. 2 марта 1881 года».

Многократно покушался... И все из-за опасения: вдруг царь учинит конституцию и дело «Народной воли» пропало?

Предложения Лорис-Меликова, изложенные в его «всепоподданнейшем докладе» императору 28 января 1881 года, были только первым очень осторожным шагом к расширению возможностей диалога общества с властью, а не собственно конституцией. Речь не шла об ограничении самодержавия законом, который был бы выше монарха, или о создании парламента и выборах депутатов.

О том, что собирался подписывать 1 марта 1881 года Александр Второй, известно.

Читаем. «Благодаря ему (Победоносцеву. — М. К.) провалился проект зачатка конституции, проекта, составленного по инициативе графа Лорис-Меликова и который должен был быть введен накануне ужасного для России убийства императора» (Витте, Восп. Т. 2. С. 260). «Проект зачатка» — хорошо сказано! Даже не самое зачатие! Витте не очень точен, сообщая, когда был провален «проект зачатка конституции». Подробности едва ли публиковались, и ошибка извинительна. И уж совсем непонятно, как этот «зачаток» мог быть введен «накануне», если император только еще собирался его подписать.

Едва ли случайно настоятельно внедряемые в общественное сознание сведения о том, что же государь «ехал подписывать», не сопровождаются предъявлением документа. И кто сказал, что именно 1 марта государь собирался окунуть перо в чернильницу и даровать подданным конституцию? Известно, что на 4 марта 1881 года государь император Александр Второй назначил совещание, на котором

представители верховной власти должны были решить судьбу предложений Лорис-Меликова, составленные при участии тогда еще наследника, Александра Третьего впоследствии. Ежели царь собирался 1 марта подписать «конституцию», так чего еще обсуждать? В самодержавном государстве был порядок, воля государя выше закона.

А принявший царствование император Александр Третий как раз совещание с высшими представителями власти 4 марта провел, как и было намечено погибшим императором. В этом был даже определенный символический знак — царство великого реформатора продолжается! Царь умер, но дело его живет.

Заседали в Малахитовом зале, окнами на Петропавловскую крепость и собор, где стоял гроб с еще не погребенным императором. В Малахитовом зале идет вполне деловое обсуждение, и вроде не собираются хоронить предложения Лорис-Меликова. При голосовании «за» проект выступили девять участников совещания, «против» проголосовали только пять. Да, действительно, кликушеская речь Победоносцева изрядно напугала нового самодержца. И Александр Третий отрекся от своего детища, то есть, говоря словами Витте, участия в «зачатии». А зачем голосование? Да была надежда, что проект провалится большинством голосов. Недобрые дела всегда лучше делать чужими руками.

Почему-то нашему историку не важно, что там собирался подписать государь император, что обсуждали мужи совета, за что проголосовали большинством, важно всех этих народовольцев в глазах доверчивой публики изобразить террористами, интриганам, политическими карьеристами — кем там еще — вовсе не думающими о благе народа и России. Ох, уж эти Желябовы, Перовские, Кибальчичи!.. Мало, что их царь повесил, так еще и от себя историк решил затянуть веревку потуже.

И действительно, историк прав, тем более что он, конечно, знал: ответственные казни, случалось, исполняли у нас из рук вон плохо. Вешали нельзя сказать нестарательно, но безответственно или неумело, что декабристов, то и народовольцев. Михайлов, к примеру, срывался с веревки два раза, только на третий раз «управили». По традиции, сорвавшимся с петли даруют жизнь, но не у нас, у нас и за гробом могут поддать.

Но вернемся к конституции. Как было бы интересно узнать, какого счастья лишили злодеи Россию.

Все правильно. Ехал государь во дворец и мог через три дня и подписать... Но что? Проект включения представителей с мест в редакционные комиссии, обладавшие лишь совещательным голосом, при Государственном совете. И это конституция?¹

Знал ли историк о том, что не было никакой «конституции», которую якобы должен был подписать царь, или не знал, значения не имеет. Важно, чтобы мы знали и понимали, когда нам подсовывают исторические «жевки».

Сегодня людям, владеющим Интернетом, можно легко узнать, кто такие народовольцы. Надо просто прочитать речи Желябова, Перовской, Кибальчича на процессе.

¹ Итак, Александр Второй, как огня боявшийся конституции, спрашивал у авторов этого проекта, Лорис-Меликова и наследника престола: «А не получится, как во Франции?» Дескать, включение выборных с мест в редакционные комиссии не создаст ли у нас парламент? Министр внутренних дел и наследник престола успокоили встревоженного государя. Какая конституция? Какой парламент? Нет, большая часть членов редакционных комиссий будет назначаться, так что выборные нужны только для того, чтобы знать о настроениях на местах. Не великое новшество. Русская земля и Земские соборы помнит. А-а, тогда другое дело, и царь-государь, отогнав призрак парламента, дал согласие подписать это еще одно порождение государственно-бюрократического организма. Вот в этом положении о составе редакционных комиссий Витте усмотрел «зачатки конституции». Тогда Земские соборы, созывавшиеся при первом Романове по любому серьезному поводу, вообще можно считать парламентом?

Можно познакомиться с их программой. Идеалисты, они долго уговаривали царя, по сути дела, ввести в России указом самодержца — социализм! Полезно прочитать речь и обвинителя Муравьева. Кстати, в детстве двенадцатилетняя Сонечка Перовская спасла тонувшего в пруду мальчика, который отправит ее на виселицу. Сюжет для Дюма или Войнич?

Цареубийцы не рассчитывали на помилование и для себя его не просили. Поражает удивительная стойкость осужденных и их страстная вера в собственную правоту. Идеалисты? Да. Террористы? Да. Вот и Гёте предупреждал: «Все идеальное служит революционным целям».

По прочтении только речей народовольцев на суде уже станет понятно, почему они с поднятой головой шли на эшафот, и станет понятно, почему царское правительство с тех пор избегало публичных казней.

Лев Толстой в своем обращении к молодому монарху напоминал о христианских заповедях, и публика ждала торжества милосердия... Не дождалась. Да, публичное убийство на Семеновском плацу не оправдало замысла постановщиков. Не зря же замечательный театральный режиссер Георгий Товстоногов говорил: успех спектакля лежит в зале, в нашей способности уловить его ожидания. «Постановщики» казни народовольцев не могли понять настроения в обществе. Как говорится, «страшно далеки они были от народа». Очевидцы говорят о страшной тишине, стоявшей на Семеновском плацу во время казни. Народ безмолвствовал. Снова. Как и у Пушкина. Публичные казни имеют давнюю традицию. В средние века в благословенной Европе, до которой нам все еще далеко, города покупали приговоренных к смерти в других городах, чтобы граждане могли насладиться четвертованием или на худой конец хотя бы судорогами повешенного. А вот «спектакль» с публичным удушением пятерых террористов в Санкт-Петербурге, увы, провалился. Почему? Устроители не знали и не понимали настроения «зала».

А каким оно было, можно понять, прочитав в дневнике Суворина о его разговоре с Достоевским.

Достоевский говорил о власти общественного мнения, о странной и неодолимой власти настроения общества. — Вот, если бы вы, спросил Достоевский Суворина, случайно на улице услышали о готовящемся взрыве в Зимнем дворце, — пошли бы вы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились к полиции, к городовому? Вы пошли бы? — Нет, не пошел бы, — сказал Суворин, монархист, государственный, национал-патриот. — И я бы не пошел, — сказал один из самых известных в мире российских писателей, защитник «униженных и оскорбленных». Не пошли бы сообщить о готовящемся преступлении! Такое может быть только в глубоко больном обществе, где власть утратила право на моральное сочувствие.

И безусловно не сочувствуя террору, два глубоко православных, консервативной ориентации интеллигента так же были во власти этой «болезни», охватившей общество.

Но разбираться в непростой природе такого исторического явления, как «Народная воля», дело сложное, да и поймут ли «простые люди», книг не читающие, а сказано — интриганы, политические карьеристы, завистники, тут тебя и не вошедший в разум младенец, и выходящий из разума старик, все поймут.

«Провал» казни народовольцев власть каким-то там своим неведомым нам чувством все-таки уловила, с тех пор публичные казни прекратились, предпочли душить исключительно в застенках.

Бог с ней, с выдуманной «конституцией». История народовольцев, движущие мотивы их действий в какой-то мере даже рифмуются с делом декабристов. Александр Первый и Александр Второй вззошли на престол, искренне готовые к реше-

тельным преобразованиям. Общество, обманутое неисполнением обещанного, ответило появлением «тайных обществ», радикальной оппозицией. Прежде всего, оба «тайные общества» на самом деле были не такими уж и тайными. Знали о «Северном обществе» все, кто хотел, вплоть до государя. И о готовящемся шестом покушении на Александра Второго было *предчувствие* даже у его жены, княгини Юрьевской, она просила государя в то воскресенье не ездить на развод караула в Манеж. Вот и министр внутренних дел отрядил в сопровождение государю 1 марта не двоих, как обычно, а целых шесть конвойных...

III

Чтобы увидеть механизм, движущий исторические события, надо ответить на вопрос, что же не позволяло самодержцам, номинально обладавшим непомерной властью, не исполнять своих же намерений провести благие преобразования.

Есть все основания предполагать, что Александра Первого ждала бы участь его отца, попытайся он провести либеральные реформы, внушенные ему воспитателем генералом Лагарпом, коему государь, по собственному признанию, был «обязан всем, кроме рождения». А уж если бы попытался, как хотел, еще и крепостное право отменить... Да кто бы ему позволил! Отцу за меньшее череп проломили.

Сколько раз в России собирались отменить крепостное право? И Годунов, и Петр Третий, и Екатерина Вторая, не говоря об Александре Первом.

Да что там крепостное право, здесь интересы всего благородного сословия на кону. А вот простое дело: на переходе из Ревеля в Гельсингфорс в конце царствования настоящего самодержца Александра Третьего, осенью 1893 года утонул броненосец «Русалка», погиб весь экипаж, несколько сотен душ. Могущественный самодержец, славившийся своей «твердой рукой», повелел море тралить, броненосец найти, причину гибели объявить. И что же? Трaлили, но не там, где погиб корабль. И представьте себе, ничего не нашли! О чем и доложили державному государю. Александр Третий принял ложный доклад морского министра. А потом признался великому князю Владимиру, что ему нагло наврали, и показал державным пальцем на карте, где утонул броненосец, а где его искали. «Почему не выгонишь за обман?» — спросил великий князь Владимир. «А где я других возьму?» — резонно возразил император густонаселенной страны. И не было у государя-силача, гнувшего пальцами и кочергу, и вилку, силы, чтобы заставить своих министров хотя бы в глаза не врать. Но морской министр Чихачев Николай Матвеевич покрывает министра путей сообщения, а тот отвечает ему взаимностью. А присягали оба, осеняя себя крестным знамением, на верность государю императору, а не друг другу.

Так кому же реально принадлежала власть в государстве, увенчанном богоданной абсолютистской монархией? А принадлежала она, как и в стародавние времена, боярам, «жадной толпой» стоящим у трона.²

Отношения «князя и дружины» — это и есть история власти на Руси, в России на протяжении тысячи лет, да, пожалуй, и поныне. Чего стоит памятная всем «семибанкирщина», властвовавшая при «всенародно» избранном Ельцине.

Появлялись *князья*, бравшие верх над *дружиной*: хитроумный Иван Калита, мудрый Иван Третий, крутой Иван Грозный, безоглядный Петр Первый, но чаще верх брала *дружина*. И порвавшая кондиции Анна Иоанновна никогда бы на это не

² О непререкаемом праве дружины «властвовать даже над самим князем, указывать ему, не выпускать из своей воли», очень убедительно пишет Иван Егорович Забелин в своем труде «Минин и Пожарский». «Русская симфония». Библиотека Академии наук. Санкт-Петербург. 2005.

решилась, не заручись поддержкой наиболее влиятельной части своего окружения. Это окружение и есть все та же *дружина*, менявшая свое обличье, но по сути остававшаяся все той же лукавой, алчной, эгоистичной, готовой на все ради своего блага. Забелин просто и точно определил нрав «ближайшей опоры самодержавной власти» — «это неизменное стремление *властвовать* над землею, а не *служить* земле».

IV

Особенно въедливыми бывают недостоверные сведения, закрепленные каким-нибудь анекдотцем или хлестким афоризмом, а то и впечатляющим художественным произведением.

Кто не помнит поговорку: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Кто только не повторяет сказку о закрепощении крестьян при Борисе Годунове. Дескать, до того крестьяне могли переходить от хозяина к хозяину осенью, в Юрьев день, а царь Борис Годунов это право отнял. И с той поры наступило неколебимое крепостное право. Желаящим узнать, до какой степени это неправда, достаточно познакомиться с лекцией под тридцать седьмым номером в курсе лекций по русской истории В. О. Ключевского.

Уводят от реального и, что самое важное, вполне достоверного и доступного знания по разным причинам. Есть заказная «история», обслуживающая кланы, партии, сословия, власть. Не всегда легко разобраться, где нас ведут на поводке тенденции, где историк заблуждается, а где оказывает услуги.³

Раз уж вспомнили Юрьев день и Годунова, хотелось бы спросить, сколько цитат помним из «Бориса Годунова» Пушкина? Уверен, много. «Зять палача и сам палач». «Жалок тот, в ком совесть не чиста». «Мальчики кровавые в глазах». «Последнее сказанье». «Да ведают потомки православных...» А ведают ли нынче потомки православных, сколько лет Россия прожила в благоденствии при правителе Годунове, начиная с царствования христолюбивого богомольца Федора Иоанновича, когда правил фактически Годунов, да и в первые годы правления самого Годунова? Шестнадцать! Шестнадцать лет мирной, сытной, созидательной жизни после тягостного правления Ивана Грозного. Где еще мы наскребем 16 лет благословенной жизни в нашем Отечестве?⁴

Вот еще одна поляна битвы, где сошлись историческая правда и интересы сначала исходившего завистью боярства, а потом уже посланной, естественно, Небесами новой династии.

Но мы-то не бояре, не претендуем на престол, в дворцовых интригах не участвуем, и поэтому добро помнить нам ничто не мешает. Причастен Борис Годунов к смерти больного царевича или нет, дело темное, и одно и другое твердо не доказано. А уж в том, что царевич был подвержен падучей, Годунов точно не виновен.

³ Кстати, едва ли случайно сегодня слово «услуги» так возвысилось. Куда-то делось «народное образование». Появились «образовательные услуги». Было «народное здравоохранение», теперь нам оказывают «медицинские услуги». А за услуги надо платить! Чем же расплачиваются люди за историческую «лапшу»? Покорностью. Смирением перед лукавством служащих властям предрежащим.

⁴ Скажете, Алексей Михайлович Тишайший аж тридцать лет был на троне. Государь Тишайший, да век «бунташный». Огнепалый раскол, унесший тысячи жизней, крестьянская война Степана Разина, военные конфузии. Сколько жизней стоило восемь лет длившееся восстание, мятеж монахов Соловецкого монастыря, приверженцев старого обряда в православии. Восемь лет этой «зубной боли» государю! И, наконец, кровавая расправа над непокорными монахами, как раз в дни упокоения Алексея Михайловича.

Вот причастность Екатерины Второй к убийству мужа вроде бы и доказывать не надо. А о причастности Александра Первого к убийству императора Павла Первого напоминала сыну мать, вдовствующая императрица, в минуты гнева показывая ему окровавленную рубашку отца. Да, ту самую, в которой его постиг «апоплексический удар» золотой табакеркой, как говорят, в висок. И Александр Первый — несомненно Благословенный. А Екатерина во всех отношениях Великая, воплощение всех возможных человеческих достоинств и пример для подражания, которым воспользовались ее переимчивые подданные, когда пришел черед ее сына.

V

Так за что же Борис-то Годунов ходит у истории в пасынках, в потерпевших поражение, а те, у кого руки по локоть в крови, в почете и славе?

Неужели непонятно? Если признать за Годуновым достоинства, помнить шестнадцать лет, прожитых многотерпеливой Россией в довольстве и покое, если приглядеться к его странной смерти, то, не приведи бог, кто-нибудь спросит о зачинщиках Смуты, а то и о свирепой (жестокой и бесчеловечной!) расправе бояр с законным наследником и вдовой законного государя. Тут и новая династия на окровавленном троне может чувствовать себя не очень уютно.

Кстати сказать, на ободке под барабаном колокольни Ивана Великого в Кремле, строительство которой начато при Иване Третьем, а через сто с лишним лет закончено Борисом Годуновым, не без основания золотом написана здравица тысячелетнему царствованию династии Годуновых. Династию смели, надпись стереть забыли.

Не выпало Годуновым ни ста, ни трехсот лет, но и за краткий срок один из замечательных правителей России успел сделать очень много.

Сколько городов основано при Борисе Годунове? Можно вспомнить. Архангельск, 1584 год. За один Архангельск надо бы и в пояс поклониться да памятник на Двине поставить. А на Волге? Для укрепления линии от набегов черемисов — Уржум, Царев-Кокшайск, Цивильск. И дальше вниз по Волге: Самара (1586), Царицын (1589), Саратов (1590).

В Астрахани воздвиг каменные стены. Про «Большие стены» Перикла чуть не две с половиной тысячи лет помнят, а нас почему-то беспомысленность одолело.

Кстати, и южный рубеж Годуновым не забыт: возобновлены пришедшие в упадок Курск и Воронеж, основан Белгород (1596), а еще Ливны, Оскол, что-то наверняка упустил.

Но и это не все. Сибирь.

Все помнят про покорение Ермаком Сибири. Покорял, но как бы *недопоборил*, погиб в схватке с Кучумом. А кто заложил городок Тороч на Иртыше, ставший базой для разгрома Кучума, погубителя Ермака? Борис Годунов. А еще по его повелению основаны города и поныне известные: Тюмень, Тобольск, Томск, Салехард (Обдорк), Сургут.

Вот когда Сибирь стала нашей! При государе Борисе Годунове.

С такой же точно благодарностью мы помним (естественно, не помним!) о дипломатических победах Годунова.

То, что проиграл Иван Грозный в Ливонской войне, Годунов вернул главным образом дипломатическим путем. Это ли не величайшая государственная мудрость. Правда, государь Федор Иванович Блаженный, тихий богомолец, так вломил в 1593 году шведам, что после этого заключить двухлетнее перемирие, а потом

и «вечный мир» было, как говорится, делом техники, дипломатической, конечно. Годунов и ею владел отменно. Были возвращены потерянные Ивангород, Копорье, практически Карела. Литва сама искала прочного мира с Россией, Годунов выжидал. С терзавшим Россию крымским ханом Казы-Гиреем заключили вечный союз. Правда, для этого Годунов собрал и сам (!) повел в мае 1598 года полумиллионную рать к Оке, чтобы и этим вломить, да так, чтобы на долгую память. Шесть недель простояли лагерем, задорный хан так и не появился. Надо думать, хану разведка доложила точно: лучше не вылезать. А дальше уже в своем походном шатре бескровный победитель принимал ханских послов, передавших послание Казы-Гирея с предложением «вечного мира». А еще Годунов сумел наладить дружеские отношения с Англией, Константинополем, Персией, Римом и Флоренцией. Какое поле! И все это, не предавая интересов России! Кто еще из наших правителей был так же успешен на дипломатическом поприще?

Годунов пытался учредить университет, приглашал для этого европейцев, посылал дворянских детей в Европу...

Программа Годунова начнет (!) осуществляться только через сто с лишним лет!

Что же помешало? Смерть помешала, внезапная смерть, куда более странная, чем смерть царевича Дмитрия.

И как же эта смерть, затормозившая развитие страны на сотню лет, если не больше, как же вовремя она случилась. По щучьему ли велению, неизвестно, а вот по боярскому хотению, это точно. А как иначе понять все, что произошло сразу после смерти первого царя новой династии.

Новые претенденты на власть начали, как оно исстари ведется, и по сей день, с истребления памяти о так или иначе устранившем правителе, то есть с исправления истории.

Штрих. По повелению Бориса Годунова мастер Андрей Чохов отлил Царь-пушку. Она была установлена на Красной площади у Лобного места. Низвергнув имя и дело Годунова, воцарившиеся Романовы пушку уволокли и спрятали только потому, что в народе ее звали «Борисова пушка». И только в XVIII веке, когда Годунов как мудрый и деятельный правитель был предан забвению, когда имя его было прочно упаковано в криминальные мифы, пушку все-таки вытащили на белый свет, переименовали, очистив от неугодного имени, и сделали предметом национальной гордости.

Принято считать, что после смерти (заслуженной!) Бориса Годунова началась Смута.

А не стал ли Борис Годунов первой жертвой затеянной боярами Смуты?

VI

Мудрый историк Иван Егорович Забелин наглядно показал — Смута начинается прежде всего во дворцах. И последующий исторический опыт подтвердил справедливость типологии, открытой Забелиным. В дворцовой среде и приближенных ко дворцу сословиях ВСЕГДА существует тайное стремление «начать опасную и азартную игру в цари».

С чего начинается «игра»? С убийства.

Если законно избранный государь почил в бозе, тем более от подагры — чего прах-то тревожить, выкидывать из Архангельского собора, перезахоранивать на Лубянке в заштатном Варсонофьевском монастыре, да еще и без отпевания, как само-

убийцу? Кто же этой явной лжи поверит? Да никто, а возразить, как всегда, бывает страшно.

Тут же словно ждали и были готовы, бояре зверски расправились с законным наследником престола Федором Борисовичем, убили жену Годунова, дочь отдали в наложницы Лжедмитрию — вот нам в цветах и красках победа то ли «боярской демократии», то ли их же «коллективного руководства»! Видите ли, властолюбив был царь Борис. Зато обзавелись Лжедмитриями без счета, властью «Семибоярщины» насладились, призывали на русский престол и поляка, и шведа, за *отступное* пришлось расплачиваться и деньгами, и жизнями, и землями. От поляков еще и в 1618 году пришлось столицу защищать. А от шведов откупаться в 1634-м.

Изменническая власть бояр довела отечество до невиданного упадка. Дорого обходятся России неумные боярские похоти.

Народ на свои (!) деньги двинулся усмирять буйство своих правителей, восстанавливать жизнь, разрушенную этим правительством.

По смерти отца, Михаила Федоровича, первого из Романовых на российском престоле, его шестнадцатилетний наследник Алексей Михайлович, вроде молодец не робкого десятка, а смертельно боялся принимать корону, то бишь шапку Мономахову, помня, как управлялись с Федором Борисовичем Годуновым, наследником неукорененной династии.

Да и первый Романов, всенародно избранный, садился на трон не без страха. И мать его, старица в Ипатьевском монастыре, Марфа Ивановна, так прямо пришедшим звать сына в цари и сказала: «Просите вы сына моего на царство, а у вас в боярских сердцах злоба вкоренилась, над царевичем Дмитрием, что учинилось! А царю Василью Шуйскому какое поругание сотвориша, насильством постригоша да кроволакателям полякам в руки отдаша. А сыну моему тоже будет... А сын мой еще во младых letech, а время днесь обуреваемо, яко волнами великими покрывается». Вот она — боярская власть глазами очевидца!

Читая ни с чем не сравнимую пушкинскую поэтическую трагедию «Борис Годунов», я еще с первого прочтения и во все последующие не мог понять, отчего умер Борис Годунов. От нечистой совести?

Нечистая совесть как клинический диагноз летального исхода? Вроде бы есть свидетельство, что у Годунова хлынула кровь изо рта, ушей и носа. Я не врач, но при апоплексическом ударе, по-нашему при инсульте, который был диагностирован, клиническая картина другая. Кровь из ушей и рта хлещет при переломе основания черепа. Такую картину можно получить, ударив человека бейсбольной битой по загривку. Темная история, темная. Да и была ли в ту пору в Кремле бейсбольная-то бита?

По сути дела, мы имеем дело с мифом о Борисе Годунове, оправдывающим тех, кто приложил руку если не к его смерти, то к его уничтожению.

Ну что ж, Борис Годунов не первый, чьи жизненные реалии принесены в жертву поэтическому замыслу. Как еще сказать публично о том, что правителю с нечистой совестью не место на троне? Не писать же про Екатерину Великую или Александра Благословенного. Вот и Ричард Третий, последний король Англии из Плантагенетов, не был таким уж уродом и выдающимся злодеем, каким он изображен у самого Шекспира. Уже в XX веке был проведен в Англии специальный суд, оправдавший невезучего короля. Может быть, и Годунову подать в суд?

Не так уж много у нас среди правителей строителей и возделывателей жизни, чтобы не помнить добра.

VII

Трудно найти ответ на вопрос, почему отечественная историография к иным преступлениям и преступникам относится со снисходительным расположением, других же, даже без убедительных доказательств, признает непростительными злодеями. Никто не признается, но на деле-то получается так, будто есть хорошие, *правильные* убийства для захвата власти и есть убийства *неправильные*, предосудительные и непростительные. Нам остается лишь почувствовать разницу!

Разница проста. Хороший людоед — это тот, который ест других. А плохой людоед — это тот, который хочет съесть меня.

По российским законоположениям младенец Иван Шестой Антонович самый что ни на есть законный государь, внук племянницы самого Петра Великого и генералиссимуса русского войска Антона Ульриха, каковой тоже племянник, но австрийской императрицы Елизаветы. Но Его трехмесячное от роду Величество было свергнуто и заточено через 22 дня после провозглашения императором. Заговор и дворцовый переворот, учиненный *дщерью Петровой*, Елизаветой Петровной, по всем статьям — государственное преступление. Но в оправдание ему звучат патриотические напевы. А 24 года заточения законного императора, с младенческих дней до «загадочного» убийства, это длящееся преступление, переходящее по наследству от царствования одной незаконной императрицы к еще более незаконной Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской, в православии Екатерине Алексеевне. Но разве в глазах историков что-то может умалить очарование Елизаветы Петровны и величие Екатерины Алексеевны? Ну, а средства, примененные ими для расчистки пути к трону, всегда найдут достойных адвокатов.

Понятно хотя бы, почему дореволюционная историография фартила предприимчивым дамам, «всякая власть от Бога» и все такое. Но когда самодержавие само оказалось побежденным, почему же и в советское время, и ныне, во времена антисоветские, повторяются дореволюционные сказки, сочиненные для оправдания кровопролития в борьбе за власть?

Стоял у Екатерины на пути к трону муж, император Петр Третий, и надо же, какое счастье, пребывая под арестом, «скончался от желудочных колик». Впрочем, в письмах к своим конфидентам безутешная вдова по кончине мужа путалась в четырех диагнозах о причинах безвременной кончины супруга, там и «геморроидальная колика», и «воспаление в кишках», и, конечно, «апоплексический» удар, не назвала только одной причины — удушение дланью благороднейшего князя С. Ф. Барятинского.

Ну, удушили, путь свободен, и ступайте себе властвовать! «Всякая власть и т. д.» В добрый час! Но теперь будущей великой императрице не давала покоя тень Ивана Шестого, падавшая всего-то на стены каземата неприступной Шлиссельбургской крепости, и то изнутри. И надо же, какое своевременное несчастье! Не прошло и двух лет царствования государыни Екатерины Второй, как оказался убит прямо в тюрьме двадцатичетырехлетний Иван Шестой! Убит, представьте себе, собственной охраной якобы при попытке его освобождения! А несчастного Мировича, якобы пришедшего по собственной инициативе якобы освобождать злосчастного узника, приговорили к четвертованию. Чтобы лишнего не говорил, надо так понимать. Учинили скороспелый суд, вроде военно-полевого, а четвертовать на Сытном рынке начали с головы! Не по правилам, надо начинать с рук или ног, но бывают и исключения, ежели есть опасность, что с эшафота вдруг выкрикнет преступник несообразное последнее слово! Вдруг назовет «заказчика», а то и «заказчицу» ...

И в глазах счастливых победительниц никакие там ни «кровавые мальчики» в растревоженной душе, а прекрасно сложенные, мужественные, на все готовые фавориты, один краше другого, и все въяве!

VIII

Сегодня отечественный кинематограф посредством телесериалов *воздаст должное* царственным особам, в том числе и Елизавете Петровне, и Екатерине Алексеевне. Но их несравненные достоинства и дарования в одном случае нуждаются в унижении Ивана Шестого и его родителей, а во втором понадобилось создать для Петра Третьего и Павла Первого репутацию людей, совершенно непригодных для русского престола.

Особенно не повезло Петру Третьему. Но откроем книгу нашего современника, серьезного и честного историка Сергея Николаевича Искюля. Книга вышла в серии «Роковые годы России», «Год 1762. Документальная хроника». И когда историк *дал слово* документам, вдруг выясняется, как много значительных, сообщающих новое направление жизни в России дел успел совершить этот государь за полгода, отпущенных ему нетерпеливо рвущейся к власти женой и ее дружиной.

За одно прекращение войны, бессмысленной и разорительно затратной, обелиск в Ропше воздвигнуть!

«Вступление на престол нового императора (Петра III. — М. К.) ознаменовалось коренным поворотом в правительственной политике, который обернулся истинным благодеянием для большинства российских подданных», — читаем в помянутой уже книге С. Н. Искюля «Год 1762». В книге приводятся слова одного из первых беспристрастных исследователей недолгого царствования Петра Третьего, М. И. Семевского: «Этот государь, имя и дела которого так умышленно были доселе помрачаемы, совершил, так или иначе, бессмертное: он сделал громадный шаг к освобождению рабов российских; он освободил передовое русское сословие русского народа от зависимости, совершенно равной крепостному состоянию». Речь идет об Указе о вольности дворянства. В высшей степени логично. Пусть сначала господа сами-то от телесных наказаний отойдут, пусть сами перестанут быть холопами, пусть поймут, что такое свобода, пообвыкнут, а там уже можно и о свободе рабов подумать. Для шалопаия и бездельника, каким изображают государя Петра Третьего, как-то уж слишком серьезно. Добро бы один такой акт, а то ведь — дальше больше. И вполне последовательно и логично, что никаким шалопаиям не свойственно.

Чрезвычайно ценный сборник документов и прямых исторических свидетельств предъявлен публике, предпочитающей *натуральный* продукт, а не *жевки*.

Убитого изображают чуть не шутом гороховым, а он каждый день в Сенат ездил, не давал там спать радевшим о благе отечества боярам. За одно это, конечно, можно и убить. Когда убивали Лжедмитрия Первого, народу объяснили: после обеда не спит и в баню по субботам не ходит. И народ понял: «Нешто может быть природный царь, ежели после обеда не спит?»

Современники, а позже и Карамзин, считали указы Петра Третьего о вольности дворянства и ликвидации Тайной канцелярии, прекращении пыток при дознании и учинения смертной казни без ведома государя «славными и бессмертными». Звучит, как музыка сфер: «Тайная розыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсегда, а дела оной имеют быть взяты в Сенат, но за печатью к вечному забвению в архив положатся».

Начальные дни царствования, и, пожалуйста, никаких «мятежей и казней», даже наоборот.

Разве можно не заметить исправления к тому времени уже столетней несправедливости по отношению к старообрядцам, «раскольникам», третируемыми и гонимыми христоролюбивой властью. Это государь император Петр Третий начертал: приравнять старообрядцев к иноверцам. А быть иноверцем не считалось за преступление. Да как же этот «шут гороховый» посмел посягнуть на право святой православной церкви гнобить непокорных исключительно по своему усмотрению! Только Первая русская революция понудит власть к постепенному возвращению еще уцелевшим старообрядцам право молиться и жить на свой манер. Но ни в 1905 году, ни в 1976-м, когда возвращались права старообрядческой церкви, Петра Третьего вроде бы не вспоминали.

А если вспомнить и попытаться осмыслить возможные последствия реализации указа Петра Третьего об уравнивании старообрядцев с иноверцами?

В стране получает возможность существование «альтернативной» православной церкви. У православного населения страны возникает возможность выбора! Идти ли в церковь, ставшую государственным департаментом, требующим соблюдать форму под страхом самого сурового преследования, хотя бы и «лицемерья» (реальный термин, бытовавший в пору проведения никонианских реформ!), или жить в нормах национальной традиции. Надо ли говорить о том, что лицемерие — первый синдром духовной деградации. Может быть, и падение авторитета казенного духовенства не стало бы неизбежным. Может быть, в итоге не полетели бы кресты с церковей при полном равнодушии основной массы населения. Трудно предугадать все возможные последствия исполнения исторического указа Петра Третьего, но спасение многих тысяч здоровых русских людей от преследований и жестоких расправ очевидно. Сама власть настраивала старообрядцев против государства Романовых. Надо ли удивляться тому, что капиталы успешных в делах приверженцев старой веры станут служить революции... И надо ли удивляться тому, что после победы февральской аристократии, «боярства XX века», официальная церковь легко поменяла прославление царя и царствующего дома, на аллилуйю Временному правительству.

Не случайно же наш великий историк Сергей Соловьев свидетельствует: «К сожалению, блюстительница народной нравственности, главная участница в народном воспитании — церковь, представляла неутешительные явления, которые ослабляли уважение к ее пастырям» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М.: Эксмо, 2014. С. 639).

А не могло бы такое «альтернативное» православие обернуться войной по примеру католиков и гугенотов? По-моему, исключено. Если даже жесточайшее преследование старообрядцев не породило такой войны, так почему же доброе к приверженцам старой веры отношение могло породить кровавую междоусобицу?

Скажут, а вот староверы Пугачева поддерживали. Правильно, участвовали на добровольных началах в крестьянской войне Петра Третьего, за кого выдавал себя Пугачев. Так ведь Петр-то Третий их за людей считал, не хуже немцев и французов. Кстати, на знаменах пугачевцев двуперстия не было. Так что католики и гугеноты сами по себе, а у нас своя история.

Затронутый вопрос крайне непросто, консерватизм староверческой церкви тоже палка о двух концах. И тем не менее «конкурентная» ситуация, смею предположить, могла бы пойти на пользу обеим ветвям православного древа...

А Петр Третий еще и государственный банк учредил, о коммерции заботился, монастырские земли из управления монастырских служек отдал под управление отставных штаб- и обер-офицеров, упорядочив распределение дохода. Государь повелел, а Сенат приказал: крестьянам платить рубль, причем отдать землю, которую они прежде пахали на архиереев, монастыри и церкви... Надо думать, с лег-

ким сердцем проводили попы помазанника Божия в мир лучший. Разве разумный-то человек отдаст пахарю землю, его потом политую? Вот и объявили государя Петра Третьего чуть ли не дурачком.

И нынешние телесериальные историки преподносят почтенной публике все те же *жевки*, свидетельствуя о том, что «битва» за достойное место в нашей истории Петром Третьим проиграна вчистую.

IX

Каждая эпоха предъявляет спрос на созвучных времени героев. Уже в преддверии Великой Отечественной войны на экранах появились воины, герои и победители в Гражданской войне — Чапаев, Щорс, Пархоменко — и защитники, и созидатели Отечества отдаленных времен: Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр Первый...

Новое время, реставрация капитализма, низвержение советской власти, потребовало поменять политический иконостас, реанимировать героев, проигравших в Гражданской войне и совершенно поспешно, недальновидно и высокомерно отправленных советской историографией, как любили выражаться, «на свалку истории».

Ответом на потребность времени стал фильм «Адмиралъ». Он должен был вернуть со «свалки истории» не только единственно правильное написание воинского звания своего героя, но и воздать должное блистательному флотоводцу и полководцу, беспощадному ревнителю блага Отечества, Верховному правителю России, вождю Белого движения Александру Васильевичу Колчаку.

У сочинителей *художественной* версии биографии исторического лица, разумеется, нет обязательств строго придерживаться реальных фактов, не для отдела кадров сочиняется фильм. Фильм сочиняется для того, чтобы воздать должное историческому лицу, почтить его память, вспомнить дорогие черты нестигаемого патриота, несравненного воина, добросердечного отца и, главным образом, преданного любовника.

Одна из самых тонких, зыбких, подвижных границ в произведениях искусства лежит между художественным вымыслом и подчас совсем даже нехудожественными фактами, реальных биографий. Мастера искусства еще и мастера отбора. Это годится для главной идеи, а это прочь, не годится, высокую идею компрометирует. А если чего-то для убедительности главной идеи недостает в реальной жизни, можно и фантазии подпустить, в искусстве не возбраняется. Впрочем, плоды фантазии тоже разные. Золотые яблоки на яблоньке вполне поэтичны, а груши на вербе, как известно, вздор!

Фильм «Адмиралъ» сопровождался обильной, длительной и многообещающей рекламой. Обещали событие! Любовные драмы так не рекламируют. Есть все основания полагать, что создатели фильма о блистательном флотоводце и полководце решили дать бой тем, кто стал жертвой пропаганды минувших времен и сам не в состоянии оценить если не величие, то уж непреходящую историческую значимость и заслуги преданного своей же *дружиной* и уже потом расстрелянного большевиками Александра Васильевича Колчака.

Еще раз напомним, что фильм не диссертация и к оценке его достоинств, а может быть, и недостатков, нужно подходить, хотя бы сравнивая его с другими художественными произведениями. Почему-то на память приходит фильм «Незабываемый 1919», тоже кинокартина из времен Гражданской войны. Герой фильма — товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович. И то, что ему, его полководческой мудрости и человеческой отваге Страна Советов обязана победе в Гражданской войне,

фильм доказывает исключительно *художественными* средствами, пренебрегая никому не интересной фактографией, и немножко любуясь своим тоже блистательным героем, правда, без белого кителя, золотых погон и сабли, но зато в кожаной кепке и на бронепоезде. Белый китель и золото появятся и у него, но позднее.

Создатели фильма «Адмиралъ» так же, как и создатели «Незабываемого 1919», были стеснены то ли отсутствием реальных воинских подвигов избранных к прославлению героев, то ли их реальные заслуги сочли недостаточным для вознесения в Пантеон славы.

Действительно, как бы ни воспевался Колчак в качестве гения минных постановок, но морские минеры, при всей значимости и опасности их труда, флотоводцами никак считаться не могут. Да и по минной части авторам фильма приходится по известной традиции прежних лет делать *приписки* к воинской славе Колчака чужих заслуг. К примеру, гибель немецкого крейсера, подорвавшегося на mine в Черном море. Увы, крейсер подорвался до появления блистательного и самого молодого командующего на Черном море. Да еще и главные минные постановки были сделаны в Черном море до краткого появления Колчака в роли командующего. Вот и главные победные операции Черноморского флота, тот же успешный набег на Анатолийское побережье, были проведены, когда блистательный Колчак был капитаном первого ранга на Балтике.

Можно сколько угодно украшать своего героя, но на флоте доблесть измерима, измеряется она тоннажем потопленных кораблей противника и тоннажем своих потерь, выигранными морскими сражениями и проигранными и т. д.

Колчак, «в нарушение прав старшинства», из контр-адмирала от 10 апреля 1916 года стал вице-адмиралом от 26 июня 1916 года и получил под командование целый Черноморский флот. После выпуска из Морского корпуса в 1894 году, за двадцать лет службы, Колчак дорос до звания капитан 2-го ранга! А за два с половиной месяца из контр-адмиралов шагнул, пардон, приплыл, аж в вице-адмиралы! Гений! Но коллеги вздрогнули, да он же кораблем 1-го ранга не командовал, не то что соединением тяжелых кораблей, опоры флота! Надо ли удивляться, что Черноморский флот как раз в пору командования поспешно испеченным вице-адмиралом Колчаком понес самые тяжелые потери за время войны.

Чего стоит гибель на севастопольском рейде, даже не в бою, флагмана Черноморского флота, новейшего линкора «Императрица Мария». 25 тысяч тонн водоизмещения. 1220 матросов и офицеров экипаж. Четыре трехорудийные башни 305-миллиметровых орудий главного калибра. 20 орудий 130-миллиметровых в бортовых казематах. Крепость! О, Колчак любил этот великолепный корабль, любил на нем ходить по Черному морю, ибо не было в его водах такого большого, мощного, грозного и неуязвимого корабля. Линкор «Императрица Мария» взорвался на глазах едва проснувшихся севастопольцев 7 октября 1916 года.

В этот час большая часть команды, пребывавшей на борту линкора, как и полагалось, собралась после побудки на корме для молитвы. В 6.20 утра ахнул первый взрыв в носовой части. Снесло боевую рубку, фок-мачту и даже переднюю трубу. Люди горели заживо. За час на корабле прогремело, по одним сведениям, 15, по другим — 22 взрыва. В 7.15 корабль перевернулся и целиком утонул. Колчак даже прибыл к месту катастрофы и давал указания. Но начинающему вице-адмиралу, может быть, и не понадобилось бы геройствовать, если бы у него на флоте был порядок.

Как же такая катастрофа могла случиться? Флагман Черноморского флота, новейший линкор, вступивший в строй в середине 1915 года, безвозвратно погиб в начале октября 1916 года. До сих пор его гибель — загадка. Потому и загадка, что не хотят видеть отгадку.

Обычно пребывание командующего на борту подтягивает экипаж, поднимает дисциплину, но, надо думать, не всегда. Командир корабельной артиллерии линкора «Императрица Мария» князь Руссов на следствии на вопрос, можно ли было беспрепятственно проникнуть в пороховой погреб, показал, что люк в пороховой (!) погреб (!) вообще не запирался (!) и войти туда мог кто угодно.

Шесть утра, полусонное время, большая часть команды на молитве на корме, в пороховой погреб на носу может войти кто угодно! Здесь хватило бы пронизательности даже не Шерлока Холмса, даже не доктора Ватсона, а миссис Хадсон, чтобы проникнуть в тайну гибели новейшего линкора.

А вот следственная комиссия с участием великолепного знатока морского дела вице-адмирала Колчака составила такую хитроумно-обтекаемую резолюцию, что она могла бы служить образцовым документом всем любителям «заводить рака за камень». 29 октября 1916 года, всего через три недели после катастрофы, следственная комиссия все выяснила и закончила производство. Вот их вывод: «Прийти к точному и доказательно обоснованному выводу не представляется возможным. Приходится лишь оценивать вероятность этих предположений, сопоставляя выяснившиеся во время обстоятельств». Корявость языка выдает торопливость, с которой прятали концы в воду севастопольской бухты, на дне которой лежал убитый линкор.

А теперь вспомним. После разгрома нашего флота в Цусиме в преддверии новой войны «Императрица Мария» строилась в Николаеве с такой же поспешностью, как в Петербурге однотипные линкоры «Севастополь», «Петропавловск», «Гангут» и «Полтава». Их готовили к войне, но война для нас, как всегда, грянула «раньше намеченного срока». Не доведенные до ума корабли спешно отправили воевать. Одно время штаб Балтийского флота (адмирал Эссен) держал на линкоре «Петропавловск». Колчак служил в числе помощников адмирала при его штабе. Вот он и вспоминал на допросе в Иркутске, что линкор выходил в море, имея на борту по 300—400 человек рабочих! Доделывали, доводили, отлаживали то, что не было сделано на заводе. А «Императрица Мария»? Едва проплавав год, встала на ремонт. Каждый день на стоящий на рейде линкор доставлялись сотни рабочих! Разве можно за всеми уследить, особенно за теми, кто не хотел, чтобы за ним уследили? Даже в мирное время пребывание гражданских лиц на военных кораблях у порядочного командующего жестко регламентировано, а тут — война же идет! Но если признать, что среди сотен рабочих, имеющих доступ куда угодно, даже один оказался «не рабочим», нужно пойти и застрелиться или театрально выбросить в море хотя бы кортик. Поклонники оценят.

А чем командовал, на каких кораблях ходил блистательный флотоводец до этого? Эсминец «Пограничник», эсминец «Сибирский стрелок», водоизмещения 700 тонн и вооружения три пушки калибра 102 миллиметра.

Вице-адмирал, знающий морское дело как никто другой, просто и ясно объяснил, от чего взорвался линкор. От некачественного пороха в погребах носовой башни главного калибра! Дескать, во время войны качество пороха очень упало. Казалось бы, наоборот, но это у немцев качество пороха в войну улучшается. Кстати, что-то других случаев гибели боевых кораблей от собственного дурного пороха Колчак на допросе у большевиков не припомнил. Да и откуда было знать допрашивавшим большевикам, что на следствии артиллеристы погибшего линкора в один голос заявили: на корабль был поставлен качественный порох, и самовозгорание исключено!

Для лиц, не бывавших в погребах главного калибра, для государя императора к примеру, объяснение про порох в высшей степени достаточное. Его Величество даже утешительную телеграмму своему начинающему вице-адмиралу прислал. Но погреба боезапаса не склад и не камера хранения. Существует достаточно умная

и оснащенная приспособлениями система хранения взрывчатых веществ на боевых кораблях. От брошенного окурка не должны линкоры взлетать на воздух! Есть регламент — кому можно, а кому нельзя появляться в пороховых погребах. Есть система температурного контроля, орошения и т. д. Если на флагмане флота регламент не соблюдался, а система не работала, во что трудно поверить, так кто ж виноват?

Недолго пребывая в звании контр-адмирала, Колчак успел еще на Балтике покомандовать тремя эсминцами, в операции, проведенной контр-адмиралом П. Л. Трухачевым. Блистательный флотоводец и эрудит, великолепный полемист и непревзойденный знаток морского дела, если верить его панегиристам, рассеял (!) конвой рудозовов и утопил корабль охраны, переделанный из торгового судна. Да, для помещения в Пантеон маловато. Да и на «флотоводца» не тянет.

Но было же командование, правда по замещению, кратковременное, зато успешное, минной дивизией! Была же операция в Рижском заливе, удостоенная ордена Св. Георгия 4-й степени! Зрители припомнят этот красочный морской бой. Но и здесь не хватило рассказчикам про Колчака его собственных подвигов. А как же, спросят восхищенные зрители фильма о Колчаке, героический бой броненосца «Слава» с береговыми батареями немцев в Рижском заливе? Еще пятилетний сынок Колчака спросит вернувшегося из сражения папу: «Ты их бил по-колчаковски?» Бой действительно был, только вел его командир броненосца «Слава» контр-адмирал Вяземский Сергей Сергеевич. Во время артиллерийской дуэли с немецкими береговыми батареями он был убит в боевой рубке. Колчака на броненосце не было. И какой же художественный жанр выдерживает приписывание подвига, совершенного реальным историческим лицом, другому историческому лицу? Своего рода историческое мародерство. Таким образом, на поверку получается, что бить «по-колчаковски» — это чужими руками.

Так «чужими руками» в пору отправления Колчаком должности Верховного правителя России были расстреляны то ли 8, то ли 9 человек, он точно не припомнил, из последних членов Учредительного собрания. Колчак в эти самые дни приболел и вроде был не в курсе дела. Расстрелы шли своим чередом. Когда его ввели «в курс дела», он повелел «приступить тотчас же к расследованию, кто виноват, по чьему приказанию и при каких обстоятельствах произошло это событие». На суде его спросили: «А в дальнейшем вы выяснили, какие меры были приняты к тому, чтобы были разысканы виновные?» — «Все это дело велось военным прокурором, я в это дело не вмешивался», — сказал арестованный, умеющий завести рака за камень. Военный прокурор, как показал последственный, «выяснил факт и лиц, которые участвовали в этом деле, но выяснить, кем была поставлена эта задача, от кого происходило это распоряжение, установить не удалось». Правосудие «по-колчаковски». Кого расстреляли — известно, где трупы лежат — известно, на берегу Иртыша, кто расстрелял — известно, а вот кто велел убить — загадка. И здесь бы пригодилась чичиковская фраза из другого дознания: «Приходится лишь оценивать вероятность этих предположений, сопоставляя выяснившиеся во время обстоятельств».

Однажды рыцарственно прекрасный полководец заявил своему министру юстиции Тельбергу о недопустимости расстрела заложников. «В каком месяце это было?» — спросил на допросе председатель суда Чудновский. Речь шла о незабываемом 1919-м. «Я думаю, в апреле или в марте», — ответил Колчак, обладавший феноменальной памятью, судя по протоколам допроса, где Верховный правитель подробно рассказывает свою биографию и службу на разных должностях. «Разрешите напомнить о том, что в мае и июне расстреливали (так в протоколе. — М. К.) целую партию», — сказал председатель суда. Подсудимый смолчал. «Вы предложили Совету (национальному. — М. К.) обсудить вопрос о расширении прав командующих войсками в том смы-

сле, что за преступления, которые раньше не наказывались смертной казнью, было повышено наказание до смертной казни?» — спросил член суда Алексеевский. «Да, такие были распоряжения», — припомнил вице-адмирал. А вот о сжигании деревень распоряжения не было! Но преданные адмиралу войска воевали «по-колчаковски». Что это за война, лучше всего узнать у считавших себя нейтральными чехов, воевавших бок о бок с колчаковцами против красных. В ноябре 1919 года чехи опубликовали свое обращение к Союзному командованию — французам, англичанам и американцам:

«...Под защитой чехо-словацких штыков, местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии, по простому подозрению в политической неблагонадежности — составляют обычное (!) явление, и ответственность перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию...» И т. д.

На следствии Колчака спросят о выжженных деревнях. Правитель признается: бывало.

Слабонервные эти чехо-словаки, они ужасаются, думают, и весь мир ужаснется. У сочинителей фильма «Адмирал» нервы крепкие, и слышать не хотят ни о каких повальных порках, расстрелах, выжженных деревнях, кино-то про любовь. Ну, а если кто и наводил порядок на Волге, на Урале, где-то там, в Сибири, «по-колчаковски», так кому это интересно? Кстати, Малюта Скуратов, не нуждающийся в рекомендациях, был превосходным как раз полководцем и даже погиб в бою смертью храбрых. И отец был любящий, дочку свою хорошо выдал замуж за всевластного Бориса Годунова. Вот бы кино посмотреть про нежного отца! Пусть в титрах напишут, как нынче водится: идея такого-то и такого. Но от гонорара откажусь.

Пока еще рано судить, выиграли свою «битву за историю» вдохновители и создатели фильма о блистательном адмирале, или победа еще не полная. Но шаг к победе сделан! Вот и в нынешнем Санкт-Петербурге подхватили благороднейшую идею возрождения светлой памяти вице-адмирала Колчака, почти год возглавлявшего Белое движение. Но едва появилась мемориальная доска на Большой Зелениной, где он проживал, как ее тут же стали осквернять.

Впрочем, так же, как и мемориальную доску с барельефом Маннергейма на Шпалерной улице одни повесили, другие осквернили. Нет, не готов еще наш народ, особенно ленинградцы, а может быть, уже и санкт-петербуржцы, чтить память друга самого Гитлера!

Х

История — крайне прихотливая дама, одним она словно выдает сертификат, лицензию на одно-два, а то и тысячу-другую убийств, а другим, пребывающим на том же посту, и слезки ребеночка не забудут и не простят.

Впрочем, зачем далеко ходить?

21 сентября 1993 года первый «всенародно» избранный президент Российской Федерации подписывает памятный всем Указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Совершенно ясно, что такие «указы», антиконституционные, подписываются кровью. И была кровь.

Я был в эти дни в Москве. Утром был на Красной Пресне. Стоял за деревьями в Десятинском переулке, идущем от Садового кольца вниз, видел, как расстреливали

Верховный Совет Российской Федерации. Пули и у нас посвистывали. Добровольцы, под прикрытием пятящегося вверх КамАЗа, выносили раненых к вызванным по телефону машинам «скорой помощи» на Садовом кольце. У посланных атаковать Верховный Совет боевого обеспечения не было. Верховный главнокомандующий, он же президент, едва ли знал, что это такое.

События развивались странно. С Девятинского я оправился в редакцию «Нового мира». И уже днем, помню, кто-то принес в редакцию образцы разных документов из бюро пропусков Верховного Совета Российской Федерации. По первому этажу ходили досужие люди. «Красная Бастилия» пала. Можно приступить к ликованиям, но почему же пальба шла до позднего вечера? Председатель Верховного Совета Российской Федерации и его ближайшие сторонники были арестованы где-то к вечеру, часу в шестом. Стало быть, крошили не ближайших сторонников? Кого? Над зданием Верховного Совета еще в одиннадцатом часу вечера летали трассирующие очереди крупнокалиберных пулеметов. Попробовал пройти, понимал, что событие историческое, хорошо бы узнать до отхода поезда, кого там все еще добывали? Не узнал. Уже по Садовому кольцу стояло оцепление, и все въезды-выезды загорожены мощными грузовиками. Кого бьют, не ваше дело! Надо будет — скажут. Но президент говорил уклончиво, о жертвах смолчал, благоразумно молчала и его дружина, исполнявшая преступный приказ.

Не просочились ни в свободную российскую прессу, ни в еще более свободную зарубежную сведения о пресс-конференции для наших и зарубежных журналистов, устроенной председателем ВС Русланом Хасбулатовым в последние часы пребывания в осаде Верховного Совета.

Участников пресс-конференции пропускали на Садовом кольце через оцепление по списку в какой-то тетрадошке. Верховный Совет хотел быть услышанным. Но демократы, защищавшие демократию от Верховного Совета, устроили «звуковую завесу», чтобы и крика из заблокированного парламента не донеслось наружу. В оцеплении стояли агитброневики с мощными динамиками, солдаты их звали «желтый Геббельс». Гремел тяжелый рок! Я спросил солдатика у броневика: «Не оглох?» — «Чего, чего?» — переспросил все-таки оглохший солдат.

Откуда мне известно об этой не отмеченной в хронике событий пресс-конференции? Да я на ней был, в том самом зале с огромными окнами, обращенными к гостинице «Украина». Проник на фуфу, по писательскому билету, хотя пускали только отборных журналистов, и они не подвели. Видел и слышал генерала Руцкого, вбежавшего в черном плаще в зал с радиотелефоном в руке и с криком: «Слушайте, они отдали приказ стрелять!» Вскоре издали донеслись автоматные очереди. Стреляли недолго, но журналистов как ветром сдуло. Еще подумал, побежали жгучую новость сообщать. Ничего подобного. Побежали молчать! Нигде ни звука, ни о пресс-конференции, ни о стрельбе. Не видел бы всего своими глазами, не слышал бы своими ушами, так и не знал бы, как бывшие коммунисты кончали власть Советов.

Куда же смотрела в это время мадам (или все еще мадмуазель?) Клио. Это у богини правосудия Фемиды, второй законной жены Зевса, глаза завязаны, а этой-то, кто мешал видеть и помнить? После этих дней в Москве, разумеется, подумалось: сколько же рассеянная Клио проглядела за сотни-то лет столь же знаменательных и громких событий? Кровавых.

Много времени спустя сквозь зубы победители сообщили, что 2–3 октября было убито 158 человек, ранено 423. Поди проверь! Мы помним, как триумфально в августе 1991 года хоронили троих борцов за демократию. А этих 158 где-то тихой закопали. Как признался врач из морга, в эти дни поступали в основном люди в стоптанной обуви... И кто же за эту бойню ответил? Снова «победителей»

не судят и даже не осуждают. Перебить полторы сотни граждан, до полтысячи поувечить, эко дело! А вот как удалось при этом выиграть еще и «битву за историю», заставить ее закрыть глаза и молчать — вот опыт, достойный изучения.

Когда все шито-крыто, можно позаботиться и о приличном месте в Царствии Небесном для организаторов, исполнителей и пожинателей сочных плодов антиконституционного переворота, чуть приправленных кровью. В № 24 «АиФ» за 2017 год появилось интереснейшее высказывание вдовы первого демократически избранного Президента РФ. «По-моему, — призналась Наина Иосифовна Ельцина, — 90-е годы надо признать не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру». Комментарий редакции вполне демократического высокотиражного еженедельника краток и убедителен: «Похоже, в 90-е многие читатели „АиФ“ жили с уважаемой Наиной Иосифовной в разных Россиях...»

Действительно, Россия была «одна на всех», когда народ призвали ее спасти, а когда начали в «святые годы» делить, на всех, как всегда, не хватило.

Свое слово в «битве» за историческую справедливость сказал и первый, он же и последний Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев: «Я бы хотел сказать то, что я сказал. Вот и тут, в Москве, и там, в Киеве, и на Западе, и на Востоке, вот надо то, что произошло, принять, крепить, строить, выстраивать, все институты должны работать. И не надо тащить дохлых собак и кошек за все или 300, или 400, или 500 лет».

Здесь, как говорится, не прибавить и не убавить. Каждый борется за историческую правду, как умеет, доступными ему средствами.

Так что хотим мы этого или даже не хотим, но битва за историю, самая продолжительная, самая хитроумная, где «свои» и «чужие» — понятие зыбкое, переменчивое, эта битва не затихает. Скажут, слава богу, что она бескровная. Увы, частенько это «авангардные бои», идеологическая «разведка боем», а что там за ней последует, кто же скажет.

Прав был Александр Иванович Герцен: «Пути вперед не назначено, его надобно прокладывать». И хорошо бы нам самим различать, водят ли нас в трех соснах или заманивают ловко выстроенными огоньками в болото.

Говорят, в первый день творения Бог отделил свет от тьмы. Стало быть, до этого свет и тьма были ОДНО! А потом Бог твердь отделил от хляби, стало быть, они тоже были ЕДИНЫ!

Не этот ли первозданный труд возложен и на каждого из нас?

Осталось только понять — где свет, а где иллюминация, бенгальские огни, где твердь земная, а где «поле чудес», хлябь болотная.

Карен СТЕПАНЯН

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКА (2017)¹

Старец Зосима в «Братьях Карамазовых», объясняя, почему все за всех виноваты: «Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, с гневливою душой; ты и не заметил, может, ребенка-то, а он видел тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно, пожалуй, а все потому, что ты не уберешься перед дитятей, потому что любви осмотрительной, деятельной, не воспитал в себе» (Ф. М. Достоевский. Полное собр. соч., т. 14, с. 289–290).

Много лет прошло, а все помнится. В Токио стою на тротуаре, а на другой стороне улицы, напротив, стоит мальчик японский лет семи-восьми. Для меня и для него — красный свет. Я посмотрел — машин нет — и пошел на ту сторону. Он посмотрел на меня — и тоже пошел навстречу. На красный. И только время спустя я вспомнил это и подумал в ужасе: он ведь теперь так и будет ходить на красный. Если только Господь не пошлет ему человека, который объяснит, почему так нельзя. Опять перекаладываем наше нерадение на Бога. Это как в тех же «Братьях Карамазовых»: когда оба брата (Алеша и Иван) не стали сторожить брата Митю в страшную ночь убийства отца, Господу пришлось взять это на Себя.

«Евангелическая церковь Гессе и Нассау представила на посвященной 500-летию Реформации выставке в Виттенберге BlessU-2, работа-священника. Посетители могут получить от оснащенного тачскрином, головой и двумя источающими свет руками робота благословение на одном из пяти языков, женским или мужским голосом. „Идея была в том, чтобы спровоцировать дебаты, — сказал старший пастор церкви Стефан Кребс, — мы хотели, чтобы люди оценили, возможно ли быть благословенным машиной, или для этого необходим человек“» («НГ-Религии» от 7 июня 2017 г.).

Карен Ашотович Степанян родился в 1952 году. Доктор филологических наук, вице-президент Российского общества Достоевского, главный редактор альманаха «Достоевский и мировая культура», завотделом критики журнала «Знамя», старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, член Союза писателей Москвы. Автор монографий «Достоевский и язычество (какие пророчества Достоевского мы не услышали и почему?)» (1992), «„Узнать и сказать“: „реализм в высшем смысле“ как творческий метод Ф. М. Достоевского» (2005), «Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского» (2009), «Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени» (2013), «Путеводитель по роману Ф. М. Достоевского „Преступление и наказание“» (2014), «Шекспир, Бахтин и Достоевский: герои и авторы в большом времени» (2016), а также более 150 статей по проблемам русской классики, отечественной и зарубежной литературы. Живет в Москве.

¹ Предыдущие публикации фрагментов дневника см.: «Нева», 2016, № 5, 12; 2017, № 6.

В Виттенберге, если кто не помнит, начинал свою деятельность Лютер, к дверям Замковой церкви в этом городе он прибывал свои знаменитые 95 тезисов, положивших начало Реформации. Обновление, Революция, Свобода. Так чувствовали люди тогда и так пишут об этих событиях теперь.

Дебаты они хотели спровоцировать: необходим ли для благословения человек? В связи с этим вспоминается такая история (не знаю точно, может, и легенда, но выразительная). На заре космической эры, готовясь отправлять человека в ракету, специалисты одного космического ведомства направили запрос в крупный медицинский центр: в чем главное отличие космонавта-мужчины от космонавта-женщины? Ответ был получен такой: если уж вы этого не знаете, то как вообще можете столь серьезными вещами заниматься.

Учительница истории в школе: я рассказываю детям о Куликовской битве, а они отвечают: в Интернете написано, что такой битвы не было, ее придумали для ложного формирования патриотизма.

В каком-то городе (не разобрал в речи диктора) детям предлагали сделать прическу «Гитлерюгенд».

В метро поезд, посвященный Шекспиру. На вагоне с внешней стороны хэштег «#Шекспировские страсти». На распределительном щите — биография Шекспира. На внутренней стенке: «Весь мир театр, а люди в нем актеры». Это не Шекспир сказал, это говорит в его пьесе «Как вам это понравится» Жак, меланхолик и человеконенавистник. Но это бы ладно. Однако на внутренней стороне дверей написано: «Из ничего и не выйдет ничего». Это как должны понимать люди, готовящиеся к выходу и не очень хорошо знающие творчество Шекспира?

Если бы человек, человечество на протяжении многих веков своей истории занималось бы не совершенствованием своих технических возможностей (самолеты, машины, компьютеры), вооружений, бытового комфорта, а сосредоточило все усилия на постижении тайн духа, секретов мироздания, человеческой природы, отношений между Богом и человеком — как далеко можно было бы продвинуться в этом познании! Но без всего того, что упомянуто в первой части этой записи, возможно ли было бы такое адекватное познание? Для сидящего у костра в пещере человека? И опять же с другой стороны: ведь надо было лишь вспомнить то, что знал человек в раю. Но человек пошел по другому пути, на котором стал забывать все более и более. И когда много веков спустя ветхозаветные, а затем христианские пророки стали вспоминать, какое непонимание это вызывало! Да и сейчас. Связано ли экономическое преуспеяние с уходом от веры?

Фитнес-клуб «Онегин» (реклама в метро).

Вот было бы круто, если б удалось ехать на самокате и одновременно держать в руке пластмассовый стаканчик с кофе (пусть и пустой)! Но это удается не всем.

Подумать только, что было бы, если бы Россия проиграла одну из судьбоносных войн: крестоносцам, татарам в XIII веке, шведам в XVIII веке, французам в XIX веке, немцам в XX веке! Это не мелкие войнушки между Шлезвиг-Гольштейнами в Европе. Весь ход цивилизации пошел бы иным путем.

Что такое марши «Бессмертного полка»? «Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто» (слова Пьера Безухова из романа Льва Толстого «Война и мир»). Вот и сделали.

8 мая. Двое ведущих популярной радиостанции, запинаясь и заикаясь, пытаются сказать что-то о значимости завтрашнего праздника, о Победе и о войне, одновременно боясь сказать что-то «нелиберальное» и в то же время желая соответствовать.

Фильм «28 панфиловцев». Были попытки доказать, что это придумано пропагандой, что такого боя вовсе не было... Жена: «Да тогда двадцатью восемью панфиловцами были все защитники Москвы».

Фильм, к сожалению, очень средний. Но запомнился такой кадр. Один из наших офицеров вечером перед боем задумчиво смотрит в окно, на Запад. И подумалось: 700 лет прошло, но и в 40-е годы XIII века, и в 40-е века XX русские люди с горечью смотрели на Запад, откуда лезли закованные в металл убийцы.

9 мая. На одной из главных радиостанций страны зачитывают письмо слушательницы: «В этот день меньше всего хочется находиться в Москве: центр перекрыт, метро заблокировано (?). Надо гулять по маленьким подмосковным селам, где есть свои мемориалы, памятники военного времени». В центре Москвы в это время шел «Бессмертный полк». По логике автора этого письма — давайте в Москве праздновать ничего не будем, все разбредемся по маленьким селам, а Москва пусть останется пустой. И дело ведь не в том, что таково мнение одной из миллионов слушателей. Такое целенаправленно воспитывается, внушается, что так и должен думать современный разумный человек.

Образ-воспоминание, который уже много лет не уходит из памяти. В Барселоне, по-моему, заглянул в галерею, обрамляющую внутренний дворик какого-то монастыря. А по ней быстро уходил спиной к нам, назойливым туристам, сверкая тонзурой, подпоясанный веревкой средних лет монах. И вместе с ним уходила от нас тайна католического монашества.

Нашим спортсменам на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне не разрешают не только выступать под своим флагом и слушать при награждении свой гимн, иметь национальную символику в одежде, но даже петь российский гимн в своих гостиничных номерах (в наказание за допинговые проблемы, к которым эти спортсмены полностью непричастны, иначе их бы здесь не было). Даже многочисленные авторы всяческих антиутопий до такого не додумались. После этого в одном из центральных спортивных изданий наших — восторги по поводу этого чемпионата мира, работы волонтеров на входах («ощущение, что тебя ждут и любят, начинается именно здесь»), невиданной посещаемости и т. п. Ждут и любят, да.

Одним из скрытых положительных итогов распада СССР и краха коммунизма стало то, что оказался отброшенным флер противостояния «демократии» и «тоталитаризма», «коммунистической идеологии» и «прав человека» и т. п. — что могло морочить голову даже умным людям еще долго. Быстро и явно (что полезно) открылось всем думающим людям, что мы имели и имеем дело с многовековым противостоянием России и Запада, неприятием Западом идейных основ существования России (а нами — их оснований), с патологической ненавистью тех, кто всегда нена-

видел все русское, но не имел возможности и повода откровенно высказать именно это. Если в 90-е, когда казалось, что Россия навсегда утратила силу и значение, это не решались откровенно высказывать (или уже не видели необходимости), то лишь только выяснилось, что Россия вновь предстает прежним полноценным противником — понеслось, страх и ненависть мигом выплеснулись, да еще как. Те высказывания, позиции и призывы, за которые раньше можно было за решетку угодить за ксенофобию, клевету и разжигание межнациональной розни, теперь получили легитимность.

Пророчества Достоевского кажутся фантастическими. Да, если забыть о Православии и его громадной роли в будущем. Сам же он писал об этом: «Кто же считает православие за глупость и проч., тому слова мои непонятны» (ПСС, т. 24, с. 199).

«Россия есть прежде всего земля благочестивая и царелюбивая. Ее исторические предания ей так же дороги, как и ее вера, потому что и те, и другие истекают из одного источника. Россия то, что она есть, преимущественно потому, что она дочь Восточной Церкви, и потому, что она всегда оставалась верной ей. В Православии заключается ее право на бытие; в нем развилась протекшая ее жизнь, и в нем же задатки ее будущности» (Петр Вяземский. «Письма русского ветерана 1812 года о восточном вопросе», письмо третье, <http://www.pravoslavie.ru/38737.html>). Вот потому-то основная война и ведется сейчас против ее веры и против ее исторических преданий.

Действие в «Преступлении и наказании» происходит в основном в семье и среди самых близких Раскольникову людей, на маленьком пятачке в центре Санкт-Петербурга. Действие «Братьев Карамазовых» — на огромном пространстве России и всего мира (хотя де-факто — в маленьком Скотопригоньевске = Старой Руссе, в финале романа на мгновение превращающихся в Новый Иерусалим). Проследить расширение пространства у Достоевского.

Вот, например, французы, которые в конце XVIII века залили кровью всю свою страну, а потом и половину мира (наполеоновские войны), ни в чем не раскаиваются и не стесняются, по-прежнему называя свою революцию Великой. И не только они: у меня, например, недавно редактор моей книги вычеркнула во фразе «так называемая Великая французская революция» слова «так называемая Великая». Вот так-то. Каяться полагается только России, даже за то, что Гитлера победили не так.

Вот жил бы я, скажем, в княжестве Монако и закончил очередную работу по творчеству Достоевского. Отослал коллегам, в международный научный журнал, заявился на международную конференцию. Получил бы в лучшем случае три-четыре отзыва коллег, два-три вопроса на конференции. А здесь одна из студенток (не моих), получив и прочитав присланный по ее просьбе мой доклад, пишет мне: «Показалось так мало, так быстро все прочлось — и вот уже конец? Хотелось продолжения, как в детстве после захватывающей книги». Вот почему еще нужно жить в России.

Наверно, почти каждый верующий человек в минуты и дни тяжелых испытаний или страданий ближних задает вопрос Иова Богу: «Господи, за что?!» Но толь-

ко Достоевский имел смелость задать этот вопрос столь явственно и мудрость ответить на него столь полно: «Братья Карамазовы».

Реклама — и интервью наших спортивных чиновников и футболистов суть единственные два дискурса в современном мире, где нет никаких проблем и все довольны и счастливы.

Почему, когда говорят о вековом антагонизме между турками и греками, поляками и украинцами, французами и немцами, отвечают: это все в прошлом, а когда говорят о вражде многих (не думаю, чтобы всех) прибалтов или поляков ко всему, что связано с российским присутствием в этих странах, восклицают: это наследственная память о годах русской оккупации? Нет, серьезно? Неужели «русские оккупанты» творили больше зверств, чем турки на Балканах, бандеровцы на Волыни? И где ваша культура (если уж мы о духовном) — мирового уровня прежде? И почему, например, ведущие литовские режиссеры предпочитают работать в Москве?

Молодежь нынешняя «живет мечтательно и отвлеченно, следуя чужим учениям, ничего не хочет знать в России, а стремится учить ее сама. А, наконец, теперь несомненно, попала в руки какой-то совершенно внешней политической руководящей партии, которой до молодежи уж ровно никакого нет дела и которая употребляет ее, как материал и Панургово стадо, для своих внешних и особенных целей. <...> Вы спрашиваете, господа: „насколько вы сами, студенты, виноваты?“. Вот мой ответ: по-моему, вы ничем не виноваты. Вы лишь дети этого же „общества“, которое вы теперь оставляете и которое есть „ложь со всех сторон“. Но, отрываясь от него и оставляя его, наш студент уходит не к народу, а куда-то за границу, в „европеизм“, в отвлеченное царство не бывалого никогда общечеловека, и таким образом разрывает и с народом, презирая его и не узнавая его, как истинный сын того общества, от которого тоже оторвался. <...> А между тем ведь, в сущности, тут есть ошибка и со стороны народа; потому что никогда еще не было у нас, в нашей русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь (как бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной) в большинстве своем огромном была более, как теперь, искреннею, более чистою сердцем, более жаждущею истины и правды, более готовою пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России! Я это давно уже чувствую и давно уже стал писать об этом. И вдруг что же выходит? Это слово правды, которого жаждет молодежь, она ищет бог знает где, в удивительных местах (и опять-таки в этом совпадая с породившим ее и прогнившим европейским русским обществом), а не в народе, не в Земле. Кончается тем, что к данному сроку и молодежь, и общество не узнают народ. Вместо того, чтобы жить его жизнью, молодые люди, ничего в нем не зная, напротив, глубоко презирая его основы, например веру, идут в народ — не учиться народу, а учить его, свысока учить, с презрением к нему — чисто аристократическая, барская затея! <...> Прошлую зиму, в Казанскую историю нашу, толпа молодежи оскорбляет храм народный, курит в нем папироски, возбуждает скандал. „Послушайте, — сказал бы я этим казанским (да и сказал некоторым в глаза), — вы в Бога не веруете, это ваше дело, но зачем же вы народ-то оскорбляете, оскорбляя храм его?“ <...>

Чтобы пойти к народу и остаться с ним, надо прежде всего разучиться презирать его, а это почти невозможно нашему верхнему слою общества в отношении его с народом. Во-вторых, надо, например, уверовать и в Бога, а это уж окончательно

но для нашего европеизма невозможно (хотя в Европе и верят в Бога)» (ПСС, т. 30 (I), с. 21–25).

Это выдержки из письма Достоевского студентам Московского университета от 18 апреля 1878 года. Допускаю, что найдутся люди, несогласные со всем, что здесь написано Достоевским, а пуще всего с тем, что это применимо к сегодняшнему дню. Ну так перепечатайте это письмо (полностью) и спорьте с ним, а не друг с другом.

Спорят о том, что такое духовность. По-моему, просто — это желание и умение ставить духовные интересы свои, и своих близких, и своего государства, и всего человечества выше материальных. Правда, иногда материальное может быть неизменным сопровождающим духовного: чтобы творить, нужен какой-то минимум материального обеспечения, для сохранения Церкви часто нужна мощь государства. Тут необходима предельная честность: «и попечение о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13:14). Кроме того, бывает духовность и злая.

«Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:30). Порой вся жизнь уходит на то, чтобы постичь истину этого одного стиха Евангелия.

Столетие Русской революции

ДЕСЯТЬ ОТТЕНКОВ КРАСНОГО

1. Считаете ли Вы исчерпывающим образом осмысленным опыт Октябрьской революции? Почему идеи Маркса—Ленина и ныне привлекательны для молодых умов?

2. В известном письме к Сталину Булгаков упомянул еще и о том, что пасквиль на революцию написать невозможно, ввиду ее грандиозности. Согласны ли Вы с тем, что эта «грандиозность» равновелика таким жанрам как героический эпос, историческая драма, философский трактат? Написаны ли они уже?

3. Под влиянием Великого Октября изменилась социально-политическая жизнь Запада: культура, военное дело, церковь, семья. Какие изменения в этих сферах Вам кажутся главными?

4. Страшные издержки русской революции, десятилетия «красного террора»... Чем можно объяснить их жестокость и бесчеловечность? Непримируемостью большевистской идеологии? Осознанием общего движения к новой мировой войне? Нуждами национального выживания?

5. Может ли измениться Ваше отношение к опыту Октябрьской революции и при каких условиях?

6. В какой степени, по Вашему мнению, Октябрьская революция была результатом внутренних российских конфликтов, а в какой подготовлена участием внешних сил?

7. Октябрьская социалистическая революция — достояние археологов истории или «спящая ячейка» будущего?

Лев Аннинский, литературовед (Москва)

1. Опыт до конца не осмыслен. Да и где тот конец?

Само слово «революция» прихвачено у западных европейцев по ходу нашего самообмана. Я предпочитаю русское слово — Смута.

Смута — реакция на трагические перемены в судьбе страны. Все цели становятся смутными, и тогда решает убойная сила.

Что до молодых умов — им же не терпится все попробовать. От зацеперства до марксизма. Или еще до какого-нибудь призрака.

Главное — чтоб до новой Смуты не дошло.

2. Согласен: грандиозность велика, и осмысляться будет в разных жанрах. Предугадать, как и в каких — трудно.

3. Эти изменения произошли на Западе вследствие всемирной исторической катастрофы: мировой войны. «Великий Октябрь» — следствие этой катастрофы. Какие

изменения считать главными? Я думаю, те, что нависают над человечеством теперь, век спустя после тех, что уже произошли.

4. Человека нельзя улучшить, его можно только на время умиротворить. В природе человека — неутолимая агрессивность, смиримая самоотверженностью всепонимания и инстинктом любви. Жестокость и бесчеловечность в пору Смуты — попытка справиться с убийственной логикой войны.

5. Все зависит от того, как повернется очередная «перетяжка» мировых сил, которая неизбежна и уже идет (ревность цветных миллиардов к белому миллиарду, готовая перейти в ненависть). Если минует Россию эта «перетяжка» — минует нас и Смута. Если же втянут нас в это кровавое перераспределение сил, Смуты не избежать.

6. И то, и другое. Мы втянулись в мировую катастрофу, и внутренние конфликты ударили вовне.

7. «Спящая ячейка» продолжающейся истории. А как переназовется — археологи выяснят. К сожалению, постфактум.

Владимир Елистратов, доктор филологических наук (Москва)

1. Опыт Октябрьской революции, как и опыты любых подобных судьбоносных событий, никогда не будет исчерпывающе осмыслен. Думаю, что любое осмысление, даже если речь идет об осмыслении чисто профессиональном, то есть о педантичной работе с архивами, фактами, приводит к дальнейшей мифологизации. Людям нужны мифы, человечество все время обманывается и оно «само обманываться радо». А что касается идей Маркса-Ленина и идей других подобных личностей, тот тут ситуация, по-моему, ясная. Мало кто читал «Капитал», а кто читал — мало его понял. Но людям «отреферировали» дедушку Карла. И в «сухом остатке» осталось что? А вот что. Люди всегда не понимали, почему жизнь так несправедлива. Я такой умный — и такой бедный и несчастный. А он такой дурак — и богат и счастлив. Почему? Отчего? А Маркс отвечает, вслед за английскими экономистами: это все эксплуатация человека человеком, прибавочная стоимость. Их надо убрать, и все станет справедливо и хорошо. Очень простой ответ на очень сложные вопросы. Так поступают все революционеры. Вот все за ними и идут, особенно молодые бомбометатели-хунвэйбины. И идут «интеллектуалы», которые завлекательно «адаптируют-реферировуют» революционные идеи для вожаков хунвэйбинов-бомбометателей. А потом страстных «вожаков» пожирают те, кто мыслит уже без всякого революционного пафоса, чистые прагматики. И цикл возобновляется.

2. К сожалению, жизнь устроена так, что «пасквизации» подвергается все. В любой пропаганде (антипропаганде) есть элемент пасквиля. А насчет героического эпоса — по-моему, об Октябре и Гражданской войне сказано много по-настоящему глубокого и «грандиозного» (Шолохов, Булгаков, Платонов, Эйзенштейн и др.).

3. Думаю, Запад по-своему отрефлектировал русскую революцию. Особенно интенсивно — до конца 60-х годов. Но кардинально советский эксперимент глубинные структуры западного сознания не затронул. Я уверен, эти глубинные структуры (доминанты, константы) национальных сознаний вообще затронуть нельзя. И наш Октябрь с «марксистским Лениным» — это все те же смуты прошлого с их ересями, «подметными письмами» и прочее.

4. Опять же: «издержки» нашей революции, при всей их «ужасности», не представляют собой чего-то абсолютно нового ни у нас, ни в мире в целом. Французская рево-

люция, геноцид индейцев в Америке или крестьянские войны в Китае никак не уступали в кровавости нашим событиям. Но русская революция все же стала кровавым событием именно планетарного масштаба. Без нее не было бы Соединенных Штатов в их нынешнем виде, Китая в его нынешнем виде, России, Европы, Латинской Америки, Азии, Африки, опять же, в их нынешнем виде. Последствий русской революции никто предсказать не мог. Они стали (в перспективе века) самыми неожиданными. Благодаря Октябрю, например, современный Китай конкурирует с США. Стала независимой Индия. И т. д. и т. п. А что будет дальше (в конечном счете во многом благодаря Октябрю) — снова никто не знает.

5. Оно уже изменилось. В детстве я был октябренок и пионером, и для меня революция была поистине Великой Октябрьской. Потом, в 80—90-е, мне стали внушать, что все это было ужасно. И я отчасти поверил. Сейчас же я склонен думать так. Русская революция — одна из глобальных смут, которые происходили и будут происходить. Китайцы (снова я про них, «родных») смотрят на свою историю как на смену династий и смут, как на династические циклы. У них их было много. Каждая династия (Мин, Тан и проч.) получает т. н. небесный мандат («гэ мин») и живет лет двести. Плюс-минус. Потом она исчерпывает свой «мандат», и начинается Большая Крестьянская война, в которой может погибнуть миллионов 50—70. Последняя китайская смута произошла в первой половине XX века, благодаря Октябрю, и небесный мандат получила КПК, и еще лет сто будет им владеть. А потом — все снова. У нас цикл покороче, но тоже ничего. Сначала мандат был у Рюриковичей, потом — у Романовых, затем — у коммунистов. В перерывах — смуты. Сейчас, после смуты 90-х, пришел новый «гэ мин». Его называть еще рано. Но он пришел, и впереди десятилетия и десятилетия более или менее «стабильного мандата». Мы уже не такой молодой суперэтнос, чтобы по-подростковому рефлексировать насчет истории. Наверное, когда у древних китайцев случались смуты, они тоже переживали, отвечали на анкеты какого-нибудь древне-китайского журнала «Нева» насчет «кровавого террора» предыдущей династии, страстно осуждали его или оправдывали. Но даже Мао Цзедуну приписывают фразу: «Коммунизм — это маленький эпизод в жизни большого Китая». И наш Октябрь — тоже эпизод в жизни большой России. Кстати, Китай в результате последней смуты тоже потерял большие территории (одна Монголия чего стоит). Но никто не говорит о «развале Китая». А мы все время твердим о развале СССР. Не такой уж это и «развал». Посмотрите на карту. Да и вот он, новый Евразис... Поживем — увидим. Нет, все-таки, перефразируя классика, «история не терпит суеты».

6. Разумеется, и то и то. И «сами виноваты», и «наши партнеры» подсутились. Но главное, что результат-то оказался непредсказуемым — ни для нас, ни для них. В этом вся «прелесть» истории.

7. Я уже в целом ответил на этот вопрос (№ 5). Октябрь — это «достижение археологов», являющееся «спящей ячейкой» будущего. Птица Феникс возрождающаяся из пепла. Пепел, порождающий птицу Феникс, и никаких фукуямовских «концов истории».

Вера Зубарева, доктор филологии (США)

1. Идеи марксизма привлекательны для малообразованной публики (да и сам Маркс создавал свою теорию, опираясь на старые экономические представления и игнорируя новые научные теории своего времени). Под «малообразованной» я имею

в виду публику, не понимающую основ экономики и наивно принимающую политэкономии за экономическую науку. Политика — это то, что доступно здравому смыслу. Трудовая теория стоимости, взошедшая на четкой политической доктрине, привлекательна именно тем, что «она всегда была доступна логике и здравому смыслу» (А. Каценелинбойген). Научить же людей мыслить другими категориями столь же сложно, сколь пояснить туземцам, что земля круглая и люди на другой стороне шарика не ходят вниз головой и не сваливаются. Чтобы увязать глобальное видение Земли с локальным представлением о положении человека на ее поверхности, нужно обладать глобальным видением (А. Каценелинбойген). Кроме того, людей эмоционального склада привлекают гуманные идеи, как бы абсурдны или потенциально опасны для общества они ни были. Это опять-таки связано с трудностью целостного видения, свойственной определенному типу ума (не только молодого).

2. Булгаков лгукавил. Свидетельство тому — его собственные произведения. И «Роковые яйца», и «Собачье сердце», и «Мастер и Маргарита», и многое другое, вышедшее из-под его пера, — все это грандиозные пасквили на революцию.

3. Главное — это отторжение библейских ценностей. Оно повлекло за собой все — коррупцию в семье, культуре и отношении к войне и миру.

4. Любая революция отторгает Бога и заповеди. Десять заповедей базируются на принципе безусловности, то есть «не убий», «не укради» и т. д. безотносительно конкретных условий. Революция подменяет этот принцип принципом условности. Главное условие — идеология. Идеологического противника не грех убить, обокрасть и пр., и пр.

5. Нет, не может.

6. Исторический опыт показывает, что революции нуждаются в спонсорах, и они, как правило, приходят извне. Однако зерно всходит лишь на благодатной почве, а вирус поражает лишь ослабленный организм. Это обоюдный процесс взаимодействия внешних влияний и внутренней предрасположенности, но результат зависит от внутреннего потенциала системы. Чем он слабее, тем больше вероятность ее слома, и наоборот.

7. Революция всегда дремлет в организме страны. Организм нужно укреплять. Роль образования чрезвычайно важна. Но именно образования, а не насаждения контридеологии.

Борис Колоницкий, доктор исторических наук

1. Нет, опыт Российской революции 1917 года я не считаю осмысленным в должной мере. Многие авторы различных текстов находятся в поле влияния советской традиции, это касается и немалой части антикоммунистов, которые сохраняют историсофские схемы, меняя знак оценки с положительного на отрицательный. Другие, обличая марксизм, остаются на позициях экономического детерминизма.

Именно «лихая» попытка преодолеть советское прошлое пошлыми обличениями «совка», без ответственной и болезненной проработки прошлого делает неизбежной возрождение марксизма, или даже марксизма-ленинизма. Если коммунизм порождает антикоммунизм, то справедливо и обратное.

2. Думаю, что Булгаков лгукавил, пасквили он писал, многие читатели по ним и воспринимают и историю, и современную ситуацию (понимание украинского кризиса через тексты Булгакова нельзя не ощущать).

Немало есть талантливых текстов, но каждое новое поколение должно писать новую историю революции. Классики читателю начала XXI века недостаточно, нужны новые слова, новые образы, новые темы).

3. Социальное законодательство, антиколониальное движение, новые принципы организации политических движений, язык искусства и литературы XX века.

4. Все упомянутое важно. Но можно и добавить:

Специфическая культура конфликта в дореволюционной России, когда неполитические и политические конфликты разного масштаба превращались мгновенно в маленькие гражданские войны с использованием армии.

Прославление и легитимация революционного террора радикальным подпольем, в чем приняли участие многие деятели русской культуры.

Общая брутализация эпохи мировой войны и сопутствующих ей конфликтов (в том числе этнических и религиозных).

Общее влияние Гражданской войны. СССР создавался как государство, ориентированное на победу в гражданской войне. Институциональная память и выдвижение новой политической элиты в годы Гражданской войны оказали воздействие на последующую историю: во время различных кризисов обращались часто к практикам той поры.

5. Да, конечно. Прежде всего, оно может измениться под влиянием моего нового жизненного опыта. Так, опыт службы в армии, опыт перестройки серьезно повлияли на мое восприятие истории революции.

6. Вопрос поставлен не очень точно. Начало XX века это время комплекса революций — Российская, Персидская, Турецкая, Китайская, Португальская, Мексиканская, опять Российская — и т. д. Эти революции переплетались, оказывали друг на друга воздействия, порождали конфликты и войны. Так, во многих отношениях и Первая мировая война — порождение революций, прежде всего младотурецкой. Революция — глобальное явление.

7. Историк не должен быть прорицателем. Судьба истории революции непредсказуема.

Елена Крюкова, писатель (Нижний Новгород)

1. Опыт Октябрьской революции не только нынче не осмыслен до конца, но и не осмыслен многовариантно. Возможно, он и не будет осмыслен окончательно и бесповоротно. Этому событию, кажется, не грозит тотальное людское понимание. Есть исторические события, которые переходят в явления. А явление — оно фрактально. Оно очень объемно, и каждая эпоха рождает свое осмысление и собственное понимание происшедшего. Такова революция 1917 года. И сама-то революция многопластовая; сначала она явилась в одних одеждах — в платье Красной, кровавой Пресни 1905-го, потом в виде красной гвоздики Февраля, а потом и в виде залпа «Авроры» и захвата власти большевиками. Вот все думаю: зря Временное правительство заседало в Зимнем дворце — царский дворец плавал на поверхности времени слишком легко воспламеняющимся маслом. Но, как любой символ любой власти, которая хочет быть уничтожена другой силой, он подлежал нападению, разгрому и разрушению. Мир насилия был разрушен? Мы наш, мы новый мир стали бодро строить? Да нет, совсем не мы все, скопом, и совсем не бодро. Просто тот, кто взял власть, стал диктовать свои законы. Почти вся страна, лишившись царя, с сомнением и недоверием прислушивалась к этому диктанту. Но Ленин придумал невообразимо действенные, сносшибательные слоганы. Мир — народам! Хлеб — голодным!

Земля — крестьянам! Скажите, кто за такими обещаниями не пойдет? И ведь пошли! Еще как пошли!

Когда было вычислено, сколько народу к 1919-му году стояло под знаменами Белой гвардии, а сколько — под красными флагами Красной армии, люди поразились соотношению сил. Если белогвардейцев, к примеру, сражалось 150 тысяч, то на стороне Красной армии сражалось полтора миллиона бойцов. Почему? Прост ответ. За лучшую жизнь. За светлое будущее. Пусть мы утонем в морях крови — зато наши дети будут жить в светлом, чудесном счастье и в радостном мире.

В морях крови мы — да, утонули...

Было бы за что тонуть...

Идеи Маркса и идеи Ленина сами по себе — вроде бы провозвестники этого самого светлого и хорошего будущего. В них коммунизм предстает объективной реальностью, утверждается, что реальность эту вполне можно построить. «Мы наш, мы новый мир...» Опять? В который раз? Молодые, к величайшему сожалению, не понимают только одного: что те, кто серьезно вознамерился сделать революцию, свергнуть существующую власть и занять пустой трон, заняв этот трон, по прошествии какого-то времени, порой совсем небольшого временного отрезка, становятся точно такими же, какими были на этом самом троне их предшественники. Долой коррупцию? — сами становятся взяточниками и ворами. Долой жестокость и насилие? — сами строят такие же тюрьмы и такие же лагеря. Все для народа? — этот лозунг самый короткоживущий: вскорости новые владыки начинают грести все под себя и делать хорошо только самим себе и кругу приспешников, а народ как тихо страдал и терпел, так и продолжает тихо страдать и терпеть.

Однако перспектива заманчивая. Другие повладычили — долой их, повладычим теперь мы! «Отобрать и поделить!» — один из лозунгов современной политической партии, думающей, что она продолжает славные традиции большевиков и Совдепии. Читай: отобрать богатства у богатых и поделить их между нами, между теми, кто власть заберет. А отнюдь не между каждым гражданином несчастного государства, снова переживающим революцию.

Как все революции, она кровава и страшна: мы видели это на примере Украины. Как все революции, она защищает интересы тех, кто захватил власть, и жестоко преследует тех, кто (пусть даже едва заметно! робко!) восстает против нее. Во время гражданской войны и сразу после нее тебя убивали с приговором: «Враг революции». Потом, когда власть укрепилась, она ловко придумала новую формулу для уничтожения своих граждан: «Враг народа».

А резать баранов, причем массово, в этом случае надо. Обязательно надо! Так защищаются завоевания революции, сиречь, сохраняется завоеванная власть. И страшно, если народ вдруг восстанет и тебя низринет с завоеванного трона: ты с ним, тронном, уже сроднился. Поэтому революционеры, ставшие владыками, постоянно режут и обезглавливают свое стадо. Иначе — как наверху удержаться? Страх — мощное оружие.

Молодые — пассионарии, им нужно восставать и ниспровергать.

Они часто не видят, что за этим следует.

А зря не видят. Видеть бы — надо.

2. «Слушайте музыку революции!» — воскликнул Александр Блок. Любая революция, как, впрочем, и любое потрясение всякой отдельно взятой жизни, любая трагедия, любая драма, — это некое «сотрясение времен»; трагедия обжигает, она оставляет ожог на сердце миллионов, а внутри этих миллионов есть художники, они живо откликаются на эти страшные костры и горящие факелы, они их живо-

писуют, — отсюда такая расхожая легенда о том, что великие потрясения рождают великое искусство.

Но вот посмотрите. Мы можем обвинять революцию в жестокости, в ужасе разрушений, в том, что по земле разливаются моря крови... но именно русская революция была невероятным толчком к рождению первого русского авангарда! Стремление к монументализму, к гигантизму, к огромности Космоса, изображение народных масс, бегущих к распахнувшемуся небу, где оголтело катятся звезды и планеты, к краю мира, за которым — вспышки новых миров, строительство невероятных железных башен и дворцов, устремленных, как неведомые корабли будущего, в солнечный зенит, — это все появлялось у нас, в нашей русской культуре, на фоне затхлых халуп, дикой нищеты, голода, расстрелов, «две морковинки несу за зеленый хвостик», на фоне зверских пыток в ЧК и сожженных донских станиц и хакасских заимок, — и Родченко, и Павел Радимов, и «Окна РОСТА», и Мейерхольд, и Татлин, и Павловский, и Шадр, и Мухина!

Эпос революции сильными нашими художниками уже не раз написан. Разве «Тихий Дон» не таков? И «Хождение по мукам», и «Жизнь Клима Самгина», и даже не такое уж давнее «Красное колесо» — разве это не попытка этого самого осмысления революции, с какого мы начали разговор? И еще и еще раз, и еще много-много раз, прав старинный цыганский романс, писатели обратятся к этой страшной ломке времен. Старая Россия исчезла, убежала, улетела, сгорела, легла, расстрелянная, горами трупов под ноги новым людям — тем, что убили прежних и вообразили, что теперь-то они будут спокойны и счастливы. Нет. Трагедия только началась. И, что самое ужасное, трагедия продолжается. Знаете, старый Жан-Кристоф у Ромена Роллана говорит: «Ничему-то меня не научила жизнь! Я все вижу... все знаю... и никак не расстанусь с прежними иллюзиями».

Революция — вечная иллюзия лучшей жизни, за которую надо заплатить только кровью.

Бескровная революция приходит только во сне.

И вспоминаю Бетховена: «Что такое жизнь? Трагедия. Ура!». Глухой музыкант записал это в разговорных тетрадах. Потом, у Роллана, это повторил Жан-Кристоф.

3. Ну, культура Запада и его социальные институты — армия, церковь, — семейный уклад, частная жизнь изменились не только под влиянием русской революции, но просто под напором потока, течения времени. Это течение обладает силой, порой ломающей уклады и институты, и помимо революций. На Западе пришло время Ницше, и его рассуждения на ту тему, что человек сам себе Бог, что высший человек есть сверхчеловек, были крайне близки Максиму Горькому, но упаси Бог объявить себя в революционной России тайным или явным нищеанцем! Ницше, это же проклятая буржуазия, а Горький — певец революции и всех ее буревестников. А потом пришел Барт и объявил: «Автор умер». Сначала умер Бог, потом умер автор (значит ли это, что авторами внезапно стали все, масса, по Ортеге-и-Гассету?), а потом, следуя логике, должен умереть и человек. И, это понятно, все создание рук человеческих — вслед за ним: культура и цивилизация. Мы, кстати, сейчас, как никогда, близки к этой, последней смерти.

Как может измениться церковь на Западе вследствие Октябрьской революции? Католическая церковь давно уже пустила в стены храмов и рок-группы, и участников философских дискуссий, и как угодно трансформирует службу, пытаясь интересностью формы привлечь паству. Но это все происходит не из-за русского 1917-го года. А семья? Да, революционеры бросали в толпу умопомрачительные лозунги, вроде: «Женщина — стакан воды», «Общие жены», «Свободная любовь» и все такое

прочее. Но архаическая семья уцелела, правда, претерпев множество изменений, вплоть до узаконивания, в иных странах, однополых браков. Мы же, в нынешней России, изо всех сил сейчас пытаемся вернуться к патриархальной семье, всячески ее укрепить и оживить. Жизнеспособна ли окажется эта драматическая, больше скажу — героическая попытка? Но коллективное воспитание детей в неких бараках-коммунах, по Фурье, Оуэну и Ивану Ефремову, у нас не пройдет. На это у государства нет ни средств, ни коренным образом измененной психологии людей, ни уровня сознания общества в целом. Общество как было ориентировано на «мама-папа-я-дружная-семья», так и движется в этом направлении.

И тут никакие войны и революции пока не помогут.

4. О, нет. Только не нуждами национального выживания! И не осознанием того, что все опять движутся к всеобщей бойне. Вот давайте представим себе, что после смерти Ленина власть взял не Иосиф Сталин, а, к примеру, Каменев или Рыков. Или Бухарин. Или Зиновьев. Сталин сделал все возможное, чтобы после кончины Ленина унаследовать страну. Он спал и видел это.

Про Троцкого не говорю. Троцкий был, как и Сталин, патологически жесток. Это именно Троцкий обронил сакраментальную фразу: «Если мы уйдем, то напоследок так хлопнем дверью, что весь мир содрогнется».

К сожалению — но так устроен мир, и так устроен человек — общее движение, мейнстрим государства зависит от доброго или злого, умного или глупого, энергичного или безвольного царя. Каков поп, таков и приход. Сталину удалось выстроить невероятной мощи, невероятной отлаженности и невероятной жестокости государственную машину. Ее шестеренки продолжали работать именно потому, что время от времени, а это происходило часто, да что там, каждый день, шестеренки, гайки и винтики из общей железной массы выламывались, и на их место быстренько ставились другие. И других ждала та же участь. Люди просто не успевали опомниться.

Но так уж эту адскую машину сконструировал Сталин.

Как бы ее сконструировал Николай Иванович Бухарин, сын школьных учителей?

Как бы ее сконструировал Алексей Иванович Рыков, саратовский крестьянин?

И вот интересный вопрос: как бы ее сконструировали иные победители — если бы в кровопролитных сражениях Гражданской войны победила Белая Гвардия?

Давайте на минуту допустим такой вариант.

Вернули бы царя? Стала бы крепнуть Россия? Явился бы второй Столыпин и наконец решил самый болевой вопрос России, аграрной до мозга костей страны — крестьянский вопрос? Сбылось бы это: «Земля — крестьянам!»? Стали бы развиваться промышленность, наука, искусство? И вот этот вопрос, почему-то, когда вспоминают о советском строе, он всех волнует: полетели бы мы в космос?

Слушайте, балет и космос, да, это просто наши священные письмена.

Балет был и в царской России. А в космос вышла и капиталистическая Америка.

За наш блестящий балет и за наш триумфальный выход в космос мы заплатили десятками миллионов жизней, легших под гусеницы социалистического танка. В основном — крестьянских жизней. И, кстати, рабочих. И — военных! А духовенство и люди культуры и так погибли: или мучениками стали, или навеки убежали из России; это все равно что умерли.

Где здесь нужды выживания? Нужды этого самого выживания образовались именно потому, что произошла кровавая революция, взорвалась кровавейшая гражданская война и за ней, почти сразу, — раскрестьянивание, убившее крестьянство России на корню.

Да, идеология большевизма основана на жестокости и апологии «непримиримой борьбы». Эта борьба, в воспаленном сознании Сталина, растянулась на долгие

годы. Говорить о «контрреволюционной деятельности» в 1930-е, в 1940-е годы, в начале 1950-х было просто смешно. Однако миллионы людей в эти годы расстреливали и сажали в тюрьмы и лагеря по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР. Перечитайте эту статью. Волосы дыбом встанут.

5. Измениться? В какую сторону? В плюс уйти или в минус? В моей семье в сталинской тюрьме сидел дед, Михаил Павлович Еремин. Прадед Павел то и дело гремел в лагерь как контрреволюционер — он-то, простой самарский крестьянин! Сначала в Уссурийск, потом на поселение в Минусинскую котловину, потом выпустили и снова забрали — на Соловки, на пересылку, — и отправили в лагерь особого назначения на Новую Землю. Его расстреляли при попытке к бегству, за три месяца до освобождения, но как он на Севере выжил 15 лет — до сих пор не пойму. Крепкий был мужик; плотник. Дом отняли, хозяйство разграбили. Семья по миру пошла. Но остались жить; и выжили. От голода 1932—1933 годов погибла на Украине родня отца. Деда, Михаила Еремина, чудом спас следователь. Ему грозил расстрел по 58-й — за измену Родине. На него донес друг: якобы Миша в компании плохой анекдот про Сталина рассказал! Из тюрьмы он сразу пошел на фронт, в штрафбат. Всю войну прошел сапером. Думаю, его Бог спас. Он мне сам сказал: «Я выжил потому, что молился». Это советский солдат! Бежал в атаку с воплем: «За Родину! За Сталина!» — а, идя по минному полю, бесконечно молился.

Вот почему нам надо все время, со времен революции, выживать и выживать? Выживать на каждом шагу?

Нет, я понимаю, что в СССР было много хорошего. Идея социализма — это, как ни крути, идея лучшей жизни. Тот же фантаст Иван Ефремов в «Часе Быка» вот что про нас написал: «...Вот отчего даже у нас так сложно воспитание и образование, ведь оно практически длится всю жизнь. Вот отчего ограничено „я так хочу“ и заменено на „так необходимо“».

— Кто же был первым на этом пути? Неужели опять Россия? — заинтересовалась Эвиза.

— Опять Россия — первая страна социализма. Именно она пошла великим путем по лезвию бритвы между гангстеризующимся капитализмом, лжесоциализмом и всеми их разновидностями. Русские решили, что лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой о людях и с большей справедливостью, искоренить условия и самое понятие капиталистического успеха, искоренить всяческих владык, больших и малых, в политике, науке, искусстве. Вот ключ, который привел наших предков к Эре Мирового Воссоединения...»

Пытки в ГПУ — и детские санатории. Повальные расстрелы в РККА — и заводы и фабрики, новые рабочие места. Показная ложь партийных пленумов — и всеобщая грамотность и бесплатная медицина.

У революции нет знака плюс и знака минус. У нее — оба этих знака.

Но Россию революция, и такова объективная реальность, отбросила назад.

Поэтому Хрущеву, например, так важно было «догнать и перегнать». Самолюбие владыки страдало! Как же это, они, гады западные, убежали вперед!

А куда, в сущности, убежали? Есть еще такая драгоценность, как национальный характер. Русский характер такой, что русский в огне не горит, в воде не тонет. И он добр: он поделится последним, рубаху с плеча снимет. А вот куда убежал западный человек? К чему он прибежал? К бисексуализму? К толерантности? К культуре уюта во что бы то ни стало?

Эх мы, русские... «Уюта — нет. Покоя — нет».

Но зато есть нечто ценное в нас, неистребимое, то, о чем на Западе слыхом не слыхивали.

Вот эти слова Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде».

6. Все было тогда. И то, и другое. Низы взбудоражились, война измотала, революционная пропаганда усилилась как никогда. Время для революции ее апологеты выбрали хорошее, удобное: излом тяжелейшей на тот момент в истории, мировой войны. Февраль большевиков не устраивал. Не осуществлялась диктатура. Но и Европа бурлила. И Китай восставал. Идея мировой революции так или иначе владела умами во многих странах. Ленин о ней толковал в открытую, просто-таки кричал с трибун. Все это, сложенное вместе и многократно помноженное на правильно разработанную тактику большевиков, принесло плоды.

Послушаем самого вождя мирового пролетариата. Все равно лучше Ленина, идеолога и «двигателя» революции, про нее — из того времени — нам никто не скажет:

«Довод пятый состоит в том, что большевики не удержат власти, ибо „обстановка исключительно сложная...“.

О мудрецы! Они готовы, пожалуй, помириться с революцией — только без „исключительно сложной обстановки“.

Таких революций не бывает, и ничего кроме реакционных lamentаций буржуазного интеллигента нет в воздыханиях по такой революции. Если даже революция началась при обстановке, которая кажется не очень сложной, то сама революция в своем развитии всегда создает исключительно сложную обстановку.

Ибо революция, настоящая, глубокая, „народная“, по выражению Маркса, революция есть невероятно сложный и мучительный процесс умирания старого и рождение нового общественного строя, уклада жизни десятков миллионов людей. Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая борьба и гражданская война. Ни одна великая революция в истории не обходилась без гражданской войны. А думать, что гражданская война мыслима без „исключительно сложной обстановки“, могут только люди в футляре» (статья «Удержат ли большевики государственную власть?», 1917 год).

Если мы припомним тут западных банкиров, вложивших деньги в русскую революцию, немецкие финансы, благодаря которым Ленин в заплombированном вагоне, опять со революционными товарищами, приехал в кипящую Россию, мы не будем оригинальными: все это давно обговорено, сто раз оспорено и сто раз подтверждено. У истории нет сослагательного наклонения, это да, но у истории есть множество толкований.

Нет страны, изолированной от других стран. Все взаимодействуют, все находятся в общем процессе. Красные революции 1918—1919 года в Венгрии, Германии, Словакии, Италии — как на них подействовала революция в России, и как они реализовали свои собственные революционные планы? Все связано. Разъединить процесс порой бывает невозможно.

На первой мировой войне восставшими солдатами, уже встающими на сторону революции, были убиты многие офицеры. И на флоте что творилось? Матросы безжалостно казнили морских офицеров и даже капитанов. Если вспомнить, как все начиналось — и с чего все началось, — мы опять и опять приходим к страшному Четырнадцатому году...

7. «В моем конце мое начало» — вышила Мария Стюарт на шелке, сидя в заточении в замке Фотерингей. Это первая строка поэмы Гийома де Машо (XIV век). Так, как нет ничего отдельного в сиюминутном мире, нет ничего обособленного или ничтожного, неважного — в мощном ходе истории, в колодцах времен. Сто лет — ничтожный срок по меркам Большого Времени. Октябрьская революция была просто вчера. Толком ни мы, ни Запад, ни Восток ее не осознали. Мы еще не отделились от нее настолько, чтобы она для нас стала историческим артефактом, проблемой фи-

лософии. Она слишком близка, кровава и горяча. Мой отец родился в мае 1918 года — тогда был жив еще наш царь и царская семья. А мой покойный свекор уже воевал на фронтах первой мировой. По сути, все, что происходило в революцию, происходило с нашими отцами и дедами. С нашими живыми семьями.

Поэтому, если революция — яйцеклетка, из которой вырастет зародыш неведомого будущего, тогда нам остается только ждать. А то, что вырастет, а потом вылупится птенец — в этом нет сомнений. В мире все повторяется. Все есть реприза. Все возвращается на круги своя: и войны, и революции. И я только молюсь об одном: чтобы нашим детям и нашим внукам не потонуть в этих морях крови, что снова, в свой час, нахлынут на нас.

Михаил Кураев, писатель (Санкт-Петербург)

1. Ровно десять лет назад, в июле 2007 года, «Литературная газета» открыла дискуссию «Анатомия революции», предварив ее редакционной «врезкой»:

«Ныне, когда в общественном сознании и отечественных средствах массовой информации отчасти смыта грязноватая пена всевозможных конъюнктурных „анти“ — антикоммунизма, антиленинизма, антисталинизма, антисоветизма, пришло время взглянуть на главное событие начала прошлого века незашоренным взглядом...»

Взглянули?

По прошествии десяти лет можно сказать, что рано «Литгазета» распрощалась со «всевозможными „анти“».

Чем меньше достижений может предъявить обществу власть, чем больше расслаивается общество на сверхбогатых и выживающих, чем чаще люди задаются вопросом, а что же произошло, что же с нами сделали в лихие 90-е, откуда вдруг появились миллионеры и миллиардеры, и какие это труды общество так щедро оплатило заводами, газетами и пароходами, тем активнее сводятся счета с далеким прошлым, тем энергичней в «осмыслении» Октябрьской революции делается упор все на те же «всевозможные „анти“».

Беру *осмысление* в кавычки, постольку, поскольку чаще всего небескорыстную и целенаправленную манипуляцию фактами, именами и событиями выдают за раскрытие исторической правды.

Итак, два вопроса, два ответа.

Для контрреволюционеров опыт Октябрьской революции был «исчерпывающе осмыслен» 26 октября 1917 года — *преступление* или — самое мягкое — *историческая ошибка*, начало гибели России как великого государства.

Для тех же, кто видел в Октябрьской революции попытку построения общества справедливого, бесклассового, свободного от власти частной собственности, для осмысления *всемирно-исторической роли* и Октября, и СССР, и поныне представляется масса возможностей.

В чем привлекательность идей Маркса—Ленина для молодых?

Для молодых людей, еще не инфицированных идеологией лавочников, спекулянтов и умельцев присваивать незаработанное, полагаю, близки чувства, так искренне выраженные Александром Блоком, не считавшим буржуа, со всеми их достоинствами, вершинным творением истории человечества:

«Везде он. Господи боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я, он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти,

которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить. Отойди от меня, Сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слушать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, Сатана».

Привлекательность многих мыслителей и художников, как мне кажется, объясняется их способностью отрешиться от соображений, продиктованных исключительно эгоистической природой человека.

2. Сегодня, как мне кажется, даже говорить о грандиозности революции нельзя, нежелательно, моветон. Как заклинание висит в воздухе то ли кем-то научно обоснованное утверждение, то ли боязливое заклинание: «Россия лимит революций исчерпала!»

Хороший тон требует как можно больше говорить о жертвах, о трагедиях, муках и как можно меньше размышлять о неизбежности социальных взрывов, вызванных накопившейся в обществе, как в грозовой, извините, туче, отрицательной и положительной энергии. А что касается последствий взрывов, именуемых революцией, то лучше Энгельса не скажешь:

«Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, — что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать» (письмо Вере Засулич. 23.04.1885 г.).

Ленин писал о восстании как искусстве, но и революции, при всей их неизбежности, тоже не могут возникать и развиваться по правилам, по рецептуре, по планам, составленным на каком-нибудь съезде и утвержденным и профинансированным каким-нибудь генеральным штабом.

Бунт, заговор, переворот могут быть инспирированы. Проломить череп законному царю по желанию незаконной претендентки на престол всегда пожалуйста, придушить законного царя незапятнанным офицерским шарфом, если попросят и заплатят, почему бы и нет? Заговоры и перевороты — это вроде кожной болезни общества. А вот устроить революцию, коренным образом меняющую в огромной стране политический строй, весь уклад жизни, учинить революцию, порождающую новое общественное устройство, никакой кучке заговорщиков не по плечу.

Едва ли найдется мыслитель, берущийся утверждать, будто гражданские войны в Германии, Франции, Соединенных Штатах, даже в Финляндии, результат заговора, однако находятся сочинители, готовые сделать для России исключение.

3. В разное время — это влияние было разным. Разным оно, естественно, было и в различных общественных слоях и классах. Главным же последствием Октября для буржуазии мне представляется испуг, вполне основательный, который пережили «хозяева жизни» на ближнем и дальнем Западе. Они имели возможность воочию увидеть, чем может обернуться безудержный социальный эгоизм.

Увы, наши нынешние «хозяева жизни», получив справку, авторитетно заверенную: «Лимит революций исчерпан», — в ус не дуют.

4. «Обличение нравственной несостоятельности не может произвести непосредственно доброго влияния. Оно не способно устранить те условия, которые их породили». Соловьев. Соч. в 18 кн., т. 13, с. 12.

Скорее всего, те условия, что породили «издержки русской революции и десятилетия «красного террора», позади.

Но спрос на «жестокость и бесчеловечность» может быть удовлетворен и в новых условиях при новых обстоятельствах. Почему с такой готовностью у нас, или в революционной Франции, елизаветинской Англии, в Германии, да где угодно, спрос на жестокость и бесчеловечность мгновенно вызывает избыточное предложение услуг.

У нас во времена Александра Третьего Миротворца палач получал двадцать пять рублей за одного повешенного. Работа сдельная. Хлебная. Но — не каждый день. Когда предстояло повесить пятерых народовольцев, явилось множество добровольцев, заявивших готовность «*управить*», как они деликатно выражались, и за пятнадцать целковых и даже за десятку.

Спрос рождает предложение!

О жестокости.

Фрейлин, что разыгрывали на эрмитажной сцене пасторали, случалось после этого секли.

Вырезание ноздрей водилось в России XIX века.

Телесные наказания солдат были отменены только в 1905 году во время Русско-японской войны, и то, надо думать, не из гуманистических соображений, а из опасения, дескать, от поротого солдата с винтовкой можно чего угодно ждть.

У меня есть «прейскурант» — сколько стоил мужик, девка, «замужняя девка» (то же можно было продать!), с семьей, на вывоз и т. д. «Бревно дубовое — 3 рубля. Девка дворовая — 3 рубля».

Деликатнейший государь-император Александр Первый Благословенный запретил печатать в газетах ценники и предложение живого «товара» (крещеного! вышедший сорт!), а торговля шла и шла. Последний «ценник» у меня аж за 1851, едва ли последний. Выкупные платежи, эти кандалы крепостного права, были отменены только в Первую русскую революцию. Только революция 1905 года дала гражданские права крестьянству.

Вот вам и «бунт бессмысленный и беспощадный»!

А на что же еще могут рассчитывать господя бояре, никогда ни за что не отвечавшие?

Кстати, после Большой жакерии, крестьянской войны во Франции в XIV веке, исключительно беспощадной и в отношении дворян, и жестокой по отношению к крестьянам, отменили-таки крепостное право! А наши мужики, жестокие и беспощадные, эвон сколько терпели!

О беспощадности.

Почему православная церковь ни с кем так жестоко не враждовала, как со старообрядцами?

«Родные братья жестче враждуют, чем простые знакомые», — писал А. Суворин. Впрочем, это известно со времен Каина и Авеля, Ромула и Рема, со времен Святополка Окаянного и Бориса с Глебом.

Как правило, у катастроф не бывает какой-то одной причины. Вот полетел под откос осенью 1888 года царский поезд. О том, что погиб 21 человек, а ранено было 68, вспоминать не принято. Зато все помнят выдуманную делавшим карьеру С. Ю. Витте, какового на месте катастрофы не было, сказку о Геркулесовых подвигах Александра Третьего, не подтвержденных, кстати, уцелевшей в катастрофе ни государыней Марией Федоровной, ни другими участниками катастрофы.

Как такое могло случиться?

Кто виноват фактически в покушении на царскую семью?

Полно виноватых, сверху донизу. От министра путей сообщения до вороватых хозяев Азовско-Харьковско-Курской железной дороги, от начальника царской охраны до начальника поезда. Десятки-другой высокого ранга чиновников!

Кто ответил за «перевес» царского поезда в полтора раза, за превышение скорости на участке, где за два месяца до этого под откос уже слетел один пассажирский поезд, кто ответил за гнилые шпалы, за шлак вместо щебня в насыпи, кто ответил за гибель невинных людей?

Никто!

За несостоявшееся покушение на Александра Третьего — виселица, а за смерть двух десятков людей да за полсотни искалеченных, за реальную угрозу гибели царской семьи, императора, императрицы, наследника, дочерей царских — милосердное всем прощение.

Как же в стране, где понятие справедливости жило только на литературных страницах и в узком круге населения, как же в стране, где власть всегда могла оправдать любое преступление людей «классового близких», от расстрела мирной демонстрации до развязывания бессмысленной и кровопролитной войны, как же в такой стране, где произвол и безответственность власти «священны», не случится большой крови?

От нас все ждут покаяния. Кто ждет?

Возьмите те же депортации. Жестокость и бесчеловечность. Но это — у нас.

А вот как в США.

19 февраля 1942 года президент США Ф.-Д. Рузвельт подписал знаменитый указ № 9066, разрешив военным властям перемещать любую группу лиц с любой территории без судебного разбирательства, а лишь на основании «военной необходимости».

Жертвой рузвельтовской инициативы стали 127 тысяч японцев, проживавших на тихоокеанском побережье США.

Через несколько дней города и поселки побережья были украшены стандартными объявлениями:

«Приказ всем лицам японского происхождения... Граждане США или нет, подлежат депортации из (данного) района к 12.00 дня (такого-то числа). Размеры и вес багажа ограничиваются тем, что может унести в руках отдельный человек или семья».

Японцев депортировали в лагеря для интернированных. Их возвели в пустынной либо заболоченной местности.

Эта акция стала мстью японцам за удар по американской военно-морской базе Перл-Харбор на Гавайских островах.

С апреля 1942 года американские колледжи стали отказывать американцам японского происхождения в приеме на учебу.

В Ленинградском театральном институте, где я учился, была Чечено-ингушская студия, готовившая кадры для национального театра.

127 тысяч — это же так мало!

А есть и миллионы.

Про выселение трех миллионов судетских немцев из Чехословакии после войны кто помнит? Отмечаются ли памятные даты, как у нас? Высылали по трем декретам Бенеша, принятым при поддержке союзных держав в июне—октябре 1945 года. Немцы лишались чехословацкого гражданства, а их имущество конфисковывалось. Есть сведения о том, что были расстреляны тысячи судетских немцев, просто в отместку за что-то, по «подозрению» к симпатиям к фюреру. Приказ новых властей — на сборы 15 минут, пять марок на дорогу на одного человека. Никаких личных вещей, ценностей, документов (кроме пропуска из зоны), в первые часы начала выселения были зафиксированным массовые случаи самоубийства, самосожжения домов с семьями.

А мне всегда казалось, что чехи — народ добродушный, мирный, на жестокости неспособный. От немцев они не очень и пострадали, с полной нагрузкой усердно работали, обеспечивая прекрасным оружием и снаряжением вермахт. Даже движения сопротивления в Чехии не было. Помним, конечно, был Юлиус Фучек, поддержавший честь нации.

Кто-нибудь призывает чехов покаяться и вернуть обратно судетских немцев? Что-то не слышно.

Жестокость и беспощадность — это поступки, а поступки совершают люди.

В своем романе «Саамский заговор» я пытался найти для себя ответ на вопрос, почему «Большой террор» в 1938 году не обошел крохотное в две тысячи душ племя саами. Изучая материалы, видел директивы, шедшие «с самого верха» по правым уклонистам, левым уклонистам, троцкистам, зиновьевцам, буржуазным националистам...

Страшно читать о «спущенных» лимитах, областных и краевых разнарядках — сколько должно быть «выявлено и обезврежено». Но в отчаяние повергают обращенные на этот самый «верх», идущие «снизу» настоятельные просьбы об увеличении «лимитов». Этакий встречный план!

Вот и «саамский заговор» был сочинен не Сталиным с Ежовым, а младшим лейтенантом госбезопасности Михайловым без всяких указаний «сверху». Домишко директора Мурманского краеведческого музея приглянулся бесстрашному чекисту... Вот и стал ученый, специалист по саамским диалектам, заговорщиком. Ну, для бесстрашного чекиста это хотя бы побочный промысел, по специальности, а кто бежал в Смольный и пугал партийных начальников, дескать, Четвертая симфония Шостаковича безусловно антисоветское сочинение? Свой же брат, музыкант из академического оркестра. А кто *клепал* на коллегу писателя? Свой же брат — сочинитель.

Я не был принят на Высшие режиссерские курсы по доносу коллеги со студии «Ленфильм», где к тому времени проработал двенадцать лет. Про донос годы спустя мне рассказал советник председателя Госкино, бывший мой институтский преподаватель. Ни в коей мере не примазываюсь к жертвам, даже написал рассказ «Привет стукачу!». Вспомнилось потому, что и в *мирном* 1973 году кто-то садился и писал, а кто-то читал и *делал выводы*, чтобы потом не упрекнули в недостаточной зоркости.

И об этом надо помнить.

Оказывается, общество на веки вечные инфицировано разного рода гадостями. При благоприятных условиях инфекция оборачивается эпидемией.

Заботы власти об устранении политических оппонентов — одна сторона медали, но будет ли когда-нибудь подсчитан и оценен «энтузиазм масс» и личный вклад доносчиков, провокаторов, карьеристов, интриганов и палачей-добровольцев, от «чистого сердца» обслуживавших террор и участвовавших в терроре?

Да и когда, в какие времена на Руси, в России ценилась человеческая жизнь? Нам ли задаваться этим вопросом, живущим в городе, построенном на костях.

5. Едва ли такие условия появятся.

6. С «внутренними конфликтами», более-менее ясно.

А можно ли считать социалистические и коммунистические идеи «внешними силами»?

Ведь Маркс, скорее всего, прав, утверждая: идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Но идеологические, политические, социальные корни революции — тема скучная, иное дело «внешние силы»!

О внешних силах.

Во время Русско-японской войны произошла революция. Вся бульварная пресса патриотического толка была переполнена неопровержимыми доказательствами того, что «революция устроена на японские деньги».

Сказано — на иностранные деньги, и всем понятно: и дворнику, и кухарке, и патриоту-интеллигенту.

Презируя отживающую власть, общество дошло до того, что приветствовало в открытую военные успехи японцев. Может быть, тоже за японские деньги?

Солдаты возвращавшейся с войны армии, как пишет участник войны В. В. Вересаев, выкидывали офицеров из классных вагонов, случалось, и убивали, о том, чтобы отдавать честь, и речи не было.

И это на японские деньги?

Был такой авторитетный публицист М. О. Меншиков, патриот, каких поискать! за что и был расстрелян бесстрашными чекистами-интернационалистами на глазах своих детей на Валдае в незабываемом 1919-м. Вот он, отнюдь не сочувствовавший революции 1905 года, ответил искавшим японскую подоплеку и деньги в сотрясавших страну событиях. Надо очень не уважать свой народ, писал он, надо совершенно его не знать, чтобы допустить мысль о том, что на какие-то деньги можно поднять страну на восстание.

Конечно, бульварная пресса самый авторитетный и влиятельный историк, но брать ее себе в учителя и наставники, избави бог!

7. Неожиданно на этот вопрос, как мне кажется, ответил Ленин в статье «О брошюре Юнниуса».

Совершенно очевидно, что сегодня, если Октябрь считать революцией, победила, взяла реванш контрреволюция. Из застенчивости эти победители, как правило, бывшие преданные строители коммунизма, не прибегают к столь ясной формулировке. Для них в словечке «контрреволюция» все еще видится что-то нехорошее. Вот они и жеманятся: «реформы», «демократические преобразования», «возвращение на путь цивилизованных стран»... А чего стесняться-то? Еще Салтыков-Щедрин им подсказывал: «Стесняться некого, да и некогда!..»

И почему-то контрреволюция не хочет признать главной своей победы!

Октябрьская революция ниспровергла не царскую власть, с ней покончил Февраль, Октябрь низвергнул частную собственность «на орудия труда и средства производства», прекратилась власть капитала в политическом смысле и власть денег в повседневном. Вот в чем суть и всемирно-исторический смысл Октября. Банально? Но дважды два тоже «банальность».

Бывший коммунист Ельцин и близкие ему бывшие коммунисты-пособники вернули власть капиталу (вспомним хотя бы «семибанкирщину», знаковое порождение контрреволюции!) и вновь вернули сакральный смысл частной собственности, объявив ее СВЯЩЕННОЙ!

Врезались в память замечательные слова Галины Васильевны Старовойтовой, услышанно-увиденные, надо думать, не мной одним, в телевизоре: «У вас спрашивают, откуда деньги? Ударьте его по лицу!» Вот девиз победителей!

Дележ окончен! Всем — спасибо.

Судя по «исчерпанности лимита на революции», власть денег уже навсегда.

И вот на этот счет мнение Ульянова-Ленина:

«Представить себе всемирную историю идущей гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скачков назад, недиалектично, ненаучно, теоретически неверно». (ПСС, т. 30, с. 6).

Роман Сенчин, писатель (Екатеринбург)

1. Конечно, нет, если мы вернулись в капитализм. Причем еще более дикий, чем был до 1917 года.

Идеи Маркса и идеи Ленина, если присмотреться, разные. Маркс до сих пор востребован в мире — Европа живет, в общем-то, по советам. Вернее, учитывает его предупреждения. Недаром Карл Маркс был признан главным мыслителем тысячелетия... Ленин же ассоциируется со стихией, с революцией. Революция — очень привлекательна для молодежи. Резкая смена всего мироустройства... Октябрьская революция коснулась не одной России, весь мир отозвался своими революциями. Их топтали где большей, где меньшей кровью. После этого мир стал читать Маркса.

Интересно, конечно, что случилось бы с нашей страной, доживи Ленин работоспособным хотя бы до 1930 года, а не сойди со сцены в 1922-м. Мне кажется, у нас бы после ликвидации последствий Гражданской войны установилась социал-демократия. И исторический портрет Ленина выглядел бы иначе.

2. В общем-то, грандиозные произведения литературы о революции и Гражданской войны были написаны в 1920—1930 годы. Один «Тихий Дон» чего стоит. После этого пошли чаще всего вариации, а то карикатуры умышленные или неумышленные.

3. Я уже написал, что Европа вчиталась в Маркса и построила почти социализм. Хотя и очень дорогой ценой — ужасом Второй мировой войны. Думаю, не появившись Гитлер, Европа все равно бы прошла через нацизм (а он был популярен чуть не во всем мире), страшную войну. И в конце 1940-х началось строительство социальной демократии пусть и под вывеской капитализма.

4. Террор был и красным, и белым. И белый не закончился с окончанием Гражданской войны... Я бы не сваливал все на большевистскую идеологию. Шаламов требовал не смешивать Сталина и социализм. Объяснить все, что происходило в конце 1920 — в 1930-е, да и позже я не могу. Понятно, что Сталин устранял конкурентов, но зачем подписывал длинные расстрельные списки ученых, военных, идеологов, я понять не в состоянии... Есть несколько свидетельств, что 22 июня 1941-го он был в панике и растерянности. Видимо, осознал, что лучших людей страны он уничтожил, и сражаться, изобретать новое оружие, настраивать людей на борьбу, по существу, некому. Жуков писал, что учился воевать уже во время войны. Так же и остальные. Оставшиеся в живых после репрессий конца 1930-х.

5. Сама Октябрьская революция была неизбежна. Народ ее хотел и принял мгновенно. Дальнейшие события могли развиваться по-разному. Но не нашлось сил, чтобы сбросить пришедших к власти... Хотел написать «большевиков», но пришли к власти разные силы. Эсеры, анархисты, даже некоторые меньшевики... Сил, чтобы их свергнуть — не нашлось. Революция очень многих окрылила. Можно вспомнить статьи Блока о революции, стихотворения Клюева, Есенина... Дальнейшее — гражданская война, коллективизация, ГУЛАГ — к революции имеет мало отношения.

6. Да нет, конечно, Октябрь был результатом внутренних конфликтов. И — свободой, наступившей после Февраля. Ведь как бы было хитро и ловко, если бы Временное правительство заманило большевиков, эсеров, анархистов из эмиграции в Россию и пересадало бы их лидеров. Революция бы в любом случае произошла бы, но без Ленина, Троцкого ее бы задавили... Не знаю, не знаю. В те дни сошлось очень многое, и революция, по-моему, стала неотвратима.

7. Я думаю, идеи социализма и даже коммунизма в России будут жить. Сейчас мы еще не отошли от революции 1991 года, еще верим в капитализм с человеческим лицом. Славить Октябрьскую революцию не принято, так как сразу затыкают репрессиями, Сталиным. Но идеи Октября были правильными, и, по существу, они не были реализованы в полной мере. Думаю, к ним общество еще вернется. Хорошо бы — без гражданской войны.

Евгений Степанов, поэт (Москва)

1. Опыт революции, на мой взгляд, еще будут долго осмысливать. Точка здесь не поставлена. Идеи Маркса—Ленина живут потому, что элементы социалистического общества (и даже коммунистического) есть во многих богатых западных странах —

в Германии, Швеции, США и других. Коммунистический девиз «От каждого по способности — каждому по потребности» очень хорошо прижился, например, в ФРГ, где тысячи людей не работают и не хотят работать, но пресловутые «Джоб центры» (центры занятости) обеспечивают этих людей минимумом, необходимым для жизни, посылают их на учебу на всевозможные курсы, оплачивают жилье и т. п. То есть государство дает своим гражданам то, что им нужно — по потребности. Если же хочешь больше — пожалуйста, работай, пробивайся. И у тебя будут виллы, дорогие, машины и т. п. Хочешь довольствоваться малым — богатое немецкое государство тебя этим обеспечит. Это и есть, на мой взгляд, коммунизм, о котором мечтали Маркс и Ленин.

2. Думаю, что мы все до конца еще не осознали масштаб драмы под названием «революция». Революция — это кровь, насилие и — прежде всего! — передел собственности. Красивые лозунги служат приманкой для реализации вполне практических целей. Так было и у нас, и во Франции, и в других странах. Человек (человечество) должен идти только путем эволюции, день за днем становясь лучше, милосерднее, трудолюбивее, даже, если угодно, богаче. Первые годы революции, судя по мемуарам писателей (особенно меня потрясли «Окаянные дни» И. А. Бунина и мемуары З. Н. Гиппиус), были ужасные. Потом (особенно в брежневскую эпоху развитого социализма) жизнь стала, конечно, намного легче, проявились некоторые положительные моменты социалистического общества, о которых я говорил выше — бесплатная медицина, бесплатное образование... То есть и социалистическое общество эволюционировало. Но в целом революция, на мой взгляд, остановила поступательное развитие России.

3. Я не могу назвать октябрьский переворот Великим Октябрем. Прожив довольно долго в США, Швейцарии, Франции, Германии, увы, не берусь сказать, как первое социалистическое государство повлияло на культуры, военное дело, церковь и семью на Западе. Вряд ли метод социалистического реализма стал локомотивом для буржуазного искусства Запада. Хотя, разумеется, многие выдающиеся советские художники оказали влияние на культуру зарубежных стран — Эйзенштейн, Тарковский, Параджанов, оператор Урусевский, Шнитке, Губайдулина...

Но это — влияние отдельных личностей. Подобное влияние (взаимовлияние) русской культуры было и до революции. И в гораздо больших размерах.

В целом же железный занавес нанес колоссальный ущерб и отечественной и зарубежной культуре.

Мне в связи с этим вопросом вспоминаются слова классика: «Новаторы до Вержболова, что ново здесь, то там не ново». Но вот в социальном плане (бесплатная медицина, бесплатное образование) социалистическое общество, безусловно, дало урок Западу.

4. Слаб человек. И не только добро есть в человеке. Это надо знать. Те, кто закупают революции, пробуждают в человеке именно зло. И это тоже надо знать. И, конечно, надо помнить о том, что в основе основ лежит экономика. Концентрационные лагеря, которые были при большевиках, возникли прежде всего из-за того, что новой власти нужна была дешевая (точнее бесплатная) рабочая сила. Как-то так странным образом получается в родном отечестве, что у нас постоянно доминируют элементы феодального строя. При царизме было крепостное право, потом — при советской власти — у крестьян долгое время не было даже паспортов, огромное число людей ни за что сидело в тюрьмах. И все это не оттого, что люди плохие, а оттого, что небольшая группа сильных мира сего (ранее дворянство, позднее — партийная номенклатура, сегодня — олигархат) владеет (де-факто или де-юре) всеми ресур-

сами страны. И, конечно, удобно давать людям пайку, нещадно и бесчеловечно их эксплуатировать, а не платить нормальную зарплату. Идеология — производная от экономики. Но экономика, построенная на терроре и беспощадной эксплуатации, обречена на провал. Это колосс на глиняных ногах. Только свободная экономика, когда созданы условия для креативного труда, обогащающего реального производителя, может вывести страну из тупика — опыт НЭП это доказал.

5. Я не сторонник никаких революций. Я сторонник ежедневного кропотливого труда, эволюционного, постепенного развития общества и человека.

6. Революция — это бизнес. И, конечно, были внешние инвестиции в революцию и были внутренние. Капиталист Савва Морозов, например, давал деньги большевикам, давали западные спецслужбы, западные финансисты. России эти инвестиции благополучия не принесли.

7. Увы, революции будут продолжаться. Потому что мир капитала всегда нацелен на сверхприбыль. А только революции такую прибыль дают тем финансово-промышленным группам, которые управляют этим несовершенным миром.

Константин Фрумкин, культуролог (Москва)

1. Никакое историческое явление не бывает осмысленным до конца. С каждым новым поколением появляются новые горизонты осмысления — по мере того как для этого появляются новые концептуальные инструменты. Не понимаю, почему в один пункт объединены два разных вопроса — про осмысление и про привлекательность. Молодых умов, высоко оценивающих идеи Маркса—Ленина не встречал. Само объединение здесь Маркса и Ленина считаю идеологической ловушкой. При всем своем историческом значении, Ленин, в отличие от Маркса, не является «источником» сколько-то определенного круга идей.

2. Если отбросить то, что «героический эпос» есть термин довольно архаичный, ответить на вопрос легко: для литературы и философии нет мелочей, они посвящали эпосы и трактаты и куда более мелким событиям. И трактатов, и литературных произведений революции посвящено немало и, конечно, недостаточно — в том смысле, что осталось место и для новых текстов. Правда, надо признать, что именно в жанре исторической драмы эпохе революции не особенно повезло, своего Алексея Толстого в драматургии не нашлось (пьесы Погодина и Шатрова — явно не шедевры).

3. Пожалуй, важнейшим последствием стала мобилизация западных стран против России и левых движений вообще. Возможно — хотя это нельзя доказать, что если бы не было русской революции, не было бы и нацизма как (кроме прочего) ответа на коммунистическую угрозу. Возможно, не было бы маккартизма и блока НАТО — хотя он возник как производная победы СССР во Второй мировой войне. Очень интересный вопрос без понятного ответа: возник бы НАТО, если бы победу над Германией одержала некоммунистическая Россия?

4. Вопрос, на который у меня нет окончательного ответа. Ясно то, что террор есть явление, соответствующее эпохе мировых войн, — и важно тут не только движение ко Второй мировой войне, но и обстоятельства рождения большевистского государства из пламени Первой мировой и Гражданской войн. Большевистская идеология «радикальной реформы всего», конечно, увеличивала масштабы репрессий, увеличивала масштабы задач, требующих «репрессивного сопровождения». И важно то, что мощнейшие преобразования в стране, модерн в условиях сравнительного отсталого государства, происходил на фоне порожденной революции деградации в гума-

нитарной и особенно в правовой, сфере, а также радикального понижения образовательного уровня элиты. Это были самые ужасные последствия революции.

5. Вся моя жизнь — сплошное изменение отношений к революции. Началось все с воспитанного в советском детском саде сакрализации, потом были мучительное переосмысление, восхищение демонической катастрофичностью, проклятие как национальному несчастью — теперь ищу в науках и социально-философских учениях концептуальные рамки для понимания ее.

6. Важнейшей причиной революции была Первая мировая война, которая разумеется происходила не без участия «внешних сил». Марксизм тоже был «импортным» явлением на идейном рынке. Чисто русскими были институциональная слабость, отсутствие действенных профсоюзов, аграрное перенаселение, недостаточная железнодорожная сеть — все обстоятельства, не позволившими стране справиться с военным перенапряжением.

7. Ни то, ни другое. Это произошедший много лет назад атомный взрыв, который до сих пор вызывает лучевые болезни и последствия которого будут ощутимы в обозримом будущем.

Игорь Яковенко, доктор исторических наук (Москва)

1. Начнем с того, что революция произошла в феврале 1917 года. Что же касается событий 24–25 октября 1917-го, то это — большевистский переворот. До 1927 года сами большевики называли это переворотом. Революция — это когда сотни тысяч людей выходят на площадь, войска переходят на сторону восставшего народа и режим падает. А когда организованная сила захватывает рычаги власти и свержает правящий режим — это переворот, военный или политический. Это обстоятельство не делает названный переворот случайным или заемным явлением. Большевики победили в Гражданской войне. Тем не менее, будем корректны в использовании терминов.

Большевистский переворот октября 1917 года — одно из ключевых событий российской революции. События этого масштаба не могут быть изложены и осмыслены исчерпывающе. Интерпретация таких исторических процессов опирается в ценностные и философские основания авторов. В этом аспекте тема в принципе неисчерпаема. С другой стороны, собственно историческое исследование процессов 1917–1922 годов за последние десятилетия продвинулись значительно. Но, как и всякое явление, данная тема неисчерпаема.

Что же касается идей Маркса–Ленина, то они относятся к классическим соблазнам, которые веками обрушиваются на Ойкумену: Савонаролла, Мюнцер, батька Махно, Пол Пот — практики. Платон, Компанелла, Томас Мор, Гракх Бабеф — теоретики. Вальденсы, бегарды, табориты, катары, лолларды — религиозные теоретики, стремившиеся реализовать свои идеалы при первой возможности.

Есть люди, и это особенно характерно для молодежи, которым не свойственно видеть объективную природу вещей. Они находят виновных в том, что мир не соответствует их идеалу, и утверждают, что если покончить с негативом (одних — вдохновить и убедить, других — перебить, третьих — принудить), мир чудесным образом преобразится и начнется новая жизнь. «Молодые умы» этого типа рождались, и будут рождаться всегда. Меняется лейбл; сегодня они чаще именуются «зелеными» или «антиглобалистами». Важно, чтобы этот сегмент общества оставался в меньшинстве.

Есть и еще один аспект. Идеи Маркса—Энгельса увязываются в сознании массового человека с величием Советской империи и байками об утраченной счастливой жизни «простого человека». Мифологизация прошлого — универсалия мировой истории.

2. Революция, о которой говорит Булгаков, действительно событие эпического масштаба. Но это не значит, что о революции нельзя написать пасквиль. Пасквили писались, и будут писаться всегда, в том числе и по поводу грандиозных, эпических событий. Революции соразмерен роман-эпопея «Тихий Дон». Но революции, и ее итогам, соразмерен и «Скотский хутор» Оруэлла. Будем помнить и о том, что литература, созданная в СССР, писалась в определенном политическом и цензурном контексте. Она была «за» советскую власть. Альтернативная позиция в этой литературе не представлена. Вспомним судьбу романа «Доктор Живаго» сомасштабного исследуемому событию. А сегодня реальность революции и Гражданской войны стала достоянием истории.

3. Здесь крайне сложно дифференцировать. К самым значимым изменениям относится формирование «общества потребления» и императив сильной социальной политики. Эти изменения лишили аргументов сторонников «социалистического эксперимента» на Западе. Заметим, по мере формирования «общества потребления» коммунистические движения перемещаются в третий мир, в развивающиеся страны. Во второй половине 40 — 50-х годов коммунисты в Италии были заметной политической силой, а по мере разворачивания «Итальянского экономического чуда» компартия уходила на периферию.

4. То, что вы называете «издержками русской революции», — неизбежное и органическое следствие Гражданской войны и стадийных характеристик российского общества. В России до начала XX века доживало сословное общество и традиционное крестьянство. Причем, эти социальные категории охватывали более 80 % населения. Уничтожение данных реалий, выведение из бытия миллионов позавчерашних людей и крушение присущего им культурного универсума не могло быть легким и щадящим. Что же до жестокости и бесчеловечности, то ничтожная стоимость человеческой жизни и манихейский характер традиционной культуры, требовавший «изничтожать гадов», заложен в основаниях нашей традиционной ментальности.

Жестокости и бесчеловечность, прежде всего, объясняются традицией, а также историческим императивом, нуждами национального выживания. Если бы крепостное право отменили в начале XIX века, а с середины XIX века Россия стала конституционной монархией, необходимые качественные преобразования шли бы полным ходом и нужды в революции в 1917 году не было.

5. Мое отношение к опыту революции и Гражданской войны сложилось давно, опирается как на собственно научные, так и на философско-этические основания. Возможности изменения моей позиции я не вижу.

6. В реальности мировой истории нет и не может быть больших процессов, в которых не участвовала ли бы внешние силы. Это нормально. Тем не менее большие исторические события, в которых участвуют массы (в нашем случае миллионы людей), всегда закономерны и вырастают из внутренних процессов. Самоубийственная политика российской элиты, втянувшая страну в Великую войну, сделала неизбежной Февральскую революцию. А неразрешимые противоречия внутри российского общества сделали неизбежным Октябрьский переворот.

7. Заметим, Савонаролы, батьки Махно и Ульяновы-Ленины активизируются на переходе от традиционного общества к современному, или, иными словами, на переходе от средневековья к новому времени. В России этот переход однозначно свершился.

Октябрьская социалистическая — достояние истории. Она была востребована русским крестьянством, отторгавшим частную собственность на землю и блокировавшим наступление «города» (то есть рынка, социального расслоения, конкурентной рыночной экономики) на мир традиционной деревни. Традиционное крестьянство исчезло к 70-м годам прошлого века, и это — главное историческое достижение советской власти. Таким образом, исторический субъект, который мог бы востребовать эту конфигурацию, снят историей, а эпоха эсхатологических безумий и хилиастических грез российским обществом пройдена.

*Материалы Круглого стола подготовили
А. МЕЛИХОВ и Н. ГРАНЦЕВА*

Юлия ЩЕРБИНИНА

НАГРЯНУВШИЙ И ГРЯДУЩИЙ (Эволюция хамства)

Самгин взял книжку Мережковского «Грядущий хам», прилег на диван, но скоро убедился, что автор, предвосхитив некоторые его мысли, придал им дряблую, уродующую форму. Это было досадно.

Максим Горький. Жизнь Клима Самгина

Кто не знает иронического «хам трамвайный» и грубо-просторечного «хамло»? Хам — это и психотип, и особая языковая личность, и социальное явление, и культурный феномен. При этом большинство людей испытывают затруднение, пытаясь дать точное определение хамству. Наука тоже не имеет однозначного ответа, ощупывает хама с разных сторон, как того слона из притчи, описывая отдельные свойства, которые не складываются в целостную систему. В общественном сознании довольно прочно укоренилось представление о хамстве как преимущественно российском явлении, почти отсутствующем в других лингвокультурах. Сложность и в том, что многие высказывания сугубо ситуативны и малопонятны вне контекста. Не говоря уже о разнице восприятия: один человек оценит ту или иную фразу как однозначно хамский выпад, другой — как неуклюжую глупость, третий — просто как наивную фамильярность, а четвертому она покажется вовсе невинной дружеской шуткой.

Что мы вообще знаем о хамстве? Знаем, что оно восходит к истории библейского Ноя, знаем ставшее уже общим местом в дискуссиях эссе Сергея Довлатова, в котором хамство толкуется как «грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом — умноженные на безнаказанность»¹. Между тем у хамства обнаруживается мощное разветвленное древо исторических аналогий. История хамства — своего рода семантический квест: приключение слов, в разные эпохи называвших схожие человеческие типажи, поведенческие модели и речевые стратегии.

Гибельная страсть

Описание поведения, с разной точностью и в разной степени соотносимого с хамством, просматривается еще в античности. Так, в мировоззрении древних

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, доктор педагогических наук, специалист в области книговедения и коммуникативных дисциплин. Автор ряда научных, научно-популярных, учебных книг и многочисленных статей в журнальной периодике. Лауреат премий журнала «Нева» (2014), журнала «Октябрь» (2015).

¹ Довлатов С. Д. Это непереводаемое слово — «хамство» // Довлатов С. Д. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. СПб.: Азбука, 2000 (и др. изд.).

греков бытовало понятие *хюбрис* или *гибрис* (*ubris, hybris*), которое имело целый спектр значений и множество контекстных переводов: дерзость, наглость, своеволие, бесчинство, необузданность, невоздержанность, неукротимость, неистовство... Обобщенно гибрис — это нравственная безмерность, словесно выраженная в грубости, ругани, брани. Истоками гибриса считались гордыня, спесь, высокомерие, отрицание поведенческих ограничений и моральных табу — то есть некое самоприсвоенное человеком «над-право». Само же слово происходит от имени нимфы Гюбрис, олицетворявшей гибельную самоуверенность, нарушение предустановленного порядка, желание человека сравняться с богами и даже превзойти их во власти и могуществе.

В разные исторические периоды понятие гибриса меняло значения, но в целом античное мировоззрение вписывало его в четкую логическую схему: будучи наглым и дерзким вызовом богам, гибрис приводит к *перипетии* (*peripeteia*) — неблагоприятной перемене судьбы, внезапному исчезновению удачи, а затем к *немезису* (*nemesis*) — божественному возмездию, справедливой расплате. Этот мотив прослеживается в мифах о Сизифе, Прометее, Эдипе, Икаре.

Для Гомера гибрис — оскорбление богов, нарушение их воли, посягательство на божественную власть. В «Одиссее» это слово в разных фрагментах и разных переводах означает «буйство», «бесчинство», «неправедность» и описывает действия женов Пенелопы; в «Илиаде» оно характеризует поступок Агамемнона в отношении Ахиллеса: притязание на красавицу Брисеиду.

Гесиод в дидактической поэме «Труды и дни» смещает гибрис из религиозной плоскости в этическую, представляя его как индивидуальное отклонение в человеческом поведении вследствие необузданности нрава, предельного своеволия. По Гесиоду, составляющие гибриса — *крисис* (неправый суд, «кривосудье»), *мюфос* (сутьяжничество и словопрение, пустословие), *анайдейя* (бесстыдство) и другие пороки.

Пиндар в «Пифийских песнях» актуализирует еще одно проявление гибриса: нарушение общественных норм, преступление границ дозволенного; дикость, первобытность, скотство. Согласно Пиндару, так ведут себя приносимые в жертву Аполлону ослы, и так явно не подобает вести себя людям. Здесь значение гибриса смещается из этической уже в социальную сферу, но при этом вновь подтверждает смысловое родство с понятием хамства. Как и гибрис, хамство означает поведение, во-первых, богопротивное, во-вторых — аморальное, в-третьих — антиобщественное.

Позднее аристотелевская «Риторика» трактует гибрис уже непосредственно с позиций речи — как «действие с целью оскорбить и причинить бесчестье». Удовольствие от гибриса Аристотель описывает как демонстрацию превосходства, пресыщение и упоение властью. При этом делает следующее важное уточнение: «Видов пренебрежения три: презрение, самодурство и оскорбление... Человек, наносящий оскорбление, также выказывает пренебрежение, потому что оскорблять — значит делать и говорить вещи, от которых становится стыдно тому, к кому они обращены, и притом <...> с целью получить самому от этого удовольствие».

В дальнейшем гибрис использовался как юридический термин, означавший «оскорбление словом или действием». Современная социопсихология рассматривает так называемый *гибрис-синдром* (англ. *Hubris syndrome*) — выраженную в крайней самонадеянности профессиональную деформацию политического лидера и топ-менеджера. Аналогично экологи говорят о гибристичном отношении человека к природе.

Резюмируя, можно выдвинуть такую гипотезу: гибристичность есть сущностное и притом амбивалентное человеческое свойство. При благоприятном развитии гибрис как *притязание на запредельное* становится истоком пассионарности — созидательной активности, ломающей привычный жизненный уклад и общественный по-

рядок. При патологическом развитии гибрис становится основой самодурства, деспотизма, тирании привилегированных классов и хамства непривилегированных. Выходит, что хамство — примитивная и вульгарная форма гибристичности, а гибрис — прототипический механизм и общий «прасценарий» хамства как способа деструктивной коммуникации.

Итак, гибрис указывает одновременно на тип личности, способ поведения и коммуникативную стратегию, во многом близкие общепринятым представлениям о хамстве, притом как в исходном (библейском, теологическом), так и в производном (секулярном, обиходно-бытовом) представлении. В библейском значении основа хамства — в первую очередь нарушение субординации (насмешка сына над отцом), а уже как следствие — непочитание старших в целом и неуважение к законам вообще. Ср. русские синонимы наглости: *бесчинство* — «непочитание чинов»; *дерзость* — непочтительное поведение. В основе обоих значений — посягательство на статусы и иерархии, обрушение «вертикали» коммуникации. Получается, что образ хама — своеобразная *персонафикация* отклонений в речеповедении, а само хамство не какая-то отдельная, специфическая форма злоречия, а скорее *регистр извращения* любовью, даже «высокой», позитивной практики.

Ропот черни

С тем же поистине гибристическим упорством пробив путь в каменоломне времени длиною в несколько веков, слово «хам» облюбовало себе сколь мрачную, столь же и просторную пещеру в русском языке и обитает в нем по сей день, обрастая сталактитами дополнительных значений.

В России позапрошлого столетия значение хамства смещается с действия (грубость, дерзость) на субъект (обозначение лица). Хамами называли крепостных, дворовых и — более обобщенно — людей, принадлежавших к низшим классам, непривилегированным сословиям и потому, согласно бытовавшим представлениям, не только подневольных, бесправных, но и лишенных человеческого достоинства. Слово «хам» было тождественно словам *раб, холоп, смерд*, шире — *простолудин*, в собирательном значении — *чернь* (ср. др.-рим. *плебс*). В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля «хам, хамуга, хамовщина — бранное прозвище лакеев, холопов и слуг»; «хамство — подлый народ, люди низкого рода; лакейщина». Хамом могли назвать не только крестьянина, но также лакея, кучера, пологого, галантерейщика, мелкого лавочника.

Позднее возникает еще один лексический компаньон хама — *быдло*. Заимствованное из польского языка в значении «крупный рогатый скот», это слово закрепилось в собирательном бранно-презрительном значении «люди, приравниваемые к скоту», «неотесанное простонародье», народ в худшем своем воплощении, наименее культурная и образованная часть населения.

О социальной значимости дискурса хамства в России, разнообразии его проявлений и варьировании форм свидетельствует уже хотя бы тот факт, что одно из самых блистательных и вечно актуальных произведений русской классики было поименовано не иначе как «комедия о хамстве». Именно так Аполлон Григорьев назвал «Горе от ума». По словам пронизательного критика, «Грибоедов казнит невежество и хамство, но казнит их не во имя *comme il faut*'ного условного идеала, а во имя высших законов христианского и человечески-народного взгляда. Фигуру своего борца, своего Яфета, Чацкого, он оттенил фигурой хама Репетилова, не говоря уже о хаме Фамусове и хаме Молчалине».

В дворянской среде хамами называли людей недостойного поведения, потерявших честь, уподобившихся своими поступками «подлому люду». В «Воображаемом разговоре с Александром I» Пушкин назвал «придворным хамом» графа Михаила Воронцова. Декабрист Николай Тургенев превратил слово «хам» в политический ярлык для защитников крепостного права, реакционеров. В письмах к брату Сергею он, в частности, писал: «Тьма и хамство везде и всем овладели»; «Мы не затем принимаем либеральные правила, чтобы нравиться хамам».

В XIX столетии понятие хамства сближается также с фамильярностью — бесцеремонностью, неуместной развязностью, недопустимой вольностью в общении. И вновь обратим внимание на этимологию: лат. familia — домочадцы, челядь; famulus — слуга, служитель. Здесь в квест злоречия включается уже сам Язык, соединяющий семантическим пунктиром внешне разнородные, но на поверку глубоко родственные слова.

В позапрошлом веке фамильярное поведение именовалось красивым словом *амикошонство* (фр. ami — друг + cochon — свинья). Не случайно хамское поведение и в обиходе по сей день нередко определяется как *свинское*. Амикошонство — предвестие множества ссор и частый повод для дуэлей. Коммуникативная функция дуэли — пресечение фамильярности, о чем хорошо сказано в «Поединке» Куприна: «Именно не французским офицерам необходимы поединки... а нам, нам, нам! <...> Тогда само собой выведется амикошонство, фамильярное зубоскальство в собрании, при прислуге, это ваше взаимное сквернословие...» При этом обвинение в хамстве считалось страшным оскорблением и само по себе легко могло стать поводом для вызова на дуэль.

В той же среде военных бытовали слова *солдафон* и *бурбон*, означавшие невежественного грубияна. Образованное от королевской фамилии Бурбонов последнее слово изначально относилось к дворянам, которые возвращались на родину после реставрации монархии и незаслуженно получали высокие офицерские звания вопреки плохому знанию военного дела, нежеланию учиться и стремлению поддерживать свой авторитет высокомерием и грубостью с нижестоящими. Из французского в русский слово «бурбон» перешло как синоним чванливого грубияна и заносчивого тупицы. Тот же гибрис-синдром, только у военнослужащих. В крайних, самых odioзных проявлениях солдафон становился синонимом хама.

Эпоха, уделявшая повышенное внимание внешним приличиям, светским манерам, имела в своем лексиконе еще и такое слово, как *мужлан* — грубо-просторечное наименование невоспитанного и необразованного человека, невежи и невежды в одном лице. Мужлан — проекция хама в эстетическую плоскость — не умеет вести себя на людях, не владеет речевым этикетом, а потому способен выдать какую-нибудь словесную грубость, проявить бестактность в общении, вызвать смущение и неловкость окружающих, оконфузиться. Мужлан как антипод обладателя благородных черт и приятных манер в ряде контекстов выступает антонимом *денди* и *джентльмена*.

Другие ранее бытовавшие именованья нахала, задиры, грубияна — *мордоплой* и *горлохват*. Если мужлан игнорирует преимущественно манеры, то эти типы больше пренебрегают моралью, демонстрируют неуважение к собеседнику и добиваются своего в лучшем случае словесным нажимом, в худшем — криком, бранью, оскорблениями. Типичнейший пример — гоголевский Ноздрев, знаменитый персонаж «Мертвых душ»: заядлый, но скверный игрок, в пылу азарта не брезгует мошенничеством, обманом, а затем еще осыпает собеседника обвинениями и проклятиями.

Особую и притом прочную нишу хамство уже в XIX веке заняло также в творческой среде, наиболее ярко отразившись в литературной критике. Здесь оно обзавелось близким по смыслу понятием *зоил* — от имени древнегреческого философа, ниспровергателя литературных авторитетов, получившего за это иронические про-

звища Риторический Пес и Бич Гомера. Зоил сделался нарицательным именованием злобного бесцеремонного, но малосведущего критикана. В одной из литературно-критических статей Анатолий Франс проводит прямую аналогию зоильства — да! — с библейским хамством: «Вы уже знаете, что с г-ном Золя обошлись так же, как с библейским патриархом Ноем. В то время как он спал, пять его духовных сыновей совершили по отношению к нему грех Хама. [Далее цитируется литературный манифест оскорбительного содержания.] Но ведь и сам манифест не безупречен. Он содержит в себе замечания относительно физиологических особенностей автора „Земли“, а это уже выходит за пределы дозволенного в критике».

Выдающийся отечественный пример хама в литкритике позапрошлого столетия — Виктор Буренин, печально памятный своей издевательской манерой. Мишенями его однозначно и неприкрыто хамских нападок стали Достоевский, Короленко, Надсон, Горький, Андреев, Бунин, Брюсов, Блок... Чего стоят одни только буренинские аттестации Достоевского как «кликучесного фельетониста», который «невменяем по отношению к здравому смыслу и логике». Гончаров справедливо назвал Буренина «бесцеремонным циником, пренебрегающим приличиями в печати».

Иллюстрированный путеводитель по русскому хамству XIX века — живопись Василия Перова: «Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы», «Проповедь в селе», «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы», «Дилетант», «Приезд гувернантки в купеческий дом» и, конечно, «Дворник, отдающий квартиру барыне»... Особо примечательно последняя картина: доходный дом, хозяин которого отправил двух обедневших и явно неплатежеспособных барынек к наглому невежественному грубияну, о чем красноречиво свидетельствуют не только похмельная физиономия и вызывающая поза, но и безграмотная вывеска «Кадворнику», которую он, ничтоже сумняшеся, самолично повесил, тем самым дав себе исчерпывающую речевую характеристику. Такие вот «кадворники» за компанию с бездушными чиновниками, продажными судьями, жестоковыйными ростовщиками высекали искру бунта из доведенных до предела отчаяния раскольниковых, многие из которых затем сами превращались в хамов-интеллектуалов — следующую эволюционную ипостась хамства. Этот социокультурный тип выведен Достоевским в «Бесах».

Хамство холуев — рабов от природы, а не от сословной принадлежности — можно было наблюдать и на сугубо бытовом уровне, в общении с равными. Вспомним чеховский рассказ «На святках»: неграмотная женщина просит трактирщика написать письмо ее дочери — и тот в упоении своей «ученостью» строчит полнейшую галimatю. Как верно уточняет рассказчик-повествователь, «это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире». Здесь пошлость фактически синоним хамства, и вновь мы наблюдаем его сущностное свойство — превращать в унижение все что угодно: изначально благое намерение помочь ближнему оборачивается пренебрежением к нему и омерзительным самолюбованием.

«Опрокидывая» в унижение все и вся, хамство просачивается сквозь любое социальное сито, даже такое мелкоячеистое, как сложно организованная ритуальность дворянской среды, строгий этикетный кодекс. Убедиться в этом легко на примере субкультурных практик, где хамство очень легко и почти незаметно меняет «минус» на «плюс». Ярчайшая иллюстрация — неуставные отношения воспитанников военных училищ и кадетских корпусов Русской императорской армии, известные как «закальство» или «старокадетчина», позднее — «цук»². Цук был основан на культе грубости, показном молодечестве, циничном отношении к традицион-

² К моменту подготовки данной статьи единственное подробное и системное описание «цука» — в кн.: Смирнов Р. В. «Дикий обычай» славной гвардейской школы: цук и другие традиции Николаевского кавалерийского училища. М.: Любимая книга, 2010.

ным добродетелям, унижении старшими младших, пренебрежении науками — то есть фактически на том же солдафонстве. Все было овеяно романтическим ореолом отваги, стойкости и «офицерского братства», ради которого, как негласно считалось, стоило выдержать унижительные испытания, свинское обращение, словесные нападки, а иногда даже неприкрытое издевательство и насилие.

Итак, позапрошлый век сформировал многомерный и неоднозначный образ хама: это не только, а позднее уже и не столько неотесанный простолюдин, но и вельможная особа, «белая кость», вообще представитель любого сословия. Семантическая эволюция слова «хам» аналогична развитию значений слова «мещанин»: из маркеров сословной принадлежности они превратились в названия психоповеденческих типов. Хамство — гибрид самодурства и лизоблюдства, следствие одновременно униженности и спесивости, процветающее как в роскоши, так и в нищете. Это просматривается еще у Пушкина («Пора презреть мне ропот знатной черни»), затем и аристократ Гаев из «Вишневого сада» назовет купца Лопухина хамом, а потом так назовет себя и сам Лопухин.

Извращение любой поведенческой практики — вот, пожалуй, «универсальная формула» хамства.

Князь мира сего

В XIX столетии хамство все же было маргинальной формой коммуникации. Как массовое явление и осознанно насаждаемая форма речеповедения хамство утверждается в предреволюционный период. Прозревая это еще в самом начале века, Дмитрий Мережковский виртуозно расшифровал культурный код хамства в эссе «Грядущий Хам»: «Худшее из всех рабств — мещанство, и худшее из всех мещанств — хамство, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт... — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам». Здесь дается новая трактовка библейского образа, рациональное обоснование соединяется с метафизическим, синтезируются социальный и теологический подходы к определению понятия. Хам — это одновременно и «мироправитель тьмы века сего», и «пролетарский дикарь».

Работа Мережковского не создала новую локацию квеста «Хамство», но проложила в нем новый семантический маршрут и уточнила характеристику его *главного героя*: не просто злобный невежа, но «дух злобы поднебесной». Однако, несмотря на убедительность обоснований, современники философа восприняли его труд в целом негативно. Отдельные благожелательные отклики — Андрея Белого, Валерия Брюсова — растворились в потоке возражений и упреков. Мережковскому пеняли на гипертрофированный пессимизм, катастрофизм мышления, неадекватность политических оценок. Николай Минский усмотрел в «Грядущем Хаме» унижение достоинства рабочего человека. Федор Сологуб оценил идеи Мережковского как хронологически ошибочные, считая хамство, напротив, уходящим явлением, «грязным пережитком старого строя». Казимир Малевич полагал, будто «Мережковский и Бенуа не могут отличить хамство от движения новых идей», ибо «нельзя же считать того хамом, кто не верит в прочность фундамента вчерашнего дня». Скептически ухмыляясь, Мережковского читает горьковский Клим Самгин.

Мало кто из современников всерьез поверил в пророческую метафизику «экзальтированного интеллигента», как иронически высокомерно окрестило Мережковского его псевдомуствующее окружение. Между тем страна превращалась в Хамовник. Мышление, поведение, речь, отношения между людьми, жизнь публичная и приватная — все обретало демонстративно сниженные формы. Так нигилисты-бунтари

ниспровергали основы презираемого ими старого мира, мстили за все былые унижения. Подобно герою «Записок из подполья», они мерили мир чайными стаканами — умаляя, унижая, а в пределе уничтожая все, не поддающееся их разумению. Не изменяя своей природе, хамство опоганивало все высокие помыслы, искажало все героические замыслы, оборачивая справедливость подлостью. В XX веке Хам стал, по сути, историческим персонажем, вершителем судеб, превратив самую большую в мире страну в Скотопригоньевск похлеще того, что изображен в «Братьях Карамазовых».

Что дальше? А дальше уже ничего нельзя было исправить — оставалось только констатировать и описывать. Общую духовную атмосферу и коммуникативную ситуацию предреволюционного периода отразил Блок в поэме «Возмездие»: «И, встретившись лицом с прохожим, / Ему бы в рожу наплевал, / Когда бы желания того же / В его глазах не прочитал». Формально хамство по-прежнему остается отрицанием нормы, порядка, закона, по-прежнему огрызается из своей мрачной пещеры, но из протеста очень быстро вырождается в пошлость. Благородные бунтари превращаются в уличных вандалов, бытовых склочников, бездушных бюрократов. Хам никогда не бросает вызов обществу — лишь отзеркаливает его пороки.

Ловко маскируясь под социальный протест, хамство превращается в легитимный формат самовыражения тех, кто не способен заявить о себе иначе. Об этом еще в 1914 году пророчески писал в своих «Дневниках» Пришвин: «Самое большое зло нашего времени, нашей культуры, что дураку и нахалу теперь везде ход, и он чувствует себя все равно как и гений, и нет средств никаких усмирить его». Становилось все очевиднее: хамство — это и самоутверждающая стратегия (поведение человека униженного), и защитная (поведение труса), и псевдотворческая (поведение бездаря).

В речевом плане хамство уже тогда ассоциировалось с уродливым «новоязом», насилием над речью, деградацией общения, деформацией языка, превращаемого в «абырвалг». Печальный, но непреложный факт: неуважение к Человеку всегда сопряжено с неуважением к Слову. Изменения в реальной речи, в повседневной коммуникации тут же фиксируются в поведении литературных персонажей. Хамство раздавленных беспросветной нищетой и непосильным трудом — один из лейтмотивов прозы Горького. Хамы-обыватели и хамы-бюрократы пародийно изображены Зощенко, в том числе в миниатюре, которая так и называется — «Хамство». Ярчайшее воплощение хама новой, пролетарской формации — незабвенный Шариков из булгаковского «Собачьего сердца», а уж «Мастер и Маргарита» — и вовсе впечатляющая масштабная панорама хамства бытового, бюрократического, религиозного, политического и даже творческого. Памятуя о том, что свита Воланда маскируется под «шайку гипнотизеров», неизбывность хамства позволяет определить его как форму *социального гипноза*. Одна из ключевых сцен романа — «сеанс черной магии с последующим разоблачением» — изобличает неискоренимую готовность людей унижать и унижаться.

«Графический роман» о нарождающемся советском хамстве — беспощадно обличительные (и притом написанные в 1917—1921 годах!) акварели Ивана Владимировича с красноречивыми названиями «Вандализм в Зимнем дворце», «Сжигание орлов и царских портретов», «Погром винного магазина», «Развлечения подростков в Императорском саду Петрограда»...

Казалось бы, хамство четко поименовано, громко обличено и крепко припечатано, но не тут-то было! Начало XX века — одновременно и начало размывания лексических значений, смешения и неразличения смыслов. Слово «хам» постепенно превращалось в идеологему, политический ярлык, который когда прицельно, а когда и без разбору навешивался на идейных противников, оппонентов в публич-

ной полемике. Доходило порою до лексических крайностей. Так, Михаил Пришвин в своем дневнике упрекнул того же Горького в пышном праздновании юбилея в то время, когда «по городам все ходят в лохмотьях, а в колхозном доме даже в праздник не увидишь кусочек сахару», и пригвоздил главного пролетарского писателя к стене позора: «Постепенно Горький как бы сбрасывает с себя гуманитарно-босяцкие одеяния, орех раскрывается, является самое ядро русского хама». Позднее, уже в 1946 году, за карикатурное изображение советских граждан и Зощенко удостоился от Жданова определений «мещанин» и «литературный хулиган».

Не бунт, но блажь

Упоминание *хулигана* также не случайно: это еще один социальный прототип хама, еще один участник семантического квеста, гордо вышедший на публичную арену в начале прошлого столетия³. Бытописательная литература, массовая пресса, только появившийся тогда кинематограф с разных ракурсов высвечивают шаблонный образ вихрастого кулакастого задиры, грубияна, дебошира. Помыслы, слова, поступки хулигана суть демонстрация его дикарства, беспардонности и неуважения к окружающим. Основа поведения хулигана не *бунт*, но *блажь* — желание развлечься и самоутвердиться самыми примитивными способами. Хамство — словесное хулиганство. Хулиган — переходный тип от веками угнетаемого «традиционно-го» раба к рабу индустриальной формации.

Наряду с образованным от фамилии разбойного ирландского семейства словом «хулиган», бытовало ныне уже забытое слово *апаш* (фр. Les Apaches), которое означало человека, принадлежавшего к деклассированным элементам. «Апаш» происходит от названия криминальной субкультуры Парижа рубежа XIX—XX веков, в свою очередь образованного от североамериканского племени индейцев апачей. Близкие и смежные понятия: *люмпен* (нем. Lumpen — лохмотья) — предложенное Карлом Марксом наименование низших слоев пролетариата, позднее люмпенами стали называть все деклассированные элементы (попрошайки, бродяги, уголовники); *босяк* — оборванец, опустившийся обнищавший человек без определенного занятия и места жительства; *шпана* (предположительно от нем. Spannedler — бродяга или род вора; *spannen* — подстергать) — собирательное название мелких жуликов и малолетних хулиганов.

В массовом сознании представления о хулиганстве с самого начала несколько размыты: его проявления, как встарь проявления разбойничества, зачастую отождествлялись с разгульным весельем, раскрепощающим бунтарством, разинско-пугачевской вольницей. Уже в начале века истерзанная противоречивыми умонастроениями, а затем подвергнутая мощным идеологическим атакам наша языковая память отторгает этимологическую связь *озорства* с *позором*. Русская поэзия начала XX века иллюстрирует заметно романтизированные речевые и поведенческие черты хулигана. Так, Гумилев живописует «озорную речь», «висты и мраки, посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки в страшных, как сны, кабаках». Лирический герой Корнилова «широколобый, низколобый, набитый песней и хулой». Вспомним, конечно же, и колоритные ипостаси лирического героя Есенина: «похабник я и скандалист», «только сам я разбойник и хам».

Хулиганство завораживало молодечеством, захватством, ухарством — считай, все той же гибристичностью, которая в интеллигентской среде оборачивалась обаятельным «негодяйством», а в творческой — игровым эпатажем. Симпатии

³ Подробно об этом см.: Шапошников В. Н. Хулиганы и хулиганство в России. Аспект истории и литературы XX века. М.: Московский Лицей, 2000.

к хулигану усиливались также личной харизмой писателя и его литературным мастерством. Сложно не симпатизировать герою Маяковского в «желтой кофте фата», который отвешивает смачную «пощечину общественному вкусу». Невозможно не сочувствовать героям «На дне», сапожнику Гришке из «Супругов Орловых», столяру Калистрату из «Голубой жизни», рабочему Озорнику из одноименного рассказа... Ситуация не только типичная, но и архетипическая: по отношению к Хулигану публика часто выступает в роли Барышни. Неудивительно и очень показательное, что образом гумилевского мужика искренне восторгалась Цветаева, в одном из своих стихотворений дополняя его не менее колоритным образом «кабацкой царицы» и «прекрасной самозванки».

Однако в целом все же срабатывает внутренний общественный ограничитель, не позволяющий считать нормой хулиганство и как одно из его проявлений — хамство. Эстетический вкус и языковое чутье делают поэтов первыми, кто ощущает его гибельную опасность. Маяковский изображает «тупое лицо, открытое лишь мордобою и ругани», и рисует устрашающую фигуру уже восставшего хама: «Взбубнилась злоба апаша. Папаша, мне скучно! Мне скучно, папаша!» Упоминание отца вновь отсылает к библейскому значению хамства. В 1918 году мало что изменилось со времен Ветхого Завета. И уже в начале прошлого века отчетливо прослеживается эволюция хамства: от неумышленного поведенческого искажения (поступок библейского Хама) — через социальные деформации (самодискредитация бунтарства) — к извращению умышленному (хулиганству).

Долой стыд!

Предпринимаемые в СССР превентивные и карательные меры по борьбе с преступностью поначалу заметно ужесточили не только юридическую квалификацию, но и общественную оценку хулиганства. В 1921 году было принято Положение о дисциплинарных товарищеских судах. Затем для борьбы с уличным хулиганством создаются народные дружины. В Толковый словарь русского языка в редакции 1935 года хулиганство вошло не просто как нарушение общественных норм, но «крайнее бесчинство, поведение, сопряженное с явным неуважением к обществу, к достоинству человека». При этом публичный образ хулигана ассоциировался преимущественно с социально опасными противоправными действиями — вандализмом, дебошами в присутственных местах, уличными драками, задираньем прохожих — не жели с грубой речью, дерзостью, сквернословием.

Словесное хулиганство, а вместе с ним и хамство, ищет все более локальные пещерки (коммунальные кухни, автобусные салоны, больничные палаты) и выбирает специфические объекты. Так, с начала 1920-х входит в моду цинично-хамское освещение межполовых аспектов, целенаправленно пропагандируемое обществами с кричащими названиями вроде «Лига свободной любви», «Долой стыд!». Радикалы-нудисты обоих полов расхаживают по улицам нагишом, произносят похабные речи, отпускают сальные шутки, а самые идейные и самые смелые — проводят вечера Обнаженного тела, призывая к телесному «раскрепощению» и борьбе с «мещанством» в сексуальной сфере. Всерьез обсуждается вопрос: может ли комсомолец отказать комсомольцу в удовлетворении половой потребности? Здесь хамство вплотную смыкается с бесстыдством, обыгрывая ветхозаветный архетип в декорациях победившего социализма.

Пыл «детей солнца и воздуха», поборников *естественности* через принижение *естества* немного угасает после группового изнасилования сорока рабочими двадцатилетней крестьянки, печально известного как «чубаровское дело». Флюгер общест-

венных настроений разворачивается в противоположную сторону: трибуны зашумели обличительными речами, пиджаки затрещали срываемыми комсомольскими значками, предприятия запестрели плакатами, осуждающими половое хамство. «Долой безобразников по женской линии! Парней-жеребцов зажем в дисциплине!»

Популярный в то время и незаслуженно позабытый нынче Пантелеймон Романов точно и беспощадностью изобразил извращенный, предельно опошленный, насквозь пронизанный хамством «любовный быт» молодежи. В рассказе «Суд над пионером» актив пионерского отряда разбирает дело о «систематическом развращении» товарищем Чугуновым товарища Голубевой. Разврат заключается в проявлении заботы и нежности, знака юношеского внимания к невинной девушке. «Если она тебе нужна была для физического сношения, ты мог честно, по-товарищески заявить ей об этом, а не развращать подниманием платочков и мешки вместо нее не носить», — припечатывает товарищеский суд. Сквозная идея рассказа — все то же извращение хамством даже вековых и, казалось бы, незыблемых понятий: любви, дружбы, товарищества.

Однако ни тогда — на волне обличительно-сатирической словесности, ни после — при ужесточении официальных санкций, хамство никуда не исчезает. Принятый в 1966 году Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении ответственности за хулиганство», агитационно-просветительские брошюры вроде «Борьба с хулиганством — дело всех и каждого» Николая Жогина, профилактические беседы в учебных заведениях и на предприятиях — все это способствовало разве что формальному контролю поведенческих крайностей, находящихся в ведении криминалистики. Меняется только ракурс публичного внимания к хамству: в начале века на него смотрели как на дракона, с которым нужно сражаться, в конце века — как на притчевого слона, которого надобно познать ощупыванием.

В связи с этим, помимо правового, возникает уже исследовательский, а затем и философский интерес к хамству: его признают не только социальным злом, но и культурным феноменом — а значит, предметом изучения. Юрий Лотман в «Беседах о русской культуре» усматривает в хамстве «истолкование свободы как полной свободы от человеческих ограничений». В этом определении точно отражена мотивация хама новейшей формации: не только и, возможно, уже даже не столько бескультурье, но превратное, извращенное понимание свободы — как своеволия, вседозволенности, отсутствия ограничений. Опять все тот же гибрис.

Сражающиеся демоны

К середине XX века в просторечном употреблении закрепляется еще одно семантически родственное хаму наименование — *жлоб*. По одной версии, произошедшее из польского «чурбан», «олух», по другой — образованное от искаженного английского «работа» (job), это слово означает невоспитанного наглеца, примитивного грубияна. В раннем значении, зафиксированном, например, в «Рассказе не состоящего больше во жлобах» и «Сокровенном человеке» Андрея Платонова, жлоб — недавний переселенец из сельской местности, экспансивно обживающийся в городской среде. Добиваясь своего, завоеывая «место под солнцем», жлоб не брезгует руганью, скандалами, злословием, притеснением окружающих.

Новую актуальность и дополнительную смысловую значимость приобретает и уже упомянутое понятие быдла, стремительно обрастающее производными словоформами (быдлеть, обыдление, быдлечий), а в новейших контекстах употребляемое даже в качестве квазиприваки (быдлостиль, быдломюзика, быдлореклама). В начале ны-

нешнего века говорят о «быдлокрапии» как новой псевдоформе социального влияния, о «быдлоязыке» как предельно обедненной речи и деградации общения⁴. Журналисты, телеведущие, писатели активно оперируют этим емким экспрессивным словом в самых разных контекстах: Виктор Астафьев упоминает «злостствующее быдло», Михаил Козаков — «начальственное», Александр Терехов — «вороватое», Виктор Пелевин — «темное», Захар Прилепин — «дворовое», Сергей Гандлевский — «оголтелое», Владимир Спектр — «фашистское», Сергей Есин — желающее «торговать и воровать»...

Быдливость часто напрямую соотносится с хамством, иногда даже выступая его синонимом. Однако «хам» все же просто неодобрительное (пейоративное) наименование, а «быдло» уже отчетливо сознаваемое оскорбление. И вот ведь что любопытно: назвать кого-либо быдлом в глаза автоматически негласно считается проявлением хамства.

Никуда не делось и хамство из литературной критики — она исправно поставляет новых и новых бурениных. Небезызвестный прозаик, редактор в крупном издательстве и ответственный секретарь значимой литературной премии даже утверждает, будто «фигура хама упорядочивает литературный быт». И вот не менее известный читающей публике критик-зоил ваяет глумливую рецензию на роман — ну да! — этого самого литератора, сравнивая с «дворовым псом в упоенной погоне за собственным хвостом». Ну что, господин писатель, довольны? Упорядочился ваш литературный быт? И уже совсем нешуточный вопрос: может ли подлинно гражданское общество быть лояльным к хамству?..

Наконец, примерно с конца 1980-х активно заявляет себя социально-психологический тип, получивший обиходно-просторечное название **гопник**, в собирательном значении (*гопота, гопша, гопотень*) часто отождествляемый с понятием того же быдла, но все же ему неравнозначный. Гопники — малообразованная городская молодежь, агрессивно настроенная и ведущая полумаргинальный образ жизни. Само же слово не имеет точной этимологии: одни специалисты выводят его из криминального арго XIX века («оборванец», «бродяга»); другие — из зафиксированных еще в словаре Даля слов «гоп» (удар, скачок), «гопнуть» (прыгнуть, ударить); третьи — из более поздней криминальной лексики («гоп-стоп» — уличный грабёж); четвертые — из аббревиатуры ГОП, в разное время означавшей Государственное общество призора и Государственное общежитие пролетариата.

В социальном плане гопник близок к хулигану, в поведенческом — к хаму. Гопникам свойственны нагло-вызывающая манера речи, бравада нецензурной лексикой, фамильярность, нападки. Яркая словесная черта гопника, изобличающая в нем *по-любому-реального-четкого* хама — провокативная конфликтность. Агрессия гопников чаще генерализованная, рассеянная: кого внешне беззащитного выцепит угрюмый взгляд из-под надвинутой на лоб «паленой» адидасовки, тот и жертва, *лох*. Характерная черта гопника — нахальное вымогательство, небрежно маскируемое под просьбу: «Есть мобилка позвонить?»; «Слышь, мелочи не найдется?»; «Дай куртку, пацану холодно»; «Дай проездной почитать!»; «Выручи по-братски»... Здесь все то же паразитирование на морали, извращение благих намерений и подмена понятий: братства, дружбы, справедливости.

В «лихие» 90-е тип гопника парадоксально — при явной разнице в материальном благосостоянии и социальной ориентации — сближается с образом **«нового русского»**. Сходство — в речевых манерах, моделях общения, коммуникативных стратегиях самоутверждения. Для обоих окружающие делятся на *быков* и *лохов*. У обоих

⁴ Подробнее см.: Воркачев С. Г. «Быдло» как феномен российской лингвокультуры // Русский язык в научном освещении. 2013. № 2 (26).

главная цель — *отжать кэш, поднять бабла*. В арсенале гопника и «нового русско-го» не только физические приемы борьбы за место под солнцем, но и словесные *подставы, предъявы, разводки*. Выразительные примеры общения «новых русских» — в произведениях Пелевина, в фильме «Жмурки», сериале «Бригада».

Здесь напористая манера общения и конкретно хамство — значимые составляющие речевого имиджа. Здесь слово неотделимо от действия: *перетереть* означает и «поговорить», и «подраться». Для пояснения этого тезиса уместно вспомнить одно из интервью Виктора Пелевина, в котором на вопрос о том, что для него есть постперестроечная Россия в языковом плане, писатель ответил: «Логос устал „храниться“, устал преть во рту бессильного интеллигента — и возродился в языке сражающихся демонов»⁵. В данном случае хамство выступает еще и как своеобразный способ социальной адаптации, встраивания в жизнь, как возможность цепляться за нее не только зубами, но и *языком*. Разница лишь в целях использования хамства как коммуникативной стратегии. Большинство гопников — социальные паразиты, только на то и способные, чтобы трясти мелочь у прохожих. Ядро «новых русских» — пассионарии, стремительно разбогатевшие благодаря поведенческой мобильности и деловой хватке.

Очень похоже, кстати, вели себя в период промышленной революции второй половины XIX века люди, ловко и быстро сколотившие крупное состояние и именовавшиеся *скоробогачами*. Лексикон, конечно, другой, но образ жизни, поведенческие наклонности и речевые манеры живо напоминали нуворишей 1990-х. Скоробогачи страсть как любили заказывать парадные портреты в подтверждение своих успехов и достижений. Мужчины красовались перед живописцами в одеждах старорусского фасона, важно дымили сигарами, демонстрировали жалованные медали, картинно закладывали пальцы между страниц книг, которых не читали. Их жены, наивно копируя аристократок, принимали жеманные позы, навешивали разом все свои украшения, обмахивались веерами, держали на руках комнатных собачек. Валентин Серов иронически называл такие художества «портретами портретычами». Эту практику переняли и русские нувориши 1990-х, выстраиваясь в очередь к модным портретистам и соревнуясь друг с другом в декоративной «навороченности» и дороговизне полотен.

Таким образом, что в позапрошлом веке, что в нынешнем очевидно неразборчивость и всеядность хамства: оно заставляет служить себе любых демонов, оно с равным удовольствием затаскивает в свою пещеру и проворного нувориша, и прозябающего маргинала.

Явление киберкантропа

В постсоветское время хамство наконец сделалось объектом прицельного и системного изучения⁶. Хотя отдельные попытки предпринимались и ранее: так, еще

⁵ Playboy — 1998: Интервью с Пелевиным // 46 интервью с писателем, который никогда не дает интервью: <http://pelevinlive.ru/02>

⁶ Из наиболее заметных публикаций назовем следующие: Казаринова Н. В. Хамство и оскорбления как коммуникативные практики негативной солидарности российского общества // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. М.: Ин-т социологии РАН, 2008; Бачинин В. А. Хам как девиантная личность // Развитие личности. 2010. № 2; Флоря А. О концепте «хамство» // Свободная мысль — XXI. 2010. № 1; Химик В. В. Хам и хамство в русском речевом пространстве // Антропология языка: Сб. ст. Вып. 2. М.: Флинта; Наука, 2012; Волкова Я. А. Феномен хамства в деструктивном общении // Вестник Ленинградского гос. ун-та. 2013. Т. 1, № 4.

в 1970-х филолог и философ Леонид Пинский начал разрабатывать научное направление, которое предложил назвать *хамологией*⁷.

Нынче большинство ученых сходятся в том, что формула «хамство = грубость + наглость» не является ни точной, ни универсальной, ни исчерпывающей. Однако вполне очевидно: грубость может быть добродушной (дружеская фамильярность), а наглость — непреднамеренной (например, при сильном волнении), хамство же — всегда злонамеренно и никогда не добродушно. В повседневном, бытовом хамстве в компанию грубости и наглости добавляется еще нахальство — беззастенчивость, бесцеремонность, бесстыдство. Символично, что того же корня неодобрительное бранное *охальник* — то есть безобразник, человек непристойного поведения, а еще — да-да! — *холоп*. Далее из той же корневой праосновы выводятся *шалун*, *шалить*, *шалеть*. Приключение слов совершает очередной хронологический кульбит, вновь возвращаясь к античному гибрису.

Хамской может быть похвала (по принципу «Наконец-то ты, грязнуля, Мойдо-дыру угодил!»). Хамским может оказаться комплимент (вроде «Ну, наконец-то, хоть оделся нормально!»). В хамство способны деградировать открытость, правдивость, искренность («Он — хам, но он — искренний. Это его искренность на каком-то уровне становится хамством», — читаем в «Жизни Клим Самгина»). Хамством порой бывает даже демонстрация доброжелательства, расположения, заботы (навязчивой и бесстыжей наподобие «Демьяновой ухи»).

К настоящему моменту хамство проторило столько ходов и даже специально оборудованных тоннелей в коммуникации, что создало аварийную ситуацию, угрожающую обрушением. В современном мире проявления хамства соотносят с ростом *аномии* (греч. *nomos* — закон) — равнодушным или негативным отношением значительной части социума к нормам и правилам. Отношение многих наших современников и к чужой, и к собственной жизни выражается одним емким словом — бестрепетность. Люди бестрепетно взирают на хамство, бестрепетно терпят хамство, бестрепетно хамят друг другу. Специалисты говорят также о *постнигилизме* как форме современного мировоззрения, радикально отрицающей общекультурные ценности, и о *духовной люмпенизации* общества — укоренении примитивных способов поведения и сниженных форм речи.

В цифровую эпоху у хамства появилась еще и очень влиятельная покровительница — анонимность. Имея доступ к Интернету, неназванный и неузнанный наглец преспокойно оскорбляет, унижает, бесчестит кого и как угодно. В виртуальном пространстве хамство на новом историческом витке сближается с рабством: у раба нет имени — аналогично и хам чаще всего действует инкогнито. Можно вести словесные бои без правил. Можно состязаться в словесном жеребьячестве. Можно обкалывать аттракционы словесных нападок. А затем, натренировавшись на виртуальных жертвах, перенести эту речевую стратегию из виртуального общения в реальное. Так хамство автоматически удваивается.

Привыкший злословить на равных со взрослым в социальных сетях ребенок без зазрения совести отпихивает того же взрослого от автобусной двери, магазинной витрины, бортика бассейна. Привыкший спорить в блогах на равных с профессором студент без тени сомнения вступает в агрессивный спор с тем же профессором на лекции в университете. Привыкший бестактно комментировать сетевые публикации журналист с той же бестактностью ведет себя на пресс-конференциях и интервью... Прежде подобные девиации были исключительно следствием невоспитанности, нынче — еще и проекцией онлайн в офлайн. Добавим к этому ролевое удвое-

⁷ Пинский Л. Экзегеза одного мифа (Этюд о хамстве) // Пинский Л. Фрагменты, Минимы и Прологомены и Парафразы и Памятования. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2007.

ние: взаимно хамят автомобилист и пешеход, охранник и посетитель, продавец и покупатель — и получим дурную бесконечность зеркальных отражений хамства.

Обеспечив хамство целым набором технологических инструментов и новых опций, современность явила новейшую модификацию хама, которой даже названия пока нет. Назовем его *киберкантрон* — индивид с целой обоймой гаджетов, но нравами и повадками дикаря наподобие свифтовского йеху. Это может быть и завсегда-тай Сети, хамящий на правах «постоянной прописки»; и уставший от жизни обыватель, ищущий в виртуальном хамстве психологическую разрядку; и уважаемый обладатель наимоднейших девайсов, нужных ему в основном для того, чтобы троллить в соцсетях.

Бороться с хамством пытаются и в одиночку, и «всем миром». Можно просто заблокировать доступ нахалов к личному аккаунту и удалять их комментарии с персональных сетевых страниц. Можно примкнуть к какому-нибудь общественному движению, нацеленному на пресечение хамства в отдельных сферах. Так, «Общество синих ведерок» противостоит чиновничьему произволу и автодорожному хамству. Члены общественной организации «СтопХам» наклеивают обличительный стикер «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу!» на лобовое стекло автомобилей, владельцы которых хамят пешеходам и другим водителям. В разное время выходили телепередача «Хамство — наш последний аргумент» на НТВ и радиопрограмма «Хамство как образ жизни» на «Эхе Москвы». В 2016 году Министерство труда и социальной защиты разработало этические нормативы для центров занятости, запоздало вспомнив о том, что Россия — единственная в Европе страна, в которой отсутствует кодекс поведения госслужащих.

Однако хамство по-прежнему процветает, приспосабливается к разным историческим обстоятельствам, маскируясь под правдорубство, панибратство, политкорректность. Бояться хамства — значит потворствовать ему. Игнорировать хамство — значит преумножать его. Остается изучать дальше. Хам по-настоящему не способен ни на подвиги, ни на плутни. Не способен даже на сильные и крепкие, качественной выделки высказывания. Он по большей части либо просто косноязычен, либо слишком увлечен самовыражением. Он может быть весьма сметлив, но ему не хватает коммуникативной гибкости. Он, как вол, идет по одной борозде. Как изначально и заповедано: хам и скот — одного происхождения.

Владислав БАЧИНИН

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ КОНТРОВЕРЗА ГОЛЬБЕЙНА— ДОСТОЕВСКОГО (Размышления о картине «Мертвый Христос»)

Картина, от которой вера может пропасть

Имена великого немецкого художника эпохи Реформации Ганса Гольбейна Младшего (Hans Holbein der Jungere, 1497–1543) и русского писателя Федора Достоевского весьма далеко отстоят друг от друга. Но случилось так, что в один прекрасный момент они, разделенные временем и пространством, различиями культур и конфессий, очутились рядом. Это произошло во второй половине XIX века благодаря картине Гольбейна «Мертвый Христос» (1521–1522), находящейся в швейцарском Базеле и изображающей Сына человеческого, лежащего после снятия с креста в могильной пещере. Благодаря роману Достоевского «Идиот» живописное полотно стало эпицентром возникшей полемики о вечных вопросах веры и безверия, длящейся по сей день.

Местом возникновения неожиданной дискурсивной площадки с общим для Гольбейна и Достоевского проблемным пространством стал базельский музей. В августе 1867 года супруги Достоевские очутились проездом в Базеле. Малолюдный городок показался им скучным, а практически пустой музей, который они посетили, не слишком интересным. Вот как описала это событие Анна Григорьевна Достоевская в своем «Дневнике»: «Дама приглашала нас войти и указала нам на картину Гольбейна-младшего. Здесь во всем музее только и есть две хорошие картины: это „Смерть Иисуса Христа“, удивительное произведение, но которое на меня просто произвело

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор более 700 опубликованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Малая христианская энциклопедия». Т. I–IV (2003–2007); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrücken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллектуалов» (2014), «Протестантская этика и дух остмодернизма» (в соавт.) (2015), «500 лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии» (2016), «Европейская Реформация как духовная война. Теология генезиса modernity» (2017). Победитель конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного Российской академией наук (Институт философии).

ужас, а Федю так до того поразило, что он провозгласил Гольбейна замечательным художником и поэтом. Обыкновенно Иисуса Христа рисуют после его смерти с лицом, искривленным страданиями, но с телом, вовсе не измученным и истерзанным, как в действительности было. Здесь же представлен он с телом похудевшим, кости и ребра видны, руки и ноги с пронзенными ранами, распухшие и сильно посинелые, как у мертвеца, который уже начал предаваться гниению. Лицо тоже страшно измученное, с глазами полуоткрытыми, но уже ничего не видящими и ничего не выражающими. Нос, рот и подбородок посинели; вообще это до такой степени похоже на настоящего мертвеца, что, право, мне казалось, что я не решилась бы остаться с ним в одной комнате. Положим, что это поразительно верно, но, право, это вовсе не эстетично, и во мне возбудило одно только отвращение и какой-то ужас, Федя же восхищался этой картиной. Желая рассмотреть ее ближе, он стал на стул, и я очень боялась, чтобы с него не потребовали штраф, потому что здесь за все полагается штраф»¹.

Позднее в своих «Воспоминаниях» Анна Григорьевна добавит в описание этого события еще несколько штрихов: «По дороге в Женеву мы остановились на сутки в Базеле, с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого-то слышал. Эта картина, принадлежавшая кисти Ганса Гольбейна (Hans Holbein), изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный {Впечатление от этой картины отразилось в романе „Идиот“ (Прим. А. Г. Достоевской.)}. Я же не в силах была смотреть на картину: слишком уж тяжелое было впечатление, особенно при моем болезненном состоянии, и я ушла в другие залы. Когда минут через пятнадцать-двадцать я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастью, этого не случилось: Федор Михайлович понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину»².

Достоевские были не первыми русскими путешественниками, обратившими внимание на картину Гольбейна. Значительно раньше о ней писал Н. И. Карамзин в своих «Письмах русского путешественника»: «В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен Он весьма естественно». Тут же Карамзин добавляет, что, согласно местному преданию, Иисус был написан Гольбейном с утопленника³.

Для Карамзина это впечатление оказалось чем-то мимолетным, не оставившим следа в его духовной жизни. Но для творческой судьбы Достоевского встреча с картиной Гольбейна имела огромное значение. Она сыграла роль песчинки, попавшей в раковину моллюска, чтобы вокруг нее начала образовываться будущая жемчужина. Для Достоевского такой жемчужиной стал роман «Идиот», конгениальный живописному шедевру. Уже через месяц, в сентябре того же 1867 года, в его записях появляется первая заметка, относящаяся к задуманному роману. А в декабре он плотно берется за него, чтобы уже довести свой замысел до конца.

В «Идиоте» впечатление от базельской картины оживает и приобретает характер системообразующего фактора, становится смысловой сердцевиной романа, его про-

¹ Последняя любовь Ф. М. Достоевского. А. Г. Достоевская. Дневник 1867 года. СПб., 1993. С. 292.

² Достоевский Ф. М. Об искусстве. М., 1973. С. 506.

³ Карамзин Н. М. Избранные сочинения. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 208.

блемным эпицентром. Экзистенциальное напряжение, присутствующее в ней, становится внутренним нервом романа, пронизывающим весь его духовный строй, всю его духовную проблематику.

Гольбейновская коллизия зажила в «Идиоте» своей особой, самостоятельной жизнью. Ее смысловые контрверзы то выдвигаются на ярко освещенную авансцену романного пространства, то на некоторое время уходят в тень, но уже не покидают сцену до самого конца романа.

Эта коллизия впервые прорисовывается в сцене пребывания князя Мышкина в мрачном петербургском доме Рогожина. Там над одним из дверных проемов он замечает копию «Мертвого Христа» Гольбейна, выполненную в натуральную величину и купленную по случаю отцом Рогожина «за два целковых».

— Да это... это копия с Ганса Гольбейна, — сказал князь, успев разглядеть картину, — и хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу...

— А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет? — вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов.

— Как ты странно спрашиваешь и... глядишь! — заметил князь невольно.

— А на эту картину я люблю смотреть! — пробормотал, помолчав, Рогожин, точно опять забыв свой вопрос.

— На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!

— Пропадает и то, — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин.

Они дошли уже до самой выходной двери.

— Как! — остановился вдруг князь, — да что ты? Я почти шутил, а ты так серьезно! И к чему ты меня спросил: верую ли я в Бога?

— Да ничего, так. Я и прежде хотел спросить. Многие ведь ноне не веруют. А что, правда (ты за границей-то жил), — мне вон один с пьяных глаз говорил, — что у нас, по России, больше, чем во всех землях, таких, что в Бога не веруют? «Нам, говорит, в этом легче, чем им, потому что мы дальше их пошли...»⁴

Далее, уже шагая по городу, князь вспоминает свой разговор с Рогожиным: «Как мрачно сказал давеча Рогожин, что у него „пропадает вера“! Этот человек должен сильно страдать. Он говорит, что „любит смотреть на эту картину“; не любит, а, значит, ощущает потребность. Рогожин не одна только страстная душа; это все-таки боец: он хочет силой воротить свою потерянную веру. Ему она до мучения теперь нужна... Да! во что-нибудь верить! в кого-нибудь верить! А какая, однако же, странная эта картина Гольбейна...»⁵

Это не последняя романная встреча с гольбейновскими реминисценциями. Далее тема «Мертвого Христа» снова всплывает в исповедальном сочинении умирающего чахоточного юноши Ипполита Терентьева, написавшего что-то вроде собственных «Записок из подполья», назвавшего их «Моим необходимым объяснением» и сопроводившего красноречивым эпиграфом: «После нас хоть потоп». Там есть место, где он вспоминает о картине Гольбейна, однажды увиденной им в доме Рогожина: «Мне вдруг припомнилась картина, которую я видел давеча у Рогожина, в одной из самых мрачных зал его дома, над дверями. Он сам мне ее показал мимоходом; я, кажется, простоял пред нею минут пять. В ней не было ничего хорошего в артистическом отношении; но она произвела во мне какое-то странное беспокойство.

⁴ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 8. Л.: Наука. 1973. С. 181–182.

⁵ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 8. Л.: Наука. 1973. С. 192.

...Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, которой воскликнул: „Талифа куми“, — и девица встала, „Лазарь, гряди вон“, — и вышел умерший? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, — в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо — такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой все подчинено, и передается вам невольно»⁶.

Весь этот каскад болезненно-порывистых суждений, сумрачных наблюдений, депрессивных предположений, навеянных Гольбейном, подводит к мрачной констатации: вряд ли следует считать случайной связь между ними и тем петербургским зловещим, мертвым, похожим на склеп домом, в котором висит копия картины и который на глазах читателя становится средоточием несчастий и преступлений. В нем гибнет Настасья Филипповна, теряет разум князь Мышкин, впадает в белую горячку убийца Рогожин, которого ждет долгая каторга. Ипполит, увидевший там роковую картину, стреляется и лишь по случайности не гибнет. Почему? Не оттого ли, что все они, за исключением князя, оказались на том полюсе гольбейновской контроверзы, где сосредоточилось только безверие? Не служит ли серия их бед прямым свидетельством и одновременно доказательством гибельности их уверенности в том, что умерший Христос не воскрес?

Картину Гольбейна можно, при желании, рассматривать как одну из визуальных версий семантического ядра той великой духовной войны, которая составила основное содержание пятивековой динамики культуры модерности, — войны между сторонниками Христа, верующими в Него как в Спасителя, и противниками, неверующими в Его воскресение.

Эта антитеза присутствует в картине Гольбейна, лишившего Христа Его божественной природы и тем самым поправшего главную библейскую идею богочеловеческой природы Мессии. В сущности, художник выполнил заказ неверующего рассудка, не признававшего в Сыне человеческого Бога и соглашавшегося терпеть Христа только лишь как смертного человека. Это грубое попрание осуществилось изобретательно, талантливо. Явилась картина, угадывающая дух с такой жесткой непреклонностью, что внутри ее тесного, сдавленного со всех сторон пространства совершенно не осталось воздуха, вытесненного, замещенного тлетворным духом, которым нельзя дышать.

Достоевский в своем последнем романе «Братья Карамазовы» вернется к теме тлетворного духа, убивающего веру. Там сцены смерти старца Зосимы предстанут чем-то вроде *déjà vu* гольбейновской контроверзы из романа «Идиот». Снова мертвое тело дорогого для многих существа, снова его ускоренный распад и тлетворный дух, снова разочарования, смятение чувств, сумбур мыслей. И снова знакомый роковой вывод: от всего этого вера может пропасть. И она действительно оказывается на грани пропадания у очень юного, еще нестойкого в своей вере Алеши Карамазова, потрясенного происходящим.

Примечательно, что если контроверза «Мертвого Христа» Гольбейна, составившая идейную сердцевину «Идиота», вот уже несколько поколений волнует читателей и,

⁶ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 8. Л.: Наука. 1973. С. 338–339.

в особенности, исследователей романа, то коллизия с мертвым Зосимой мало кого трогает, не имея существенного значения для духовной жизни современных людей.

Почему вера может пропасть?

Ганс Гольбейн, сам к тому, вероятно, не стремясь, создал картину-тест, испытывающую зрителя, проверяющую стойкость, крепость, прочность, твердость его веры. Если попытаться сформулировать этот тест в предельно лаконичном виде, то он мог бы выглядеть примерно так: «Что же сильнее — законы природы, утверждающие обязательность смерти, тления, распада, или вечный, бессмертный Бог, сотворивший мир, утвердивший его законы, стоящий над природой и смертью, воплотившийся в Своем Сыне?»

Тому, кто трактует Гольбейна однозначно пессимистически, усматривает в картине торжество естественных законов и смерти, как, например, Ипполит Терентьев, «Мертвый Христос» представляется убедительным подтверждением верности их собственной модели мира, в котором Бога нет, а Иисус умер и истлел в могиле, так и не воскреснув.

Между тем у Гольбейна все не так однозначно. Необычность «Мертвого Христа» заключается в том, что художник создал символический мир визуальных знаков и значений, обладающих универсальной, предельной и одновременно запредельной духовной значимостью. В виду этого полотна личные экзистенциалы чуткого зрителя оказываются как бы на испытательном стенде, проходят проверку на прочность, на излом. В процессе этого испытания слабая вера действительно может еще более ослабнуть и даже совсем пропасть. Но с сильной, твердой верой это вряд ли произойдет. Напротив, у нее появляется повод выказать свою непоколебимость и стать еще сильнее.

При всей внешней статике изображения картина обладает динамизмом, который сосредоточен в ее внутреннем драматизме и напоминает пружину, сжатую до предела и заставляющую смыслы маленького живописного мира пульсировать, а мысль — перемещаться от смерти к бессмертию, затем назад к смерти и снова от нее к бессмертию. И эта маятниковость движений не позволяет мыслям и чувствам целиком подчиниться диктатуре смерти, застыть, сникнуть и закоснеть под ее властью. Если зритель согласен видеть перед собой натуралистическое изображение некоего утопленника, то его восприятие оказывается пленником смерти. Если же он видит перед собой исключительно евангельского Христа, не слишком удачно изображенного художником, которому не хватило духовного чутья и евангельской веры, то его позиция останется незабываемой, как у апостола Павла, воскликнувшего: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55).

Картина была не из тех, суть которых ясна с самого начала или может быть исчерпана в несколько секунд мимолетного взгляда. Ее смысловая глубина оказалась бездонностью, а внутренняя напряженность между полярными смыслами — заряженной возможностью сложнейших экзистенциальных коллизий и эксцессов. Достоевский это сразу понял уже при первом взгляде на картину и оттого надолго застыл перед ней, глубоко погрузившись в коллизию, образовавшуюся из-за неординарной живописной интерпретации богочеловеческой драмы, и при этом героически сопротивляясь натиску сомнений, способных разорвать сердце и ум, а с ними и саму веру.

«Мертвый Христос» Гольбейна не был живописным манифестом открытого богоборчества. В картине присутствовало всего лишь предчувствие вхождения в бу-

душую секулярную, постхристианскую цивилизацию фаустовского типа. Достоевский усмотрел в базельском артефакте наличие взрывного потенциала, готового дезактивировать и дискредитировать Благую Весть, способного аннигилировать личную веру христиан и превращать их в атеистов. В картине было что-то от фаустовско-мефистофелевской усмешки, демонической ухмылки духа зла, неверия и смерти, насаждающего сомнения и намеревающегося с их помощью опрокидывать благие замыслы и чувства.

Похоже, что именно власть сомнений привела когда-то самого Гольбейна к тому, что эстетика «Мертвого Христа» приобрела столь мрачную беспощадность и тяжелую безжалостность. Она как будто навязывает, внушает зрителю безрадостную мысль о безвозвратной смерти Сына Божьего, о невозможности Его воскресения, о неодолимо brutальной силе зла и смерти, убивших Бога и убивающих веру в Него. Давящие каменные своды, сумеречные тона, отсутствие света, воздуха, явные признаки растрескивания действуют на душу зрителя гнетуще, убийственно. Это атмосфера тотального господства смерти, которой ничего не стоит дохнуть своим смрадным дыханием на кого угодно, в том числе и на зрителя, рискнувшего приблизиться к картине. Если вера в нем слаба, если она едва теплится, подобно крохотному огарку свечи, то духу смерти ничего не стоит загасить его, изничтожить надежду на спасение.

При желании все разнообразие гольбейновских интуиций касательно тем смерти-бессмертия, веры-безверия можно свести к одной-единственной мирозерцательной теологической формуле: *Бог умер*. Он умер в двух смыслах: умер, согласно Писанию, на кресте, чтобы воскреснуть. И Он умер для тех, кто, глядя на полотно, готов убедить себя, что Бог умер для него лично, покинул его собственную картину мироздания, перестал занимать какое-либо место в его жизни.

Если духовное состояние христианина, рассматривающего картину, оставляет желать лучшего и он чувствует, как его вера начинает в нем колебаться, крениться, оседать и рушиться, то впору его спросить, как когда-то Иисус спросил своих оробевших учеников: «Где вера ваша?»

Однако здесь же неизбежно возникает вопрос: если бы все христиане обладали такой слабой верой, способной угаснуть от всякого негативного внешнего впечатления, разве смогло бы тогда христианство выстоять и победить? Если бы современники Гольбейна, начавшие Реформацию, имели бы младенчески немощную веру, разве существовали бы сегодня по всему миру 800 млн христиан-протестантов?

Внутренний разрыв Гольбейна

Трудно сказать, как сложилась бы культурно-историческая судьба картины Гольбейна, если бы не Достоевский. Вполне возможно, что она и по сей день продолжала бы спокойно висеть в базельском музее, не вызывая никаких особых дискуссий. Но случилось по-другому: то, что было не под силу тысячам образованных и талантливых Карамзиных со всего света, едва замечавших в Базеле мрачный шедевр Гольбейна, совершил русский гений. Его духовный взор мгновенно проник в сердцевину картины, увидел в ней главное и безошибочно сформулировал самую суть контроверзы *веры-неверия*, грозившей разорвать внутренний мир Гольбейна.

Искусствоведы по сей день не устают спорить о том, что же в действительности двигало художником, решившим изобразить Христа с таким шокирующим натурализмом — в виде неприглядного, начавшего тлеть трупа, чьи голова и конечности уже подернулись землистым оттенком. Крайне необычный формат картины (30,5 x 200 см), воспроизводящий практически реальные пропорции обычного че-

ловеческого тела, усугубляет общий натуралистический эффект изображения, в котором нет ничего прекрасного и возвышенного, но зато с избытком присутствуют ужасное, отталкивающее, пугающее. Что заставило его создать именно такой образ Христа, свидетельствующий исключительно о триумфе смерти?

Была ли это творческая дерзость молодого живописца, увлекшегося художественным поиском новаторских подходов и жаждавшего любой ценой вырваться за пределы старых иконографических традиций? Или же налицо просто банальное безверие, примитивное безбожие человека, для которого Иисус — всего лишь обычный человек, чья плоть бессильна перед смертью и разложением? В дискурсивном пространстве, образованном картиной, однозначного ответа на эти вопросы не существует.

В последнее столетие к искусствоведам, интересующимся загадкой Гольбейна, присоединились еще и литературоведы, специалисты по Достоевскому, пишущие научные труды о романе «Идиот». Однако их фронтальное наступление на обнаруженную проблему пока не увенчалось викторией. У большинства работ, написанных отечественными авторами⁷, есть общая характерная особенность: они не приближают к цели. Аналитика большинства из них выстроена так, что представляет собой «явное не то», то есть производит ровно тот же самый эффект, на который жаловался князь Мышкин. Рассказывая Рогожину об одном своем ученом собеседнике, он сетовал на то, что такие, как он, пишут в своих статьях и книгах «совсем будто не про то, хотя с виду и кажется, что про то». Достоевскоеды, если они приверженцы византизма, плохо знающие Библию, не имеющие личных отношений с живым Богом, довольствующиеся обрядоверием и обрядоцентризмом, почему-то считают, что для анализа темы «Гольбейн и Достоевский» достаточно привести несколько православно окрашенных аллюзий, чтобы все тут же оказалось расставлено по своим местам. Если же они атеисты, то при всей их образованности и учености изрекают суждения такого теоретического уровня, что они вообще выеденного яйца не стоят. Их не смущает то обстоятельство, что к Гольбейну все их секулярные отмычки или православные конструкции не имеют ни малейшего отношения. Да, и к самому Достоевскому с его далеко не однозначными связями с православием (подчеркиваю: не с христианством и Христом, а именно с византийским, не христоцентричным, а обрядоцентричным православием) их несостоятельные в мировоззренческом и методологическом отношении подходы весьма слабо прилегают.

Проблема «Гольбейн и Достоевский» чрезвычайно сложна уже хотя бы по той причине, что является точкой схода, пунктом скрещивания трех крупных культурно-исторических парадигм. За Гольбейном стоят европейская Реформация и протестантизм, за Достоевским — XIX век и православие, а за темой безверия, столь неожиданно сблизившей двух гениев, — парадигма секуляризма, пронизывающая всю эпоху модерности от XVI до XXI века. Все вместе они создают отнюдь не православную смысловую моно-среду, но тройственный культурно-исторический контекст с множеством смысловых пересечений и ценностно-нормативных интерференций. Попытки же вскрыть тему Гольбейна—Достоевского при помощи одной лишь

⁷ См., например: Т. А. Касаткина. После знакомства с подлинником. Картина Ганса Гольбейна Младшего «Христос в могиле» в структуре романа Ф. М. Достоевского «Идиот» // Новый мир 2006, № 2; Степанян К. А. Люди Страстной Субботы. Достоевский и Гольбейн. — НГ— Ex Libris 8 сентября 2011; Тихомиров Б. Н. Достоевский и «Мертвый Христос» Ганса Гольбейна Младшего // Sub specie tolerantiae. Памяти В. А. Туниманова. ИРЛИ. СПб.: Наука, 2008; Новикова Е. Г. «На картине этой изображен Христос, только что снятый с креста»: Н. М. Карамзин, Ф. М. Достоевский, С. Н. Булгаков о картине Ганса Гольбейна мл. «Христос во гробе» // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 2008.

только византистской парадигмы незамедлительно оборачиваются не слишком адекватными теоретическими умозрениями.

Столь же неадекватными, надуманными и бесплодными, рассказывающими «совсем будто не про то» выглядят теоретические выкладки ученых-атеистов, пытающихся рассуждать о Христе и вере, стоя на совершенно чуждых христианству мирозерцательных основаниях. Теоретизирующие о Гольбейне и Достоевском при помощи сугубо секулярной оптики, они лишь выказывают собственное непонимание глубинной духовной природы проблем веры и безверия.

Гольбейн и Реформация

В уникальной внутренней неоднозначности картины Гольбейна, как в капле воды, отобразилась та великая духовная война, что охватила в эпоху Реформации всю Европу. Гольбейн, уроженец Аугсбурга, города, самым непосредственным образом связанного с Реформацией, был младшим современником Лютера, участником издания лютеровского перевода Библии на немецкий язык, оформителем титульного листа Книги.

Годы создания картины «Мертвый Христос» (1521–1522) — это время, которое можно считать пунктом бифуркации, когда Реформация не просто набирала силу, но когда фактически решалась судьба Лютера. Христианский мир переживал духовные, социальные, политические потрясения, каких давно не знал. Европа пребывала на распутье.

К этому времени прошло всего лишь четыре года с того момента, как в октябре 1517 года, в Виттенберге профессор Лютер вывесил свои 95 тезисов. В последующие два года он вел публичные диспуты в Гейдельберге и Лейпциге, отбивал атаки Кёльнского, Парижского и Лувенского университетов, выступивших с заявлениями, в которых те осудили антикатолические идеи виттенбергского богослова. В 1520 году папа в своей специальной булле пригрозил отлучить Лютера от церкви. А реформатор тем временем издает три антипапских трактата: «Свобода христианина», «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства» и «О вавилонском пленении церкви». В 1521 году на Вормском сейме Лютер выступает перед императором Карлом V с обоснованием своей богословской позиции. Именно там он заявляет о своей решимости идти избранным путем до конца: «На том стою и не могу иначе». После этого над его жизнью нависает смертельная опасность, от которой его спасает правитель Саксонии, курфюрст Фридрих Мудрый.

Таким образом, обстановка накаляется до предела. Реформация движется медленно, но приостановить ее не в состоянии ни папа, ни император. И в этой накаляющейся духовной атмосфере великой исторической драмы, в этом средоточии противоборства реформаторских сил с контрреформаторскими Ганс Гольбейн пишет свою картину. От него, как и от всех прочих, будущее скрыто, победа реформаторов кажется маловероятной, лютеровский замысел выглядит неосуществимым. До победного перелома в пользу реформаторов еще далеко. Ситуация пребывает в состоянии смущающей, беспокоящей и вместе с тем интригующей неопределенности, создавая широкий простор для альтернативных прогнозов.

Гольбейн, судя по всему, не мог решить, как ему следует относиться к Реформации — то ли как к катастрофе, обрушившейся на католический мир, то ли как к шансу вырвать множество христианских душ из плена церковного псевдоморфоza, выволить из пропасти того духовного распада, в котором они очутились стараниями растленного папского Рима. Художник, как христианин, еще не мог определиться,

радоваться ли происходящему или печалиться, надеяться ли на будущую победу евангельской правды или унывать, наблюдая гигантский церковный раскол.

Уникальность, исключительность Реформации заключалась в том, что она заставила огромное число вчерашних номинальных католиков пережить экзистенциальные метаморфозы, катарсисы (процессы духовного очищения), метаноии (перемены ума, перестройки христианского сознания), духовное обновление и возрождение. Они, войдя в реформационный кризис католиками, вышли из него протестантами.

Швейцарский Базель, в который переехало семейство Гольбейнов, находился в самой гуще событий Реформации. Протестанты были в нем сильны и влиятельны. Их иконоборческие настроения беспокоили художников, ценивших заказы католической церкви. В конце концов Ганс Гольбейн Младший решает уехать в Англию. Эразм Роттердамский, с которым он был дружен, дает ему рекомендательное письмо к Томасу Мору, в котором пишет с присущей ему легкой язвительностью: «Здесь искусствам холодно — он уезжает в Англию, чтобы там выводить своих ангелочков».

Далее было продолжение колебаний: дружба с ревностным католиком Т. Мором и их разлад, отъезд из Англии назад в Базель, переход из католичества в протестантизм, участие в лютеровском проекте издания Библии на немецком языке, снова поездка в Англию, обернувшаяся окончательным переселением в королевство Генриха VIII, сделавшего Гольбейна своим придворным художником.

Спустя некоторое время, в 1534 году, в Базель приезжает Жан Кальвин. Там же в 1536 году он издает свой главный труд «Наставления в христианской вере», которому будет суждено сыграть важную роль в судьбе Реформации и всего западного христианства. Но Гольбейн в это время находится уже в Англии.

Экзистенциальный кризис Гольбейна и депрессивная эстетика «Мертвого Христа»

Картина «Мертвый Христос» — это не часто встречающийся среди живописных полотен пример того, как внешняя эстетика *статичного* по своей природе произведения искусства, к тому же изображающего мертвое тело, успешно передает подвижность внутренней жизни, *динамику* духовных колебаний как самого художника, так и многих его современников, свидетелей и участников Реформации. Именно внутренние коллизии ищущего дух и мятущейся души с силой выплеснулись наружу, облеклись в зримые формы, посредством которых чуткому, пронизательному, размышляющему художнику удалось сказать о духе своего времени больше, чем десяткам авторов ученых трактатов.

Следует отдать должное Гольбейну: для передачи этого неустойчивого духовного состояния он обратился не к каким-то малозначимым лицам и второстепенным предметам. Взгляд художника нацелился на самое главное — на Иисуса Христа. Именно фигура Сына человеческого, выдвинувшаяся с периферии духовного пространства, куда ее пытался задвинуть папизм, и оказавшаяся в центре общеевропейского реформационного дискурса, притянула к себе внимание живописца.

Какую творческую задачу Гольбейн надеялся решить, задумав изобразить Христа, снятого с креста и находящегося в пещерном склепе? Очень многое свидетельствует о том, что его занимали вопросы не только художественно-эстетические. Помимо них существовал и другой духовный модус: несомненно, что живописец, размышлявший о драматических событиях Реформации, сотрясавших Европу, нуждался в том, чтобы самоопределиться. Именно задача выявления своей духовной идентичности, экзистенциального самоопределения стояла в те годы перед ним, как и перед

каждым европейцем, каждым католиком, каковыми поначалу были все участники Реформации, включая Лютера, Меланхтона, Цвингли, Кальвина и др. Приходилось выбирать, решаться, а для этого необходимо было размышлять, взвешивать, заглядывать в глубины собственной души, в лабиринты своего внутреннего «я». И фигура Христа становится для Гольбейна эпицентром его раздумий. Таким образом, художник, занятый вопросами самопознания, встает одновременно на путь *богопознания*.

«Христос» Гольбейна — порождение совершенно новой, дотоле не виданной духовной, исторической, социальной реальности. В жизнь европейских христиан ворвался свежий ветер перемен, а с ним и новый духовный опыт. Центральное место в этом опыте занял Иисус Христос, внимательно вглядывающийся в каждого человека и как бы ожидающий от него самоопределения. И действительно, по большому счету речь шла не о выборе между двумя противоборствующими лагерями, лютеровским и папским, но о выборе между Христом воскресшим и Христом невоскресшим, между истинной верой в неподвластного смерти Спасителя и излюбленной папским Римом формально-обрядовой имитацией веры, равносильной откровенному безверию.

Чтобы устоять в вере тогда, когда ее утрата стала для многих людей обычным делом, требовались духовная твердость и настоящее экзистенциальное мужество. Почерпнуть же их, вместе с другими духовными доблестями, можно было только в одном источнике — Иисусе Христе.

Картина воссоздает атмосферу глубокого экзистенциального кризиса, пленником которого предстает личное «я» художника. Не решаясь открыто признать глубинную правоту Реформации, призывавшей христиан сосредоточиться на Христе и Его Слове, пытаясь сохранить верность католической церкви, он в то же время не был в состоянии почерпнуть из своей позиции ни духовных сил, ни утешения, ни воодушевляющих надежд. Отсюда живописные знаки глубоко депрессивной реакции на все происходившее. Гольбейн как бы заявлял неведомому зрителю будущего XIX века, заезжому русскому писателю Федору Достоевскому: «Вы думаете, у меня у самого вера не может пропасть? Еще как может! Да, меня это беспокоит. Да, я от этого страдаю. Да, я пока не могу перебороть в себе все те сомнения, что одолевают меня. И вы совершенно правы, говоря об опасности пропажи веры. Я сам боюсь этой победы безверия, торжества угнетающей дух меланхолии. И я предложил бы уточняющую поправку в ваше умозаключение: угроза безверия подстерегает не только зрителя, стоящего перед картиной, но и художника, написавшего ее. Чуткий, вдумчивый и одновременно маловерный зритель, колеблющийся между верой и неверием, надеждой на спасение и меланхолией, улавливает мое состояние и может заразиться им, на свою же беду. И тогда депрессивный процесс внутри него способен пойти гораздо быстрее, вплоть до перехода духовной болезни маловерия из легкой меланхолии в глубокую депрессию, а за ней и в полный атеизм, равносильный духовной смерти».

Гольбейн отнюдь не намеренно ставил под угрозу христианскую идентичность всех тех, чья вера при виде изображения распадающейся плоти могла бы шатаваться и начать рушиться. Просто он уже сам пребывал в этом состоянии, сам ощущал, как внутри него что-то грозило надломиться и обвалиться. Он не чувствовал в себе присутствия той христианской стойкости, которая позволяла бы ему твердо стоять в проломе и мужественно выдерживать жесткие прикосновения немилосердных обстоятельств. Оттого изображенный им Господь превратился в подобие обычного утопленника. Видно, что во время написания картины в самом художнике не было духа Божьего и ему нечего было вложить в свое творение. Потому он пошел по пути, который иначе не назовешь как путем неблагословенного произвола, худо-

жественного своеволия. Этот произвол проявился в том, что Гольбейн взялся изобразить то, чего никто из людей не мог видеть. Иисус, помещенный в могильную пещеру в пятницу вечером, оставался там запертым при помощи огромного камня, приваленного к входу, всю субботу, вплоть до воскресного утра. Что там происходило с его телом, как изменялся его вид и изменялся ли он вообще, никто не знает. Тайна пребывания Христа в каменном склепе абсолютно непроницаема. Гольбейн же попытался заглянуть за завесы этой абсолютной тайны. Более того, он сделал это без надлежащего благоговения, размышляя не в категориях духа, веры, воскресения и бессмертия, а в понятиях брэнной плоти, плотской жизни и физического тления. Но это совершенно нехристианский путь. Для верующих важно, что дух Христа был жив даже в мертвом теле. Он оставался живым на протяжении пребывания тела в могильной пещере. То есть подход Гольбейна, изобразившего одну лишь победу тления, только триумф смерти, ложен в своем основании, в своей сути. Это всего лишь демонстрация недопустимого субъективизма маловера, своевольной игры его творческой фантазии. Похоже, что случайно увиденный художником труп базельского утопленника произвел на него столь сильное впечатление, что он решил написать с него картину. И на какой-то стадии ему пришла в голову мысль отождествить утопленника с мертвым Иисусом. В результате Ганс Гольбейн, еще очень молодой человек, нечуждый некоторому возрастному легкомыслию и к тому же остававшийся еще формальным католиком-«обрядоверцем», обладателем отнюдь не христоцентричного мышления, пошел на поводу у своей сомнительной фантазии. Так появилась картина, способная вводить в недоумение и смущение христиан и вызывать нечистые восторги атеистов.

Разумеется, ее появлению способствовало то промежуточное, маргинальное положение, то неустойчивое духовное состояние, в котором юноша-художник оказался в переломное историческое время начала Реформации. Для очень многих людей это был период серьезнейших испытаний их веры. Но было немало и таких, кто понял, что в условиях, когда старые религиозные предписания уже не действуют, а новые еще не начали действовать, можно руководствоваться исключительно своими личными соображениями и пристрастиями. Гольбейн оказался среди этих последних, решив, что его личные художественно-эстетические пристрастия — вполне достаточный путеводитель в области живописной христологии.

Скажи мне, кто твой друг? (Портрет Эразма Роттердамского)

Предположения о безверии, угрожавшем Гольбейну, не безосновательны еще по одной причине. В их пользу говорит тот факт, что знаменитый философ-гуманист Эразм Роттердамский (1469—1536), язвительный скептик, ироник-пересмешник, всю жизнь балансировавший на грани веры и безверия, был кумиром Гольбейна. В Базеле художнику довелось прочесть знаменитую «Похвалу глупости» Эразма. Восхищение было столь велико, что они с братом создали более восьмидесяти очень удачных иллюстраций к книге, так что все ее последующие издания выходили уже с работами Гольбейнов.

В 1523 году Гольбейн Младший написал портрет Эразма, свидетельствующий о развитии их дружеских отношений. Работа впечатляет тем, что личность философа, его характер, нрав, ум, что называется, написаны на его лице. Этот живописный портрет по своему тону и духу практически целиком совпадает с литературным, духовно-интеллектуальным портретом Эразма, написанным Мартином Лютером.

Случилось так, что практически в это же самое время, в 1524 году, вышел в свет труд Эразма «De libero arbitrio» («О свободной воле»). Несогласие Лютера с изложенным в нем пониманием сущности свободы заставило реформатора написать полемический трактат «De servo arbitrio» («О рабстве воли», 1525). Для нас исполненный Лютером литературно-богословский портрет Эразма имеет ряд примечательных черт, мимо которых невозможно пройти. Прежде всего, это удивительное сходство свойств этого интеллектуала с многими чертами интеллектуалов эпохи зрелой модерности, то есть времени Достоевского. А поединок Лютера с Эразмом чем-то напоминает противостояние Достоевского своим современникам, просвещенным интеллектуальным виртуозам с секулярным рассудком. Данное обстоятельство заставляет отнести к сочинению Лютера не как к экспонату музея интеллектуальной истории, но как к крайне ценному опыту пронизательной аналитической диагностики, обнажающей ментальные, психосоциальные, моральные и экзистенциальные структуры внутреннего «я» того уже упоминавшегося выше типа интеллектуалов, которые «в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду и кажется, что про то».

Лютер показывает и доказывает, что все, о чем рассуждает интеллектуальный виртуоз Эразм, отдает холодком скепсиса и безверия. И хотя тот стремится скрыть их блеском красноречия, его слова остаются «холоднее самого льда». Его гладко изложенные мысли, мягко текущие потоки красноречия, ловкие игры словами отмечены печатями зыбкой двусмысленности и неосновательности. При этом они не просто сбивают с толку и колеблют разум, но и подрывают в сердцах христиан веру в Бога, уверенность в истинности христианского учения. Вышколенный, изощренный ум Эразма позволяет ему выстраивать стройные системы логических доказательств и сплетать искусные вязи из многих аргументов. Но в глазах Лютера цена таких доказательств ничтожна, поскольку мысль интеллектуального виртуоза танцует свои изящные танцы в пустоте, а сам он не располагает тем, что могло бы эту пустоту ликвидировать, — христианским духом и верой. А поскольку нет возможности избавиться от внутренней пустоты, то вся изысканная гуманитарная риторика приводит к результату, очень похожему на тот, который получает человек, льющий воду в дырявую бочку.

Эразм, может быть, и хотел бы, чтоб все оставалось на уровне сугубо философской дискуссии, доставляющей участникам и читателям интеллектуальное удовольствие, но Лютер этого не допустил, переведя ситуацию в плоскость серьезного, бескомпромиссного теологического сражения, где сам выступил в роли не игрока, не дуэлянта, а христианского воина, вооруженного мечом истины и щитом веры и готового биться не на жизнь, а на смерть за Христа, за Истину, которая есть Христос.

В глазах Лютера самое неприятное в Эразме — это его закрытое сердце, недоступное вере, его убежденность в том, что вера — внутренняя помеха, мешающая ясному рациональному мышлению. А реформатор настаивал на том, что евангельская вера — наилучшее основание для всех рациональных суждений, поскольку придает им безошибочную направленность и не позволяет мысли заблудиться в разбушевавшейся полемической стихии реформационной смуты.

Лютер был убежден, что безверие обрекает человека на невежество в понимании сложных и тонких вещей, связанных с жизнью духа. Перед неверующим словно бы вырастает стена, закрывающая от него истину. Если это мыслитель-полемист, то есть человек с открытыми устами, то все его достоинства сводятся на нет закрытым сердцем, от которого истина прячется. Ему угрожает нешуточная опасность вскормить в своем сердце «какую-нибудь свинью из Эпикурова стада, которая

и сама несколько не верит в то, что есть Бог, и втайне потешается надо всеми, кто верит в Него и исповедует Его»⁸.

Из-под пера Лютера родился мастерски исполненный интеллектуальный портрет секулярного человека, находящегося в плену безверия, обладавшего скептическим рассудком, склонного к софистике и готового ставить любую из философий выше христианского учения. Этому типу интеллектуала новой формации была суждена долгая культурно-историческая жизнь. На протяжении последующих пяти столетий менялись лишь конкретно-исторические атрибуты этого типа, но сущность его, схваченная и запечатленная Лютером, оставалась неизменной. Можно сказать, что реформатор совершил в данном случае еще один интеллектуальный подвиг: завершив диспут, он как будто поставил перед будущими поколениями неверующих гуманитариев нечто вроде зеркала: вглядываясь в смысловые хитросплетения развенчанных Лютером эразмовых конструкций, они узнают в них черты своих надуманных построений, которыми тешатся вместо того, чтобы искать истину.

Все сказанное выше позволяет утверждать, что для Ганса Гольбейна Младшего дружба с Эразмом не была благом. Совсем напротив, она стала еще одним фактором, который усложнил и без того непростую духовную ситуацию, в которой он пребывал. Его не слишком твердая вера подвергалась дополнительным испытаниям.

Византизм и евангелизм Достоевского

Здесь мы подходим к еще одной важной и довольно болезненной проблеме. Не стоит забывать, что афоризм князя Мышкина о картине, от которой вера может пропасть, сразу же очутился в сугубо русском контексте византийского православия. Без понимания истинной духовной природы этого контекста суть данного афоризма останется слабо проясненной.

Византистское православие времен Достоевского пребывало в том духовном состоянии, которое весьма напоминает кризисное состояние европейского католичества накануне Реформации. Сам факт его исторического существования заставляет говорить о двух типах христианства — истинном и ложном, о неповрежденном, светлом и бесконечно прекрасном христианстве Нового Завета, Иисуса Христа и о разновидностях христианства неистинного, псевдоморфного, отклонившегося от ясной и прямой траектории евангельского духа. Жертвой такого отклонения стала римская церковь, сама же способствовавшая возникновению Реформации. Второй такой крупной жертвой псевдоморфоза явилось византистское православие с его неспособностью творчески пережить свой кризис⁹, эстетикой нарциссического экклезиоцентризма. Главным предметом поклонения выступала сама церковь, насаждавшая тяжеловесную, помпезную театральность, безблагодатный цезаропапизм и обрядовое.

Византизм променял генетическую триаду «Афины—Рим—Иерусалим» на монаду «Константинополь», избрав тем самым участь засыхающей ветви христианства. Он отодвинул в сторону главное ради второстепенного, предпочел государствоцентризм христоцентризму. Тем самым он продемонстрировал неповиновение Христу и обрек себя на длинную череду духовных поражений. Демону византизма, занятому упорным выхолащиванием духовной жизни, удалось совершить убийственную подмену, утвердить на месте *церкви исцеляющей* ее антипода — *церковь травмирующую*, растерявшую свою духовную силу, погруженную в состояние духовного анабиоза и производящую общий депрессивный духовный эффект.

⁸ Мартин Лютер. Избранные произведения. СПб.: Фонд лютеранского наследия. 1997. С. 184.

⁹ См. об этом: Шмеман А. Д. Дневники. 1973—1983. — М.: Русский путь, 2005.

Достоевский в силу обстоятельств своего рождения, воспитания и проживания вынужден был пребывать внутри этого депрессивного духовного контекста, который мало способствовал укреплению его веры. Если бы не испытания каторгой и солдатчиной, не подаренный женами декабристов Новый Завет, с которым он не расставался все годы, проведенные в Сибири, то трудно сказать, что бы вообще произошло с его верой.

Однако именно Новый Завет, многократно прочитанный от начала до конца, придал вере Достоевского не византистскую, а библейскую, евангельскую направленность. Внутри него вместо обрядоцентризма утвердился ясный и твердый христоцентризм. Вот как он писал об этом зимой 1854 года из Омска Н. Д. Фонвизиной. Делясь с ней сокровенными переживаниями и мыслями, он рассказывает о своих страданиях, о том, как тяжелая и бесцветная каторжная жизнь норвила сломить его и как он жаждал веры, подобно «траве иссохшей», потому что понимал, что иначе погибнет. Без веры было невозможно выжить, но и обрести ее было непросто, потому что преграда находилась в нем самом. Секулярные умонастроения бродили внутри него, и полностью избавиться от них долго не удавалось: «Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»¹⁰.

Траектория личного духовного движения Достоевского нацелилась на Христа. Глубоко продуманная, прочувствованная, поистине выстраданная христоцентричность жизненного мира писателя, всей его творческой жизни стала для него истинным благословением. Она надежно защитила его от опасностей духовного прозябания, от суетливого литературного мелкотемья, обеспечила крепкое духовное здоровье, высокую творческую продуктивность и превосходное качество создаваемых текстов.

Достоевский понял, что вера — это та соль, которая спасает душу и ее содержимое от порчи и разложения. Вера придает вкус всей духовной, творческой жизни человека. Без нее эта жизнь не имеет волнующей остроты, которая высоко ценится художниками и служит для них источником творческого вдохновения.

В момент посещения базельского музея Достоевский пребывал в состоянии медленного духовного возрождения, которого жаждал, к которому стремился, важность которого сознавал. Вместе с тем писатель ощущал, как некие враждебные силы продолжают свои попытки утянуть его вниз, в сумрак безверия, в подполье богопротивного состояния души и ума. Его внутренний мир продолжал оставаться тем самым полем, где, как позднее скажет один из его будущих героев, дьявол с Богом борется. Это было состояние внутренней духовной неустойчивости, когда каждая пылинка внешних влияний и впечатлений была важна для балансирующих внутренних весов с чашами веры и неверия.

Свежему росту веры, устремленной к Христу, приходилось преодолевать сопротивление двух мощных бастионов — застарелого, душного византизма и наступавшего по всем фронтам секуляризма-атеизма, уже праздновавшего свои многочис-

¹⁰ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 28, кн.1. Л.: Наука. 1985. С. 176.

ленные победы в просвещенной среде европейской и петербургской интеллигенции. Процесс преодоления был успешен уже тем, что сделал внутреннюю жизнь Мастера необычайно плодотворной, богатой многими творческими взлетами. В противоборствах, антитезах, антиномиях его духовный опыт продолжал прирастать не по дням, а по часам. Он, подобно пушкинскому царевичу Гвидону, не только стремительно рос, но и крайне настойчиво просился наружу. Писателя переполняли замыслы, один ярче и крупнее другого. И вот в том же 1867 году царевич, то бишь замысел творческого духа, выбивает дно сдерживавшей его бочки. На свет рождается роман «Идиот», начинается его внешняя жизнь, вначале в набросках, черновиках, расположившихся на письменном столе писателя, а затем и в публичном литературном пространстве. И базельско-гольбейновские ассоциации, аллюзии, реминисценции заняли в нем место центрирующего начала. Иисус Христос, для одних воскресший, живой, а для других мертвый, истлевающий, разделит героев романа на овец и козлиц. Драматическая коллизия, наметившаяся в картине Гольбейна и уловленная пронизательным русским гением, расколола романский мир. Достоевский, сам переживавший примерно то же состояние, что и Гольбейн на заре Реформации, нес в себе внутренний разрыв, который ему самому крайне не нравился. Он очень хотел избавиться от него, но пока не мог. Внутренняя борьба продолжалась. Имея благую природу (поскольку это была борьба за Христа, а не против Него), она приносила благие плоды — проникновенные тексты о духовной войне внутри человеческого сердца, о великой экзистенциально-интеллектуальной расправе, будоражащей его ум.

Как я уже писал выше, произведение Гольбейна, родившееся в горниле Реформации, вряд ли может получить аутентичное истолкование, если его рассматривать исключительно в ключе византийского миропонимания. И здесь важно то, что сам Достоевский фактически сразу же отбросил византистскую оптику с ее привязанностью к сугубо внешним эстетическим формам. Это произошло как бы само собой: писатель почувствовал ее бессилие и непригодность в проблемном пространстве, где доминировала тема Иисуса Христа не только умершего, но и воскресшего, тема евангельской веры в Него как Спасителя.

Достоевскому с его ненасытимым интересом к личному началу, к жизни индивидуального «я» было тесно внутри галактики византизма, где это «я» должно было растворяться в соборно-хоральном «мы». Ему как художнику и мыслителю гораздо более интересным представлялся множественный мир солирующих, рефлекслирующих «я», похожих на него самого, глубоко индивидуальных, успевших испытать от источников европейской цивилизации, ищущих и творящих, мятущихся и колеблющихся.

Обо всем этом необходимо помнить при размышлениях о рефлексорной реплике главного героя романа «Идиот» по поводу гольбейновской контрверзы. Словам князя Мышкина о том, что от вида этой старинной картины вера может пропасть, не следует придавать безапелляционную категоричность и повышенную авторитетность. Тому есть несколько причин.

Первое. Не стоит повторять распространенную ошибку тех читателей и критиков, которые склонны привязывать отдельные реплики, развернутые высказывания и пространные исповеди героев Достоевского к личности самого писателя, превращать в элементы его мирозерцания и тем самым возводить их чуть ли не в статус непререкаемых истин. Существуют ситуации, при которых подобные процедуры совершенно недопустимы, поскольку становятся источниками многих недоразумений.

Второе. Достоевсковеды не обращают практически никакого внимания на уточняющую ремарку князя, когда он, удивленный мгновенным согласием Рогожина с тем, что от вида «Мертвого Христа» его вера действительно пропадает, добавляет:

«Я почти шутил, а ты так серьезно!» Эти слова дорогого стоят, поскольку едва ли не дезавуируют весь предыдущий депрессивный оценочный пассаж князя.

Третье. В суждении князя о том, что от этой картины вера может пропасть, следует обратить особое внимание на словечко «может». Оно изгоняет из суждения его кажущуюся универсальную категоричность и одновременно лишает однозначной сумрачности. Да, у кого-то вера действительно может пропасть, но у кого-то и нет. Существуют номинальные псевдохристиане, чья вера (или то, что им кажется верой, что они выдают за веру) вообще непонятно на чем держится и может пропасть от малейшего пустяка и без картины Гольбейна. Но не на них христианский мир держится вот уже двадцать столетий.

Невольное прозрение Гольбейна

И все же не будем спешить с осуждением Ганса Гольбейна за его молодое легкомыслие, за непродуманность и даже ложность главной идеи картины «Мертвый Христос». Как это случается иногда, кажущиеся несуразности способны спустя время оборачиваться вполне рациональной правдой. В 1522 году вряд ли кто мог предположить, что эта картина несла в себе нечто большее, сверх простого художнического своеволия с явным антихристианским привкусом. Но сегодня, спустя пять столетий, в этом эпатажном творении можно разглядеть нечто такое, что не могли предполагать ни сам художник, ни его современники, о чем Достоевский и люди его времени только начали догадываться. Как это ни странно, но ныне картину Гольбейна вполне можно трактовать как провидческое проникновение в будущность христианства, где его подстерегала грозная опасность. Имя этой угрозы — великая духовная депрессия. Она означает кульминационную фазу секулярной контрреформации, нацеленной на старательное уничтожение по всему миру библейско-христианского наследия, в том числе и беспощадное вытаптывание на культурных ландшафтах всех тех ростков евангельской веры, которые успела насадить Реформация. Иными словами, это неуклонное возрастание числа людей, для которых смерть — полная хозяйка мира, для кого Христос не воскрес, Бог умер окончательно и бесповоротно, а дьявол жив и здравствует.

Гольбейн при помощи своего творения почти нечаянно заглянул в открывшийся ему кладезь бездны. Заглянул сам и позволил заглянуть многим в экзистенциальный провал будущего массового неверия, духовного упадка, той великой христианской депрессии, о возможности которой предупреждал Господь в своих исполненных глубокой печали словах: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8).

В картине Гольбейна присутствуют не одна, а две смысловые доминанты. О первой из них, доминанте меланхолического смятения, неглубокой, слабой, вялой личной веры, способной в любой момент сойти на нет, речь шла выше. Многие в ней свидетельствуют об инерции католического мировосприятия, где папа стоит к верующему гораздо ближе Христа, Которому отведена роль едва ли не статиста в мировой драме. Эта доминанта указывает на то, что автору «Мертвого Христа» не близок реформаторский оптимизм Лютера и его сподвижников, что он не разделяет их умонастроений и готов скорее поддержать контрреформаторов. Его как будто одолевает разливающаяся по всему пространству картины гнетущая экзистенциальная тоска из-за возникшей между христианами великой распри.

Вторая доминанта уже не привязана к конкретно-историческим обстоятельствам эпохи Реформации и имеет трансисторический характер. В ней как будто угадано,

что прохладное отношение человека к Иисусу Христу способно миновать стадию меланхолии и превратиться в глубокую экзистенциальную депрессию. Слова князя Мышкина о том, что от этой картины вера может пропасть, — это констатация верности одного из возможных прогнозов, который наметился в духовном пространстве картины. Но эта угроза имеет уже массовый характер, и нависла она не только над неким отдельным, случайным зрителем, но над большей частью всего человеческого рода. Для нее действительно наступили времена пропадания веры, когда уже мало кому хочется бороться за свое духовное выживание, и вся эта человеческая масса без особого сопротивления все глубже и глубже погружается, подобно обессилевшему утопающему, в темный исторический омут великой духовной депрессии.

На их потребу был придуман, а затем растиражирован образ Иисуса-человека, лишённого всего божественного. Д. Штраус в Германии, Э. Ренан во Франции, Л. Толстой в России готовы были принять только такого сугубо исторического Иисуса, родившегося от смертной женщины, умершего на кресте, не воскресшего, а истлевшего, подобно всем людям в сырой земле. Образ такого Иисуса, не требовавший веры и вполне устраивающий атеистов, полностью соответствовал тому «Мертвому Христу», которого изобразил Ганс Гольбейн.

Получается, что художник не только угадал пришествие будущей массовой христианской депрессии, но и угодил вкусам многих будущих атеистов — либеральных теологов, секулярных философов и не слишком глубокомысленных писателей, принявших псевдо-Христа, адаптированного к запросам секулярной публики.

Объявление евангельского Христу человеком, и только человеком означало, казалось бы, торжество гольбейновской версии, в которой Иисус был переведен из трансцендентного разряда в разряд сугубо антропологический, превращен в раба тления и смерти, намертво запертого в могиле, так что ни о каком Его воскресении уже не могло быть и речи. И все же это не так, поскольку в картине Гольбейна, строго говоря, нет Христа. Есть всего лишь изображение мертвого тела утопленника, выдаваемого за Христа. Оно отличается от евангельского Христа ровно тем же самым, чем отличается от Него любой обычный мертвец, в котором не осталось ничего от жившего в нем духа.



Вера ХАРЧЕНКО

О ДОКУМЕНТАХ ОКТАБРЯ—НОЯБРЯ 1917-го, И НЕ ТОЛЬКО О НИХ

Почти двадцать лет назад, 10 апреля 1998 года в Москве в Государственном архиве я вчитывалась в изданные в трех томах документы и материалы Петроградского военно-революционного комитета, относящиеся к осени 1917 года. Вряд ли кто-нибудь, помимо, конечно, историков, и поныне заглядывал в эту подборку. Согласимся, профессионального историка не могут не заинтересовать такие, например, выдержки: *Из уезда сообщают, что крестьяне берут земли у помещиков путем захвата. Бывают случаи, что крестьяне, не желающие принять участие в аграрных беспорядках, привлекаются насильно, ибо в случае отказа каждый из них подвергается штрафу в размере 5 рублей* (Отчет о деятельности комиссара города Гомеля А. Жилина). А. Шахматов: *Обращаюсь к Вам с усердной просьбой добиться отмены этой реквизиции (дома Е. И. Чертковой), которая пожертвовала Академии Наук свою драгоценную библиотеку*. Бонч-Бруевич отменил реквизицию.

Итак, в канун столетия известных событий мне, филологу, захотелось поделиться некогда зафиксированным (фрагменты документов я конспектировала), а теперь переосмысляемым уникальным и весьма выразительным материалом. Не сво-

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинин (Тверь), окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профессор, заведует кафедрой филологии Белгородского национального исследовательского университета. Автор более 500 научных работ и пяти поэтических сборников. За двухтомный «Словарь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали ВВЦ (ВДНХ). В журнале «Знамя» в 2006 году опубликовала статью «Русский язык: бедность или богатство?». Живет в Белгороде.

дить же лингвистику революции к реформе орфографии, хотя и здесь есть о чем говорить. На конференциях гуманитарного профиля все чаще артикулируется проблема потерь, вызванных этой реформой. В частности, прозвучало это 20 апреля 2017 года и у нас в Белгороде при проведении форума под эгидой журнала «Литература в школе». О нет, речь не идет о возврате к старому, но сохранить **умение и желание читать книги в старой орфографии** дорогого стоит. Академик Р. М. Фрумкина писала, что в школе их выучивали так, что у них не было страха перед книгой, какого бы объема и какой трудности она ни была. Писательница Мариэтта Шагинян «свободно общалась» с книгами на немецком, английском, французском языках. Рискнет ли современный писатель вставить в свой текст большой абзац на английском языке по примеру Льва Толстого, включавшего в повествование большие куски на французском языке? А ведь английский язык мы будто бы и учили, и знаем! Так пусть не будет страха хотя бы перед ятями и ерами, да не убоимся мы той, старой орфографии, мы, не только филологи, но и школяры, и студенты, и взрослые любители из когорты пока еще читающих.

В тех документах сборника, лежащих передо мной, ятей и еров с ерями уже не было, документы были отпечатаны в новой орфографии, но и в таком виде они заораживают. Попробуем рассмотреть их попристальнее, с высоты птичьего полета высотой в 100 лет. Но сначала выскажем еще одно небольшое предварение.

Официально-деловой стиль у нас не только не в почете, он скорее пребывает **на задворках великой империи стилей**. За годы работы мне довелось писать отзывы примерно на 130 диссертаций (не считая отзывов на авторефераты), но только одна докторская диссертация С. П. Кушнерука (Волгоград, 2008) была посвящена официально-деловому стилю, так называемой **документной лингвистике**. А ведь в октябре—ноябре 1917 года история этого стиля пережила явный кризис, о чем обычно умалчивается. Почему у нашей статьи может быть и иной, несколько эпатажный заголовок: «Официально-деловой стиль как зеркало русской революции».

Комиссар пересыльной тюрьмы А. Белов: Довожу до сведения бюро комиссаров, что, будучи поставлен с первого сего месяца, сего года в Петроградскую пересыльную тюрьму, я главным образом обратил свое внимание на то, что является корнем этого дела, а главным образом, **состоянием культурного процветания тюрьмы:**

- ускорение дела подследственных заключенных;
- облегчение участи **нравственно и в смысле питания** осужденных;
- упрочение и усиление выборной организации тюремных служащих.

Довожу, что чины штаба пока что работают хорошо: вначале, т. е. числа 27—28 октября, замечались **попытки к саботажу и вялости**. Постепенно работа налаживается. Комиссар штаба Токарев.

Обратились в военно-революционный комитет. Там ответили, **что комиссара «дадут»**, но посоветовали при этом избрать комиссара своего.

...Мною организовано **правильное** дежурство на обоих телеграфах... (Комиссар почт-телеграфов Выборгской стороны).

Мы просим проверить наш завод и выгнать **этих смутьянов, потому что они буржуи, домовладельцы**.

С первых дней второй, Октябрьской революции Егерский полк занял определенную позицию беспощадной борьбы **за Совет** (Комиссар гвардии Егерского резервного полка младший унтер-офицер В. Яздовский).

Сколько в полку лошадей **на лицо** и сколько должно по комплекту состоять — 200 и 200.

Что интересно? Во-первых, ломка стиля шла **по всей амплитуде параметров:** лексика, грамматика, фразеология, синтаксис. Документы составлялись, точнее сказать — сочинялись людьми, формально грамотными, однако не то что далекими от канонов официоза, но принципиально не желающими этим канонам следовать. Отсюда интонация непринужденности, непосредственности, сочетание разговорных элементов с отглагольными существительными, краткими причастиями, использование метафор и сравнений «революционной направленности».

Донесение: **Приступлено** к уничтожению 6000 ведер пива. Люди работающие перепиваются, но пиво уничтожено наполовину и продолжает уничтожаться спусканием в реку.

Желателен объезд городов и гарнизонов с докладами о деятельности ЦИК и ВРК. На мой взгляд, это крайне нужно. Местные работники не могут произвести должного впечатления **ввиду их малой талантливости**, с одной стороны, **и привычки к ним** — с другой.

...И вот из достоверных источников нам известно, что нужно конфисковать землю и инвентарь, как живой, так и мертвый. Но я прошу делегировать ораторов **для объяснения деревенскому люду, как это все сделать.** Земли, которые запаханы помещиками, тоже конфисковать, **озимый хлеб тоже конфисковать?** ...Прошу написать мне ответ **в широком объеме**, все подробно (А. Ф. Потепко. Херсонская губерния).

У нас нет револьверов — **и это подвергает опасности** членов Егерского революционного комитета, работающих в районе, **кишащем черными силами, погромщиками и грабителями.**

В настоящее время в батальоне обстоит **все на революционном порядке, как офицеры, так и солдаты.** Но только за исключением подпоручика Каблукова... И я, как комиссар, могу подтвердить, **что он солдатам неоднократно делал замечания большевикам.** Прошу дать распоряжение, как поступить **удобнее** (комиссар Доильницын).

Люди, которые усугубляют хозяйственную разруху и подрывают продовольствие армии и страны, **являются отверженцами и не имеют права на пощадку. Они объявляются под общественным бойкотом** (Воззвание об объявлении общественного бойкота чиновникам, саботирующим работу в государственных и общественных учреждениях. 24 ноября 1917 г.).

Сим имею честь довести до сведения Военно-революционного комитета о том, что, несмотря на всякие просьбы и объявления Военно-революционного комитета с просьбой содействовать прекращению спекуляции и мародерства, мало кто откликнулся, и спекулянты, и мародеры спокойно **продолжают свое гнусное дело.**

...Он оказался не как народный комиссар, а **как контрреволюционер и посланный сброшенным как собака с поста Керенским** (Письмо агитатора В. Капрова из Ярославской губернии 25 ноября 1917 г.)

Мы, солдаты, **оставшиеся от полка остатки, выносим вам свое доверие и вместе с тем просим Военно-революционный комитет нам помочь в наших бессилиях** (Солдат 174-го полка Сергей Карасев).

...И для того, чтобы они **не совали палки в колеса народной русской колесницы**, я подал телеграмму в Тверь...

Во-вторых, материалы документов первых революционных месяцев являются прекрасными свидетельствами **для понимания и изучения языковой личности** в обобщенном ее представлении. В лингвистике сейчас это весьма модное направление, постепенно сменяющее бум исследования концептов. Языковую личность изучают в основном по текстам писателей и поэтов. Если судить по названиям кандидатских

диссертаций 2014–2015 годов, то это Арсений Тарковский, Сергей Довлатов, Виктор Астафьев. Но ведь наряду с изучением ярких языковых личностей немаловажное значение может иметь и исследование языковых личностей типовых, а это возможно при обращении к языку документов эпохи, в частности документов революции 1917 года. Это та самая личность, про которую в «Капитанской дочке» писал А. С. Пушкин, когда называл русский бунт бессмысленным и беспощадным. Именно эти документы, контексты, фрагменты из официальных бумаг высвечивают еще рельефнее, нежели художественные тексты, **моральное лицо автора**, и потому несут воспитывающий эффект, правда, воспитывающий альтернативно, что называется, от противного.

Документ № 924 представляет собой «*Обращение к рабочим и солдатам Петрограда с призывом к демонстрации под лозунгами борьбы с врагами народа*». Из одиннадцати лозунгов пять начинаются с призыва «Долой!». Но это соотношение не вполне корректно, коль скоро в двух лозунгах «долой» распространяется на представителей далеко не одной группы.

1) Долой кадетов, корниловцев, калединцев — врагов народа! 2) Долой буржуазию! Да здравствует народ! 3) Да здравствует власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов! 4) Земли народу! Дома народу! Банки народу! Фабрики и заводы народу! Власть народу! 5) Да здравствует перемирие! Да здравствует честный мир народов! 6) Долой гнет капиталов! 7) Да здравствует социализм! 8) Долой соглашателей социал-революционеров и меньшевиков — лакеев буржуазии! 9) Долой кадетов из Учредительного собрания! 10) Да здравствует соглашательная деятельность Учредительного собрания и Советов! 11) Да здравствует Совет Народных Комиссаров!

Итак, моральное лицо составителей текста... Здесь мы сталкиваемся с таким аспектом социолингвистики, который до сих пор оставался в тени — с исторической социолингвистикой, когда авторы документов «проговариваются», обнажая и уровень культуры, и очарование собственной властью, и желание вписаться в неясный пока еще поведенческий кодекс.

В свободное от наряда время товарищи егери с жадностью читают газеты, чутко прислушиваясь ко всему, что происходит, уделяют исключительное внимание Смольному, каждой весточке отсюда радуются, **как дети**, ждут светлых дней, благоговеют перед одним именем Революции и **слепо верят нашим революционным вождям...** все дружно стоят за наши родные лозунги.

Предложение тов. Ленина: передать Министерство внутренних дел Военно-революционному комитету, создать **маленькое** бюро для управления министерством... была получена **бумажка**, в которой говорится... Значит, с первого дня **была поставлена рогатка** в моей деятельности. Газета издается на собранные среди солдат гроши, которые, **между прочим**, подходят к концу... И мною приняты **предупредительные на всякий случай** меры... Не останавливаясь **перед рассаждением** разврата, пьянства... Но ввиду того, что в конском запасе лошади **буквально дохнут с голоду...** Мне вместе с комиссаром тов. Зайцевым и вместе с нашим революционным комитетом **выпало счастье организовать в полку восстание...** **Товарищи-граждане**, нам известно, что (совершился) переход власти в руки рабочих, солдат и крестьян. Тов. Дзержинский утверждает, чтобы **в целях избежания бюрократической переписки оставить это заявление без ответа** (из протокола).

В-третьих, напрашивается вопрос: далеко ли мы ушли и куда мы идем от уровня официальной документации первых месяцев революции 1917 года, как бы мы стыд-

ливо ни переименовывали ее в октябрьский переворот? Увы и ах, это движение можно назвать движением от непринужденности к... невразумительности.

Когда выступаешь с такой узкой темой, то до тебя доходят флюиды, эманации зала: *а зачем это, в чем актуальность?* Вряд ли это повторится, и какой такой урок из всего этого можно вывести для сегодняшнего нашего интернет-продвинутого существования? А здесь можно вывести, как минимум, три урока. Первый касается **недопущения разговорщины**, а ведь разговорные элементы сейчас проникают далеко не только в СМИ. О нет, в самих документах разговорных элементов не наблюдается, но когда выступают официальные лица, то выступающим лучше воздерживаться от подыгрывания электорату за счет не самых приличных слов и шуток. Что же касается документа, то, да, документ надо писать не так, как мы говорим. Но как? Так что второй урок — это **работа над грамматикой документа**. 24 марта 2017 года мы принимали на совете университета очередное постановление. Представим из него лишь два небольших отрывка:

Проректорам по направлениям деятельности разработать систему мер по усилению контроля установления связей между индикаторами реализации мероприятий блоков «Научно-исследовательская деятельность», «Международная деятельность» дорожных карт по реализации программ развития образовательных структурных подразделений и мероприятиями в планах их работы на 2017—2018 учебный год.

Обеспечить своевременное заполнение журналов академических групп, ведение журнала использования оборудования в информационной системе мониторинга использования оборудования (ИСМИО) в соответствии с установленными требованиями и актуализацию информации об институте/факультете на официальном сайте...

Что мы видим? Парад родительных падежей. Отдаленность зависимых слов от главного. Пока дочитываешь предложение до конца (если, конечно, дочитываешь!), забываешь его начало. Но документ-то должен быть читаем и теми, кто совсем не хочет его читать. Культура — это многообразие, причем не только многообразие одежды, интонаций, движений, а в письменных текстах — многообразие далеко не только лексики. Грамматики тоже. На это хорошо нацеливает М. Н. Эпштейн в статье о пластике философского текста — статье с выразительным подзаголовком: «Почему одни авторы читаемы, а другие нет».

Наконец, третий урок — это **уважение к здравому смыслу**. Мы катастрофически теряем зрение, и мы всегда очень заняты. А инструкции написаны так мелко и так подробно, что вызывают отторжение, точнее, не вызывают желания в них вчитываться. Если про теракт, то ведь достаточно крупно написанных букв с рисунками и двумя предупреждениями: НЕ ТРОГАЙТЕ! СООБЩИТЕ! Один из специалистов по технике безопасности сетовал: в кабине пилота чашку с кофе поставить некуда, а тут еще инструкции...

Что же мешает реализации, воплощению этих трех обозначенных уроков делового стиля? На этот вопрос мы найдем ответ, если сопоставим деловой стиль (или как сейчас принято говорить красиво: *дискурс*) с художественным стилем, или дискурсом. Начиная со школьной скамьи, если не ранее, своими превосходными текстами нас воспитывают звезды художественного слова: Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Тургенев... (Насколько велика эта когорта, доказывать не приходится!) Вместе с тем отечественная культура накопила, пусть не так много, но тоже весьма ярких авторов деловых документов, однако почему-то мы не учимся у этих выдающихся людей, не анализируем их тексты.

Князя А. М. Горчакова, выпускника пушкинского лицея, блестяще образованного дипломата, Ф. Тютчев называл поэтом чернильницы, и ведь было за что — столько внимания уделял князь подготовке циркуляров.

Из инструкции Горчакова послу во Франции Н. А. Орлову. Декабрь 1871 г.

Мы желаем использовать эти добрые отношения, не провоцируя их. Речь идет лишь об использовании этих отношений справедливым образом, отвечая на них сердечной взаимностью, но не допуская чрезмерной близости и доверчивости с правительством, которое еще не завоевало право на них, — не поддерживая ни под каким предлогом стремления, которые не могли бы войти в наши расчеты и которые мы расцениваем как опасные для самой Франции.

...Остерегаясь излишнего усердия, которое могло бы поставить под угрозу нашу политику, и, особенно, любых обязательств, которые имели бы целью создание общности интересов, на которые мы не могли бы пойти. <...> Таковы, князь, рамки которыми должна ограничиваться Ваша миссия. Она требует много такта и осторожности. Император свидетельствует Вам о своем высоком доверии, передавая его Вашим заботам.

А вот что пишет биограф А. М. Горчакова: «Горчаков-дипломат в своем деле оказался новатором. Он сумел доказать, насколько литературный язык Пушкина с успехом употребим в системе, казалось бы, неизбежно казенного общества. Стиль дипломатических документов, в составлении которых он принимал участие, обрел живые черты, оснастился разнообразием литературно-художественных средств и приемов. Горчаков стремился следовать классическим литературным канонам, добиваясь стилистической целостности, совершенства в таком официальном деле, как дипломатическая переписка. Это особенно очевидно, если сопоставить дипломатические документы прежнего времени с тем, что выходило из-под пера Горчакова. Похоже, он придавал значение каждому слову, каждой строчке, уделяя работе над текстом немало времени и таланта».

«Человек совершенного ума словами может добиться того, чего не сделает сотня храбрых воинов». Эту восточную мудрость приводил князь А. М. Горчаков, и когда вчитываешься в циркуляры, которые составлял этот человек, то начинаешь понимать, почему так ценил Горчакова Александр II, почему в течение одиннадцати лет в России было относительно спокойно. Горчаков не позволял втягивать страну в международные разборки, что давало возможность проводить значимые реформы **внутри страны**. Не в этих ли внутренних реформах и состоит главная миссия правительства?

Горчаков писал до тридцати документов в день, весьма тщательно их шлифуя. Считается, что именно поэтому этот человек не оставил ни дневников, ни воспоминаний, ни записок. Полная отдача себя документу, но 11 лет относительного благополучия страны?

Второй «персонаж» из наиболее ярких реализаторов официально-делового стиля — митрополит Макарий (Булгаков). Приведем фрагмент из отчета митрополита в Священный Синод, демонстрирующий пластику, прозрачность «официального» стиля:

Что касается внутреннего состояния монастырей Литовской епархии, то, к сожалению, не во всех монастырях можно дать одобрительный отзыв. До меня не раз доходили жалобы из некоторых монастырей, с одной стороны, на произвол некоторых настоятелей, а с другой — на беспорядки, допускаемые некоторыми из братьев. Произвол настоятелей выражался наиболее всего в безотчетном и неведомом для братии распоряжении всем хозяйством монастырей и в неудовлетворительном, судя по монастырским средствам, содержании братии.

Работая над монографией, я отслеживала, как чередует падежи этот историограф церкви, причем не только в своем 12-томном труде по истории русской церкви, но и в сборнике документов, которые этот человек подготовил по каноническому праву, но не успел издать (издал их Константин Геннадьевич Капков, сумев перефотографировать материалы в киевском архиве в 2011 году). Я наблюдала, если можно так выразиться, **поэзию документа** у митрополита Макария. Одинаковые зачины. Удвоенные характеристики (чтобы запечатлелось!). Отсутствие лишних слов. И здравый смысл: если лучше не менять, то и не менять.

Согласимся, восхитительный порядок в делах придает им черты поэзии. В те годы не писали об искусстве управления, но такое искусство существовало, и митрополит Макарий, по-видимому, понимал, что составляет отнюдь не отписку, как сейчас говорят, для проформы, а полноценный документ, которым нужно будет руководствоваться, почему в этом документе выверено буквально каждое слово. Ни одна часть документа не похожа на другую. Каждая часть при этом обнаруживает свой синтаксический ритм, облегчающий чтение и восприятие, захватывающий основной блок требований, но, однако, не все требования, иначе это выглядело бы искусственно, если не сказать — карикатурно. Например, наряду с расхожим в настоящее время и слабо воздействующим словом «должен» митрополит Макарий прибегает к самым разнообразным конструктивным вариантам.

Это констатация уже совершающегося действия: *Смотрят, дабы во всех церквях монастырских была чистота и опрятность...; Хранят у себя ключи от ризницы...* Это **требование, выражаемое инфинитивом:** *Хранить монастырскую сумму как следует... В делах экономических помогать Экономам советами и споспешествовать самим Настоятелям...* Это **требование, выражаемое глаголом пассивного залога:** *Просящий о снятии Монашествовавшего сана увещевается в сохранении обета сперва через Настоятеля со старшею братией...* (с. 199).

Итак, где мы сейчас, в какой точке находимся? От стиля документов октября—ноября 1917 года мы, конечно же, ушли, но к уровню документов, подготовленных митрополитом Макарием и князем Горчаковым, вот до такого уровня еще предстоит идти и идти. И здесь следует хорошо осознавать механизмы развития языковой личности. Языковая личность в идеале должна выступать как проект. Проект — слово, весьма востребованное сейчас, как и другие обозначения: «дорожная карта», «компетентность», «практико-ориентированное обучение». Над «шершавым языком плаката», над неудачными лозунгами и двусмысленными приветствиями (*Привет освободителям Нарвы от немецких захватчиков!*) легко смеяться, но, может быть, миссия словесника-профессионала, будь то писатель, учитель, ученый, переводчик, редактор, как раз и состоит в том, чтобы через тексты, лекции, уроки, выступления помогать внутреннему движению человека к высотам языковой личности в ее свободном владении любым стилем — не только обиходно-разговорным.

Мы нуждаемся в хорошо составленных документах, но ведь и документы терпеливо и подолгу ждут нас. На процедуре открытия одной из конференций в апреле 2017 года директор Белгородского государственного архива П. Ю. Субботин посетовал: две трети хранящихся у них документов, в основном советского периода 60-х годов, еще никем ни разу не были запрошены. Мы ленивы и не любопытны? Да как сказать. Не раз приходилось слышать признание, что с возрастом все больше тянет к литературе *non fiction*: дневникам, запискам, письмам. Чтобы документов было больше, полезно приобрести одну привычку, о которой писал из концлагеря сыну Васе о. Павел Флоренский: «Сегодня получил твое письмо, но без числа. Когда я учился в гимназии, нас муштровали на каждой работе писать, когда и где она выполнена. Это было

очень полезным требованием, так как на всю жизнь научило точности в датировке. А письмо без даты — почти что ничего, ибо в письме сообщаются текущие события, и не знать, когда и где они произошли — это значит не координировать отдельных моментов в жизни, то есть ничего в ней не понимать» (14–15 августа 1935 г.). Дата на фотографии, на записке, в инскрипте подаренной книги, под записанным детским речением, над текстом творческой работы на порядок повышает ценность пусть единичного, случайного сколка национальной культуры. А само умение читать документы, например: фиксировать то, чего в них нет (значимое отсутствие)? А угроза несохранения документов, «живущих» в компьютере? А количество требований в документе, превышающее возможности их выполнения и нацеливающее или на приписки, или на игнорирование предписаний? Не сигнал ли это кризиса, но уже не 1917-го, а 2017 года? Обозначение профессии «документовед» появилось в 60-х годах прошлого века, однако новое время перед документоведами ставит серию новых задач на стыке истории, культуры, языка, задач, актуальных и для такой области изысканий, как лингвострановедение.

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Вячеслав ВЛАЩЕНКО

ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ДОСТОЕВСКОГО (Трагическая судьба Мармеладовых)

1.

Чуть более **150** лет тому назад в журнале М. Каткова «Русский вестник» (1866, № 1–12) был опубликован первый роман из «великого пятикнижия» Ф. М. Достоевского, «**Преступление и наказание**», его «самый петербургский ро-

Вячеслав Иванович Влащенко — литературовед, методист. Автор трех книг («Проблема литературной преемственности на уроках внеклассного чтения в старших классах» (Л., 1988), «Уроки литературы в выпускном классе» (в соавторстве с Г. Н. Иониным; СПб., 2009), «Современное прочтение романа М. Ю. Лермонтова „Герой нашего времени“» (СПб., 2014) и более 120 публикаций о русской литературе XIX–XX веков в сборниках трудов ИМЛИ («Московский пушкинист». Вып. V, 1998; Вып. X, 2002; Вып. XII, 2009), ИРЛИ (Пушкинский Дом), СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена; в журналах «Social Sciences» (2015, № 2), «Вопросы литературы» (1998, № 6; 2004, № 4; 2014, № 6), «Нева» (2005, № 12; 2014, № 10; 2016, № 3, 4; 2017, № 3), «Литература в школе», «Русская словесность», «Литература», «Начальная школа».

ман» (Н. Анциферов) и, по словам В. Розанова, «самое совершенное его произведение»¹, в котором, несмотря на огромное количество исследований о нем², для современного читателя еще остается много **загадок и тайн**, требующих своего глубокого осмысления. В романе о «безобразном» преступлении, нравственно-психологическом наказании (невыносимом душевном страдании) и чудесном духовном воскресении «гениального студента Раскольников» (как называет героя Достоевского поэт-символист Вяч. Иванов), ради проверки «*нового слова*», идеи о праве «*необыкновенного*» человека на «*кровь по совести*» и в то же время «от великой сокрушенности и жалости идущего на грубейшее мокрое дело»³, есть поразительные страницы, «*сильные сцены*» (И. Альми), особенно актуальные для сегодняшнего дня и современного общества и связанные с темой **распада и гибели семьи**, «величайшей святости человека на земле»⁴, с проблемой глубины и подлинности **веры в Бога**, а также с идеей **свободы выбора** человека⁵ в самых разных ситуациях и его **личной ответственности** за свою **судьбу**.

Главной проблемой данной статьи является выяснение основных причин гибели Семена Захаровича и Катерины Ивановны Мармеладовых, представляющих мир «униженных и оскорбленных» и впавших в последнюю степень нищеты. В отечественном литературоведении практически нет серьезных специальных работ по этому вопросу, и это, видимо, потому, что здесь многие исследователи Достоевского просто не видят особой проблемы, полагая, что «общественная среда» и пьянство Мармеладова и определяют трагическую судьбу этих героев. А в нашем понимании их судьба глубоко связана с тем определением главной темы романа, которое предлагает Т. Касаткина:

Перед нами роман о том, что такое смерть и тление, о том, посредством чего они овладевают человеком, о том, как по-разному развивается этот процесс в трехсоставном человеке: то есть о различном участии в этом процессе или в противодействии ему плоти, души и духа. Перед нами роман о действии греха в человеке⁶.

В центре нашего внимания находится прежде всего **вторая глава** романа, пронзительный монолог Мармеладова в распивочной, в котором можно выделить ужасающий рассказ об истории нищенской жизни его семьи, неканоническую «**исповедь**», казалось бы, искренне раскаявшегося грешника, исповедь, обращенную к Раскольникову, и вдохновенную «**проповедь**» как будто прозревшего человека, услышавшего

¹ Этот роман, как утверждает Т. Касаткина (один из самых глубоких современных исследователей Достоевского), является «своеобразным эпицентром его творчества, в нем заложены зерна всех идей, что будут подробнее разрабатываться в других его произведениях» (Касаткина Т. А. Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского. М., 2015. С. 187).

² В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге, в литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского, проходили ХLI Международные чтения «Достоевский и мировая культура», где было представлено 65 докладов, из которых десять посвящено этому роману.

³ Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 136.

⁴ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972 — 1990. Т. 20. С. 173.

⁵ «Поскольку свободная воля принадлежит в этом мире человеку, именно он оказывается творцом своего ада или своего рая, освещая мироздание багровым огнем или сияющим светом» (Достоевский. Избранное. Сост., вступ. ст., комм. Т. А. Касаткиной. М., 2010. С. 48).

⁶ Касаткина Т. А. Воскрешение Лазаря: опыт экзегетического прочтения романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Вопросы литературы. 2003. № 1. С. 178.

голос Божий⁷, **как будто** «проповедь Мармеладова-Достоевского» и «великий монолог о Страшном Суде и о прощении смиренных» (С. Фудель), «поэму о любви, страдании и прощении» (Р. Джексон), «вдохновенный гимн Творцу, пронизанный страстной верой в безграничное милосердие Бога» (К. Степанян). Мармеладов, одержимый жаждой общения, произносит проповедь, обращенную и к Раскольникову, уже месяц в состоянии «нерешимости» и «сосредоточенной тоски» живущему «безобразной мечтой», идеей убить, и к смеющимся над ним посетителям распивочной (чей смех является амбивалентным: это и дьявольский смех пьяных над кающимся грешником, и в то же время он, может быть, является бессознательной «народной» реакцией на некую «глубокую ложь» в «витиеватом тоне речи» и в самом содержании слова Мармеладова⁸).

Однако заметим, что многие авторы работ о романе Достоевского в своих размышлениях о монологе Мармеладова опираются в основном или только на «исповедь», или только на его «проповедь», причем совершенно не учитывают того, что именно в грязном **кабаке** (дьявольское место, подобие земного ада)⁹ громко звучит **надрывное**¹⁰ слово **пьяного** человека (что уже дискредитирует это слово, ибо постоянное пьянство является духовным самоубийством)¹¹, в итоге кончающего свой жизненный путь скрытым, неявным самоубийством. И все это, с нашей точки зрения, имеет определяющее и принципиальное значение для выявления и осмысления **позиции автора**. И тогда возникает вопрос: чей же голос действительно слышит пьяный Мармеладов — Иисуса Христа, Единого Судии¹², или искусного и хитрого противника Бога, «клеветника», стремящегося обмануть и окончательно погубить человеческие души?

⁷ По мнению Б. Тихомирова, «Мармеладов является первым из героев Достоевского, который в экзатическом восторге своей исповеди как бы непосредственно слышит слово Господне; это наблюдение позволяет посчитать неслучайным его имя: в святцах Семен (Симеон) — слышащий Бога (греч.)» (Тихомиров Б. Н. «Лазарь! гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий. СПб., 2005. С. 81).

⁸ Этот смех подобен «народному» смеху над еще не раскаявшимся Раскольниковым и в эпизоде поклона земле на Сенной площади (Ч. 6, гл. 8), и смеху над ним каторжников в остроге («Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее»; Эпизод, гл. 2).

⁹ «...Питейные заведения Великодержавии отличаются безнравственным и неприличным характером <...>. Питейные дома — это притоны бесчинства и разврата» (Прыжов И. Г. Очерки русского быта. М., 2017. С. 504).

¹⁰ «Надрыв <...> то состояние, когда человек берedit свои раны, свои страдания, чтобы заглушить боль еще большей болью, и упивается самую невыносимостью страдания...» (Дунаев М. М. Православие и русская литература: В 5 частях. М., 1997. Ч. 3. С. 393).

¹¹ Ср.: «...русская идеалистическая мысль вознесла слова Мармеладова на невообразимую высь как аксиому и откровение о человеке вообще, не беря во внимание, что через Мармеладова говорит пьяная прагматика безвольного алкоголика...» (Суконик А. Достоевский и его парадоксы. М., 2015. С. 214).

¹² «Здесь в первый раз в творчестве Достоевского появляется образ Христа...» (Тихомиров Б. Н. Указ. соч. С. 14); «В романе „Преступление и наказание“ в творчестве Достоевского впервые появляется как центр мироздания (в монологе Мармеладова, в сцене чтения Евангелия Соней Раскольникову), дарующий воскресение Лазарю...» (Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. СПб., 2010. С. 393); «...в монологе Мармеладова перед нами (и Раскольниковым!) как бы воочию предстает Христос. Это уже второе явление Его Раскольникову (в первый раз — на иконе в углу комнаты старухи-процентщицы: Раскольников отмечает взглядом этот образ и горевшую перед ним лампадку)» (Степанян К. А. Путеводитель по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». М., 2014. С. 73).

И тогда ставятся под сомнение некоторые существенные и ко многому обязывающие выводы современных исследователей о том, что «в первом романе «великого пятикнижия» славянофильские представления о характере христианства подвергаются переоценке»¹³, о «глубинных идейных различиях между Достоевским и народной религиозностью», выраженной в духовных стихах о Страшном суде¹⁴, «об уже решенной судьбе Мармеладова и о пире в Царствии небесном»¹⁵, о том, что «в словах Мармеладова открываются воззрения Достоевского на последний этап истории»¹⁶, о конкретном решении в проповеди Мармеладова (в которой якобы «доминирует авторская позиция») сложнейшей богословской проблемы апокатастасиса, когда Достоевский фактически «утверждает конечное всеобщее спасение», а «в священный момент своего второго пришествия Он говорит голосом Мармеладова»¹⁷.

Противоречивой оказывается последняя по времени публикации работа о Мармеладове философа Т. Ковалевской, статья, в которой, с одной стороны, утверждается, что «структурные параллели между рисуемой Мармеладовым картиной Страшного суда и духовными стихами обнажают глубинные различия между народным христианством и воззрениями самого Достоевского» (то есть предполагается тождественность позиций героя и автора), а с другой — справедливо отмечается «человеческая казуистика» в монологе «трагикомического пьяницы Мармеладова» и его «наивная гордыня собственной откровенностью»¹⁸.

Только кажется, что исповедальное слово Мармеладова звучит как несомненная и последняя правда героя о себе, с мучительным осознанием своей греховности и с надеждой на сострадание, жалость, милосердие и прощение, помогающее исцелению души и воссоединению ее с Богом и близкими. Для нас же это не только и не столько «глубокое самоосуждение» (Б. Тихомиров), сколько эгоистическое **самооправдание**, попытка самореабилитации перед собой и другими — в надрывной и беспокоряющей «исповеди», обращенной скорее не к Богу, но к слушателю, а также опасный **самообман** — в патетической «проповеди», связанный с поверхностным, неверным пониманием и эклектическим соединением Мармеладовым разных новозаветных текстов, что ведет к их неизбежной **десакрализации**. И все это помогает нашему пониманию иерархии разных причин его трагедии, когда «все тайное становится явным»¹⁹.

¹³ Кунильский Д. А. Тема бражника у Ф. М. Достоевского и К. Аксакова // Евангельский текст в русской литературе XVIII — XX веков. Вып. 6. Петрозаводск, СПб., 2011. С. 189 (или: Кунильский Д. А. Достоевский и братья Аксаковы: спор о русской литературе. Петрозаводск, 2013. С. 81).

¹⁴ Бузина Т. В. Духовные стихи о Страшном суде как стилистическая модель и идейный противовес монолога Мармеладова // Достоевский: дополнения к комментарию / Под ред. Т. А. Касаткиной. М., 2005. С. 273.

¹⁵ Гумерова А. Л. Евангельский фон романа «Преступление и наказание» // Достоевский: дополнения к комментарию. С. 277.

¹⁶ Барсотти Д. Достоевский. Христос — страсть жизни. М., 1999. С. 49.

¹⁷ Новикова Е. Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: евангельский текст и художественный контекст. Томск, 1999. С. 98, 100, 102. Ср.: «Видимо, Достоевский, осознанно или нет, но близок идее апокатастасиса <...> с другой стороны, никаких окончательных решений, на манер позитивистов, он тоже не торопится предлагать» (Исупов К. Г. Метафизика Достоевского. М.; СПб., 2016. С. 139, 148).

¹⁸ Ковалевская Т. В. Мармеладов как микрокосм: грехопадение, апокалипсис и народное христианство // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 2 (56). Ч. 1. С. 38, 42.

¹⁹ Как замечает Е. Новикова, «известные слова из проповеди Иисуса Христа двенадцати апостолам <...> в XIX в. уже имеют статус общекультурной цитаты, почти превратившейся в поговорку» (Новикова Е. Г. Указ. соч. С. 95).

Продолжительный монолог (когда «исповедь» переходит в «проповедь») произнесен в кабаке, перед Раскольниковым и среди пьяного окружения:

Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен. Да и склонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами. Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность <...> в пьющей компании они и стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение.

Такое слово невозможно в церкви, перед священником, где исповедь является частью традиционного обряда и совершается по строго определенным правилам, в устоявшейся форме, где проповедь читается только священником, посредником между Богом и человеком. Не в церковь, которая находится, по словам Достоевского, «в параличе с Петра Великого» (27, 49), а в распивочную со своим горем идет Мармеладов и неизбежно оказывается во власти дьявольской силы («...во взгляде его светилась как будто даже восторженность, — пожалуй, был и смысл и ум, — но в то же время мелькало как будто и безумие»). И перед внешне красивым («с прекрасными темными глазами») Раскольниковым Мармеладов (с «желтым лицом» и «красноватыми глазами», с «грязными, жирными, красными, с черными ногтями» руками) уже сам выступает в роли **беса-искусителя**, разоблачающим маркером которого служит черный цвет (как и в древнерусском искусстве²⁰): «Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак с осыпавшимися пуговицами».

Но когда он умирает, появляется и «священник с запасными дарами, седой старичок» (Ч. 2, гл. 7), для совершения за деньги необходимого для умирающего христианина обряда²¹. Этот священник напоминает читателю старика из «безобразного сна» Раскольникова, «седого старика с седой бородой, который качает головой и осуждает все это» (Ч. 1, гл. 5), старика, беспомощного и бессильного чем-либо помочь в ситуации жестокой расправы над «саврасой крестьянской клячонкой». Почти безликие священники только два раза появляются на страницах романа, чтобы причастить «раздавленного» и умирающего Мармеладова и отслужить панихиду по умершей Катерине Ивановне. Кроме того, еще в первом сне Раскольникова один раз упоминается «старый священник с дрожащею головой» из «каменной церкви с зеленым куполом».

Т. Касаткина, отмечая, что «для Раскольникова <...> пространство мира поделено на части, на два ряда противостоящих друг другу ценностей, два пространства: пространство церкви и пространство кабака», утверждает, что Раскольников «не знает, что оба эти ряда ценностей включены в целое мира, а не противопоставлены друг другу», что, когда Раскольников после своей «пробы» входит в распивочную, «здесь впервые в романе начинает срабатывать эффект совмещения простран-

²⁰ См.: Антонов Д. И., Майзульс М. Р. Анатомия ада: Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии. М., 2014. С. 61.

²¹ Приведем слова старца Зосимы из черновики к роману «Братья Карамазовы», видимо в определенной степени отражающие и позицию автора: «Что теперь для народа священник? <...> Что за слова Христовы без примера? А ты и слова-то Христовы ему за деньги продаешь... Правду ли говорят маловерные, что не от попов спасение, что вне храма спасение? Может, и правда. Страшно сие» (15, 253). Как отмечает болгарский исследователь, «полны тревоги, боли и упрека слова творца, обращенные к православному духовенству в ряде статей „Дневника“ за 1873 и за 1877 годы» (Нейчев Н. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург, 2010. С. 24). Неоднозначное отношение Достоевского к реальной исторической церкви — это отдельная и очень сложная проблема.

ства, „освящения кабака“ — кабак на наших глазах становится церковью²². В этом вопросе нам все же ближе позиция Н. Нейчева, который говорит о явном и постоянном противопоставлении в романе Достоевского Божьего храма (Церкви) и кабака как «храма» зла:

Вокруг этого сатанинского места вращается все злое. Оно превращается в материальный символ отвратительной язвы, пожирающей русский народ изнутри <...> Для Раскольникова любое вхождение в кабак табуировано, ассоциируется с перешагиванием запретов, что всегда сопровождается роковыми последствиями²³.

С нашей точки зрения, кабак является дьявольской пародией на церковь, и там продолжается борьба дьявола с Богом в душе падшего человека²⁴. В действительности романа губительный **кабак** (дешевый трактир, грязная распивочная), через который проходит путь главного героя к преступлению, и спасительная **церковь** (куда уже на каторге «на второй неделе великого поста» идет Раскольников «молиться вместе с другими») оказываются противоположными полюсами²⁵:

1) Именно в «плохеньком трактиришке» за полтора месяца до преступления Раскольников услышал разговор студента с офицером об Алене Ивановне, «когда в собственной голове его только что зародились... такие же точно мысли» (Ч. 1, гл. 6).

2) После посещения квартиры старухи-процентщицы, после так называемой «пробы», именно в распивочной Раскольников быстро преодолевает «чувство бесконечно-го отвержения» к тому, что задумал:

Он уселся в темном и грязном углу, за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснели. «Все это вздор, — сказал он с надеждой, — и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря — и вот, в один миг, крепнет ум, яснее мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое все это ничтожество!..»

В этом изменении состояния Раскольникова Татьяна Касаткина вслед за Любовью Левшун, известным белорусским исследователем восточнославянской средневековой книжности, увидела воздействие «святого причастия»:

Л. В. Левшун заметила, что кусок сухаря и стакан пива напоминают о причастии. И действительно <...> причастие подействовало, освободило Раскольникова от тяжести и тоски. Раскольников <...> подвергается воздействию святого причастия, соединяющего его с людьми и изгоняющего злобу и презрение из его сердца («дружелюбно окинул глазами присутствующих»). За причастием следует и проповедь — из уст Мармеладова...²⁶

В нашем восприятии это «**дьявольское причастие**», которое помогает Раскольникову на время избавиться от чувства отвращения к тому, что он задумал («О Боже!

²² Касаткина Т. А. Категория пространства в восприятии личности трагической мироориентации (Раскольников) // Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 11. СПб., 1994. С. 84.

²³ Нейчев Н. Указ. соч. С. 214 — 215.

²⁴ «...Вывернутая наизнанку церковь — это кабак, своеобразный „антирай“, где все наоборот» (Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 20).

²⁵ В тексте романа слово «кабак» появляется 14 раз, «распивочная» — 20, «трактир» — 23, а «церковь» — только 7, «собор» — 2 раза (См.: Конкорданс (Указатель слов в контексте) к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: В 3 т. Сарго, 1994).

²⁶ Касаткина Т. А. Категория пространства... С. 85.

как это все отерзательно!»), освободиться от **мук** своей **совести**: «...он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени...»

3) В первом сне Раскольников семилетний мальчик с отцом идет мимо «большого кабака, всегда производившего на него неприятнейшее впечатление и даже страха», идет к «каменной церкви, с зеленым куполом», и на глазах у него вышедшие из кабака пьяный Миколка и «пьяные-препьяные большие такие мужики» забывают до смерти несчастную кобыленку (Ч. 1, гл. 5).

4) В трактире «Хрустальный дворец» происходит очень опасный поединок Раскольникова с Заметовым, когда ему ужасно хочется «язык высунуть» («А что, если это я старуху и Лизвету убил?»), но он «опомнился» и окончательно развеял подозрения у Заметова: «Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения...» (Ч. 2, гл. 6).

Итак, сначала в распивочной, а затем в трактире «Хрустальный дворец» Раскольников обретает внутреннюю силу и для совершения чудовищного преступления, и для дальнейшей борьбы за «справедливость», а также для борьбы со своей совестью, ставшей для него «ужасным бременем». В сцене встречи Раскольникова с Мармеладовым, говорит Т. Касаткина, «кабак на наших глазах превращается в церковь»²⁷, но это мнимое превращение, так и не осуществившееся ни для Раскольникова, ни для Мармеладова. На месте священника невольно оказывается будущий убийца Раскольников, к которому и обращается Мармеладов, а через него — как будто и к Богу.

В научной литературе о романе Достоевского преобладают два объяснения гибели Мармеладова — **социальная причина**²⁸ (бедность, воздействие «общественной среды», следствием чего и является его пьянство)²⁹, и это вызывает у читателей естественное **сострадание** к «униженному и оскорбленному» человеку как жертве социального насилия (В. Кирпотин, В. Кожин, Н. Кашина, Е. Мелетинский, Г. Старостина, А. Злочевская и др.³⁰), и **пьянство** как личный порок слабого, безвольного человека³¹, из чего следует его неизбежное и суровое **осуждение** (Г. Мейер, М. Дунаев, К. Накамура, В. Кантор и др.)³². Но проблема заключается в выявлении и других, более важных причин этого пьянства и гибели «маленького человека»³³.

О «штифтике в бюрократической машине» (В. Кожин) в тексте романа ничего нет. О генерале же, представителе государства, сам Мармеладов говорит так: «Его

²⁷ Касаткина Т. А. Между Богом и... теорией? // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 9 т. М., 2003. Т. 3. С. 108.

²⁸ «Для нас же Мармеладов — живой, тонко чувствующий и глубоко переживающий страдания окружающего мира человек, возрождение которого возможно при соответствующих социальных условиях» (Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Достоевский над бездной безумия. М., 2003. С. 112).

²⁹ В. Зубарева и трагедию Катерины Ивановны связывает прежде всего с положением сословий: «История Катерины Ивановны — это не частная трагедия, а последствие государственного злодеяния, которое разрастается до государственного масштаба. Неестественно, с точки зрения Достоевского, введенные Петром сословия обречены на гибель» (Зубарева В. Морфология преступления в «Преступлении и наказании» // Достоевский и мировая культура. Альманах № 30 (1). М., 2013. С. 268).

³⁰ «Вправе ли общество сознавать себя добрым, гуманным, обществом людей, если хотя бы одному его представителю — Мармеладову — некуда идти?» (Гагаев А. А., Гагаев П. А. Православие и русская литература. М.; СПб., 2012. С. 173).

³¹ Эту точку зрения разделяет и немецкий психоаналитик К. Леонгард в своей книге «Акцентуированные личности» (Ростов-на-Дону, 2000. С. 369, 427).

³² Например, А. Аникин заключает: «Семен Иванович (так в тексте работы. — В. В.) ничтожен показательно, гротескно: титулярный советник, но — уже совершенно спившийся, урод, оборванный, битый и почти безумный» (Аникин А. А. Тема «маленького человека» в русской классике // Темы русской классики. М., 2000. С. 116).

³³ По мнению Т. Касаткиной, «везде в романе — близкие страдают по вине своих близких, ближних, а вовсе не из-за социальных условий» (Касаткина Т. А. Между Богом и... теорией? С. 107).

превосходительство Ивана Афанасьевича изволите знать?.. Нет? Ну так Божия человека не знаете! Это — воск... воск перед лицом Господним; яко тает воск!..»

О. Меерсон в словах «*яко тает воск*» из 67-го псалма (имеющих резко негативную семантику) отмечает авторское обличение «генералишки» (как назовет его Катерина Ивановна)³⁴. С нашей точки зрения, этими словами автор «разоблачает» не начальника, а самого Мармеладова, который очень поверхностно и часто неверно воспринимает библейские тексты.

Грех пьянства Мармеладова литературовед Г. Старостина, опираясь на работу Ф. Буслаева, соотносит прежде всего с язычеством: «Мотив язычества прочно связывается в монологе Мармеладова с темой пьянства, кабака». И в то же время «кроткое пьянство» Мармеладова она тоже объясняет социальной причиной, «безнадежностью нищенской жизни»: «Осознал себя изгоем, потерял всякую надежду выбраться из нищеты и Мармеладов, который живет в условиях пореформенной России, когда вовсе исключается жалость и сострадание к человеку»³⁵. Но заметим, что через несколько лет после создания «Преступления и наказания», в «Дневнике писателя» за 1873 год, в статье «Среда», Достоевский вполне определенно, как отмечает Д. Григорьев, «высказал свое убеждение о взаимоотношении человека с обществом»:

Делая человека ответственным, христианство признало тем самым и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить (21, 16)³⁶.

Современный философ С. Никольский видит в образе Мармеладова обыденный тип «подпольного» человека³⁷, у которого «низменная структура сознания и подсознания» и который «творит зло по отношению к ближним», «до краев заполнен грязью» и любит «копаться в грязи». По сути, исследователь находит в этом персонаже не столько «человека» («*Се человек!*»), сколько «подлеца» со «звериным образом», «свинью», «скота», если использовать слова самого Мармеладова. Он говорит о «психологических пытках, изобретаемых и производимых Мармеладовым» над близкими, и считает, что Раскольников «меньший злодей, чем Семен Захарыч: он чужих людей убил, и притом сразу, а Мармеладов убивает свою жену и детей, и к тому же многократно»³⁸. Позиция философа фактически совпадает с отношением к Мармеладову Катерины Ивановны, когда она говорит: «*Колодник! Изверг!*..»

Уже в начале монолога Мармеладов объясняет свой порок («*нитейное*») нищетой, то есть социальной причиной:

³⁴ Меерсон О. Библейские интертексты у Достоевского. Кошунство или богословие любви? // Достоевский и мировая культура. Альманах № 12. М., 1999. С. 47.

³⁵ Старостина Г. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и статья Ф. И. Буслаева «Повесть о горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин» (средневековые жанры в структуре романа) // Русская литература. 2004. № 3. С. 144, 146.

³⁶ Григорьев Д. Д., протоиерей. Достоевский и Церковь. У истоков религиозных убеждений писателя. М., 2002. С. 38.

³⁷ А. Криницын в произведениях Достоевского выделяет две разновидности подпольного характера: «гордецы» и «шуты»; к последним он относит и Мармеладова (Криницын А. Б. Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф. М. Достоевского. М., 2001. С. 32).

³⁸ Никольский С. А. Горизонты смыслов. Философские интерпретации отечественной литературы XIX — XX веков. М., 2015. С. 296, 302, 316, 318. Задолго до этого другой исследователь назвал Мармеладова «убийцей Сони и Катерины Ивановны» (Одинокое В. Г. Типология образов в художественной системе Ф. М. Достоевского. Новосибирск, 1981. С. 87).

Милостивый государь, — начал он почти с торжественностью, — бедность не порок, это истина <...> Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!

Но внимательное чтение и анализ второй главы романа позволяют выявить иные и более важные (**онтологическую, нравственную, психологические**) причины гибели Мармеладова, связанные с его личностью, характером и с отношением к нему Катерины Ивановны. Для нас Мармеладов является не просто и не только «пьяницей», но и человеком достаточно образованным и начитанным. Из его монолога следует, что он хорошо знает Библию, свободно цитирует ветхозаветные и новозаветные тексты, читал духовные стихи о Страшном суде и произведения древнерусской литературы (например, «Повесть о бражнике»³⁹). По предположению философа А. Дугина, его слова о «благородстве врожденных чувств» говорят о том, что он «читал Лоренса Стерна или Руссо»⁴⁰. Мармеладов не смог дать Соне хорошее образование («Пробовал я с ней, года четыре тому, географию и всемирную историю проходить...»), но смог «заразить» ее верой в Бога.

2.

Образ Катерины Ивановны в романе является сложным, неоднозначным и имеет разные интерпретации в литературоведении. Г. Мейер воспринимает Катерину Ивановну как человека с «глубокой верой», с требованием «небесной справедливости», с «праведной и священной» гордостью, воспринимает как «праведно бунтующего» человека⁴¹. По мнению Г. Боград, Катерина Ивановна «умирает как святая, на символическом кресте. Ее последние слова <...> превращают этот образ в огромный символ всех безвинно страдающих существ»⁴².

Отдельные исследователи, несмотря на естественное сострадание к несчастной Катерине Ивановне, говорят о проявлении в ней таких опасных человеческих пороков, как «оскорбленное, болезненное самолюбие» (А. Чичерин), «гордыня и тщеславие» (М. Дунаев). В научной литературе неоднократно отмечались черты сходства Катерины Ивановны и главного героя романа (Н. Чирков, В. Кожинов, А. Власкин и др.). А Т. Касаткина во многих своих работах прямо называет Катерину Ивановну, которая «хочет справедливости немедленно и во что бы то ни стало», «**ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ДВОЙНИКОМ**» Раскольников⁴³. Именно идея двойника и является определяющей в нашей интерпретации этого образа.

Из надрывного монолога Мармеладова мы можем последовательно восстановить историю возникновения и падения его семьи.

³⁹ Впервые на связь «патетической речи» Мармеладова с этой древнерусской повестью обратила внимание Л. Лотман. См.: Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974. С. 286 — 290.

⁴⁰ Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Последний Бог. М., 2014. С. 401.

⁴¹ Мейер Г. А. Свет в ночи (о «Преступлении и наказании»): Опыт медленного чтения. Франкфурт-на-Майне, 1967. С. 120, 239, 292, 412.

⁴² Боград Г. Метафизическое пространство и православная символика как основа мест обитания героев романа «Преступление и наказание» // Достоевский: дополнения к комментарию. С. 188.

⁴³ См.: Касаткина Т. А. Категория пространства... С. 83; Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. М., 1996. С. 83.

Вдовой уже взял ее, с троими детьми, мал мала меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер. <...> И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной, что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные же все отказались. Да и горда была, чересчур горда...

Итак, Катерина Ивановна с тремя малолетними детьми оказалась в «нищете безнадежной» вследствие несчастья и смерти первого мужа, но все родные отказались помочь из-за ее гордыни («горда была, чересчур горда»). Как «блудная дочь», она, нарушив волю родителей, «бежала из дому» с пехотным офицером и в своей беде не захотела смириться, повиниться перед родителями и вернуться к ним, а те в свою очередь не простили чересчур гордую дочь, отказались от нее. Катерина Ивановна не чувствует, не понимает связи всех своих несчастий с собственной виной перед родными. Именно **гордыня**, в христианстве один из основных человеческих пороков и опасных грехов⁴⁴, является общей чертой Катерины Ивановны и Раскольникова⁴⁵. Дальше Мармеладов продолжает рассказ:

И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. <...> И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято и не касался сего (он ткнул пальцем на полуштоф), ибо чувство имею. Но и сим не мог угодить; а тут места лишился, и тоже не по вине, а по изменению в штатах, и тогда прикоснулся!..

Семен Захарович Мармеладов, видимо, не только из жалости, но и «по любви» женился на еще красивой Катерине Ивановне, «образованной <...> и сердца высокого, и чувств облагороженных воспитанием», «высокой и стройной, еще с прекрасными темно-русскими волосами». Он, может быть, женился, увидев в ней отсвет попавшей в беду Марьи-царевны из русских сказок⁴⁶, прозрев в ней образ Божий. По словам Со-ни, «какая она умная была... какая великодушная... какая добрая! <...> Это такая несчастная, ах, какая несчастная! И большая... Она справедливости ищет... Она чистая» (Ч. 4, гл. 4). Екатерина в переводе с греческого означает «чистая», но в реальной Катерине Ивановне, которая «в работе с утра до ночи, скребет и моет и детей обмывает, ибо к чистоте сызмальства привыкла», проявляется стремление только к физической чистоте и нет внутренней потребности духовной чистоты, нет стремления через покаяние к очищению своей души.

Такая чистота Катерины Ивановны неожиданно переключается и с чистотой в квартире старухи-процентщицы («Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. „Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота“, — продолжал про себя Рас-

⁴⁴ «...Старцы часто говорили, что грехи плоти более безопасны, потому что смиряют человека, а вот грехи духовные воистину ужасны и отвратительны — тем именно, что часто допускают гордиться собою и, значит, вязнуть и вязнуть в этой трясине» (Касаткина Т. А. Воскрешение Лазаря... С. 183).

⁴⁵ Утверждение Е. Мелетинского, что именно «бедность Катерины Ивановны порождает гордость» (Мелетинский Е. М. Заметки о творчестве Достоевского. М., 2001. С. 75), равносильно мнению, что прежде всего из-за бедности Раскольников совершает преступление.

⁴⁶ В имени «Семен» В. Топоров отмечает два значения: 1) знак героя «нижне-среднего уровня»; 2) содержит положительные фольклорные ассоциации: Семен, герой сказок, «женится на Марье-царевне» (Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 152).

кольников...»), и с необходимой «чистотой» Сони, которая «по желтому билету пошла», о чем рассказывает Мармеладов («Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота особая-то, понимаете? <...> Понимаете ли, понимаете ли, сударь, что значит сия чистота?»).

Очень важно понять, что Мармеладов через год семейной жизни и добросовестной службы стал пить не потому, что до этого уже был алкоголиком⁴⁷ или места лишился, а потому, что ничем, по его словам, «не мог угодить» Катерине Ивановне, «даме горячей и раздраженной», «великодушной, но несправедливой». И Мармеладов снова оказался «предан плотскому греху пьянства» (Т. Касаткина), но уже от другого горя: «...о, если б она пожалела меня!» Одну из **психологических причин** своего падения Мармеладов объясняет так:

Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, — особа образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств облагороженных воспитанием исполнена. А между тем... о, если б она пожалела меня! Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели! А Катерина Ивановна дама хоть и великодушная, но несправедливая <...> но, Боже, что если б она хотя один раз...

Дальше он как будто противоречит себе и (может быть, вспомнив молитву, многократно повторяемую в храмах на Великий пост: «Господи, дай мне зреть мои согрешения и не осуждать брата моего!») опровергает только что сказанное, по-христиански обвиняет только себя:

Но нет! нет! все сие втуне, и нечего говорить! нечего говорить!.. ибо и не один уже раз бывало желаемое, и не один уже раз жалели меня, но... такова уже черта моя, а я прирожденный скот!»\

И сама Катерина Ивановна в сцене поминок по Мармеладову прямо говорит о своей былой жалости к «покойнику»:

Вот вы, наверно, думаете, как и все, что я с ним слишком строга была, — продолжала она, обращаясь к Раскольникову. — А ведь это не так! Он меня уважал, он меня очень, очень уважал! Доброй души был человек! И так его жалко становилось иной раз! Сидит, бывало, смотрит на меня из угла, так жалко станет его, хотелось бы приласкать, а потом и думаешь про себя: «приласкаешь, а он опять напьется», только строгостию сколько-нибудь и удержать можно было (*выделено мной.* — В. В.).

И все же для нас является несомненной вина «гордой» Катерины Ивановны, которая не смогла решить очень важную для семьи проблему соотношения **жалости-любви** и **строгости**⁴⁸. По существу, здесь и таким образом Достоевский говорит о главном нравственно-психологическом законе семейной жизни: в искренней жалости и глубоком сострадании к ближнему заключается основ-

⁴⁷ Предысторию первой семьи Мармеладова до встречи с Катериной Ивановной мы не знаем, но, судя по его родной дочери Соне, это было «благочестивое семейство», а пить он стал, видимо, с горя, после смерти первой жены.

⁴⁸ Как показал Л. Толстой уже на первых страницах повести «Детство», легко и мудро эту ключевую для любого воспитателя и учителя проблему решает Карл Иванович, гувернер Николеньки.

ное условие возможного благополучия, спокойствия и даже счастья в семье⁴⁹. Слабому и безвольному Мармеладову, но, по словам митрополита Антония (Храповицкого), «человеку с нежным сердцем»⁵⁰, необходимо не изредка, не от случая к случаю, не по праздникам, а, как маленькому и беззащитному ребенку⁵¹, ежедневно, постоянно чувствовать к себе жалость-любовь и сострадание, внимание и заботу со стороны жены. Семья для него, согласно христианскому учению, есть «малая церковь», главная опора в жизни; она могла дать ему силы и терпение вынести все, ходить на службу и приносить жалованье. Возможно, только жалостью Катерина Ивановна и могла спасти Мармеладова, «доброй души» человека, а он спас бы свою семью от нищеты и голода, ибо, по словам Т. Касаткиной, «человек спасается человеком и никак иначе быть спасен не может <...> Но людей посылает Бог»⁵². Если в родной семье нет настоящего сострадания, тогда все для него теряет смысл, тогда «*всему конец*» и лучше в кабак, а потом под колеса проезжающей коляски, «*ибо некуда больше пойти*»; ни дома, в семье, ни в церкви он не находит настоящего и глубокого сострадания⁵³. «Случайное семейство»⁵⁴, в котором нет христианского чувства жалости-любви друг к другу, переходит «в какую-то чахотку русской семьи»⁵⁵, обречено на муку, горе и гибель, так как становится Мертвым домом, настоящим адом, созданным самими людьми, адом, в котором невозможно «восстановление павшего человека».

Выйдя за Мармеладова, Катерина Ивановна не изменилась внутренне, не смирила свою гордыню, ибо в Мармеладове, видимо, почувствовала не столько искреннее сострадание к себе и своим детям, сколько эгоистическое, корыстное чувство. Подобно тому как Лужин хотел жениться именно на бедной, чтобы потом всю жизнь «*жена считала мужа за своего благодетеля*», так и Мармеладов, вполне возможно, сознательно или бессознательно, надеялся на то, что Катерина Ивановна будет ему благодарна за то, что из нищеты взял. Раскольников был возмущен Лужиным и выгнал его, помешав намечавшемуся браку, а гордая Катерина Ивановна пошла за Мармеладова, «*ибо некуда больше идти*», и, вероятно, этого не могла простить ему и мстила недовольством и постоянной руганью. А Мармеладов хотел любви-жалости как благодарности, как награды. Эгоистическая жалость к себе и обида на другого человека — греховные, опасные, страшные своей разрушительной силой чувства прежде всего для собственной души; эти чувства и определяют состояние души как внутренний ад.

⁴⁹ Достоевский в письме М. Исаевой 4 июня 1855 г. пишет: «Женское сердце, женское сострадание, женское участие, бесконечная доброта <...> незаменимо» (281, 187).

⁵⁰ Антоний (Храповицкий), митрополит. Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения // Ф. М. Достоевский и православие. 2-е изд. М., 2015. С. 145.

⁵¹ С ребенком в тексте романа неоднократно сравниваются Лизавета, Соня, Катерина Ивановна, Раскольников. См.: Кожевникова Н. А. Сквозные слова в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Слово Достоевского. 2000. Сб. статей. М., 2001. С. 158.

⁵² Касаткина Т. А. Между Богом и... теорией? С. 109.

⁵³ Ср. с иным утверждением: «...прощение является главным лейтмотивом семьи Мармеладовых, каждый из которых чувствует себя бесконечно виноватым перед остальными (Мармеладов — за пьянство, Соня — за позор, Катерина Ивановна — за невозможность создания „благородной“ семьи и сохранения уюта и порядка), и поэтому прощение становится соединяющей их жизненной силой» (Криницын А. Б. Указ. соч. С. 276).

⁵⁴ Как отмечает О. Юрьева, Достоевский в своих произведениях рассматривает три типа русского семейства: «случайное», «ленивое» и «благочестивое» (Юрьева О. Образ «русского семейства» в творчестве Ф. М. Достоевского и в русской литературе XX века // Достоевский и XX век: В 2 т. Т. 1. М., 2007. С. 536).

⁵⁵ Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 447.

Если гордость умного Раскольникова находится на высшей ступени развития этого порока, что соответствует крайней степени падения человека в религиозном и этическом отношениях, то житейская гордость *«раздраженной»* Катерины Ивановны располагается главным образом на начальной ступени и проявляется прежде всего в отношении к окружающим людям⁵⁶. Ее гордость ведет к нежеланию смириться с судьбой и обстоятельствами, ведет к протесту на бытовом уровне, к постоянному раздражению и бунту против всех и вся, к злой ругани и упрекам в адрес мужа⁵⁷. Она постоянно бьет своих маленьких детей: *«Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы и с голоду, тотчас же их бить начинает»*. *«Гордость и тщеславие»* Катерины Ивановны проявляется и в решении устроить поминки по умершему Мармеладову, *«особенная гордость бедных»*, проявляющаяся в желании *«показать всем этим «ничтожным и скверным жильцам»* свое превосходство над ними, в стремлении доказать им *«похвальным листом»*, что она *«из самого благородного <...> аристократического дома, полковничья дочь»* (Ч. 5, гл. 2). Гордая Катерина Ивановна была несправедлива не только к Мармеладову, но и к своей падчерице Соне:

А тем временем возросла и дочка моя, от первого брака, и что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я умалчиваю <...> А тут ребяташки голодные... А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, — что в болезни этой и всегда бывает: *«Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься»*, а что тут пьешь и ешь, когда и ребяташки-то по три дня корки не видят!

Подтолкнув Соню на улицу, Катерина Ивановна фактически и без всяких умствований поступает по **«арифметической теории»** Раскольникова: можно пожертвовать одним человеком, падчерицей, чтобы спасти от голода трех своих маленьких детей⁵⁸:

Лежал я тогда... ну, да уж что! лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий... белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: *«Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти? <...> — А что ж, — отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку, — чего беречь? Эко сокровище! <...>»* И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила.

⁵⁶ *«...Ее поведение к другим людям просто чудовищно <...> Если выясняется, что человек не соответствует идеалу, созданному Катериной Ивановной — причем неважно, подл или смешон (ср.: Лужин и Амалия Ивановна), то тут же оказывается «виноват», и она уже полагает себя абсолютно вправе относиться к нему со всем презрением, насмешливостью, уничижительностью, на какие она только способна, а ее способности здесь поистине выдающиеся...»* (Касаткина Т. О правоте // Достоевский и современность: материалы VIII Международных Старорусских чтений 1993 года. Новгород, 1994. С. 155).

⁵⁷ Как отмечает современник Достоевского, ныне забытый литератор Е. Марков, *«даже к себе самой она давно потеряла всякую жалость; как в голосе ее уже не умели звучать другие ноты, кроме бранчивых, так и в сердце ее могло теперь жить только одно озлобление»* (Марков Е. Л. Романист-психиатр // Литература. 2004. № 30. С. 28).

⁵⁸ В. Кантор совершенно необоснованно утверждает, что *«у Достоевского дочь жертвует своей чистотой, чтобы спасти отца»*, что *«отец Мармеладов, в сущности, выгоняет дочку на панель, чтобы были ему деньги на выпивку»* (Кантор В. В парадигме дантовского «Ада». «Отец Горио» и «Преступление и наказание» // Вопросы литературы. 2014. № 5. С. 39).

О внутренней близости Катерины Ивановны и Раскольникова говорит и внешняя **красота** героев с темно-русыми волосами («Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен»; «Это была ужасно похудевшая женщина, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами...»), и «неподвижный» **взгляд**, и элементы **одежды** (шляпа Раскольникова, «самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону»; у Катерины Ивановны «изломанная соломенная шляпка, сбившаяся безобразным комком на сторону»), и сходное **состояние души** в конкретных ситуациях («Он не спал, но был в забытьи»; «она была в каком-то забытьи»), и такие общие черты, как **жестокость** и **жертвенность**, а также **болезнь** героев (Катерина Ивановна находится в последней стадии чахотки, тема болезни сопутствует Раскольникову на протяжении всего романа — от первой до последних страниц). Кроме того, А. Злочевская отмечает **нетерпение** как «капитальнейшую» черту натуры Раскольникова и «сниженно-пародийный вариант этой черты — в характере Катерины Ивановны»⁵⁹.

Как и Раскольников, Катерина Ивановна не верит ни в справедливость, ни в Божие милосердие. На слова священника: «Бог милостив; надейтесь на помощь Всевышнего» — она отвечает: «Э-эх! Милостив, да не до нас!» (Ч. 2, гл. 7). И Раскольников, и Катерина Ивановна воспринимают весь мир и окружающую среду как настоящий ад, не понимая, что реальный ад — это прежде всего состояние собственной души, что, согласно христианскому вероучению, «ад субъективен, а не объективен, он не в Боге, а в человеке, не в бытии, а в душе личности, а значит, может быть избыт по мере ее духовного просветления и возрастания, преодолен любовью и верой»⁶⁰.

Катерина Ивановна и Раскольников, как отмечают и Н. Нейчев, и Т. Касаткина, неоднократно в романе сравниваются с лошадью («Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся...»). Но если для одного исследователя в сцене смерти Катерины Ивановны («Уездили клячу») выражена «идея о человеке, превращенном в жертву социального насилия»⁶¹, то для другого Катерина Ивановна оказывается одновременно и жертвой собственной гордыни, и «палачом» своих ближних:

Аналогом лошади из сна является в романе Катерина Ивановна, падающая под грузом не реальных своих бед и забот, которые очень велики, но не только переносимы, а и неизменно в романе разрешаются посылаемым Богом помощником: Соней, Раскольниковым, Свидригайловым, даже Лебезятниковым — под грузом бед и забот ею себе романтически примысленных, и именно от этих бед, оскорблений и скорбей, существующих почти только в воспаленном мозгу ее, она в конце концов и гибнет — как «загнанная лошадь». Катерина Ивановна воскликнет про себя: «Уездили клячу!..» И действительно, она лягается, отбиваясь от ужаса жизни из последних сил, как кляча из сна Раскольникова, но удары эти, попав на живых людей вокруг нее, часто бывают столь же сокрушительны, как удары копыт лошадей, раздробивших грудь Мармеладова (взять хотя бы ее поступок с Соней и слова, в результате которых девушка оказалась на панели)»⁶².

⁵⁹ Злочевская А. «Монологизирующие центры» романов Ф. М. Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах. № 17. М., 2003. С. 208.

⁶⁰ Гачева А. Г. Творчество Достоевского и русская религиозно-философская мысль конца XIX — первой трети XX века // Достоевский и XX век. В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 59.

⁶¹ Нейчев Н. Указ. соч. С. 213.

⁶² Касаткина Т. А. Священное в повседневном. С. 192 — 193.

Катерина Ивановна предстает истерично бунтующей и во время возвращения Мармеладова из кабака, и в сцене смерти Мармеладова, когда она не желает простить умирающего мужа и тем самым отвергает Божью заповедь о милосердии, и во время выхода ее с детьми на улицы города за подаванием, и перед смертью, когда она, нарушая долг христианина, отказывается от священника, от покаянной исповеди и причащения:

Что? Священника?.. Не надо... Где у вас лишний целковый?.. На мне нет грехов!.. Бог и без того должен простить... Сам знает, как я страдала!.. А не простит, так и не надо!.. <...> Довольно!.. Пора!.. Прощай, горемыка!.. Уездили клячу!.. Надорвала-а-сь! — крикнула отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на подушку (Ч. 5, гл. 7).

Гордыня⁶³ оказывается самой главной преградой покаянию в душе Катерины Ивановны. Она не чувствует и на уровне сознания не понимает своей греховности, своей ответственности и вины ни перед мужем (которого она как будто даже винит за скандал на его же поминках: «*Ах, покойник, покойник! Ах, покойник, покойник! Видишь? Видишь? Вот тебе поминки!*»), ни перед маленькими детьми, которых она часто была, ни перед падчерицей. Эта **нераскаянность** Катерины Ивановны сближает ее с Раскольниковым, который даже на каторге, заболев «от уязвленной гордости», не признавал своей вины: «...он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем <...> Совесть моя спокойна <...> Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною» (Эпилог, гл. 2).

Видимо, острое чувство своей вины перед Соней, когда та в первый раз пришла с «улицы» («...Катерина Ивановна, так же ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ее целовала...»), в значительной степени притупилось, и она как будто привыкла к заработку Сони («Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали и привыкли», — подумал Раскольников)⁶⁴. Но при всем этом можно говорить и о правоте Г. Померанца, который утверждает:

...гордую и вздорную Катерину Ивановну из «Преступления и наказания» Достоевский никогда не перестает любить <...> Одна из высших точек романа — сцена, когда Катерина Ивановна протягивает свой платок, захарканый кровью, священнику и тот смущенно умолкает (почувствовав фальшь в роли друга Иова). Меня тут захватывает волна сострадания, почти невыносимого, и я почти физически чувствую прорыв света сквозь тьму, как на картине Рембрандта. Думаю, именно в таких сценах Достоевский достигает катарсиса...⁶⁵

Другой «высшей точкой романа», вершиной в линии образа Катерины Ивановны, является поразительная сцена на поминках, когда Лужин обвинил Соню в воровстве, а Катерина Ивановна в исступлении и негодовании на «изверга» стала выво-

⁶³ «По-настоящему гордый человек — это человек, который не признает над собой ни Божьего, ни человеческого суда...» (Митрополит Сурожский Антоний. Человек перед Богом. М., 2001. С. 115).

⁶⁴ Ср. противоположные высказывания: «...вина перед Соней не тяготит Катерину Ивановну» (Касаткина Т. А. О правоте. С. 156); «...не в последнюю очередь потому мешается она умом, что невыносимо ей бремя вины за Сонин грех, к которому именно ее жестокое слово подтолкнуло падчерицу» (Тихомиров Б. Н. Указ. соч. С. 30).

⁶⁵ Померанц Г. Каторжное пространство и открытое православие // Достоевский и мировая культура. Альманах № 13. СПб., 1999. С. 28.

рачивать карманы Сони, из которых на пол выпал «сторублевый кредитный билет». Но и тогда потрясенная Катерина Ивановна защищает Соню:

— Соня! Соня! Я не верю! Видишь, я не верю! — кричала (несмотря на всю очевидность) Катерина Ивановна, сотрясая ее в руках своих, как ребенка, целуя ее бесцелно, лоя ее руки и, так и впиваясь, целуя их. — Чтоб ты взяла! Да что это за глупые люди! О Господи! Глупые вы, глупые, — кричала она, обращаясь ко всем, — да вы еще не знаете, какое это сердце, какая эта девушка!

3.

А теперь вернемся к Мармеладову, который после того, как Соня в первый раз пошла на улицу, «*воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу*», поверившему ему и снова взявшему его на службу «*на личную свою ответственность*». И в семье вдруг все изменилось:

Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, Господи, точно я в царствие Божие переселился. Бывало, лежишь, как скот, только брань! А ныне: на цыпочках ходят, детей унимают: «Семен Захарович на службе устал, отдыхает, тш!» Кофею меня перед службой поят, сливки кипятят! Сливки настоящих доставать начали, слышите! <...> Когда же, шесть дней назад, я первое жалованье мое — двадцать три рубля сорок копеек — сполна принес, малявочкой меня назвала: «Малявочка, говорит, ты эдакая!» И наедине-с, понимаете ли? Ну, уж что, кажется, во мне за краса и какой я супруг? Нет, ущипнула за щеку. «Малявочка ты эдакая!» — говорит.

Казалось бы, все хорошо: снова есть служба, есть забота и внимание в семье, снова можно выбраться из беспросветной нищеты и жить по-человечески. Но что же дальше произошло? Почему же случился этот последний и окончательный срыв вместо воскресения к жизни приниженной и забитой человеческой души?

И в продолжении всего райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал: и, то есть, как я это все устрою, и ребятишек одену, и ей покой дам, и дочь мою однородную в лоно семьи возвращу... И многое, многое <...> а на другой же день, после всех сих мечтаний (то есть это будет ровно пять суток назад тому) к вечеру, я хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Катерины Ивановны из сундука ее ключ, вынул, что осталось из приниженного жалованья, сколько всего уж не помню, и вот-с, глядите на меня, все! Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние... и всему конец!

С нашей точки зрения, могут быть следующие объяснения этого срыва. Мармеладов не поверил в возможность продолжительного существования такого «*царствия Божия*» в своей семье или не поверил в искренность чувств Катерины Ивановны и понимал, что вся забота и внимание вызваны только тем, что он теперь ходит на службу и приносит жалованье, а покупать жалость за деньги он не может и не хочет⁶⁶. И у него в глубине души есть чувство собственного достоинства.

⁶⁶ «С мужем своим Катерина Ивановна обращается „по справедливости“, она внимательна и почтительна к нему, даже до чрезмерности, когда он „выполняет свой долг“, и обращается с ним ужасно, как только он отклоняется от предписанных норм. То есть отношение к человеку целиком исчезает за отношением к исполнению им своих функций» (Касаткина Т. О правоте. С. 155).

Но все же более значимой, возможно, является другая причина: Мармеладов место «достал и опять потерял» уже по собственной вине, так как «*черта наступила*», ибо в определенной ситуации, как пишет Достоевский в «Записках из Мертвого дома», человек «уже поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях» (4, 154), становится «палачом» и по отношению к себе, чувствует **наслаждение** в своем пороке, в своем падении, мучая себя, испытывает сладость и самоуслаждение в состоянии «свиньи», «подлеца», «скота». Мармеладов уже стал рабом своей порочной страсти (вспомним сцену его гибели: «раздавленного захватило в колесо...»). Порок оказывается безобразным и сладостным одновременно. Душа Мармеладова, устремленная к Богу, но находящаяся во власти греховной плоти, уже не способна удержаться от греха пьянства⁶⁷, и он гибнет под копытами несущейся «лошади-плоти». Все доброе и высокое, сострадательное и совестливое уничтожается «подлой», себялюбивой и эгоистической природой человека. Дьявол побеждает Бога в душе Мармеладова.

Начиная с «Записок из подполья», Достоевский во многих своих произведениях (например, в повести «Игрок», в романах «Идиот», «Подросток», «Бесы», «Братья Карамазовы») пишет о ненормальной способности человека к мучительному наслаждению в самом страдании, о притягательных и сладострастных страданиях. А в «Дневнике писателя» за 1873 год есть запись о том, что человек даже способен испытывать «адское наслаждение собственной гибели» (21, 39). Подобное наслаждение, видимо, испытывает и Мармеладов⁶⁸. К нему можно отнести слова прот. А. Шмемана «об истерическом биении себя в грудь, которое никогда не бывает настоящим покаянием, но часто оказывается формой самоуслаждения»⁶⁹.

Современный философ А. Дугин в своей монографии о М. Хайдеггере отдельную главку «Мармеладов и путь нищеты» отводит монологу героя Достоевского, в котором в качестве ключевого фрагмента выделяет его размышления о бедности и нищете, и приходит к следующим «экзистенциальным» выводам:

Мармеладов прозревает <...> в падении своей семьи что-то более глубокое, что-то более донное, что-то более настоящее. Это «нищета» <...> «Порок» не нищета, «порок» — это индивидуум, возмнивший о себе, что он есть нечто, а не ничто <...> Мармеладову не надо достойной бедности. Именно он и стремится расстроить, смести, разломать, погубить. Он не хочет ни бедности, ни построенного на бедности богатства — он хочет нищеты, хочет достичь той волшебной грани, где именно нищета даст ему покой и спасение <...> он это делает, упорно и целеустремленно, с глубинным экзистенциальным упорством, с фанатизмом, с тайной убежденностью, что он не отброс, но мученик, герой, первопроходец великого русского пути к своему сердцу⁷⁰.

⁶⁷ Достоевский видел в пьянстве смертельно опасную национальную болезнь и одну из самых страшных форм «самоотрицания и самоуничтожения», национального самоистребления.

⁶⁸ Ю. Романов справедливо утверждает: «В болезненном самоуничтожении, превратившемся для него в решительное «наслаждение», — весь Мармеладов <...> В образе Катерины Ивановны также заметно мармеладовское поклонение страданию, доходящее до мазохизма <...> бедствия и болезнь подталкивают полубезумную Катерину Ивановну все к новым и новым унижениям-страданиям, словно она уже и сама не может существовать без них. В сущности, вся ее жизнь — это цепь страданий и унижений, которых, кажется, она сама же и ищет...» (Романов Ю. А. О функции самоказни в героях романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Достоевский и современность: Материалы XVI Международных Старорусских чтений 2001 года. Старая Русса, 2002. С. 162).

⁶⁹ Шмеман А., прот. Собрание статей. 1947 — 1983. М., 2009. С. 678.

⁷⁰ Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Последний Бог. М., 2014. С. 402.

В нашем понимании главный смысл противопоставления бедности и нищеты на психологическом уровне иной. «Бедность не порок» потому, что часто вызвана обстоятельствами, а нищета в данном случае является прежде всего следствием вины самого человека, его покорного подчинения греху пьянства, его отпадения от Бога, победы дьявола в душе человека, что исключает самоуважение и уважение других людей: «...в нищете я первый сам готов оскорбить себя».

Вполне возможно предположить, что слова «**черта наступила**» раскрывают и **онтологическую** (религиозно-философскую) причину гибели Мармеладова: недостаточно глубокая вера и связанная с этим невозможность решить проблему личного смысла жизни, неспособность найти свое место в обществе и — шире — в мире. Только истинная религиозная вера (свойственная, например, Соне), центр которой — Христос, дает человеку духовную силу противостоять обстоятельствам, личной беде и помогает ему решить вечную проблему высшего смысла и личной жизни, и бытия в целом. Пьянство Мармеладова — это и **духовное самоубийство**, и форма бытового **бунта**⁷¹ «**маленького человека**» против несправедливости на разных уровнях человеческого бытия, человека, испытывающего жизненно **необходимую потребность богочеловеческого удела, без которого он глубоко несчастен. И «маленькому человеку» в мире Достоевского необходим высший смысл жизни, необходима глубокая религиозная, философская и нравственная идея, освещающая и оправдывающая его существование, его приход в этот мир. Прав Великий инквизитор в «Братьях Карамазовых», когда утверждает: «Тайна бытия человека не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле».**

Возвращение Мармеладова в кабак — это движение навстречу неотвратимой гибели («...и всему конец»), а его смерть под копытами лошадей «так похожа на самоубийство» (Б. Тихомиров), на стремление освободить себя от бессмысленного и отравляющего существования⁷². Катерина Ивановна скажет: «Ведь он сам, пьяный, под лошадой полез!» В такой гибели видится стремление Мармеладова (подобно тому как «хитрым обманом, как тать в ночи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ») без явного самоубийства (что является смертным грехом), хитрым обманом, только надеясь на Божие милосердие, попасть в рай с «черного хода», с «черной лестницы». Но у рая нет черной лестницы.

Есть еще одна — **нравственная** — причина трагедии Мармеладова — **жалость к себе** («пьяненьким» называет он сам себя; «Выходите пьяненькие...» — говорит и Господь устами Мармеладова). Это, казалось бы, естественное и не такое уж страшное **эгоистическое** чувство, которое ни в Писании, ни в Предании не рассматривается как отдельный и опасный грех. Каждому человеку уже с детства хорошо знакома эта жалость к себе, из которой легко вырастает обида на «ближнего» и «дальнего», на всех людей и на весь мир. Именно через это греховное чувство жалости к себе и отчасти связанное с этим «питие» черт и входит в душу Мармеладова и безраздельно овладевает ею⁷³. Из щемящей, обессиливающей жалости к себе возникает

⁷¹ «Пьянство — отличительная черта непокорного сына (Вт. 21: 20; Лк. 15: 11 — 13)» (Словарь библейских образов. СПб., 2005. С. 962).

⁷² «Мармеладов на своем опыте понял: лучше самому быть раздавленным, чем давить других» (Иванова Л. Н. Бестиарный мир в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Достоевский: дополнения к комментарию. С. 284).

⁷³ «Доминанта черт связана с доминантой пьяный, которая относится к мифологеме: бес в народном представлении выступает как изобретатель вина...» (Сырица Г. С. Поэтика портрета в романах Ф. М. Достоевского. М., 2007. С. 242).

неизбежная обида на другого: «...о, если б она пожалела меня <...> Катерина Ивановна <...> несправедливая». Эта жалость к себе, большая, чем к другим, в конкретной ситуации становится для безвольного и слабого духом Мармеладова губительным грехом. А в кабаке эта жалость значительно усиливается и предельно обостряется: «Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу <...> Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил и обрел...»

Остановимся подробнее на «скорби» Мармеладова и вспомним, с какими словами он обратился к Раскольникову в распивочной: «Молодой человек <...> в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам».

Скорбь Раскольникова — это христианское чувство «глубокого сердца», чувство «сострадания и боли», «великой грусти», вызванной страданиями всех «униженных и оскорбленных», что проявляется в нем еще до убийства и в отношении к Мармеладовым («Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко»), и к матери и сестре, и к пьяной девочке на бульваре, и в «безобразном сне» к насмерть забитой пьяным и озверевшим Миколкой саврасой лошаденке. Такая скорбь, являющаяся и болью за человека, и тоской по Богу и вызванная **совестью** в душе человека, «чувством духа человеческого, тонкого, светлого, различающего добро от зла»⁷⁴, оказывается одной из глубинных причин бунта и ужасного преступления Раскольникова. Как заключает Г. Мейер, «если на лице человека запечатлелась скорбь, то, несмотря на его падение в гордыне, им не до конца завладел бес <...> Скорбь не дает Раскольникову окончательно упасть в глубины сатанинские...»⁷⁵ Эта скорбь является предвестием и залогом его чудесного и радостного преображения в эпилоге романа, «будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь».

В отличие от Раскольникова, «скорбь» Мармеладова, самочинно занявшего в своей проповеди место священника, — это «обветшавшее слово» (Л. Левшун), наполняемое человеком, искушаемым дьяволом, иным, губительным для него смыслом — прежде всего **жалостью к себе**, болью за себя, плачем над собой. Слово Мармеладова, в котором исследователи находят разные аллюзии и параллели и с евангельским текстом, и с легендой о бражнике, и с содержанием апокрифа «Хожделение Богородицы по мукам», и с духовными стихами⁷⁶, являющееся словесной «хитростью» и выражающее ложную мечту, обман воображения, подменой истины ложью, вдохновлено не «духом животворящим», способствующим Спасению, но «буквой, смертоносной и убивающей» (Л. Левшун).

Невозможность воскресения Мармеладова и его обреченность на гибель объясняются и тем, что его слово — это все-таки исповедь **пьяного** человека, и звучит она не в церкви, не в Божием храме, а в **кабаке**, в дьявольском «храме», в «сатанинском месте» (Н. Нейчев), где над душами людей властвует **бес**, и это слово произнесено не перед священником, а перед будущим убийцей, «своеобразным монахом дьявола», как его назвал А. Штейнберг⁷⁷. В «исповеди» Мармеладова есть искреннее раскаяние, но нет истинного покаяния, предполагающего «добровольное отречение от греха <...> и принятия на себя обязательства больше не гре-

⁷⁴ Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Т. 1. М., 1993. С. 367.

⁷⁵ Мейер Г. А. Указ. соч. С. 111.

⁷⁶ См.: Тарасова Н. А. Христианская тема в романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского: Проблемы изучения. М., 2015. С. 149–150.

⁷⁷ Штейнберг А. З. Система свободы Достоевского. Paris, 1980. С. 53.

шить <...> прекращения совершения грехов, в которых кается данный человек»⁷⁸. Истинное покаяние предполагает твердое намерение исправить свою жизнь, и тогда возможно возрождение, преображение души, полное изменение существа.

В своей «исповеди-проповеди» Мармеладов и осуждает себя, кается в грехах, и в то же время глубоко жалеет и оправдывает себя, ищет жалости у окружающих людей, у Раскольникова («*Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет?*»⁷⁹) и, услышав «смех и даже ругательства» хозяина и других посетителей распивочной («*Да чего тебя жалеть-то?*»), вдруг восклицает в «решительном вдохновении»:

Жалеть! зачем меня жалеть! <...> Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слез!.. <...> а пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и судия. <...> И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смиренных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдась, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но придите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлешь?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострет к нам руке свои, и мы припадем... и заплачем... и все поймем! Тогда все поймем!.. и все поймут... и Катерина Ивановна... и она поймет... Господи, да придет царствие твое!

У Достоевского, как считает Г Померанец, «надежда на спасение основана — как у Мармеладова — на одном сознании своей грешности, на смирении»⁸⁰. И современный итальянский исследователь, размышляя о речи Мармеладова, утверждает:

При первом чтении ее можно принять за последнюю иллюзию отчаявшегося человека, который создает образ Бога в соответствии со своими собственными нуждами. Тем не менее его слова подтверждаются библейскими цитатами, приводимыми этим персонажем. Они передают ясную богословскую мысль, которую, я думаю, Достоевский в то время мог понять и признать, но едва ли мог развить с таким блеском⁸¹.

Но святые отцы учат, что истинное смирение жизненно необходимо отличать от ложного: «...есть мнимое смирение, происходящее от нерадения и лености и от сильного осуждения совести. Возымевшие его нередко почитают его виной спасения, но оно не есть таково поистине, потому что не имеет радостворного плача, который бы соединен был с ним»⁸². Мармеладов верит сам и пытается убедить других, что такими страданиями («*Пью, ибо сугубо страдать хочу!*») он искупает свою вину, свои грехи, что Господь за страдания его обязательно простит. Но истинное

⁷⁸ Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета: Словарь-справочник. СПб., 2000. С. 253, 254.

⁷⁹ По мнению А. Денисовой, «Мармеладов словно глумится над тем, о чем Раскольников мучительно размышляет, о жалости к отдельному человеку» (Денисова А. В. Раскольников и Мармеладов // «Литература и религия»: Шестые Крымские Пушкинские Международные чтения. Симферополь, 1996. С. 70).

⁸⁰ Померанец Г. Разрушительные тенденции в русской культуре // Новый мир. 1995. № 8. С. 139.

⁸¹ Сальвестрони С. Прп. Исаак Сирий и творчество Ф. М. Достоевского // Преподобный Исаак Сирий и его духовное наследство. М., 2014. С. 389.

⁸² Язык славян. М., 2002. С. 665.

смирение предполагает глубокое покаяние и духовную силу, благодаря которой преодолеваются и собственный эгоизм, и «услаждающая» жалость к себе.

Несмотря на то, что «герой Достоевского мечтает о воцарении правды, справедливости для всех людей и на все времена»⁸³, все же главной **целью** «исповеди-проповеди» Мармеладова, боящегося не только глаз чахоточной, с «красными пятнами на щеках» Катерины Ивановны и «детского плача», но и смерти и неизбежного наказания «там», является стремление **оправдать себя** и вызвать **жалость-прощение** и у людей, здесь, на земле, и у Господа на Страшном суде. По сути, Мармеладов утверждает возможность Спасения, исходящего не от преображенной человеческой души⁸⁴, а исключительно только от Господа при условии признания человеком своей греховности⁸⁵. Но мы знаем, что даже в житиях православных святых, великих подвижников, они и перед смертью считали себя недостойными спасения и думали о постоянном покаянии. Христос-то простит, но сам человек без глубокого покаяния и очищения души, без преображения души остается во власти дьявола, остается на его территории, то есть в аду. Здесь проявляется свобода его выбора, и Бог не может нарушить эту свободу. Как утверждает петербургский философ К. Исупов, «у Достоевского в мире непрестанно выясняющих отношения людей происходит дискредитация звучащего слова, ибо оно есть инструмент лжи, обмана и самообмана»⁸⁶.

По мнению Т. Бузиной, «в этом монологе Достоевский создает собственную картину Страшного суда, своего рода пародию на Страшный суд в духовных стихах»⁸⁷. В нашем восприятии такую пародию невольно создает **пьяный** Мармеладов, а не Достоевский. Святые отцы считали пьянство одним из тяжчайших грехов, закрывающих вход в рай для падшего. И когда в речи Мармеладова Бог с иронией называет святых «*премудрыми*» и «*разумными*», то здесь не Достоевский, а его герой спорит с ними. И современный английский исследователь и богослов Р. Уильямс (архиепископ Кентерберийский) отмечает, что «Мармеладов выдает напыщенную, помпезную речь, по сути, пародию на проповедь, где все традиционные категории доведены до гротеска»⁸⁸. Пьяный Мармеладов, «комический мученик» (К. Исупов), как будто сам себе отпускает грехи и от имени Христа сам себя прощает.

После надрывного монолога Мармеладова и посещения его семейства «на дому» Раскольников (тоже «пьяный», но «субстанциально, что для него не временное состояние, а форма существования на протяжении всего романа, исключая эпилог»⁸⁹) не отказывается, а только укрепляется в своем решении осуществить «*безобразную мечту*», ибо «это будет не преступление, потому что таким образом будет восста-

⁸³ Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974. С. 286.

⁸⁴ «Непременным условием индивидуального спасения, которое мыслится в христианской культуре как стяжание жизни вечной (богопричастности), представляется обожение человека еще в земной жизни; а это последнее есть результат напряженного богопознания» (Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем: теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI — XVII веков. Минск, 2009. С. 66).

⁸⁵ Ср.: «К. Леонтьев, в отличие от Достоевского и Соловьева, не придавал определяющего значения Преображению. Леонтьев верил в Божественную милость и Благодать, в Спасение, исходящее от Господа, и никак не от преображенной человеческой души или от преображенного общества и государства (пусть и теократического)» (Безносос В. Г. Ф. Достоевский, К. Леонтьев, Вл. Соловьев о Преображении и Спасении // Достоевский и современность. Новгород, 1995. С. 38).

⁸⁶ Исупов К. Г. Указ. соч. С. 64.

⁸⁷ Бузина Т. В. Указ. соч. С. 270.

⁸⁸ Уильямс Р. Достоевский: язык, вера, повествование. М., 2013. С. 172.

⁸⁹ Касаткина Т. А. Категория пространства... С. 85.

новлена справедливость»⁹⁰: «...и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..»⁹¹
Права Л. Сараскина:

...трагическая судьба Мармеладовых сыграла решающую роль в окончательном созревании преступного замысла Раскольникова; горестный удел девяти десятых человечества, нравственно растоптанных и социально обездоленных, ежедневно питали бунт Родиона Раскольникова⁹².

Прав и А. Аникин: «Раскольникову, претендующему на роль Христа и Магомета, и нужен именно такой грешник, чтобы увидеть себя не „тварью дрожащей“, а спасителем»⁹³. Из этого следует, что кабак с пьяным Мармеладовым оказывается дьявольской ловушкой для еще «*нерешительного*» Раскольникова накануне его преступления⁹⁴. Но и Бог еще не оставляет Раскольникова без помощи: благодаря Мармеладову главный герой Достоевского встретит Соню.

В романе Достоевского обреченному и безумному (бытовому и богоборческому) бунту «*гордой*» и «*раздраженной*», постоянно кричащей, больной чахоткой⁹⁵ **Катерины Ивановны**, которая в своем эгоистическом надрыве (духовной болезни) лишь отягощает мир новым злом и несет своим близким только страдания, а также **ложному смирению**⁹⁶ и раскаянию, не ставшему покаянием, пьяного, оказавшегося во власти беса и раздавленного «лошадью-плотью» **Мармеладова**, с его «*несчастной слабостью*» и сладостной жалостью к себе, с его самоуслаждением страдания, противопоставлено⁹⁷ **истинное смирение** «*кроткой*» и «*безответной*», но с интуитивным видением истины **Сони**, которая, по словам Мармеладова, «*мачехе злой и чахоточной <...> детям чужим и малолетним себя предала*», которая ни единым словом не укоряет павшего «*кровного отца*» и обостренно чувствует свою даже малую вину перед мачехой («*А сколько, сколько раз я ее в слезы вводила!*»), которая своей жертвенной, христианской любовью, жалостью к дру-

⁹⁰ Степанян К. А. Указ. соч. С. 76.

⁹¹ Ср. с мнением одного из исследователей о том, что если бы Раскольников прислушался к словам Мармеладова, «он мог бы не совершить преступления. Достоевский для этого и посылал ему Мармеладова» (Бражников И. Внутри и снаружи. Истинный миропорядок в романе «Преступление и наказание» // Достоевский и мировая культура. Альманах. № 17. М., 2003. С. 20).

⁹² Сараскина Л. И. Испытание будущим. Ф. М. Достоевский как участник современной культуры. М., 2010. С. 11.

⁹³ Аникин А. А. Указ. соч. С. 116.

⁹⁴ И смерть Мармеладова, как отмечает И. Альми, дает Раскольникову лишь кратковременную иллюзию «*неслыханного обновления*» жизни после совершенного преступления: «Совершается то, о чем он уже не смел и мечтать: преступление не стоит преградой между ним и людьми, открываются пути — к Поленьке („— А меня любить будете?“), к Богу (попросил помолиться за „раба Родиона“), даже к Разумихину (решил зайти на его вечеринку). Раскольников готов поверить, что впереди — „*царство рассудка и света*“, что „*не умерла его жизнь вместе со старой старухой*“. Мираж исчезнет при встрече с по-настоящему близкими людьми — с матерью и сестрой: „*Обе бросились к нему. Но он стоял как мертвый...*“» (Альми И. Л. К вопросу о психологизме Достоевского («Преступление и наказание») // Достоевский и современность. Новгород, 1994. С. 12).

⁹⁵ Как отмечает Л. Левшун, «в христианской антропологии физические болезни и раны суть признаки-проявления-следствия духовных болезней и язв» (Левшун Л. В. Указ. соч. С. 191).

⁹⁶ «Ложное смирение — одна из самых разрушительных вещей...» (Митрополит Сурожский Антоний. Указ. соч. С. 115).

⁹⁷ Ср.: «Как известно, бунт вдовы Мармеладова ничем в романе не опровергается: она не имеет нужды в Боге» (Назирова Р. Г. Гоголь, Достоевский и английская готика // Достоевский и мировая культура. Альманах № 30 (2). СПб., 2013. С. 260).

гому и «ненасытимым состраданием», «понимающим состраданием» (К. Исупов), своим бесконечным терпением и самопожертвованием, благодаря твердой и глубокой вере в Бога («Что ж бы я без Бога-то была?») сначала спасает Катерину Ивановну и ее детей от голодной смерти, а затем на каторге становится «покровительницей и помощницей, утешительницей и заступницей всего острога»⁹⁸ и помогает **воскресению** «отошедшего от Бога» и «преданного дьяволу» несчастного **Раскольника**, воскресению для «новой жизни» и «великого, будущего подвига».

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Николай Стариков. 1917. Разгадка «русской» революции. СПб.: Питер, 2015. — 416 с.: ил.

Политик и писатель Николай Стариков обнаруживает невероятное количество странных поступков государств, политиков, правительств и партий, поступков, сконцентрированных на малом отрезке времени: февраль—октябрь 1917 года. В поисках истинных мотивов и целей всех этих «странностей» он выходит на «английский след»: в отречении Николая II от престола, в деятельности Временного правительства, в организации приезда Ленина и Троцкого в революционный Петроград и даже в требовании Ленина взять власть к определенному сроку («Завтра будет поздно»). Русскую революцию и все последовавшие за ней события, считает Н. Стариков, старательно направляли и взращивали спецслужбы Антанты, опирающиеся на силы внутри России. Главный злодей и верный союзник англичан — Керенский. Это под его руководством Временное правительство за короткий срок, сознательно создавая в стране хаос, разрушило все, что можно: армию, судебную и правоохранительную системы, местное управление, экономику. Это он нанес последний удар по армии, когда объявил мятежником генерала Корнилова, выступившего для наведения порядка в стране с его же согласия. И в октябре был не переворот, а спектакль, разыгранный Керенским с целью передачи власти Ленину и Троцкому, которым согласно «союзному» плану разрушения России предстояло окончательно добывать зашатавшуюся Российскую империю. Никто с Лениным всерьез не боролся. Наоборот, Керенский активно ему подыгрывал. Цели и мотивы обозначены. Великобритания хотела вывести из войны своего старого геополитического соперника, Россию, побежденной, разрушенной, чтобы не отдавать Босфор и Дарданеллы, по договору отходившие после победы союзников России, а победа эта, уверен Н. Стариков, была близка. Как это ни странно звучит, пишет Н. Стариков, но именно улучшение, а не ухудшение военной ситуации привело к февральскому перевороту! Именно англичане и провоцировали начавшиеся без видимых причин таинственные забастовки и волнения в Петрограде, действуя по знакомым нам сценариям «оранжевой революции». И Февраль победил потому, что власть не стала его подавлять, а вовсе не потому, что так велико было стремление народных масс к свободе. Была и сугубо внутренняя причина, заставлявшая торопиться со свержением русского императора: в ноябре 1917 года истек срок полномочий Государственной думы IV созыва, и вкусившие власти думские деятели, антигосударственные депутаты боялись остаться без трибуны, славы и перспектив. У одних были благие на-

⁹⁸ Касаткина Т. А. Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского // Достоевский в конце XX века. М., 1996. С. 70.

мерения, у других — чистая корысть. Стариков называет главных виновников трагических событий в России: Великобритания и США, в меньшей степени — Франция, но основная тяжесть вины падает все-таки на русского императора и элиту русского общества. И именно предательское поведение русской элиты помогло планам «союзников» воплотиться в жизнь. В своей работе автор опирается на известные мемуары и абсолютно открытые источники, где находит огромное количество намеков, ссылок, наблюдений. Домысливает сцены встреч немецких разведчиков с британскими коллегами, большое значение придает датам, хронологии событий. Дьявол в деталях, а они выразительны. Н. Стариков исследует «темные страницы» русской революции: убийство Распутина, единственного, кто мог предотвратить отречение царя, приезд Ленина в Петроград с помощью английских властей, попустительское, проявленное в отношении большевиков Временным правительством. И загадочное поведение Ленина, для которого сговор с союзниками по Антанте, развал страны и выход ее из войны, уничтожение легитимной власти — мизерная плата за воплощение мечты всей его жизни: социалистической революции. Версия Старикова сильно расходится с канонической советской версией истории революции 1917 года. И она очень яркая: сплетение интересов, сговоры, клубки страстей, персонажи русской истории и их «скелеты из шкафа». «Никто и никогда не планировал революцию как четкую последовательность математически выверенных поступков различных людей или группировок. Но это не значит, что планов устроить внутренний взрыв в России и тем самым „убрать“ геополитического конкурента не существовало», — пишет Н. Стариков. Были десятки тысяч факторов, которые сложились несчастливо для России: «именно ТАКОЙ царь во главе страны, это именно ТАКОЕ окружение царя, это горстка безмерно талантливых циников и подонков из революционных партий, это везение одних и фатальное невезение других. Это преступная тупость и подлое предательство, nepозволительная вера и ораторский талант. Наша революция — это все вместе». А за всем этим он видит и титанический труд разведчиков чужой державы, их долгую и кропотливую работу, ежедневную и ежечасную... И не раз проводит параллели с днем сегодняшним.

Николай Лебедев. Октябрьский детектив. К 100-летию революции.

М.: ООО «ТД Алгоритм», 2016. — 288 с.

И все-таки — заговор, и не один. Февральский переворот как сговор англосаксов, франкмасонов, международных банкирских кругов и примкнувших к ним ведущих российских политиков. Одними двигали давние геополитические интересы. Другие, как Львов, скандалист и интриган Гучков, глаза и уши Антанты Милюков, шелкопер-адвокатишка Керенский, жаждали, чтобы в России установился «республиканский строй», во главе которого встали бы они, члены масонской ложи «Великий Восток Русского Народа», действующие под эгидой находившейся под негласным протекторатом Великобритании масонской ложи «Великий Восток Франции». Заговорщицкий триумвират с целью добиться отречения Николая II от престола составили посол Великобритании Бьюкенен, посол Франции Палеолог и бывший министр иностранных дел России Сазонов. Весь ход событий, в том числе ситуация в стране и на фронтах, факторы и лица, на складывание этих ситуаций влиявшие, деятельность Временного правительства, дается в деталях. Октябрь, Октябрьский переворот — неожиданное. По утверждению Николая Лебедева, решающую роль в организации и проведении октябрьского переворота сыграли генералы Генерального штаба и присоединившееся к ним офицерство и патриотически настроен-

ная группа большевиков во главе со Сталиным, Красиным, Кржижановским, Кировым, Бонч-Бруевичем. Военные (их имена и чины названы) саботировали решения Временного правительства, отдавали распоряжения по ранее разработанному ими плану, не дали Керенскому снимать войска с фронта для поддержки Временного правительства, не дали вывести из столицы заряженные большевизмом петроградские полки, в канун октябрьских событий провели в Петроград флотилию кораблей из Кронштадта. Именно военные с апреля 1917 года финансировали большевиков, на что пошли секретные фонды русской военной разведки, а также личные средства ряда генералов высшего командного состава русской армии. (Имея таких спонсоров, нужны ли были большевикам «немецкие деньги» и международный прохиндей Парвус? — задаёт риторический вопрос автор.) У военных имелись веские мотивы: они были глубоко уязвлены царем, покинувшим свой боевой пост в самую трудную для страны минуту, а также новой либеральной властью, которая начала свою деятельность с разрушения армии, этой основы русской государственности (приказ № 1) и самой государственности. Союзников военные нашли среди большевиков: связи между ними установились еще в 1916 году, когда по инициативе генерала Маниковского на оборонных предприятиях создавались фабрично-заводские комитеты (ФЗК), призванные остановить злоупотребления и хищения и сломить сопротивление промышленников. Маниковский прибег к помощи большевиков, а конкретно — Сталина. К концу марта 1917 года ФЗК были узаконены, между работниками в лице ФЗК и владельцами предприятий началось массовое подписание соглашений о сотрудничестве, вместе с тем лавинообразно стали расти авторитет и численность партии большевиков и Сталина. Тесные связи генералов и Сталина во время двоевластия помогали Сталину выбрать «верный курс» поведения. Сталин предстает в книге и как главный организатор октябрьских событий, впоследствии отодвинутый европейским «десантом», троцкистами, от работы в центральных органах власти. А в Гражданскую войну открылись его таланты полководца. Ох, лукав вопрос в фильме «Чапаев»: ты за кого, Василий Иванович, за большевиков или за коммунистов? По версии Н. Лебедева, крестьяне одобряли сторонников Сталина, «большевиков-националистов», и враждебно относились к «коммунистам-интернационалистам», то есть троцкистам. Автор выходит за пределы собственно «Октябрьского детектива» и того, что ему предшествовало: у него свой взгляд на Гражданскую войну, на умалчиваемый историками заговор военных в ноябре 1927 года, на террор времен Ежова и на дело Тухачевского, Якира, Уборевича, Примакова. Он считает, что именно «план поражения» этой группы привел к поражениям в начале Великой Отечественной войны. Интересны приложения. Записка военного агента русской армии полковника А. Нечволодова (1864—1938), писателя, историка и экономиста, собиравшего в Западной Европе осенью 1906 года данные о современном состоянии франкмасонства и участии масонов в русской революции. Меморандум генерала А. Маниковского (1865—1920), выяснявшего в 1915 году причину «снарядного голода» в русской армии, фактически саботаж поставок: отсутствие снарядов на линии огня, в то время как в тылу склады были ими забиты. Заявление М. Фриновского (1898—1940), высокопоставленного деятеля советских органов госбезопасности, одного из ближайших сотрудников Ежова и главного организатора Большого террора. Секретный отчет С. Буденного К. Ворошилову о личных впечатлениях о заседании Верховного суда СССР по процессу Якира, Тухачевского, Уборевича и других от 11 июня 1937 года, выступления обвиняемых, их заключительные слова. В книге есть ссылки и на воспоминания отца автора, генерала В. Лебедева (1901—1979), непосредственного участника революционных событий в Петрограде и Москве в октябре—ноябре 1917 года.

Владимир Идзинский. Движущие силы и сущность Великой российской революции. Тель-Авив: Э.РА, 2017. — 180 с.

В стороне — геополитика, конфликты интересов держав, декларации и лозунги партий. Февральское восстание как стихийное возмущение и неповиновение властям народных масс Петрограда, вызванное острым экономическим и политическим кризисом царского режима в ходе Первой мировой войны. Октябрь как военный переворот, организованный опирающимися на Советы большевиками. И никакой социалистической революции. Катастрофу 1917 года выходец из России, а ныне израильский публицист Владимир Идзинский рассматривает прежде всего как закономерный результат многолетнего конфликта двух разных культур, сосуществовавших одновременно в дореволюционной России: русско-европейской и русско-московской. Причины ее он обнаруживает в глубинных основах жизни русского общества, его ценностях и традициях. Раскол в российском обществе, возникший после реформ Петра I, отрыв высших сословий от корней, их «европеизация» — прописная истина, переходящая из учебника в учебник, из одной исторической работы в другую. Для русских интеллектуалов после Октября 1917 года вопрос этот был особенно острым: в разрыве культур они видели одну из причин краха своей России, в значительной степени именно на их работы и опирается автор. Оригинальность концепции, предложенной автором, заключается в том, что конфликт двух культур — это не только особенность царской России после Петра I, но следствие перманентного раскола общества и стабильной противоречивости культуры на всех этапах существования Руси, России. Эта специфика российской истории неоднократно приводила страну к катастрофам: установление татаро-монгольского ига, Смута, события 1917—1922 годов. С точки зрения автора, глубинная причина катастроф в том, что в незапамятные времена, в IX веке, свободное развитие населения Великой равнины было остановлено, и начался долгий путь «под колпаком», навязанным пришлым элементом государственности, скандинавами, чье культурное развитие превосходило по уровню славянские и финские племена на целые века. Не знавшие письменности язычники легко принимали форму государственности, но их родовой быт, родовая психология оставались для них господствующими. Русское общество и государство никогда не развивались естественным путем, а получали достижения различных цивилизаций (византийской, татаро-монгольской и западноевропейской) насильственно, когда еще не были готовы принять и освоить достижения этих цивилизаций. И не монголо-татарское нашествие погубило Русь, а ассимиляция господствующего класса — варягов, а отсюда и варваризация общества, упадок нравственных и государственных устоев, и неготовность удержать старую государственность, и тем более создать свою собственную. И только при татаро-монгольском иге сформировались великорусские народность и государственность. Автор подробно рассматривает все этапы истории России, и всегда одно и то же: в критические моменты побеждает стихийная, загнанная внутрь в IX веке родовая сущность, и чтобы преодолеть раскол в обществе, изгоняется все чуждое, привнесенное, в первую очередь европейское, наносится удар огромной архаической части России по европеизированному меньшинству. Так было и в Смутное время, когда на смену боровшимся за ограничение монархии и свои права боярам шли худородные дворяне. И в 1917—1922 годах, когда физически уничтожали европеизированную элиту. И в советское время, при особой форме добуржуазного общества с ярко выраженными азиатскими, архаическими чертами, когда Сталин добивал последних носителей европейского сознания, троцкистов. И даже во время

перестройки XX века, когда подавляющее большинство российского населения не приняло эволюционный путь развития и Россия вернулась на свою старую колею к авторитарной системе правления. Вечная проблема: неготовность общества к реформам, торжество добуржуазного российского общества, как следует из дальнейшего текста и донныне не вышедшего из архаического состояния. Кто в этом виноват? Конечно, географическое положение между Европой и Азией обязывает. «Но ранее и более всех виноват во всем народ; в конечном счете все определяли культурный, политический и этический уровень большинства населения страны и ментальность российского человека». А что события 1917 года? Можно обвинить во всем Сталина, всех большевиков во главе с Лениным. А еще Временное правительство, и еще раньше — царя и его министров. Но в основе всего конфликт культур, в результате которого европеизированная Россия была сметена с исторической сцены. Хроника событий изложена верно. В сухом остатке теоретических построений: несомненно предательство элит, какими бы радетелями России они не представляли в изображении автора; несомненно банкротство европеизированного Временного правительства с его «благими намерениями», а на деле способствовавшего разрушению государственности России; несомненно, что большевиков поддержало большинство, которому были обещаны мир, хлеб и земля. Есть и «открытие»: Ленин, оказывается, хотел захватить власть. И множество противоречий, и искаженная, недостоверная историческая картина, и полное игнорирование общих тенденций мирового развития. Ну да, не думал русский удельный князь о благе общественном и о государственных интересах народа! А западноевропейский феодал думал? Да не убивал Иван Грозный своего сына, разве что в фантазиях немца-опричника Штадена да на картине Репина. И зачем против неевропеизированной советской власти бунтовали такие же неевропеизированные, долженствующие приветствовать путь от раскола к единообразию жители Ярославля, крестьяне Тамбовщины, моряки Кронштадта?

Александр Резник. Троцкий и товарищи: левая оппозиция и политическая культура РКП(б), 1923–1924 годы. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. — 382 с.: ил. — (Эпоха войн и революций; вып. 10).

Историк Александр Резник досконально исследует один из самых напряженных этапов борьбы, развернувшейся на рубеже 1923–1924 годов в РКП(б), до сих пор не рассматривавшийся как отдельный, значимый в истории нашей страны период. Левая оппозиция начала оформляться в условиях социально-экономических и политических противоречий и конфликтов, когда Ленин был уже болен и не способен поддерживать систему «коллективного руководства» и блюсти «единство» своим авторитетом. Острота конфликта стала особенно явной после его смерти в январе 1924 года. Линия борьбы проходила между Сталиным, Каменевым, Зиновьевым, имевшими большинство в ЦК, и Троцким и его сторонниками. Одним из катализаторов процесса стало «Заявление 46» о внутрипартийном режиме: «Режим, установившийся внутри партии, совершенно нестерпим, он убивает самостоятельность партии, подменяя партию подобранным чиновничьим аппаратом, который действует без отказа в нормальное время, но который неизбежно дает осечки в моменты кризисов и который грозит оказаться совершенно несамостоятельным перед лицом надвигающихся серьезных событий». ЦК обвинялся в неэффективности и бюрократизации. Оппозиционеры требовали демократии, а не сильной руки. Письмо неле-

гально распространялось среди доверенных партийцев, последовали коллективные заявления оппозиционеров и индивидуальные обращения. ЦК ответил резолюцией «о партийном строительстве», где торжественно провозглашалась преданность партийного руководства внутрипартийной демократии и так же торжественно осуждался бюрократизм в партии. Оппозицию обвинили в том, что она нарушает или угрожает нарушить единство партии. Изначально не только лидеры оппозиции, но и рядовые ее сторонники в ячейках отмечали, что «многие не знают, что такое демократия». В массах иногда значение слова «демократ» разъяснялось как «бюрократы не у дел». Подробно рассматриваются вопросы, что такое оппозиция, почему она возникла, ее программные документы, где и почему была сильна, из кого состояла, была ли единой, почему проиграла, а также позиции, поведение, взгляды, действия конкретных людей, связанных между собой дружескими отношениями со времен совместной работы в подполье и на фронтах Гражданской войны. С точки зрения автора, оппозиция не была «антипартийной», она точно так же хотела единства в партии, но при этом защищала право на критику. Большое внимание уделяется личности и позиции Троцкого, его значимости для левой оппозиции, которую, по мнению автора, «троцкистской» называют необоснованно. Но самое главное: внутрипартийную борьбу в РКП(б) в 1923–1924 годах чаще всего принято рассматривать как борьбу верхушечную, а ведь в нее были вовлечены и рядовые члены партии, и А. Резник реконструирует многообразие, многоголосие оппозиции. Разлад в верхах не был секретом для низовых организаций, и Резник пишет о том, как реагировали на происходящее, на слухи и «секретные документы» в Москве и Петрограде, в провинции, на предприятиях, в профсоюзах, госучреждениях, в армии, в вузах, как вели себя участники событий. Восстановить картину поведения «верхов» и «низов» ему помогают архивные документы партийных организаций всех уровней, партийная печать, личные архивы участников событий, мелкая россыпь документов, многие из которых введены автором в научный оборот впервые. Особое внимание посвящено технологиям политической борьбы за общественное мнение, за большинство голосов: организация предвыборных кампаний; перевыборы в бюро ячеек и выбор делегатов на конференцию, когда оппозицию старались исключить из представительства; использование слухов и конфликтов; приемы подачи информации в «Правде» с целью убеждения читателей в ничтожном уровне поддержки оппозиции. А также создание и поддержание эмоционального фона, который можно определить одним словом — «страстный». Забавно, но многие приемы используются и сегодня. В итоге победа осталась за ЦК: итоги голосований большинства партийных организаций и конференций были не в пользу оппозиции. И проиграли оппозиционеры по вполне конкретным правилам политической игры, пусть и не всегда честным. Рассматривая историю оппозиции в широком смысле, как историю политической культуры большевистской партии и как историю политики на переломном этапе развития советской истории, автор дает возможность иначе посмотреть на привычные сюжеты «борьбы за власть» между Троцким и Сталиным. Многообразие внутрипартийной жизни в 1920-е годы, разнообразие политические и культурные контексты, множественность иногда локальных и малозаметных смыслов, но имевших значение для «больших» процессов, доказывают, что история и политика не исчерпываются борьбой элит. А в конечном итоге именно итоги внутрипартийной борьбы 1923–1924 годов явились первым шагом к превращению Советской России из революционной республики с огромным потенциалом рабочей демократии в государство, управляемое партийно-бюрократической элитой.

П. А. Столыпин / Сост., вступ. ст., коммент. : И. Л. Архипов. СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2017. — 608 с.: ил. — (Серия: «Государственные деятели России глазами современников»).

Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911), министр внутренних дел, председатель Совета министров Российской империи в 1906–1911 годах, оказался на вершине власти в самый сложный исторический момент, в условиях острого противостояния власти и общества, непрекращающихся революционных выступлений и начинающихся преобразований. Он сыграл значительную роль в подавлении революции 1905–1907 годов и верил, что начатые им реформы, в первую очередь аграрная, обеспечат России надежное будущее. Оценка деятельности Столыпина как его современниками, так и историками полярная. Одни выделяют только негативные моменты, другие, напротив, считают его выдающимся реформатором и русским патриотом, который мог бы спасти Россию от грядущих войн, поражений и революций. В советской историографии Столыпин однозначно оценивался критически, оно и понятно, сам Ленин называл его «главой контрреволюции». Личность Столыпина и по сей день вызывает споры. Кто он? Реформатор или реакционер? Вешатель или патриот? Губитель России или ее спаситель? Тем не менее канонические фразы Столыпина: «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!»; «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия» — из уст современных политических деятелей звучат постоянно. В этой книге собраны фрагменты воспоминаний, многие из них являются библиографической редкостью или известны только специалистам-историкам. Игорь Архипов, историк и журналист, сделал выбор в пользу воспоминаний людей, которые пытались объективно передать свои впечатления от общения со Столыпиным. Это государственные деятели, работавшие вместе с П. Столыпиным в структурах исполнительной власти, видные представители общественности и политической элиты, в том числе депутаты Государственной думы, журналисты, которым доводилось соприкасаться со Столыпиным. Среди авторов воспоминаний восторженные почитатели и сподвижники премьера: лидер партии «Союз 17 октября» А. Гучков, разработчик важнейших проектов преобразований в России, ближайший сотрудник Столыпина С. Крыжановский, министр иностранных дел в 1906–1910 годах А. Извольский. А также непримиримые оппоненты: предшественник Столыпина на руководящих должностях С. Витте и лидер кадетской партии, видный либерал П. Милюков. Включены фрагменты воспоминаний В. Гурко и В. Коковцева, работавших в правительствах И. Горемыкина и П. Столыпина; журналистов А. Тырковой, С. Окрейца, П. Тверского; начальника петербургского охранного отделения в 1905–1909 годах А. Герасимова и киевского губернатора (1908–1912) А. Гирса. Оживляющую фигуру государственного деятеля струю привносят его письма жене, записки его старшей дочери Марии фон Бок, сына Аркадия. Книга читается как исторический роман со стремительным напряженным сюжетом, выразительными персонажами, столкновением идей и человеческих страстей. Центральное место в ней, конечно, занимает яркая и многогранная личность П. Столыпина. Из личных черт характера современниками особенно выделено его бесстрашие. Он пережил десять покушений и скончался после одиннадцатого, совершенного в Киеве Д. Богровым. В обширном предисловии к книге ее составитель И. Архипов подробно пишет о драматичной и парадоксальной политической судьбе П. Сто-

лыпина и о связанных с его именем реформах. Попытки Столыпина стабилизировать ситуацию не удались, сконструированная им политическая система создала для власти ощущение относительного комфорта, стабильности, а реальные проблемы — социальные, политические, экономические — загонялись вглубь. Последние мирные годы в Российской империи были бездарно растрачены. «Роковые события 1914 года втянули Россию в мировую войну и, как следствие, подтолкнули к новой революции и краху государственности. Внезапные „великие потрясения“ оказались непосильным испытанием для страны с огромным „историческим наследием“ проблем, которые власть так и не смогла вовремя разрешить с помощью запоздавающих и половинчатых уступок. И, к сожалению, власть упустила и последний шанс переломить эту тенденцию — не сумев полноценно и последовательно осуществить программу столыпинских реформ». В комментариях даны необходимые уточнения, информация об авторах и упоминаемых деятелях. Мемуарные свидетельства тех, кто действительно являлся активным участником государственной и общественно-политической жизни России начала XX столетия, дают представление не только о самом премьер-министре и реформаторе, но и о роковой для России эпохе русской Смуты 1905—1907 годов, когда империя оказалась на краю гибели, а Столыпин пытался ее спасти.

Сергей Аверинцев. Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами.

СПб.: Алетей, 2017. — 168 с.

Вячеслав Иванович Иванов (1866, Москва — 1949, Рим) — один из крупнейших представителей русского символизма, его теоретик и идеолог дионисийства, и последний символист, переживший эпоху Серебряного века на десятилетия. Один из столпов той культуры, что ушла из России после Октября 1917 года. В литературную жизнь он вступил почти сорокалетним, а до того около двадцати лет жил за границей, где изучал древнюю историю у великого Т. Моммзена, древние и новые языки. В 1905 году переехал в Петербург, возможно, в «предчувствии необычайных, катастрофических событий, которые дадут русской истории совсем новый толчок», «в город... где, казалось, были сплетены роковые узлы времени». На несколько лет его квартира на Таврической улице, «башня», где проходили знаменитые «среды», стала сосредоточием культурной жизни столицы. О падении русской монархии Вяч. Иванов, никогда, как и большинство людей его круга, самодержавию не сочувствовавший, не имел причин сожалеть. Но и не находил, в отличие от своих символистских собратьев Блока и Белого, реальность Октября сколько-нибудь для себя вдохновляющей. «Большевизм был для Вячеслава Иванова, безусловно, прискорбным одичанием, эпидемией „буйственной слепоты, одержимости и беспамятства“». Попытки Иванова ужиться с советским режимом не удались, В 1924 году он выехал за границу, в Италию. Замечательный филолог Сергей Аверинцев, четверть века изучавший творчество Вяч. Иванова, прослеживает длинный путь поэта — и в историческом времени, и в пространстве духовных поисков, элегантно уклоняясь от сплетен и слухов, которые были оборотной стороной внешней славы поэта, «Вячеслава Великолепного». Исследователя интересуют житейские метаморфозы, интеллектуальные «блуждания», творческая лаборатория поэта. Житейские метаморфозы — это выход из долгого уединения, отъединенности от всех, из «подполья» в «мир», когда Вяч. Иванов стал виртуозом общения, собеседником *par excellence*, а после отъезда из Советской России в Рим намеренно избегал эмигрантских сообществ. Интеллектуальные «блуждания» — это философские иска-

ния поэта, юношеская увлеченность революционным героизмом, оттенки либерализма, со временем ставшая низменной славянофильская компонента, религиозные воззрения, неверие и принципиальное приятие христианской веры, переход в католичество (1926 год). В контексте реконструированной им биографии Иванова С. Аверинцев анализирует стихи поэта: их смыслы и специфику поэтического мастерства — замкнутую систему символов, языковые эксперименты, использование словесного материала, ритмическую организацию. Как криптограмму жизни Вяч. Иванова рассматривает автор символические вехи жизни Владаря, героя прозаической «Повести о Светомире царевиче», которая с 1928 года стала главным литературным занятием поэта. При том, что творчество Вяч. Иванова эволюционировало и развивалось, С. Аверинцев отмечает, что все же при сравнении с другими авторами поражает редкая стабильность тем и творческих установок Иванова. На страницах книги присутствуют Блок, Андрей Белый, М. Кузмин, философы В. Соловьев, Бердяев. Сопоставляются и принципиальные позиции поэтов, и самая главная, наверное, оценка октябрьских событий 1917 года. «Ответ Вячеслава Иванова на Октябрь семнадцатого года вносит в разноголосицу русской поэзии совсем особую ноту. Прежде всего, это очень взрослый голос, голос человека, для которого история началась не сегодня и даже не вчера. Его отрешенное спокойствие не похоже ни на восторги Блока и Андрея Белого, ни на проклятия Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус или Ивана Бунина. Характерен поэтический отклик на строки Г. И. Чулкова: „Ведь вместе мы сжигали дом, // Где жили предки наши чинно...“, относящийся к 1919 году: „Да, сей костер мы поджигали, // И совесть правду говорит, // Хотя предчувствия не лгали, // Что сердце наше в нем сгорит“». Это стихотворение С. Аверинцев прочитывает как признание Вяч. Ивановым вины культуры, к которой он принадлежал и которая давно тайно и явно жила разрушением традиционной нормы, давая бессознательный приказ грубой силе на разрушение европейско-христианской России, за что и получила заслуженное наказание. Уехав за границу, Вяч. Иванов сумел избежать как революционной, так и контрреволюционной групповщины, сохраняя эмоциональную дистанцию и отрешенное спокойствие тона по отношению к свершившейся катастрофе. Современность была значима для него лишь внутри связи веков и тысячелетий, внутри всецелого и вселенского, в соотнесении с Галилеей и Иерусалимом, с Афинами и Римом, античностью и средневековьем. «Повсюду гость и чужанин, // И с музой века безземелен, // Скворешниц вольных граждан, // Беспочвенно я за пределен». Он всегда «дышал большим временем».

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит за предоставленные книги
Книжную Лавку Писателей
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,
www.lavkapisateley.spb.ru)

Contents

Prose and Poetry

- Vladimir Shemshuchenko.** Poems • 3
Alexey Lesnyansky. Never Been Kissed. *Novel* • 7
Alexander Gabriel. Poems • 107
Vyacheslav Rybakov. The Last of. Story • 111

Publicistic Writings

- Sergey Ilchenko.** Storming the Winter Palace as a Mirror of Soviet Cinema • 126
Mikhail Kuraev. The Battle for History • 137
Karen Stepanyan. Fragments from the Diary (2017) • 158

Round Table

Centenary of the Russian Revolution. **Ten Shades of red. Participants:** Lev Anninsky, Vladimir Yelistratov, Vera Zubareva, Boris Kolonitsky, Elena Kryukova, Mikhail Kuraev, Roman Senchin, Yevgeny Stepanov, Konstantin Frumkin, Igor Yakovenko. *Round-table Materials were Prepared by A. Melikhov and N. Grantseva* • 164

Criticism and Essays

- Julia Scherbinina.** The Impending and Coming (*Evolution of Rudeness*) • 186
Vladislav Bachinin. The Existential Controversy of Holbein-Dostoevsky (*Reflections on the Picture „Dead Christ“*) • 200

The Petersburg Bookman

Times and Images. Vera Kharchenko. About the Documents of October—November 1917, and Not Only about Them. **Art of Reading.** Vyacheslav Vlaschenko. Mysteries and Secrets in the Artistic World of Dostoevsky (*The Tragic Fate of the Marmeladovs*). **Book Island.** Elena Zinovyeva's publication • 217

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 05.11.2017. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ №
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28